

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ МИР

1995

2

1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(838)

Февраль, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — В зеленоватом, потом золотом, стихи	3
АНАТОЛИЙ КИМ — Онлирия, роман	9
ВЛАДИМИР ЩАДРИН — Летающая книга, стихи	56
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Розовый рожок, стихи	59
ИОСИФ БРОДСКИЙ — Полторы комнаты, автобиографическая проза. Перевел с английского Дмитрий Чекалов	61
ИВАН БУРКИН — И в две и в четыре стопы, стихи	86

ПУБЛИЦИСТИКА

А. В. ЯБЛОКОВ — Ядерная мифология конца XX века	90
Д. ШТУРМАН — После Катастрофы. По страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»	108

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Письма из Поднебесной	163
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

МАРИНА НОВИКОВА — Символы	201
---------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ — Так чем же все это кончилось? Заметки о буковских финалистах	218
---	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО — И на нашего мудреца простоты хватило	228
--	-----

(См. на обороте)

Алена Злобина. Путь к себе, или Последняя роль Юкио Мисимы.
Дмитрий Стахов. Святой? Комедиант? Мученик?
Дмитрий Бак. История с биографией.

КОРОТКО О КНИГАХ:

В. Кулаков. — Леонид Аронзон. Стихотворения. Леонид Аронзон. Избранное. ♦
М. Бутов. — Владимир Губайловский. История болезни. Стихи. ♦
Юрий Кублановский. — Сергей Стратановский. Стихи. ♦
Вл. Славецкий. — Дмитрий Веденяпин. Покров. ♦
Андрей Василевский. — Дмитрий Быков. Послание к юноше. Стихотворения, поэмы, баллады. ♦
О. Филатова. — Жозе-Мария де Эредиа. Трофеи. Сонеты в переводах В. Портнова

243

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

252

КНИЖНАЯ ПОЛКА

254

SUMMARY

256

**Поздравляем
нашего автора, члена редколлегии,
замечательного прозаика
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА
с присуждением премии «Триумф» 1994 года**

Редакция «Нового мира», читатели журнала с нетерпением
ждут следующей книги романа «Прокляты и убиты».
Успеха и счастья Вам, дорогой Виктор Петрович, в этой
грандиозной работе!

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

В ЗЕЛЕНОВАТОМ, ПОТОМ ЗОЛОТОМ

* *
*

На шестом многодумном десятке
Скорбноликом, в обнимку с судьбой,
Отступая в сплошном беспорядке,
Проиграв этот гибельный бой,
Говоришь, собирая тетрадки:
Гений — мальчик в сравненье с тобой.

Вспыльчивый, тридцатисемилетний,
Безоглядный, мудрей старика...
Уходя не витийствуй в передней.
Мчится снег, и летят облака.

Доставалась нам женская ласка,
Море нас догоняло, шутя,
Падал Рим, наступала развязка,
Подаянья просило дитя.
Вот о чем ты, калмыцкая сказка!
Опереньем разбойным блестя.

* *
*

Нет у сил у меня на листву эту мелкую,
Эту майскую, детскую, липкую, клейкую,
Умозрительно воспринимаю ее,
Соблазнившись укромной садовой скамейкою,
Подозрительный и как бы сквозь забытьё.

О, бесчувственность! Сумрачная необщительность!
Мне мерещится в радости обременительность
И насильственность: я не просил зеленеть,
Расцветать, так сказать, заслоня действительность,
Утешать, расставлять для меня эту сеть!

Это склочный старик с бородой клочковатую
Пел любую весну, даже семидесятую,
Упивался, как первой весной на земле,
Не считаясь в душе ни с какою затратою
И сочувствуя каждой пролетной пчеле.

Даже как-то обидно, что стерпится — слюбится.
Оплетет, обовьет, обезволит причудница
И еще подрастет — и поверю опять,
Не смешно ли? что все состоится и сбудется,
Что? — не знаю, и в точности трудно сказать.

* *
*

Любовь кончается известно чем, — разрывом
И равнодушием всегда, везде, у всех.
Обречена она, — как жить с таким мотивом,
Чужим, предательским? Смешно сказать: успех
Возможен. Что? Успех? В безумном деле этом!
В земном! Помалкивай и не смейся людей..
Молчу, сияющим любуюсь горлицей,
Он нежно-розовый. Позволь быть всех глупей.

* *
*

Любить — смотреть в четыре глаза
На днище старого баркаса,
На сумрак вспененного вяза!

И как в четыре на рояле
Играть руки, во все детали
Вникать, в рисунок на медали.

Надменный профиль полководца,
Аустерлиц и его солнце,
Что над тщеславными смеется.

Любить — забыть о ржавой славе.
У одуванчиков в канаве
Желтое цвет, — сказать мы вправе.

Четырехруким шестикрылых
Жаль, знать не знающих о милых
Словечках, лестничных перилах,

Четырехногом на диване
Полуживотном, и тумане
В глазах, и розочке в стакане.

А без животного духовный
Мир был бы только лад церковный,
Не любящий, а полюбивший.

* *
*

Эти травинки, которые в дом
Мы на подошвах приносим из сада,
В зеленоватом, потом золотом
Блеске их — радость для нашего взгляда.
Вымести их удастся с трудом
Сад наш запущен, другого — не надо!

Раньше косили, куда-то коса
Делась — быть может, забрали соседи?
Что ж, если есть на земле чудеса,
К ним приплюсуем соломинки эти.
Рай — нам хватает его за глаза,
Кротким, попавшим в силки его, сети.

* *
*

Им лет по тридцать, соснам этим.
Их, крохотулек, я сажал
В грунт, не имея на примете
Красы их будущей, сжимал
В руке их ствол шероховатый,
Не представляя, как они
Вверх вознесут шатер косматый, —
И вспомню юность в их тени.

А если б мог себе представить,
Не знаю, стал бы их сажать?
Они стройны, но лучше память
Так высоко не поднимать,
Она всегда с виной в обнимку.
Игл длинных колки острия.
В зеленоватую их дымку
С тревогой всматриваюсь я.

* *
*

Подбираясь раз сто
И над тающим смыслом кружа...
Романтизм — это что?
И Жуковский ответил: «Душа».

И за тысячи лет
От него в этот миг световых
Чьи-то крылья в ответ
Задрожали в лучах золотых.

И сквозь сумрак густой
Потянулась, как прежде, к нему
И на фрак со звездой
Покосилась: не стыдно ему?

А часовни, гробы,
Кони, свечи, лесные цари —
Побрякушки судьбы,
К бусам тянутся так дикари.

Но, пока ты живой,
В эти игры играешь, грустя,
И, любуясь тобой,
Сверху мертвое смотрит дитя.

* *
*

Я скверные видел картинки
И я их рассматривал, — что ж,
Все эти подходы, разминки,
Слияний последняя дрожь, —
Сказать, что на мне ни соринки
Из этого ужаса, — ложь!

Содом в жеребьячьей горячке,
Гоморра в кобыльем потг

Искусницы, стервы, гордячки,
Грудь с грудью, живот к животу,
Забегу, заплывы и скачки.
И все они будут в аду.

И ты вместе с ними, сознаться
Не смеющий в зависти к ним,
Способным вот так расплестись
С достоинством бедным своим.
Подумаешь, тоже Гораций!
Твой бронзовый памятник — дым.

Сплошное желанье и жженье,
Брезгливость и, может быть, страх.
А все-таки воображенье
И практика — в разных рядах.
Сравни, например: преступленье
Или преступленье в мечтах.

А звезды сияют так кротко,
Так пахнет на клумбе табак!..
А там еще, кажется, плетка,
И черный чулок, и башмак.
Как будто душа идиотка
И может унизиться так!

* *
*

Характер наш и есть наш Рок.
Мы с ним рождаемся, мой друг.
Он древний. Если бы ты мог
Его увидеть, ты бы вдруг
И впрямь почувствовал испуг:
Страшней, чем бык, чем носорог.

Какие плоские ступни,
Взгляд исподлобья, бок в грязи...
Он и Эдипа гнал, взгляни,
Не все ль равно, в какой связи,
Поди его переспроси,
Легко ль такому в наши дни?

При слове «наши» он дрожит
И в гневе крутит головой...
Ну что ж, что на столе лежит
Печатный календарик твой,
То — символ, знак, а он — живой
Дух темных бед твоих, обид.

Картинки с выставки

И выставка теперь — разоблаченье
Под кодом «Агитация за счастье»,
Внушающая к жизни отвращенье,
Особенно — за наше в ней участие,
И кажется, что пышная в ответе
За Сталина — сирень в стеклянной банке,
И тополи отравлены и дети,
Фольклорные узбечки и армянки.

Гори огнем смущенья и позора
 Парадное искусство площадное,
 Державное, для голоса и хора,
 Высокое, тем хуже, что родное,
 Моя вина, что ездил в это время,
 Спасибо, что ребенком, а не взрослым,
 В колхозе этом, сталинском гареме,
 Я на велосипеде трехколесном.

Но вот что я скажу: монументально
 Искусство социального заказа,
 Внушительно и втайне сексуально
 И неискоренимо, как зараза,
 Что сделано, то сделано навеки,
 Лишь кажется дурным и недостойным:
 Не хуже, чем этрусски и ацтеки,
 Брунгильда с молотком своим отбойным.

Спортсменка в белых трусиках — содрать их!
 И джемпер трикотажный с комсомолки!
 Овации, паргийные объятия
 И Курс ВКП(б) на книжной полке,
 Сказители, народные таланты,
 Переживя позор, как непогоду,
 Советские Ван Эйки и Рембрандты,
 В какую вы еще войдете моду!

* *
 *

Ты уныл? Ты угрюм? Или с жизнью прощаться пора?
 В Амстердаме сейчас по каналам плывут катера
 И туристы на город глядят снизу вверх, — так под стол
 В детстве лазили мы, чьи-то видели брюки, подол.

Мутноватой воды навевающий сон изумруд.
 Будь уверен, они, что бы ни было с нами, плывут.
 Угол зренья важней, чем рассматриваемый предмет.
 Можно так посмотреть, что и смерть как бы сходит на нет.

Обманул бы ее и, наверное, преодолел,
 Если б сел в этот катер, да гульдены я пожалел:
 Обойтись без дорожки, что веером шла от кормы,
 И купить босоножки задачу поставили мы.

Ну, теперь в них ходи, золотых, ни о чем не жалеи.
 Пусть голландцы плывут в легкомысленный свой Элизей,
 Пиво пьют по пути, говорю: не жалеи ни о чем!
 Мы туда же пешком по Шпалерной, по Школьной придем...

* *
 *

О. Чухонцеву.

Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
 В полублеск облачась, в полумрак,
 И накрыт он в саду, и бутылки с вином,
 И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
 И читает стихи Пастернак.

С выраженьем, по-детски, старательней, чем
 Это принято, чуть захмелев,
 И смеемся, и так это нравится всем,
 Только Лермонтов: «Чур, — говорит, — без поэм:
 Без поэм и вступления в Леф!»

А туда, где сидит Председатель, взглянуть...
 Но, свалившись на стол с лепестка,
 Жук пускается в долгий по скатерти путь...
 Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
 Кто-то бедного ловит жука.

И так хочется мне посмотреть хоть разок
 На того, кто... Но тень всякий раз
 Заслоняет его или чей-то висок,
 И последняя ласточка наискосок
 Пронеслась, чуть не врезавшись в нас.

* *
 *

И вот ему несет рука моя
 Зародыши елей, дубов и сосен...

Е. Баратынский.

Зародыши елей, дубов и сосен
 Как бы не сам он нес — несла его рука.
 А он со стороны смотрел на это: «Осень»
 Написана уже и жизнь недорого.
 Нахмурен и серьезен,
 Хозяин так глядит: что делает слуга?

Отчаянье его на помощь мне приходит.
 Ни грубый лист ольхи,
 Ни женственный — дубов, в их царской позолоте
 Ни хвоя, — разотрешь — сильнее, чем духи,
 Волнует, — не спасут, в физической работе
 Отрады тоже нет, но видишь: есть стихи!

Могучие и впрямь густые, вековые,
 В их сумраке тебе мерещится привет.
 Когда они, впервые
 Из-под его пера увидевшие свет,
 Явились, — кто прочесть их мог? Нужны другие
 Глаза, которых здесь при нашей жизни нет.

Слух медленно растет, и зренье долго зреет...
 Упрямый лесовод
 Бесхитростную тень безгрешную лелеет
 Бессумрачных еще лесных своих пород.
 Тенистую аллеей
 Он знает, что не он, а внук его пройдет.



АНАТОЛИЙ КИМ

*

ОНЛИРИЯ

Роман

Наташе, жене.

Весною художнице Тамаре приснился некто Келим, который ей объяснил все. Она умрет, и это само собою разумеется, но от нее дорого получить не столько ее смерть, сколько предсмертные мучения и всю меру бездонного ужаса, которым питаются жильцы темных провалов. Но еще дороже этого для них решимость человека уничтожить себя собственной волей. Келим убеждал Тамару, чтобы она лишь не противилась желанию, которое уже возникло в ней, — и тогда он освободит ее от далгих и тяжких мучений. Он обещал, что ничего самой делать ей не придется, все совершит он сам. Тамаре предстояло лишь закрепить их сделку. Келим достал прямо с воздуха и протянул ей цветок орхидеи, упакованный в прозрачную пластиковую коробочку, — она должна была принять цветок и, может быть, запечатлеть на нем мимолетный поцелуй. Но в то мгновение, когда ее рука уже потянулась навстречу орхидее, невдалеке зазвучала флейта. Это играла дочь Тамары, и какой-то необычный звук инструмента, и сама мелодия мгновенно заворожили ее. Она заслушалась с таким глубоким волнением, что совершенно забыла о всей своей прожитой жизни. А когда проснулась вся в слезах, то уже не смогла вспомнить растворившейся в ее душе мелодии.

ФЛЕЙТА МИРА

Возникший из небытия Келим, который приснился художнице Тамаре в апреле, заявился к ней наяву уже тридцатого декабря. За это время у нее удалили опухоль в правой груди, дочь ее была избита подругами в школе, а у черного кота Фомы вылезла шерсть на голове. На вопрос Келима, как дела, Тамара отвечала, что метастазы, кажется, все же распространились и после новогоднего праздника ей предстоит следующая операция. Дочь, несмотря на все свои неприятности, исправно ходит в школу и помогает управляться по дому. Друзья пока дают денег на жизнь...

Келим спросил, за что была избита дочь Тамары, но ответа не получил. Кот Фома лежал на стуле не подымая головы, в глубоком обмороке старческого сна. Его кастрировали еще в молодые годы, чтобы он стал равнодушным и спокойным. В наступившей тишине было слышно, как он слегка похрапывал, словно утомленный спящий человек.

Демон Келим выглядел как обычный кавказский мужчина, гость московских базаров: в тяжелом негнущемся пальто, в плоской кепке огромного размера, с черными усами под большим носом и щетиною на плохо бритых щеках. Был тот день недели, когда дочь Тамары уходила на занятия в музыкальную школу — домой возвращалась она к вечеру. Появившись непонятно откуда, Келим стоял перед входной дверью, мрачный, будто бандит, проникший в дом для грабежа и убийства.

— Зачем ты явился к нам? — спросила Тамара. — Неужели только для того, чтобы напрогнозировать беду?

— Я принес деньги, — был ответ, — ты же просила...

— Когда это? — удивилась женщина. — Я не просила и вообще просить бы не стала!

— Но сегодня утром, часов в десять, стоя у плиты... Ведь ты подумала: хотя бы Келим появился, денег принес.

— Да это же я.. — смутилась она. — Это я подумала так, потому что знаю: друзьям уже надоело кормить нас. Времена такие, всем тяжело... А девочке всего пятнадцать лет. Школу даже не закончила... Что будет делать одна, без меня...

Келим выложил на стол деньги, глаза женщины быстро метнулись в их сторону, затем осторожно ушли в другую. На углу столешницы лежали две новенькие крупные купюры.

— Спасибо... Но я что-то должна сделать за это? — усмехнувшись и при этом чуть оживившись своим матово-бледным лицом, спросила Тамара. — Тебе чего-то нужно от меня, я понимаю... Но что можно взять с больной, подыхающей женщины?

— Извини, я понимаю тебя... Но такова моя работа — я всего лишь торговец. А с тебя нужно немного: возьми эту орхидею.

И опять, как в давнем апрельском сне, Келим достал прямо из воздуха прозрачную пластиковую коробочку с запечатанным в ней цветком и протянул Тамаре. Мгновенно ей стал понятен подлинный смысл совершаемой сделки. У нее покупали проклятие той жизни, которую создал Бог. Расчет торговца был верным: он подошел в минуту, когда проклятие созрело в ее душе как некий багровый бубонный плод, наполненный сукровицей отчаяния. И ни к чему оно было во всех пределах вселенной, какие только она могла себе вообразить, — никому не нужно, поэтому, наверное, и цену назначили за товар ничтожную, примерно такую же, как за чечевичную похлебку. Тех денег, что принес Келим, не хватило бы даже на оплату хирургу, который будет делать ей операцию.

И торопливо подумав: Бог сам виноват в том, что всем надо умирать, — Тамара хотела протянуть за цветком руку, но та вдруг стала тяжелой, словно налилась свинцом. Тут перед нею рядом со стулом, где спал черный кот, свернувшись в клубок, возник маленький горбун в черной кожаной куртке, ростом не выше этого стула, человек с большой головой и непроницаемым, как у каменного идола, азиатским лицом. За окном в сером воздухе плавно кружились хлопья снега, и за снегопадом едва можно было различить купол Румянцевского дворца и правее — одну из острокопечных башен Кремля: дом, где жила художница Тамара, находился в самом центре Москвы.

И опять не успела она взять цветок у Келима: он мгновенно пропал с глаз, как и в прошлом апрельском сне. Вслед за этим медленно растаял в воздухе карлик-горбун. В ту же секунду кот Фома, очнувшись, поднял свою черную голову с розовой лысиной на макушке и спросонья, еще не вполне раскрыв свои раскосые глаза, сведенные в щелки, стал удивительно похож на исчезнувшее привидение карлика-азиата. На столе остались лишь две денежные купюры, выложенные улетучившимся Келимом.

А он тем временем торопливо пробрался через тесный двор, заставленный переполненными мусорными баками, и вышел в пустынный переулок — идущий энергичным шагом высокого роста мужчина лет сорока, с большими кавказскими усами, с черными навывкате глазами, с огромной кепкой на голове. Из подворотни, расположенной у него на пути, выступил карлик-горбун в черной кожаной куртке и преградил дорогу, наставив пистолет ему в грудь.

— Vatanabe?! What are you doing here? — почему-то на английском, весьма дурно произносимом, воскликнул Келим.

— По-русски, ведь мы в России... Давай говорить по-русски, — сказал ему карлик-горбун и выстрелил прямо в его сердце.

— Ох ты черт, — ругнулся тот вполне по-русски и, приложив руку к ране, остановил хлынувшую оттуда кровь. — Чего ты хочешь, друг? — спросил он. — Совсем необязательно стрелять, послушай...

— Оставь в покое Тамару, ты же знаешь, что это моя клиентка, — молвил Ватанабэ.

— Честное слово, не знал, друг, — стал откровенно прикидываться простаком Келим. — Разве это была твоя девочка?

Однако, вытирая слегка испачканную в крови руку о ткань пальто подмышкою, он переменял тон и высказался вполне определенно:

— Я хотел выйти через нее на того, кто знает, где сейчас находится Флейта Мира.

— Зачем это тебе?

— Знаешь, мне стало трудно работать в России... — отвечал Келим. — Но ты все же убери пистолет, а то люди вон уже обращают внимание.

— Им не привыкать, — усмехаясь, произнес карлик, однако спрятал оружие во внутренний карман кожаной куртки, доходившей ему до колен. — Личность в кроличьей шапке, которая проходит мимо и смотрит на нас, подумает, что это еще одна разборка рэкетиров.

— Пускай о чем угодно думает этот бедный человек... Но мне действительно жалко его. Слушай! Он боится, потому что очень хочет жить. Как мне быть с такими, подумай? Тебе-то хорошо. Рак — это болезнь печали, и тебе здесь клиентов хватает. Но это такой народ, Ватанабэ! Чем больше печали, тем больше они любят жизнь! И никто не хочет у меня брать орхидею...

— А Флейта Мира тебе зачем, Келим?

— Хочу спасти Россию, как ты сам понимаешь. Ведь погибает эта великая и прекрасная страна, друг.

— Ну, если у тебя такие хорошие намерения, Келим, то подскажу, как найти человека, у которого Флейта... Как раз один клиент мой был связан с ним... Но ты, пожалуйста, больше мою художницу не трогай, не то я с тобою поступлю так, как однажды в школе... Помнишь?

— Э, как я могу помнить то, что происходило миллиард лет тому назад? А о нашей школе, Ватанабэ, я помню только все самое хорошее, — умильным голосом молвил усатый Келим. — Так и быть, Тамару я больше не беспокою... Будем считать, друг, что я пошутил.

И они вскоре мирно разошлись — карлик в кожаной куртке и кавказского вида мужчина, продавец орхидей Келим. Последуем за этим усатым, который вскользь упомянул о миллиарде пролетевших лет с того времени, когда мы еще учились зажигать новые звезды. Вот теперь с одной из них и встретились бывшие школяры звездного училища, бесславно истратившие столь большое время, которое сами и запускали на этой Земле. И скоро должно кончиться то, что давно уже началось. Последние Времена настали. И я движусь вслед за Келимом от одного светящегося огненного шара до другого — перелетаю с фонаря на фонарь по длинному и узкому московскому переулку. Затем с какого-то тусклого стекла раскрываемой форточки, сверкнувшего кроваво-огненным отблеском, миг перескакиваю к пульсирующему в вышине сполоху рубинового цвета, что пляшет на крыше многоэтажного универсама, рекламирующего ГОБЕЛЕНЫ — ВАТИН — САТИН.

Оттуда сквозь толщу городского воздуха, наполненного бесшумным щекотанием снежинок, вылетаю навстречу Келиму лучом автомобильной фары, слепящей его глаза. Крохотные снежные балеринки так и скачут, струятся, просеиваются через коридор светового луча, и когда Келим, морщась, отвернулся от беспощадного огня, то на стене дома, мимо которого проходил в ту минуту, он увидел собственный весьма внушительный силуэт и пляшущие вокруг него тени снежинок.

Вскоре он явился в домик на М-ском переулке, проникнув прямо в спальню, где умирал от злокачественной опухоли в мозгу один известный

московский антиквар и коллекционер икон. Пышнотелая любовница его и не менее пышнотелая дочь спали в соседней комнате, утомленные тяжелым непрерывным уходом за больным в течение всего декабря. Разметавшись одетыми на старинной широкой кровати времен царя Александра I, молодые женщины дружно и громко сопели во сне: в эту ночь после принятия опиума больной уснул спокойным сном, не стонал и не вскрикивал, дал и им немного поспать. Келим осторожно, на цыпочках прошел мимо раскрытой двери комнаты, где они находились, и оказался перед смертным одром умирающего антиквара.

Тот как раз выходил из опиумного забытья. Увидев перед собою неожиданного посетителя, старик не мог ни шевельнуть белой головой на белой подушке, ни выказать какого-либо чувства во взгляде своих полумертвых глаз. Но все же, вздрагивая горлом от неимоверного напряжения, он шевельнулся и чуть слышно произнес:

— Здорово, Колька...

— Здравствуй, дорогой. Как чувствуешь себя?

— Все, Колька... Умираю, — прошептал как выдохнул.

Итак, антиквар принял его за Николая. Теперь надо сделать с ним то, что обычно и делает опиум, но только употребленный в определенных дозах и принимаемый не в виде питья, а лучше всего по-китайски: дымом через курительную трубочку. Ласково и мягко возвестим неимоверно сладостную для его души весть. Небольшая старинная икона. Ну-ну...

— Смотри, что я принес! — как бы ликующим, радостным голосом. — Смотри!

Замутнев неподвижно раскрытыми глазами, антиквар уставился куда-то не туда — весьма далеко... Нет, ты должен посмотреть сюда.

— Неужели не узнаешь, Володя? (Его зовут Володей.) Да ведь это Дионисий! Твой Дионисий, пятнадцатый век!

Вот-вот. Затрепетал... Залепетал.

— Ди... ди... О-о-о...

— Вот-вот! Именно! Дионисий и есть...

— Это же Спас... О, Коля...

— Спас Дионисия, правильно! — весело так, любовно, как бы приплясывая от доброжелательного восторга, слегка похохатывая. — Молодец, Володя! Помнишь, как ее тогда забирали? Уложили тебя, голубчика, на диван и приставили пистолет к виску...

— О-о-о... — жалобно скривил губы. — Дио...нисий!

— Подержи, подержи ее, голубушку! Приласкай ее, миленькую! Скажи ей — здравствуй, моя красавица!

Умирающий стал шарить по одеялу, бледными волосатыми пальцами теребить его складки. Ну-ну, потеряби.

— Поцелуй ее, Володя!

Целует, честное слово — целует... Ну что за народ! Неужели он не понимает, что у него агония? Или слишком уж хорошо, может быть, понимает? Губы складывает, как младенец, которому снится, что он сосет материнскую грудь, да еще и причмокивает.

Тут Келим быстро нагнулся к нему:

— А теперь скажи, Володя: у кого находится Флейта Мира?

— У Але...ксеева... — прозвучал еле слышимый ответ умирающего.

И он вновь забылся, и на этот раз у него не было тех чудовищных болей в голове, которыми сопровождалась адские промежутки существования между двумя провалами в дикое опиумное море грез. И лежа с закрытыми глазами, которые он уже больше никогда не откроет, старый антиквар улыбнулся.

И угрюмо, по-пожилому горбясь, Келим вновь на цыпочках прошел мимо открытой двери соседней комнаты и прямо сквозь неоттапливаемую старинную печь, дохнувшую на него остывшим угаром давно прошедших времен, вышел на улицу, в ночной торжественный снегопад. Он направился к площади пешком.

Как-то однажды Иисус Христос проходил берегом моря Галилейского один, без учеников, и увидел скучающего пастушка, ходившего за дюжиной пыльных овец, и остановился возле него. Мальчишка в рваном хитоне, с голыми руками, в круглой войлочной шляпе, смуглый, невымытый, в веку своем обреченный на скудное существование невежественного кин-нерефского бедняка, вдруг опустился на колени перед незнакомым путником и горько заплакал. Ему велено было пасти овец и ждать, когда сестра или младший брат принесут обед, увязанный в холстину, — но ждать уже становилось неважно. И две тысячи лет, которые надо было прождать Его ученикам, пока Он умрет, воскреснет и уйдет на небо, а потом вернется оттуда с войском, чтобы разгромить армию князя, — две тысячи лет будут столь же томительны и горьки для учеников, как и предстоящие два часа ожидания для этого пастушонка. Иисус понимал это, и во утешение его печали Он отер глаза мальчишки полою Своего платья, а затем подарил ему деревянную флейту, вынув ее из дорожной сумы.

И подобно этому пастушонку, присматривавшему за овцами, кто-нибудь один из нас, наиболее могучих, тогда постоянно *нас* Его, выполняя задание демонария. И Он уже знал, чувствовал, что мы не дадим Ему сделать то, ради чего Он был послан на землю в виде Сына Человеческого, — по крайней мере испортим это дело в самом же начале и надолго задержим его окончательное исполнение... Ему было все известно о нас, и то, что мы убьем Его — столь же верно и беспощадно, как всякую человеческую тварь, как и любых членов ангелитета, которые осмелятся появиться где-нибудь на земле в материальном воплощении. *Ибо тело и материя, дорогой наш Брат по небесному дворянству, тело и материя — наши, и поэтому всякая жизнь, заканчивающаяся смертью, — тоже наша!* О, представляю, до чего же Ему стало тяжело, когда Он увидел, как обстоит все на самом деле в этом лучшем из миров. Глупому пастушонку совершенно неважно было ждать — и чтобы утешить его и скрасить тоску ожидания тьме людей в течение двух тысяч лет, Он оставил им Свою деревянную флейту.

Еще в молодые годы, будучи учеником столяра, Он высверлил эту вещь из ровной ветки причечного дерева, научился играть на ней и потом, став проповедником, всюду в долгих скитаниях носил с собою флейту. После того как Он подарил ее пастуху и как Он был убит, эта прямоствольная цевница прошла через многие руки по разным странам в продолжение всех двадцати последовавших веков. Но о ней в этих веках знали немногие. Ныне главари всемирного антикварного империализма, такие, как Доус, Исикава, Во и Октобер, знающие о существовании флейты, объявили, однако, ее нулевую стоимость. Ниспровержение одного из самых бесценных сокровищ мирового антиквариата было вызвано объявлением по многим странам земли о скором наступлении часа ИКС.

Потому как становилось ясно, что никого уже не может спасти эта священная вещь, принадлежавшая раньше самому Спасителю... В веках замечено было, что флейта появлялась на той земле и в том народе, которых ожидали катастрофа и гибель. Но кара судьбы предотвращалась, если на инструменте мог сыграть какой-нибудь чистый ребенок той страны ту мелодию, которую однажды сыграл юному пастушку умиленный Спаситель, присев рядом с ним на бугорок и вынув из мешка флейту. По сведениям многих немцев, погибших во вторую мировую войну, последний раз играл на ней тринадцатилетний Лотар Иеронимус Вайс, сын почтальона из одной баварской деревни. Он и явился истинным спасителем Германии, о чем почти никто из людей не догадывался — и прежде всего сам юный музыкант, случайно поднявший деревянный инструмент в 1945 году во дворе разрушенного бомбой необитаемого дома.

И никто на свете не знает, в том числе и мы, высшие члены демонария, что это за мелодия должна прозвучать и каким образом она становится известной музыканту. Лотар Иеронимус Вайс еще жив и мог бы, наверное, рассказать кое о чем — но вот мне стало известно, что флейта теперь не у него, в Германии, а в погибающей России. И еще мне стало извест-

но, что во сне художница Тамара слышала эту мелодию — ее как бы наигрывала на своем инструменте дочь художницы Машенька, ходившая в музыкальную школу. Таким образом, концы постепенно связываются...

Так думал шагавший сквозь снегопад по московским улицам демон Келим, которого я уже сам давно пас.

Истомившись брести по городу, Келим решил махнуть рукой на все условности и с тихими ругательствами, стряхивая рукою снег со своей широкой кепки, на глазах у многих изумленных граждан Москвы Последних Времен ушел головою вперед прямо в гранитный цоколь одного из высотных домов, называемых в народе сталинскими небоскребами. Постовой милиционер, тоже весь обсыпанный снегом, как и снующий вокруг московский люд, подошел и с изумленным видом уставился на то место в стене охраняемого здания, куда только что чудом проник неизвестный человек. Милиционер беспомощно растопырил руки в кожаных перчатках и, моргая белыми от налипших снежинок ресницами, оглянулся на прохожих — он не знал, видимо, что ему предпринимать.

Между тем Келим быстро просачивался вверх по кирпичной кладке толстых стен, и приятное чувство тишины и полного одиночества постепенно охватывало его. Он возносился с этажа на этаж, поднимаясь все выше, и старался выбирать такой путь внутри стены, чтобы избежать малоприятных, отдающих ржавчиной встреч со стальной вмурованной балкой или с арматурой железобетонного ригеля. Но та капитальная стена, по которой он просачивался наверх, была вся целиком сложена из звонких силикатных кирпичей, только наружная облицовка сделана из розовых керамических плиток, никоим образом, впрочем, не мешавших его продвижению ввысь. Когда он, огибая попадавшие все же на пути концы балок, оказывался близко к наружной облицовке, то глаза его, продолжавшие видеть и в темноте, различали тусклое, кораллового оттенка свечение, как бы излет поздней вечерней зари: сквозь розовые керамические блоки просвечивал воздух внешнего мира, который, несмотря на раннюю зимнюю темень, навалившуюся на Москву, был несравнимо светлее крошечной тьмы внутренности стен сталинского небоскреба.

В одном месте, миновав примерно пятнадцатый этаж по центральному корпусу, Келим вдруг натолкнулся на логово Бетонника, как я его называю, — на одну из зловещих московских тайн, о которой теперь, пожалуй, известно только мне одному. Когда-то данное высотное здание строили бригады заключенных, их были тысячи на растянутых вдоль и поперек корпусах строящегося небоскреба. Стройка охранялась по большому внешнему периметру, как зона, — с вышками, с колючей проволокой, — а внутри этой зоны работали вперемешку и заключенные и вольнонаемные строители. И одного из них, какого-то прораба, которого невзлюбили эски, они подкараулили и затолкали в большую яму, специально оставленную в толще двухметровой стены, и сверху обрушили туда пару бадей жидкого бетонного раствора. То, как замуровали в стену прораба, видел из вольняшек только машинист башенного крана, подававший тот роковой бетон, но крановщику, пожилому многодетному человеку, эски снизу молча погрозили кулаком и сделали рукою знак: пережем горло, если будешь болтать. И в знак того, что он все понял, испуганный работяга подобострастно закивал, сидя в своей кабине за рычагами, и даже для вящей убедительности коротко просигнальничал гудком.

С тех пор Бетонник и обитает в стене высотного дома на уровне пятнадцатого этажа по главному корпусу. Постепенно он, конечно, превратился в скелет, но по-прежнему стоит в своем склепе, одетый в полувоенный китель, и на ногах у него сапоги — форма одежды, популярная в то послевоенное время, когда началось возведение московских остроконечных небоскребов, издали столь похожих на колоссальные могильныеobelisks. Пропитавшись бетоном, китель и кривые штаны-галифе прораба превратились в каменные одеяния, и если можно было бы вырубить его из

толщи стены, то была бы готова скульптурная фигура наподобие тех каменных гигантов, изображающих строителей коммунизма, которые стоят себе на углах крыши центрального корпуса и не думают ничего строить. Вот и добавить бы к ним строгого начальника, чтобы дело пошло, — я смотрю на них сверху, со своей высоты, и мне хорошо видны широкие плечи как работников науки, так и рабочих. Валики снега белеют на их плечах, и на макушке стриженной головы рабочего, и на узле волос крестьянки, и на складках штанов, блуз, рубашек и длинных развевающихся юбок окаменевших трудящихся, с такой непонятной старательностью выделанных скульптором на колоссальных спинах и многотонных ягодицах, — кто смог бы увидеть эти складки!

Келим возник рядом с гигантским ученым, рассматривающим каменный чертеж, — маленькая фигурка у ног монументально озабоченного научного работника, — и, обратившись усатым лицом к небу, демон стал высматривать что-то. А тот, кого он искал, уже давно поджидал его, устроившись, словно орел на скале, в той нелепой розетке, заляпанной снежными сугробами, из которой брала начало и возносилась узкой иглой к небесам самая верхняя часть здания — заостренный сталинский шпиль, похожий на штык железной воли и на лаконичный стиль давно отзвучавших выступлений вождя народов.

Келим подумал, увидев громадного демона, что тот уже давным-давно сидит здесь: весь покрылся предновогодним снегом, погрузившись в свои мрачные думы, которые ни о ком и ни о чем, но всегда хлещутся каменными дождями и пропитаны морем пролитой крови...

Вот он и сам пришел ко мне, интересно, разговаривал ли он с Бетонником — но: здравствуйте, мой дорогой коллега, д. Москва, это как же Бетонник мог бы со мной разговаривать, если от него остался только скелет без души, а где сама эта душа, неизвестно ни вам, ни мне?

Как это неизвестно, Келим, почему неизвестно, прекрасно известно: душа там, где и скелет, — но: что же тогда у них воскресает, если душа остается возле трупа, а скелет растащат бактерии времени по отдельным молекулам, — куда девается эта душа?

— Однако Бетонник был на твоём пути, Келим?

— Был, был...

— И что же, побеседовали?

— Поговорили... Но лучше бы мне с ним никогда не разговаривать.

— Вот видишь, а ты все спрашиваешь, где душа... Она у него теперь в тех же гнилых миазмах, которые целехонькими законсервированы в бетонном склепе. И ему вряд ли скоро воскреснуть, Бетоннику.

— Правильно говорите, д. Москва! Хотя вы и убили его (это ведь ваш, правда?), но там, понимаете ли, пока совершенно нечему воскресать!

— Не беспокойся, Келим, — ведь и на самом деле, если он в своём склепе не одумается и не перестанет быть таким, каким он был, Бетонник не воскреснет. И неизвестно, мой друг, сколько времени ему надлежит еще оставаться в своём каменном гробу. У каждого смерть ведь длится по-разному: всегда ровно столько, сколько нужно на то, чтобы в этой облачной штучке, что ты недавно назвал душой, не оставалось ни одного пятнышка гнили.

Но ведь ты знаешь: влезешь под землю и внимательно прислушаешься — так она славно, тихо шевелится вся, тихонько шепчется сама с собою в разных своих уголочках подземелья. Это, Келим, заново прорастают души, готовясь воскреснуть. И моему Бетоннику гораздо хуже, чем прочим, потому что он покоится не в земле — там травка, там березки, и цветочки, и стрекозы с бабочками... А у него ничего этого нет, и душе его труднее справиться с собою...

— Ну ладно, хватит о нём... Лучше скажите мне, пожалуйста, где находится Алексеев.

— Какой Алексеев?

— Да, да, я понимаю... Их тысячи, а может быть, и миллионы, Алексеевых, по всей России. Но тот, о котором я спрашиваю, известен только вам. У него Флейта Мира.

— Ах, этот... Но его сейчас нет в Москве. Он в Сибири, в Новокузнецке.

Демон Москва сидел на краю круглой розетки, прислонясь спиной к каменному шилу высокого сталинского шпиля, раскинув по сторонам, на сугробы, заполнившие чашу розетки, свои сложенные серебристые крылья: темно-серый, огромный, как скала, демон, на которого крошечный в сравнении с ним другой демон, Келим, смотрел снизу вверх, задрав голову.

— А что мы имеем там, в Новокузнецке?

— Сибирь... Шахтерский город... Забастовки...

Там скрылся Алексеев, застреливший Николая, похитителя иконы Дионисия, XV век, и забрал у него Флейту Мира. Итак, на самом деле, что мы имеем в этом Новокузнецке? Наблюдаю за могущественным воображением Келима. Он и на самом деле очень силен! Вмиг оказался в самой глубине Сибири. Город весь в снегу, поверх которого лежит копоть. Угольная пыль. Поначалу, в виде развлечения, Келим примерился к какой-то бездомной собаке, трусцою бегущей по улице вдоль фонарных столбов, — хотел с ходу воплотиться в одно из живых существ шахтерского города. Но душа бездомного пса была наполнена такой лютой тоской и скорбью, что буквально отшвыривала от себя всякую попытку хоть чему-нибудь проникнуть в нее. И Келим, вздохнув, отказался от этого своего намерения — тогда пес, приостановившись под фонарем, поджал уши и, растопырив пошире лапы, встряхнулся всем охолодавшим тощим телом, желая, видимо, разом сбросить со своего горба весь гнет несчастного существования, и скрылся в боковом проулке. Следующими кандидатами для Келима были два шахтера-забастовщика, которые шли домой после митинга, отчаянно уязвленные пустотой и безнадежностью борьбы за существование. Они шли молча, только морозный снег сердито скрипел под их ногами, — шахтеры испытывали сейчас ненависть к любому слову, обещающему им лучшее будущее. Люди обманывали друг друга, заставляли работать на себя — и больше всех обманывали шахтеров, потому что работа их была тяжелее прочих работ. Сейчас, в эти тяжкие времена, главные обманщики страны объявили якобы какую-то переделку страны в сторону наибольшей справедливости — и в результате этого издевательство над шахтерами намного увеличилось, и подземные работяги стали бесплодно бастовать. Войдя во внутреннее состояние одного из этих двоих, Келим испытал такое свирепое угнетение добрых чувств злыми, едкими, что чуть не задохнулся в атмосфере абсолютной классовой ненависти, — и демон поскорее выскочил назад... Какая-то высокая заводская труба, вокруг которой завращалось внимание Келима, с могучим безобразием вдвухвала в темное помещение ночного неба те самые крошки несгоревшего угля, что выпадали вместе со снегом и делали сугробы этого города закопченными. Вместе с лохматыми клубами дыма Келим стал подыматься все выше и выше, чтобы серьезно осмотреться и составить наконец план действий, чтобы найти в этом Новокузнецке Алексеева...

Но тут он вынужден был вернуться назад.

Демон Москва обратился к нему, указывая вниз, под собою, вытянутым кончиком своего громадного крыла:

— Посмотри, что делают эти люди, и пока откажись от своего плана разыскать Алексеева. Тебе будет чем заняться и в столице. Нет, ты только посмотри, что они делают...

Четыре человека внезапно появились на крыше высотного дома. Они забегали вдоль бетонных балясин парапета, ограждавшего край крыши. Не замечая двух демонов, наблюдавших за ними, эти молчаливые, решительные люди выбрали наконец подходящее для них место, перелезли через

балясины и, взявшись за руки, с короткого разбега дружно выпрыгнули за край крыши.

Келим ахнул и, осторожно перебирая ногами, тоже приблизился к краю и посмотрел вниз. Он зябко поежился и осторожно отступил назад, несмотря на то что ему-то, собственно, ничего не угрожало, если бы он даже и свалился.

— Что, брат, удивительно для тебя? — спросил, усмехнувшись, д. Москва.

— Никогда не видел такого, — покрутил усатой головою Келим, — уж сколько тысяч лет живу среди них.

— Это новое их увлечение, появилось в самое последнее время. Я уже видел немало подобных прыжков.

— Но зачем это они? И кто из наших с ними работает?

— Кто работает, того не знаю... А увлечение это называется — полеты волей, или левитация. Они думают, кажется, что, когда настанет час ИКС, их спасет умение летать без крыльев.

— Отлично... — с задумчивым видом молвил Келим. — Флейту Мира можно пока оставить в покое. Девочка Маша, которая должна сыграть на ней, чтобы спасти Россию, пусть подождет... Значит, будем осваивать эти полеты без крыльев.

Он забыл, что до своей последней смерти ему приходилось жить в этом финском городе, поэтому в чувствах Келима, когда он приехал туда, преобладало спокойное безразличие. Оно знакомо каждому из тех, кто уже умирал до рождения, кто, рождаясь, одновременно заканчивал умирать. Финский городок, весь почти одноэтажный, с аккуратно выстроенными светлыми домами, не вызывал в нем никакого любопытства, и только одно всколыхнулось детской восторженностью в душе Келима: когда на улице перед гостиницей опустились две белые чайки. Словно обычные городские голуби, издревле нищенствующие на площадях, эти морские птицы, белоснежные и чистые, бодро зашагали по дороге, что-то подбирая на ходу своими изогнутыми клювами. Сторононься проходящей машины, они взлетели, вскинув длинные острые крылья, и тут же опустились назад на асфальт.

ПОЛЕТЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Чайки тщетно пытались напомнить Келиму о прошлом, которое когда-то было будущим, о предстоящем скором отъезде из Финляндии, каковой совершался и в прошлом веке, когда девушка Эрна Паркконен вышла замуж за русского негоцианта и уехала вместе с ним в Санкт-Петербург.

Келим не помнил того, что, умерев глубокой старухой в столичном городе России, он родился в Сухуми, на Кавказе, младшим сыном в многодетной семье турка-месхетинца Рустама Келима. А теперь, словно озабоченной пропитанием чайке, ему предстояло рыскать по городскому асфальту — тоже как бы в поисках чего-то очень нужного для этой жизни. Не зная ни слова по-фински, он отправился искать дом по известному адресу и через полчаса уже встретился с человеком, который смог бы ему что-то рассказать об Урхо Тиммонене.

Финская строительная компания возводила высотную гостиницу в Москве, Келим работал на том же здании в кавказской бригаде, и однажды в ночную смену ему довелось увидеть, как светловолосый финн вдруг бросился в проем окна с девятого этажа, но не упал вниз, а плавно пролетел между домами и вскоре исчез в темноте ночи. С тех пор монтажника Урхо не было на стройке, и на вопрос, где он, финский прораб ответил Келиму, что молодой рабочий уехал домой, чтобы жениться на одной девушке, с которой был давно помолвлен.

С рыжими концами курчавых волос, словно тронутых ржавчиной, Олли Тиммонен, старший брат улетевшего монтажника, ни слова не знал

по-русски, но что-то мог с трудом вылопотать по-английски. Сморщив веснушчатый лобик над синими глазами, он напряженно вглядывался в лицо нежданному гостю и, когда понял, что тот спрашивает про Урхо, торпливо закивал и вдруг заплакал, по-мальчишески утирая глаза кулаком. Затем он посадил Келима в свою машину и повез его на кладбище, где показал могилу у края семейного участка: удивленно вытаращившись, с памятника младенческим взором уставился на Келима тот самый монтажник, который улетел со стройки.

Финский юноша успел-таки перелететь через границу и был найден мертвым у полотна железной дороги, следовавшей от Хельсинки к лапландскому Северу... После посещения кладбища Келим вернулся в гостиницу и долго пролежал в постели, не в силах по-другому справиться с охватившим его вдруг беспокойством и чувством бескрайней тоски. Он пытался растворить в дреме горячее жжение сердца, но оно лишь беспрерывно теряло равновесие и, как бы в обмороке, тяжело падало в бездну.

В Финляндии ему было уже нечего делать, важный клиент был окончательно утерян, и он решил на следующий день лететь в Португалию. Но вечером к нему в гостиницу зашел брат монтажника и привел с собою одноногую девушку. Она была на костылях, которые вместе с ее целой ногою составляли три точки опоры, и безногая довольно проворно передвигалась, налегая подмышками на костыли, затем перебрасывая по воздуху тело вперед и четко ставя ступню перед собою.

Это была невеста погибшего Урхо, и его брат съездил за нею в соседний город, чтобы показать ей гостя из России, который знал парня в его московской бытности. Девушку звали Улла Паркконен, и она произнесла несколько слов по-русски. «Кариашо! Добри ден!» — весело улыбаясь, залпом выпалила она, держась на трех точках опоры перед Келимом. Она родилась на свет, меченная странным уродством: одна нога ее была только до колена, а на пальцах нежных и женственных рук вовсе не было ногтей. В прошлом веке ее прабабушка оказалась воплощением демона смерти, о чем теперь, в минуту встречи, не знали ни сам Келим, ни жизнерадостная, несмотря на свою беду, финская девушка.

Жизнь, настоящая, доступная лишь человеку, брэнная жизнь вновь предстала перед Келимом в образе этой веселой девушки на одной ноге, с костылями под мышками. Равномерный гул веков, словно медный набатный звон, наполнил то пространство в нем, что было накрыто непроницаемым куполом его черепа. И в этом крепком кавказском черепе возникла догадка, почему неизвестный шахматист, проводящий эту партию игры вслепую, сделал подобный ход — пошел пешкой, пожертвовал простодушным финским работягой, двинув фигуру на битое поле.

Одноногая финка содержала в себе такой могучий заряд жизненной энергии, что ей, в сущности, не нужны были эти громоздкие костыли, чтобы передвигаться. Она могла бы спокойно летать, как и ее погибший жених, и делать это гораздо лучше, чем он. Но она об этом пока не знала: так любой гений не знает о своем могуществе до поры до времени. Кто-то, опередив Келима, убрал молодого финского летателя, чтобы тот не открыл своей невесте ее необыкновенного дара... Но в таком случае это был слабый ход. Она все равно будет летать и когда-нибудь станет великим инструктором полетов. Можно было, конечно, спокойно взять теперь и эту открывшуюся фигуру... И предназначенная для такого хода орхидея была у Келима... Но в данной игровой ситуации он, подчинившись наитию, решил не брать этой сильной фигуры, которую по оплошности или же, наоборот, по хитроумному расчету открыли теперь для его удара. Он действительно не догадывался, что странное чувство приязни, испытываемое им к Улле Паркконен, является не чем иным, как симпатией его прошлой финской жизни к нынешнему бытованию своей правнучки.

Келим пробыл в Финляндии еще два дня: поехал в тот город, где жила девушка Улла, был гостем в ее доме, познакомился с многочисленной ее

родней. Он пел малоподвижным, сдержанным финнам застольные грузинские песни. Бражный, с хмельной улыбкой на устах, обнимался с Юханом, отцом Уллы, и на русском языке говорил девушке о своем искреннем восхищении ею. Но она понимала по-русски лишь те несколько слов, которыми научилась у покойного жениха. Зато в порыве смелого чувства сама поцеловала гостя при всех, крепко обняв его за могучую шею, и сдержанные финны при этом издавали одобрительные веселые возгласы.

Улла показала гостю ту часть дома, где должны были жить после женитьбы они с Урхо. И там было много чего диковинного для Келима, но больше всего остального поразила его приуготовленная для супружеских блаженств громадная кровать с прорезиненным матрацем, наполненным морской водой. Келим даже полежал на этом матраце, поколыхался на его зыбких волнах, прислушиваясь к глубинному бульканью, а девушка стояла рядом, опираясь на костыли, и с самым добродушным видом смотрела на него.

На следующее утро Улла хотела сказать заморскому гостю, что Урхо она знала с детства, а его, Келима, она узнала два дня назад, но у нее такое чувство, будто она знакома с ним всю жизнь. И это святая правда. Однако, когда девушка зашла в отведенную для гостя комнату, чтобы разбудить его к завтраку, там никого не оказалось. Кровать стояла, аккуратнейшим образом заправленная. А самого Келима не было — он в это время в хельсинкском аэропорту садился на самолет, улетающий в Лиссабон.

Молодая финка бросилась ничком на аккуратно убранную руками вероломного гостя кровать, отбросив костыли, грохнувшие на пол двумя торопливыми ударами в полной тишине дома. Девушка бурно плакала, не сдерживая своих рыданий и сжатыми кулаками колотя по подушке, на которой совсем еще недавно покоилась темноволосая мужественно красивая голова мужчины. Она родилась без ноги, но, несмотря на эту роковую беду, Улла верила в себя и чувствовала, что она создана для счастья. Урхо разделял с нею это чувство, но он умер... И вдруг появился в ее доме этот необычный гость, который тоже понимал и, казалось, всем сердцем разделял с нею душевную ее уверенность... И он исчез бесследно, словно его никогда и не было...

Келим летел в самолете «PANAM» над чахлыми финскими лесами и невысокими горами, покрытыми сплошь хвойными деревьями. И ему вдруг стало необыкновенно печально от всего этого: плавного полета над финскими просторами, где яснооко расплескались многочисленные пятна озер, от неторопливого этого полета над дремучими лесами, медлительными финнами, острокрылыми чайками, автомобилями с зажженными днем фарами... Грустно было пролетать над домиком Уллы, над ее земными надеждами, точно такими же, как и у любой молодой женщины до Ноева потопа... У нее был новый американский протез, который она не хотела носить. Уродливый же костыль с ухватом для локтя, напоминающий крупнокалиберный пулемет, был для нее привычной.

Тоска одноногой девушки, недавно потерявшей жениха, а нынче покинутой диковинным гостем, который столь приглянулся ей, печаль синеглазой и черноволосой финской девушки принадлежала душе подвижной и горячий. В бесконечном мире, состоявшем из бесчисленных вещей, таких, как звезды, планеты, хвойные деревья, инвалидные костыли, недописанные письма, их застывшие души ничем не отзываются на смятение душ подвижных и тревожных. Предметов этих, неподвижных, несравнимо больше, чем живых существ. Окружая человека со всех сторон в его жизни, именно неживые предметы внушают ему самые разные желания. И вполне может стать, что придет время — и именно костыли одноногой финки, столь похожие на автоматическое оружие, внушат ей мысль о свободных полетах без помощи крыльев...

Думая о тех, что разбитись в эти дни при полетах и в ближайшем будущем должны были разбиться, Келим осознавал полное свое бессилие перед тем началом, которое для чего-то создает существа, их желания,

предметы. Этому творящему началу угодно было прихотливо сочинять миллиарды новых слов, каждое из которых выражало собою или грусть живой души по поводу своей быстротечности, или печаль какой-нибудь недолговечной вещи, в факте появления которой также отражалась бренность мира.

Канцелярия, фабрика, исследовательский институт или вдохновенное сердце поэта — все эти вместилища организованных усилий человеческого разума также непрерывно исторгали из себя новые предметы. Но вся безмерная множественность вещей, ярких или невзрачных, делала неотвратимым желание каждой из них чуть отдалиться от других и расположиться в пространстве таким образом, чтобы она ощущалась со всех сторон. Поэтому и моргали в ночном небе все желтенькие звезды, а души людей испытывали неудержимое желание полететь безо всяких крыльев.

В Португалии несколько иностранных туристов, шесть человек, кинулись с обрыва морского побережья на том самом месте, которое считается самой западной точкой европейского континента. Четверо из них один за другим сразу же попадали в море, и только двое улетели и скрылись за горизонтом. Келим прибыл на место происшествия и нашел там человека по имени Жоао Наморра, который видел, как, разбежавшись, прыгали с обрыва молодые люди, две девушки и четверо парней, все одинаково длинноволосые, в майках, шортах и рваных джинсах. Рыбак Жоао рассказывал возбужденно, со встревоженным видом. Ни слова не понимая из речи португальца, Келим с напряженным вниманием вглядывался в его загорелое, в трещинках морщин, худощавое лицо — и ясно видел, как все это происходило на обрывистом берегу.

Чтобы узнать имена погибших и тех двоих, которые улетели за морской горизонт Келиму надо было вновь поехать в Лиссабон, и на обратном пути он познакомился в автобусе с одним иностранным туристом из Южной Кореи, который говорил на английском и сделал ему очень важное сообщение. Оказывается, дело с полетами людей и в связи с этим с многочисленными случаями их падения и гибели стало в Португалии объектом государственного внимания. Полиция оповестила граждан о проникновении в страну необыкновенно мощной и опасной фанатической секты. Сектанты побуждают поверивших им неофитов бросаться с крыш многоэтажных домов, причем сами, владея каким-то секретом безаппаратного полета, остаются целыми, а кинувшиеся вслед за ними люди разбиваются насмерть. Корейский турист, рассказавший все это, добавил еще от себя, что португальские газеты сообщали о случаях, когда не все бросившиеся с крыш уверовавшие разбивались — некоторые, правда совсем немногие, улетали неизвестно куда вслед за своими инструкторами.

Полиция, оказывается, начала задерживать всех подозрительных, в особенности иностранцев. Турист из Кореи, рослый человек с седыми белоснежными волосами, но с угольно-черными большими бровями, уже побывал, оказывается, в ее руках и прошел через тщательное дознание. Келиму вовсе не хотелось иметь дело с португальской полицией, и он на первой же остановке скрылся в туалете, где пробыл до того времени, пока не ушел его автобус. Вполне могло быть, что корейский путешественник из лояльности к доброжелательной лиссабонской полиции, отпустившей его с миром, сообщит ей о подозрительном туристе из России, и поэтому на всякий случай Келим вернулся обратным автобусом на то же самое место, откуда недавно выезжал в Лиссабон. Здесь среди тысяч иностранных туристов, непрерывно прибывавших и затем, посетив самую крайнюю западную точку Европы, уезжавших восвояси, легче было скрыться от любознательных глаз полиции.

Но, до темноты протолкавшись в массе людей, обозревающих с высоких берегов невыразительно-пустые дали Атлантики, поужинав в замечательном рыбном ресторане, где подавали суп из омаров, Келим направился по уже знакомой тропе в ту сторону, где находился обрыв, с которого

бросились в полет шестеро молодых людей. Там среди багровой мглы, словно раскаленной изнутри и беззвучно огнедышащей, в потухающих сумерках позднего морского заката и провел Келим последние минуты своего пребывания в Португалии, стране знаменитых морских путешественников и старинных флибустьеров...

Не желая быть обнаруженным португальской полицией, Келим решил устремиться за той парочкой, которая скрылась, по рассказам рыбака Жоао Наморры, в юго-западном направлении Атлантики. Можно было предположить, что один из отлетевших — обязательно инструктор, его-то и надо было Келиму уловить. Но возможно, что это какой-нибудь бывший служащий из развалившегося демонария. В таком случае, надо было встретиться с ним и выяснить, на кого он работает.

Очевидно, подумал он, старая тактика таинственности и умалчивания была окончательно пересмотрена князем: он решил левитацию обратить из чуда в заведомую рутину, привлекательную для людей тем, что она станет объектом государственного запрета. И хотя правительственная полиция начнет теперь призывать граждан не бросаться с крыш, люди все равно будут прыгать очертя голову со всяких высоких мест. Князь знал об этом непреодолимом людском упрямстве и на сем, видимо, строил свой расчет.

Таким образом, догадался Келим, князь решил действовать с двух фронтов: явного и тайного, видимого и невидимого — это предупреждения и запреты полиции, с одной стороны, и агентурная работа его эмиссаров — с другой... И снова возвращаясь к сравнению с игрой в шахматы, Келим видел, что князь всегда играет черными фигурами — свои ходы вынужден делать после ходов белыми. Способный лишь навредить наступательной стройности белых, но целиком зависимый от них как в темпе игры, так и в выборе стиля, Черный игрок всегда мог только вставлять палки в колеса, портить качество и пародировать игру Белого. А очень часто он попросту воровал с доски фигуру или старался незаметно переставить пешку — примитивно жульничал.

Бог создал Своих Ангелов летающими. Князь внушил людям мысль о возможности левитации. Летать людям всегда хотелось — потому что они должны были когда-нибудь овладеть полетами: так было положено в замысле. Но на это князь ответил тем, что вызвал преждевременное жгучее нетерпение в сердцах летателей, которые назавтра уже могли бы получить с небесного склада новенькие ангельские крылья.

В древние времена Орфею было приказано не оглядываться, когда он выводил свою жену Эвридику из царства мертвых. Немного не дотерпел Орфей — уже забрезжил впереди свет земного мира, и там было счастье... Но не хватило у него душевной силы вынести последнюю минуту ожидания. Если бы человеку не запретили оглядываться — он бы и не оглянулся. И никаких борений в душе, никаких поползновений на нарушение запрета и в помине не было бы...

И Адам с Евою, не будь им запрещено есть плоды с определенного дерева, не стали бы обманывать Бога... Да и мы все, сброшенные с небес на землю летчики князя, не оказались бы в своем нынешнем положении, если бы не было нам запрета самостоятельно, без циркуляров демонарских чиновников делать добро или зло потомкам Адама и Евы.

В продолжение этих размышлений Келим медленно проходил по обрывистому берегу до темных безлюдных скал, где собирался совершить тайнодействие по освобождению от своей прежней телесности — он понял, что иначе теперь ему не выбраться из Португалии. В гостиницах и аэропортах идет сейчас усиленная проверка документов, денег в эскудо у него почти не осталось, менять же доллары означало привлечь к себе излишнее внимание...

Он решил выглядеть так, как выглядел бы, возможно, один из тех шести туристов, которые прыгнули с обрыва в море: принял облик рослого длинноволосого и бородатого парня в майке, в рваных джинсах с прорехами на обоих коленях. И после того как таковой парень обозначился в по-

лумгле и ступил босыми ногами на влажные от вечернего тумана камни, направляясь к краю обрыва, среди невнятных скальных глыб шевельнулось что-то светлое, большое — и перед Келимом оказалась молодая женщина в белых штанах до колен и длинной рубаше, нижние углы которой были связаны на голом животе в узел.

— Говорите ли вы по-немецки? — спросила женщина, разглядывая темное, подсмугленное закатом лицо стоящего перед нею человека в рваных джинсах, с длинными прядями бронзовых волос, спадающих на плечи

— Нет, — ответил Келим и покачал головой.

— Говорите ли вы по-английски?

— Да, немного. — Келим скрестил на груди мускулистые красивые руки, широко расставил ноги и сверху вниз внимательно посмотрел в лицо женщине.

— Я вижу, вы решили лететь, — сказала женщина.

— Как вы могли догадаться? — насмешливо произнес Келим. — Ведь я, кажется, ни о чем вам не докладывал.

— Я видела, как вы готовились вон за тем камнем, — отвечала она. — Но я удивлена, что вы пришли сюда не очень молодым человеком, а теперь выглядите молодым. И у вас были темные короткие волосы, а теперь они светлые и длинные... Мне не приходилось еще видеть ничего подобного. Извините.. кто вы?

— А вы — Надежда, Надя... Вы русская, так ведь? — вопросом на вопрос ответил Келим (на этот раз по-русски), улыбаясь в невнятной полумгле, на мгновение ярко сверкнув глазами и зубами.

— Да, я русская. Мое имя Надежда, — по-прежнему отвечала на английском женщина, вдруг почувствовавшая какую-то сильную тревогу... — Откуда это вам известно?.. Я боюсь вас, — заключила она по-русски.

— Настало такое время на земле, когда уже ничего не надо бояться, Надя, — говорил Келим и, ухватив левой рукою свои роскошные волосы, рывком снял с головы парик. Затем правой рукою, двумя пальцами, он прихватил над виском за край тоненькую пленку наклеенной маски и наискось стянул ее с лица вместе с бровями и прозрачными глазными пленками. Они, оказывается, имели свойство черные глаза представлять синими — перед Надеждою глыбой плотной мглы высилась голова негра, уставясь на нее сверкающими угольными глазами.

Она вскрикнула и, зажмурившись, выставила перед собой руку, а он раскатисто засмеялся и тем же голосом, каким говорил до этой минуты, произнес:

— Среди парней, которые бросились отсюда в море, был один негр. Так ведь?

— Да, это так, — дрожащим голосом молвила русская женщина вновь по-английски. — Среди них был Джон Скемл, я его хорошо знала... У него был уникальный голос... Он пел в диапазоне сопрано.

— Так этот Джон Скемл — он улетел или нет?

— Нет. Он упал в море самым первым.

— Вы это видели?

— Нет, мне об этом рассказал местный рыбак по имени Жоао Намора.. Джона Скемла, единственного из всех, удалось выловить из моря и похоронить.

— Вы не думаете что я — воскресший из мертвых ваш знакомый негр?

— Нет, я так не думаю...

— А если я сейчас возьму да спою в диапазоне сопрано?

— Все равно — нет... Вы не Джон, хотя и очень похожи на него.

— А что вы насчет этого предполагаете? Почему я так похож на Джона Скемла?

— Не знаю, что и подумать...

— Вы не верите в воскресение?

— Верю я или не верю — это мало что значит.

— Но хотели бы вы, чтобы любимые вами люди воскресли после смерти?

— Чего бы я ни хотела, это не имеет отношения к существу дела, к правде...

— Вот вы сказали «правда». Что вы при этом имели в виду?

— Я имела в виду то, что правду никто не знает. Верю я в воскресение или не верю — никакого отношения к правде это не имеет. А она есть... Но мне никто не сможет сказать ее.

— Если я скажу, вы мне поверите, надеюсь?

— Нет, не поверю.

— Вам нужны доказательства, чтобы вы поверили?

— Нет, и этого мне не нужно. Слишком много меня обманывали с помощью самых верных доказательств.

— Но для того, чтобы воскреснуть, надо сначала умереть... Вы готовы хоть в это поверить? В смерть-то вы верите? Вы умирать-то когда-нибудь собираетесь?

— Да... Умереть я могу в любое время — это я знаю.

— Что ж, тогда сделаем так... Для начала я помогу тебе умереть, стерва, — вдруг злобно и грубо завершил он.

И не успела она шевельнуться, как он мгновенно набросился на нее и залепил ей рот, словно липким пластырем, пленкой своей лицевой маски. Теперь кричать она не могла, да и не стала бы этого делать. Чудовищное существо с головою негра и телом белого человека рывком стянуло с плеч своей жертвы рубаху и, спутав ею руки женщины, обнажило ее тело с незагорелой грудью.

Шумно сопя, Келим минуту как бы держал ее в объятиях, но это он стягивал сзади с ее рук рубаху. Затем, отбросив ее в сторону, он повалил женщину навзничь, грубо и больно швырнув на каменистую землю. Она подумала, что будет изнасилована чудовищем, и решила не сопротивляться. Ее охватило беспредельное безразличие к тому, что будет.

Однако он стоял и смотрел на нее, поверженную, ничего не предпринимая; потом вдруг усмехнулся и произнес:

— Ты помнишь или не помнишь бедного Евгения?

Она, с залепленным ртом, ничего не отвечала.

— Сколько раз ты еще выходила замуж?

Она с ужасом смотрела на него, лежа на земле в самом жалком и унижительном виде.

— Еще два раза, — с удовлетворенным видом произнес он. — А где твой второй муж? Он погиб из-за тебя... Где твой третий муж? Он тоже погиб из-за тебя. Видишь, какая ты ненасытная? Зачем тебе еще жить? Лучше возьми это и умри. Вставай и иди вон туда.

Он рывком приподнял ее с земли, протянул ей прозрачную пластиковую коробочку, в которой покоился крупный цветок нежной сиренево-белой окраски.

«Орфеус! — про себя воскликнула она, принимая цветок. — Наконец-то! Я иду к тебе, Орфеус!» И она послушно направилась по едва заметной тропинке, светлевшей на самом краю обрыва. Позади она слышала сопение и шаги своего палача.

Я находился в том цветке, вернее, был случайным мутным пятнышком на прозрачной пластиковой коробочке, которую Надя несла в руке, прижимая к беспомощной нагой груди. Так я провозжал свою любимую в последний путь до самого края обрыва, покоясь вблизи ее сердца каким-то невнятным сгустком материи. И хотя Надя перед смертью назвала другое имя, не мое, которое, впрочем, никогда и не было известно ей, только я был рядом с нею в минуту ее смертного одиночества, именно я, а не Орфеус.

Три года он пел в университетском хоре, но с тех пор, как ослеп, Орфеус больше уже не пел, и его лирический тенор, приводивший в светлый восторг профессора Рю, перестал звучать в этом мире. Великая мечта педагога, что он воспитает в красивой капелле певца мирового значения, умерла намного раньше, чем сам красивый седовласый мэтр. Оказалось, что в полной тьме совершенно не ощущается движение времени, а музыка, порождение этого времени, не может жить в его мертвой неподвижности. С того дня как Орфеус очнулся в военном госпитале и узнал, что ослеп, ему уже никогда, никогда больше не хотелось петь.

ОРФЕУС

Орфеус и Надежда встретились в Геттингене, где он выступал на сольном концерте в университете, и на том выступлении была она, которую после, на вечернем приеме, подвел к нему сияющий профессор Рю, представил и сказал: «Она тоже считает, что тебе предстоит великое будущее».

И через год, когда все страшное уже произошло и он ослеп после взрыва на военных учениях, Орфеус услышал ее голос по телефону. Я приехала в Корею, меня пригласил доктор Рю, чтобы я преподавала в вашем университете хоровое дирижирование, — это замечательно, ответил он вежливо, я уже слышал об этом... Профессор Рю, я полагаю, сделал очень важный шаг для укрепления дирижерского класса у нас... у них в университете, поправился он. Спасибо, вы очень любезны, поблагодарила она радостным голосом и вдруг спросила: не могли бы мы встретиться? Нет, ответил он сразу же без раздумья, но чтобы не обидеть ее явной грубостью, мягко добавил: если вы хотите, можете мне звонить по телефону в любое время.

Несколько месяцев продолжались их ежедневные телефонные разговоры которые вначале тяготили его, отвлекая от Путешествия, но постепенно стали даже чем-то необходимым, вроде некоего необременительного багажа, без которого путешественник уже не может обойтись. Это напоминание о прошлом, которым поверяется настоящее, — оно накладывается на прошлое, как прозрачный лист кальки на такой же. И хотя при наложении прозрачного на прозрачное ничего нового не проявляется, путешественник бывает удовлетворен хотя бы и тем, что положил новый лист на старый, услышав при этом негромкий хрустящий звук. Там, в невидимом прошлом, остались чьи-то голоса и лики — отображение в зеркале ванной комнаты, струйка сигаретного дыма, как седые женские волосы, Елисейские поля в Париже после полуночи...

Оказалось, что Путешествие продолжается и после того, как ты лишаешься зрения, и даже впечатление от него большее, чем раньше: сосредоточившись в мутной темноте, начинаешь явственнее чувствовать *проходящее пространство*, которое ты раньше воспринимал как проходящее время — и грустил об этом!

Орфеус, сегодня было первое исполнение «Kugle» и «Gloria» из мессы Моцарта, я дирижировала — звучало из этого прошлого, на что он рассеянно отвечал из своего настоящего: а что это такое? И она слегка обиделась. ты не хочешь порадоваться за меня? Ведь я очень счастлива, хор пел просто замечательно; я рад за тебя, ответил он с трудом, хотя Моцарту, наверное, это глубоко безразлично. Но почему? Почему Моцарту должно быть безразлично? Потому, сказал он спокойно, что Моцарт работает теперь над сочинением «Реквиема». А разве одно другому мешает?! — удивленно воскликнула она. Как бы тебе сказать... Мешает ли путешественнику, летящему в самолете на Гавайи, прошлый кинофестиваль в Каннах? Нет, конечно, не мешает, но путешественник, дорогая моя, больше всего хочет, чтобы самолет скорее приземлился в Гонолулу, и Каннский фестиваль ему сейчас и на самом деле ни к чему.

Орфеус, где ты? И почему не разрешаешь мне встретиться с тобой? Наверное, я у себя дома, и я только что закончил «Реквием». Это великое

сочинение, милая Надя, и я очень устал, работая над ним. Бога со мной нет, моя дорогая, Его я тоже сочинил, как сочинил и все другие части мессы: «Sanctus»... «Agnus Dei»; а вот «Requiem» — это настоящее, это не музыка, а рассказ о самом себе и о своем Путешествии... Христа тоже нет? Иисус Христос есть или нет? — было произнесено негромко, спокойно, на что Орфеус ответил столь же спокойно: Христос, как каждый из нас, — путешественник, Он жил и умер. Но ведь Он воскрес, Орфеус? Да, воскрес, чтобы, как и каждый из нас, отправиться в Путешествие. И также Бога не было с Ним, когда Он умирал на кресте.

Странно, что она заговорила о Христе как раз в то время, когда ослепший певец решил последовать за Ним в Путешествие.. Стало ему наконец совершенно ясно, что явление Христа для народов человеческих есть не учение (во что превратили Его Слово книжники и фарисеи), а пример, которому каждый, узнавший Его, волен следовать или не следовать. Орфеус задавал себе те вопросы, на которые мог отвечать только искренно. Можешь ли ты полюбить другого человека — такого же, *умирающего*, — как самого себя? Нет, отвечал Орфеус, не могу, потому что я тоже *человек умирающий* и для меня моя смерть гораздо значительнее, чем смерть ближнего. Но для всех нас Его великое учение в том, что Он сказал, умирая на кресте, висевшему рядом разбойнику.

Убедительность примера еще и в том, что названо Его Преображением: человеческое обличье, плен телесный и то малое передвигающееся пространство, в которое заключен дух человеческий, вдруг предстает в другой природе, сохраняя свою видимость. Одежды засияли неимоверной белизной, лицо обрело то совершенство красоты, о котором мечтают люди, и в глазах ярче звезд, сиятельнее солнца засветился огонь высшего разума. И такой преобразенный Учитель, представший перед учениками — Мессия, — явился мелюзге человеческой, растерянной и оробевшей, чтобы показать им, на что каждый из них может быть похожим.

Но главным примером Орфеус считал Его Воскресение, воскресление тела после казни, и возможное только по свершении этого — Вознесение в небеса. То было началом Путешествия Христа, куда Он отправился, провожаемый горсткой учеников. Голубое небо с белыми облаками было таможенным барьером, за которым скрылся отлетающий Учитель.

И можно сколько угодно теперь ждать Его возвращения, сидя на земле и глядя в небо, — но чего же ждать, от тоски и нетерпения творя всякое беззаконие и заваливая землю нечистотами и мусором отходов своего алчного существования? Ведь Христос ушел в Свое Путешествие один, никого не взял с собою — видимо, единственный у Него был билет на тот звездолет, всего один на нашу Землю билет, и Он в одиночестве, налегке, безо всякого даже маленького багажа в руке отбыл, вознесся на прозрачном лифте за облака, в стратосферу, где находилось место посадки на звездолет.

Когда я ослеп и перестал видеть мир, звезды и солнце — я перестал видеть жизнь. И я не вижу больше Бога. Передо мной постоянно стоит тьма, а это и есть царство смерти, где нет никакого чувства, движения или устройства. Но есть Христос, моя дорогая, Он всегда с нами, в нас, как зов крови в теле нашего одиночества. И я хочу уйти в те пределы, где звучат сейчас шаги его узких изящных ног, я отправлюсь в то же Путешествие, что и Он, надеясь когда-нибудь и где-нибудь увидеть Его хотя бы на миг, хотя бы со спины — уходящим от меня и недостижимым.

Но ты же сам сказал, Орфеус, что Он ушел один, никого не взял с собою... Значит, там, куда Он ушел, никто из нас Ему не нужен? Зачем же ты пойдешь туда, куда тебя не звали? Ты больше не видишь Бога — а ведь Христос ушел к Нему, Своему Отцу, и находится сейчас там. Ты же хочешь войти в Дом, хозяин которого тебя не звал, — прилично ли это, Орфеус?

На это он ответил: я не думаю сейчас о приличиях. С тех пор как взрывом вышибло мне глаза, я перестал отличать приличное от непри-

личного, и это меня больше не беспокоит. Я озабочен только одним: если существует Дом, тот самый Дом, о котором ты говоришь, то после смерти своей я хотел бы увидеть его, хотя бы издали. И если будет на то дозволение, я обязательно хотел бы подойти и постучать в дверь, прилично это или неприлично. Все дело в том, моя дорогая Надежда, что слишком велико для меня и непонятно то, что называется Домом Божиим. Так же как и вся вселенная, он столь огромен, что даже нет таких чувств во мне, чтобы это представить, и нет свойств ума, чтобы это предопределить. Но все это стало далеким и чуждым мне с тех пор, как я потерял глаза. Один только Христос остался у меня, к Нему я хочу: постучаться в дверь Дома и спросить, здесь ли Он — и по-прежнему ли похож на Сына Человеческого?

Почему ты думаешь, что для человека, обыкновенного человека, возможно такое Путешествие? *Потому, что любой человек способен заплатить за билет ту же цену, что и Он. Смертью? Да, смертью.* Но как же воскресение, Орфеус, ведь надо воскреснуть, как Он, чтобы отправиться в Путешествие, а чем же за это платить? *Думаю, за воскресение не надо платить. За это уже заплачено.*

Не надо было платить за воскресение, за возвращение Лазаря из гроба снова в свой дом, где ему предстояло когда-нибудь умереть еще раз. А за воскресение всех людей в Царстве Христа уже заплачено. Была единственная возможность вернуть всех умерших из смерти — заплатив за это равноценной жизнью. Этой возможностью воспользовался Он, Сын Человеческий, *однажды* приходивший на землю, а потом, воскреснув, живым ушедший на небо при свидетельстве Своих учеников.

Когда на моем лице еще были зрячими глаза, они имели, как и у всех людей Востока, черный цвет. Мы люди ночи, и это она проглядывает сквозь наши глаза: наш внутренний дом — бескрайняя ночная мгла, где звезды и луна освещают путь, являют путникам пределы мирового пространства. Все, что мы обрели, восприняли и объяснили, найдено в бархатной тьме ночных пограничий, и все, что сделано нами, сотворено в наших домах при искусственном свете. Поэтому и мысль ночная у нас столь огромна в своей далекой непроглядной размытости, а изделия рук человеческих столь скрупулезно исследованы в своих самых мельчайших частях, крупницах и извилах.

У тебя же глаза голубые — у вас, людей Запада, глаза синие, серые, янтарно-прозрачные: все краски ясного дня. И ваш внутренний дом — это светозарный день от восхода до заката, окошечки ваших глаз пропускают сквозь себя все оттенки неба, меняющегося много раз на дню. Солнце освещает ваши пути, и в его лучах открываются вам пределы мира, очерченные ясно видимой линией горизонта.

И у Него глаза были прозрачно-голубыми, но брови и ресницы темными — в обрамлении черной размытости ресниц голубые очи и светлый лик в разделенном надвое водопаде ночных волос. Я увидел Его таким — Он является перед нами, когда нам становится совершенно неспособно... У Него были мягкие усы и небольшая молодая борода, уста Его были сияющими, нежными, чистыми, словно край небес в предвещии наступающего утра. Это был Человек красивый, то, что сразу же познается нашим сердцем как Божественное. И у Него были голубыми глаза, как у тебя, наверное, но волосы — темными, как у меня, потому что на них пошла самая древняя краска созидания человеческого — цвета бескрайней Ночи.

Итак, Он был похож и на тебя и на меня, хотя Германия и Корея (тем более!) оказались далеки от того летящего во вселенной пространства, по которому пробирался Он, окруженный учениками, — и ведь среди них не было корейца, не было и германца.

Но я ведь, Орфеус, не германка, ты не знал этого и не мог знать, я русская, и Россия мне родина — и все же ты прав в том, что я тоже похожа на Него, ведь я все время смутно чувствовала, что у меня сходство не с

моими отцом и матерью, а с кем-то другим, не имеющим к крови моей никакого отношения.

Да, Надежда, Надя (русская, — вот откуда у тебя такое имя!), Он похож на всех нас, кому открылась музыка, на всех тех, кто мог в своей жизни прочесть партитуру Моцарта или дирижировать хором при исполнении мессы in C-dur (KV 258). Твоя душа пробудилась от русского Слова, моя — от корейского, но мы сейчас говорим с тобой на немецком языке, и это благодаря тому, что Им создана христианская музыка с ее небесной гармонией. Властью ее каждый из нас был освобожден из тысячелетнего плена крови, от вечного узилища нации, от семейного рабства родного языка. Именно Он является тем Композитором, который в разные времена носил прославленные имена: Бах, Гендель, Моцарт. Через музыку Христос стал понятней всем людям земли в своей небесной сущности. Христианская музыка сделала всех нас знающих ее, единым народом христоролюбивых детей.

Орфеус, Орфеус, эта музыка и меня привела к нашей встрече, я услышала однажды твой голос и с тех пор не могла забыть его, я и в Корею поехала, чтобы снова услышать, как ты поешь. В твоем голосе звучит то, чего нет ни у кого из всех, кого я слышала, — в твоем голосе нет ничего привычно человеческого, если не считать, конечно, редкостного его тембра, силы и при этом — замечательной полетности; и прекрасная вокальная школа — все это есть, есть, но помимо этого, сверх этого царит в твоем голосе власть другого мира. И для меня это стало не только примером прекрасного воплощения бельканто в корейском варианте — нет, выходя за пределы и Запада и Востока, твоё пение, Орфеус, устремлено в непостижимом порыве куда-то в неизвестное нам и ностальгическое, словно потерянный рай. И хотя я думаю, что ты, в сущности, никогда и не пел для людей — голос твой их зовет, тревожит и манит туда, куда он сам летит, одинокий и безоглядный. Я поняла, что ты поешь не просто как незаурядный певец, не как молодой тенор с выдающимися способностями — в твоём пении я ощутила некое Учение. И теперь, когда мы с тобой так много и хорошо говорили о нашем Спасителе, я поняла, что то нечеловеческое, звучащее в твоём голосе, это и есть Учение о Преображении. Твой голос звал меня, милый Орфеус, к тому, что находится за пределами нашей жизни.

Я не могла уже просто быть, радоваться свободе независимого женского существования, чего всегда хотела и что обрела наконец, уехав из России в Германию. Нет, я хотела теперь слышать твой голос, Орфеус, мне он снился во сне, а однажды в обеденный перерыв в университете, сидя за столиком в ресторанчике с коллегами-профессорами, я столь явственно услышала его, что даже вскрикнула, как от боли, и закрыла лицо руками. Друзья встревожились и стали спрашивать, что со мною, и я пролепетала им что-то о внезапной головной боли с отдачею в виски, хотя и не знала никогда в жизни, что такое головная боль. И мне стало понятно, Орфеус, что вовсе не главное для меня моя женская независимость, моя работа и мой свободный полет. Мне тридцать два года, в прошлом я дважды была замужем. Я разошлась с мужьями, потому что каждый раз не представляла себе одного: как мы сможем вместе прожить эту жизнь... Осмеливалась ли я после этого думать, что когда-нибудь полюблю — не мужчину, не просто человека, а прежде всего его Голос? Я думала, что уже все знаю о любви и нелюбви, но оказалось, что я почти ничего не знаю об этом. Оказывается, любовь женщины — вовсе не желание принадлежать кому-то, быть с кем-то, против такой любви восставала вся моя душа. Но любовь женщины, Орфеус, это желание все же принадлежать — только не кому-то, а чему-то.

Или это потому, что я русская? *«Что-то слышится родное»*. *«Я не знаю, что о таком вдруг случилось со мной»* — так поется в наших старинных песнях. Я, женщина, первую призналась в любви, Орфеус, — о, такое у нас в России бывало. Тебе двадцать пять лет, я на семь лет старше тебя,

я по происхождению русская дворянка, ты знатный и богатый корейский юноша — и я признаюсь тебе на немецком языке: *Ich liebe dich, Orfeus!* Благословенна немецкая музыка, любовь к которой и привела нас к этому языку, на котором сочинены тексты месс Баха и Моцарта. Чтобы петь арии так, как это звучит в оригинале, ты специально ведь и выучил немецкий.

Итак, мы с тобой разговариваем на немецком языке, и ты не знаешь моего русского, и я не понимаю твоего корейского. Но у нас есть язык, который возник в мире, наверное, раньше всякого словесного языка. Наверное, до Слова была Музыка. *В начале была Музыка, и эта Музыка была в Боге, и Музыка эта была — Бог.* Мы с тобой, любимый мой, общаемся на языке Музыки.

Я люблю тебя так, что в этой жизни и во всякой другой, если она будет, должна быть всегда с тобой. Допустим, нам предстоит еще много перерождений или настанет всеобщее обязательное Воскресение в Царстве Божьем — о, я не знаю, не знаю! — а может быть, у нас ничего нет, кроме этой единственной жизни, в которой мы находимся. Но, во всяком случае, я всегда хочу жить вместе с тобой, рядом с тобой — будь это всего одна жизнь, множество странных жизней или нескончаемая весна райских дней.

Ты понимаешь, Орфеус, я раньше хотела смерти, которая от всего бы меня избавила, а теперь я эту смерть ненавижу, потому что она может когда-нибудь нас разлучить. Я боюсь даже подумать о том, что когда-нибудь прервется наше с тобой общение на языке Музыки. И если даже ты после своей беды никогда, никогда больше не сможешь петь — я все равно буду слышать твое пение, всегда буду слышать. И здесь, среди людей, я останусь единственной, может быть, кто будет помнить твой исчезнувший голос.

Так, как я люблю Орфеуса, любил меня, быть может, мой первый муж — но почему, но за что? этого я так и не поняла. Он давно умер, Евгений, бедный.

Она ушла, захватив с собою всю многочисленную семейку своих личных вещей, ничего не забыв, — хотя и, полагаю, без сопровождения голубых домашних босоножек, которые я откуда-то привез ей в подарок. Я их видел, кажется, вплоть до того дня, когда ко мне явился усатый Келим и протянул запечатанную в пластиковый пакетик орхидею. А те несколько дней и ночей, что отсутствовала жена и о которых она не захотела давать мне объяснений, явились для меня и для ее вещей, остававшихся дома, временем абсолютно бессмысленного существования. Ибо им — ее платьям, блузкам, колготкам, трусикам, джинсам, шортам, носочкам — и мне, ее незадачливому мужу, от которого она уходила, — нам невозможно было исполнить свое предназначение. Ведь мы существовали только тогда, когда могли холить и лелеять ее нежное тело, ласкать эти ноги в золотистом пуху, льнуть к ним, любить величие ее лона, вновь и вновь прикипать к нему ради утоления неимоверной жажды, в которой столько же печали, сколько и в знании нечеловеческом.

ЕВГЕНИЙ БЕДНЫЙ

Это было очень и очень странно, неисповедимо: смотреть на улицу через окно квартиры в светящийся листвою деревьев летний день, а самому находиться в своем сыром, наполненном скользкими внутренностями теле и видеть через моргающие люки глаз колеблемую ветром листву на тополях и прыгающих по веткам воробьев. Тот сырой мешок тела, в котором я обретался, был безнадежно плох, как и все прочие подобные мешки на свете, — способен был, того и гляди, в любой момент порваться, и его содержимое могло вывалиться в прореху.. Я постепенно до конца постигал

все уязвимое несовершенство своего обиталища, всю жалкую, безнадежную его устремленность к какому-то счастью, блаженству...

Моей жены четыре дня не было дома, ночевала неизвестно где, а я ждал ее, выгибая из своего телесного мешка, со всех сторон окруженный влажной парной тканью мяса, находясь вблизи дерьма своего и внутри потока собственной алой крови — пленник тщеты своей и беспомощный раб собственных вождлений.

...На пятый день я вышел из своего тела и, прежде чем покинуть его, внимательно посмотрел сверху на то, что лежало небольшой кучкой на полу под окном, возле радиатора водяного отопления. Мое тельце, бедный мой вонючий мешок, валялось, откинув руку, в которой была зажата орхидея... Этим днем жена наконец появилась дома, но всего на час — чтобы собрать в чемодан свои вещи. Когда она вновь ушла, так и не соизволив ответить ни на один из моих вопросов, я опустился на пол там, где стоял, и вытянулся, лежа на спине. Тут и появился усатый Келим, держа в руке прозрачную пластиковую коробочку с запечатанной в ней орхидеей. Он снял с головы огромную кепку, какую любят носить пожилые кавказцы, положил ее на стол рядом с цветком и уселся в кресло.

— Жизнь твоя здесь, в этом мире, закончилась, — сказал он, со скучающим видом осматривая мою ужасную комнату. — Я пришел, чтобы переселить тебя в другой мир.

— А далеко ли это отсюда? — спросил я. — Сколько километров примерно?

— Нет, так нельзя считать, дорогой, — был ответ, — километры тут ни при чем. Другой мир находится здесь, — и он обвел рукою вокруг себя, — но просто он другой и не касается этого.

— А какой он? Можно его представить, пока я еще не умер?

— Почему же нельзя... Можно. Это как слова... Об этом было уже сказано: в начале было слово.

— Но почему мне так страшно, Келим? — далее спрашивал я. — И этот сырой мешок, в котором я нахожусь, — почему его так жалко?

— Потому что в другом мире, куда тебе предстоит переселиться, мой дорогой, ты никого не сможешь любить. Там нет любви. Одни только слова...

— Но ведь никакой разницы, Келим! — вскричал я. — Помилуй! В этой жизни все почти то же самое! Здесь тоже каждый из нас всего лишь какое-нибудь пустое, ничего не значащее слово. Однажды лишь прозвучит — а далее тишина...

— Нет, — отвечал Келим, — не совсем то же самое. Пустота мира, которую ты ощущаешь здесь, это еще не сама пустота, а всего лишь предварительное место заключения пустоты. За нею последует нечто гораздо более великое. Отсюда и твой ужас перед ним.

— Значит ли это, что любовь, от которой я сейчас умираю, отсутствует там, в этой великой пустоте?

— Я уже сказал... Нет ее там, потому что нет сырых тел, нет другого вещества, кроме слова. И нет женской красоты, рождающей мужскую любовь, — также и наоборот.

— Значит, ты обещаешь мир, в котором больше не будет любви?

— Не будет.

— Что надо сделать, чтобы скорее оказаться там?

— Возьми орхидею, — сказал усатый Келим и протянул мне цветок. — Бери-бери, дэнги нэ нада, — произнес он, пародируя кавказский акцент.

И как только я принял от Келима пластиковую коробочку с орхидеей, во мне началось движение, которое постепенно освобождало меня от скованности жизнью. Это движение, превратившееся в чувство, делало меня летающим и бестелесным, оставляющим навсегда все беспомощные тревоги прежнего бытия. И я с жалостью и скорбью в последний раз оглянулся на бедное тело, лежавшее на полу; в откинутой руке моей тускло блестела прозрачная коробочка с лилово-белым цветком внутри.

И вот упоение небес и восторг земли, не знающих справедливости, сочетающих прозрачную голубизну и тяжелую твердь в едином мироволеннии! Освобожденная от бранных узилищ, душа моя еще не ведает своих новых возможностей, и ей открыта лишь безмерная, лучезарная устремленность к нескончаемому полету.

Еще мгновение — и я навечно забуду все то, что было со мною в отошедшей жизни. Миллионы цветочных сияющих ликом, каждый из которых — слово, также состоящее из слов-лепестков, и слов-тычинок, и слов — золотистых пылинок, все они ждут моего слияния с ними и полного забвения земной жизни и несчастной моей любви.

Но Боже мой, Боже мой! Смилуйся! Еще раз — дай еще раз вернуться назад и в полете, в кружении над обиталищем моих страданий дай снова осмотреть печальное поле битвы, которую я проиграл. Я хочу вновь увидеть все подробности этого проигранного сражения, но не снизу, из праха, на уровне задавленного колесом и затоптанного ногами солдата, — нет, нет! Я хочу увидеть все это с высоты пролетающих над полем ангелов, с прозрачных вершин воздушных холмов, на которых величественно восседают, словно исполинские полуденные облака, полководцы и начальники небесного воинства — Серафимы, Власти и Престолы высшего мира.

Теперь мне можно: я вижу все по-другому, нежели раньше, когда жил и страдал; теперь не исказится моя душа мукой и ненавистью обманутого зверя, которого соблазнили приманкой и поймали в стальной капкан. Мою жену звали Надеждой, а меня Евгением, мы жили в мире русских слов, из которых самым последним, произнесенным мною, было слово «прощай». Это же слово произнесла и Надежда уходя, так что оно прозвучало в самом конце моей жизни дважды:

— Прощай.

— Прощай.

Ну и хорошо, ну и ладно, простили меня, и я простил. Мое тело нашли уже совершенно разложившимся, но цветок орхидеи, сжимаемый мертвой рукой, был все еще живым. Его отложили на подоконник, в нем бродили соки и силы, относящиеся к той жизни, которая — вся — была уже для меня потусторонней. Но, заключенный внутри прозрачной коробки, цветок этот удивительно напоминал меня самого, который жил там, в мире русских слов, питаемый ими. Так отрезанная головка орхидеи питалась каплями желтоватой жидкости из баллончика, в который был погружен ее отсеченный шейный стебелек.

С подоконника орхидею забрал следователь районной прокуратуры, молодой и бедный раб той государственной системы, которую установил князь в этой стране. Следователю необходимо было выяснить, какое отношение имеет цветок к моей смерти: не ядовитое ли вещество и отравление вызвали ее? И если это подтвердится, то надо было определить, имеет ли место насильственное воздействие, то есть покушение. А может, налицо было явление бытового самоубийства на почве супружеской неверности? Результат вызванного изменой жены неудержимого отращения к жизни?

Лабораторное исследование жидкости, питающей головку орхидеи через круглую ранку стебля, показало абсолютную ее безвредность. Следователь послал запрос в центральный цветочный магазин Москвы на Новом Арбате, где обычно продавали орхидеи, и получил ответ: партию таких цветов недавно поставил грузинский оптовик Келим Рустамов... За время этого выяснения цветок ничуть не увял, имел все тот же противоестественный вид девственной свежести и какой-то неимоверно соблазнительной порочной красоты, так что следователь Нашивочкин счел возможным вновь запечатать орхидею в прозрачную коробочку и подарить ее замужней женщине из протокольного отдела, к которой служитель прокуратуры имел сильнейшее влечение.

Та прекрасно знала об этом, даме было приятно ощущение своей власти над человеком, который был почти вдвое моложе ее, но она, будучи верна мужу, и помыслить не могла поощрять Нашивочкина или, паче чая-

ния, хоть когда-нибудь отдаться ему. Однако орхидею с удовольствием приняла и даже отнесла домой, засунула коробочку в кухонный шкаф, чтобы муж не заприметил и слупа не заревновал... В ту же ночь орхидея умерла, наутро Валентина Сергеевна из протокольного отдела обнаружила ее опавший и сморщенный трупик в пластиковом гробу — и с непонятной для самой себя сильнейшей враждебностью к Нашивочкину и с гадливым чувством к останкам орхидеи выбросила коробочку в мусоропровод.

В дальнейшем безжизненные ошметки экзотического цветка отправились в бункере громадного мусоровоза, придавленные горой бытового мусора, на кладбище вещей, на грандиозную городскую свалку № 1 Черные и светлые дымы лохматыми хвостами подымались к небу — горели сжигаемые в кострах и печах останки предметов, созданных волею человека, творца многих вещей. Но совершенно ясно было при взгляде на эти легковесные дымы, что никакому огню не совладать с таким количеством безобразных трупов человеческого имущества...

Я рассказал о финале судьбы орхидеи, которая, даровав мне смерть, сама тоже отправилась на кладбище — и через это стало доказательным полное наше предметное равенство в существующей системе вещей: в этом мире, где звезды, люди и башмаки рождаются, чтобы одинаковым образом исчезнуть.

Итак, в начале было слово, и это слово было во мне, и это слово было «я». Русское слово — и вокруг все слова русские, и я уже не в одиночестве. Я иду по розовой глиняной тропинке, которая переходит с одного плавного бугра на другой, иногда теряется из виду — когда западает в невидимый с моего места склон, — однако на подъеме следующего бугра бодро устремляется дальше, огибая справа или слева вершину или напрямую отважно перемахивая через нее. И однажды, когда я находился как раз на таком вершинном участке тропы, увидел вдаль, за вторым бугром — на третьем отрезке прерывистой в моих глазах дорожки, — идущую навстречу мне женскую фигуру в светлом...

Я — слово, и рядом со мною другие слова, и все вместе мы составим сейчас картину рая на земле. Этот рай расположен на пространных пологих холмах срединной России, в пойме широкой и прихотливо излучистой реки Оки. Заливаемая полой водою весеннего разлива, эта раскатистая приречная долина летом представляет собой пестрый луг цветущего разнотравья. Я шел по райским холмам, всей грудью вдыхая воздух Бога моего, и увидел вдаль на склоне отлогого холма идущую навстречу мне женщину во всем белом.

Слова, которыми я был окружен, разъяснили мне, что река Ока, распространившая свои змеистые извивы по всей Среднерусской возвышенности, и на самом деле была когда-то змеею — тем самым змеем-искусителем, который совратил Адама и Еву. Правда, существует мнение, что змей-то ни при чем: лукавый воспользовался им, как чревовещатель куклой: слова соблазнения произносил некто, а змей только пасть раскрывал. Теперь же змей библейский был сражен и сброшен наземь, превращенный в одну из самых красивейших рек земного рая. Краешек его блистающей чешуйчатой спины сверкал под солнцем как раз за третьим, дальним, лиловатым холмом, с вершины которого по едва заметной ниточке тропы спускалась женщина в белом, направляясь в мою сторону.

Пока она спускается с дальнего холма, исчезает за отлогим склоном второго, чтобы вскоре, очевидно, появиться из-за него и возникнуть на тропе — уже гораздо ближе ко мне и приближеннее к минуте нашей встречи.

Пока неотвратимо и неуклонно сближаются наши стучащие сердца, мы успеем сказать несколько слов о том, что раем стала не только Россия, но и вся планета целиком и люди на ней больше уже никогда не умирают. Я и все другие, которых теперь встречу на своих путях, — все мы впрямь будем исполнять одно лишь предназначение: вечно ходить по земле в поисках тех, которые воскресли — так же, как и мы, как и я — и оказались на преобра-

женной земле. Мы будем искать и находить всех, кого жаждало иметь и любить наше сердце в прошлом несчастном нашем существовании.

И хотя Бог даст нам возможность летать, как и Своим Ангелам, мы, человеки, предпочтем ходить по земле пешком. Потому что некуда нам теперь спешить, да и незачем. Всех любимых, утраченных, мы все равно отыщем и крепко прижмем к своему сердцу. Неспешно путешествуя из страны в страну, мы будем наслаждаться этим видом творчества, этим дивным искусством: шествовать по путям нашего душевного влечения.

Поверхность земли, освобожденная от алчных земледельческих поповленений и всех видов скоростного транспорта, воняющего дыханием вельзевула, покрыта извилистыми пешеходными дорожками, узорчато-прихотливыми, тонкими линиями надежд. По ним можно было бы угадывать пути сердечных желаний всех преобразенных людей на земле. Для одних были бы милы и привлекательны ровные долинны, для других — горные перевалы, террасы и проходы по извилистым крутосклонным каньонам, а некоторые предпочли бы лыжные пути через Северный или Южный полюс. Мне же нравится ходить по отлогим увалам и просторным равнинам срединной России.

А Божественный дар полета, врученный нам для нашей свободы, мы вовсе не отринули неблагоприятно, но всегда использовали к месту, в меру и по необходимости случаю. Пошатнется усталый путник-горнопроходец где-нибудь на скальной окраине, где проходит дорога, и падет вниз — но не грянет на камни, потому что гибнуть ему нельзя, он бессмертен: автоматически включится в нем левитация. Еще бывает нужна она для переправы путешественника через реку или море, здесь без полета не обойтись. И на самых популярных трассах, где-нибудь над Ла-Маншем или Беринговым проливом, над Босфором или Дарданеллами, можно будет увидеть самые пестрые, развеселые и картинные толпы летящих по воздуху людей.

Я спустился со своего холма, пошел луговой дорожкой по отлогу изволуку, мне видна была тропинка, бегущая по склону следующего холма. По этой розовой тропинке шла, приближаясь ко мне, уже хорошо различимая и вполне узнаваемая на таком расстоянии Надя, моя жена... И вот наконец мы встретились посреди дороги и обняли друг друга.

Она выглядела на те же самые двадцать пять лет, такая, какую я ее запомнил, — *а ему можно было бы дать сорок лет с небольшим, это был крепкий мужчина в расцвете сил, каким он в жизни никогда не был. Я вспомнила, что умер-то он всего лишь двадцати восьми лет*, а я в эту минуту задался вопросом: сколько же лет прожила она на свете после меня? И нам обоим, для которых время стало бесконечным, прошедшие до наших смертей мгновения представились блестящими шариками ртути, которые соскользнули с чьих-то теплых ладоней, упали на дорогу и рассеялись тысячами невидимых крохотных капелек.

Сколько лет тебе было, начал я и невольно запнулся, на что она, понимающе улыбнувшись, сама продолжала вопросом: *когда я умерла?* Я кивнул и тоже улыбнулся — смущенно, и подумал при этом: почему Келим, ангел смерти, так бездарно лгал мне в час моей самой тяжелой страсти? *Я также была поражена: оказалось, великая правда в том и состоит, что рай и есть воскресение*, — зачем надо было Келиму внушать нам, что, когда смерть наступит, мы проваливаемся в пустоту абсолютного одиночества?

Я погибла в тридцать пять лет в Португалии... — значит, ты пережила меня на семь лет... но почему Португалия, Надежда, каким образом ты попала туда? *После твоей смерти я жила в разных странах: в Германии, Южной Корее, во Франции*, — ты еще выходила замуж, Надежда? *Да, два раза, но оба моих мужа также умерли, как и ты*, — так же умерли, как и я? Значит, они умерли от своей любви к тебе? Мы ведь встретились здесь, потому что я искал тебя... А ты, ты тоже искала меня?

Нет, я искала другого и обошла пешком уже всю землю, — и сколько же лет ты ищешь этого другого и почему до сих пор не могла найти его? *Не знаю*

точно, сколько лет прошло: сто, двести или пятьсот... может быть, тот, кого я ищу, на самом деле и не умер, хотя я сама хоронила его на семейном кладбище в Корее. «Не умер на самом деле...» — что это значит, Надежда? Я хотела сказать, что, возможно, Орфейс и не жил на свете, вернее, его бесподобный голос принадлежал не тому человеку, который умер у меня на руках, — это был мой третий муж. Но кому же тогда мог бы принадлежать этот голос, если не мужу твоему, — не знаю кому, но, по всей вероятности, человеку, избранному осподом. И Орфейс находится теперь не на земле, а на небе.

В таком случае, милая Надежда, ты не сможешь больше увидеть этого третьего своего мужа и обнять его, как меня сейчас, — да, это так, не смогу больше увидеть его и обнять, но зато смогу вечно ходить по земле и искать его. А мне, что остается делать мне, моя дорогая, моя единственная на все времена? Ведь я тоже воскрес в этом мире вечного счастья только лишь для того, чтобы найти тебя! Я оказался на райской земле, посреди зеленой долины реки Оки, и встретил тебя — для того ли, чтобы вот сейчас, точнее, сию минуту снова расстаться с тобой?

О, бедный мой Евгений! Ты угадал: я действительно вот сейчас, сию минуту, должна отправиться дальше. И было бы совершенно невозможно проявить здесь то лицемерие, которое являлось причиной несчастья всей нашей совместной жизни там, в прежнем существовании. Евгений, я не могу здесь последовать за тобой и не могу также взять тебя в спутники для своего нескончаемого путешествия.

Надежда, Надя, тогда зачем бессмертие, зачем чудный рай, если и здесь я должен потерять тебя?

Так начинался ропот и в древнем раю: там ангелы, открывшие в себе любовь, потребовали у Творца свободы для нее. Не надо было Творцу их создавать, Духу, летающему над темными провалами Хаоса, лепить из кусков мглы ангельские сонмы, наполненные гордым сознанием своего величия. Что же безнадежно исказило прежний прекрасный миропорядок, по которому ни одна вещь не знала любви к другой вещи? Ведь звезды, как овцы, были послушны Пастырю, брели созданным миром по Его воле. Камень не любил камень, и мужчина не любил женщину. Все было замечательно, все — в полной гармонии взаимного тяготения и бесстрастия.

Но вот с пролетающих над землею облаков стали подсматривать за человеческими дочерьми прячущиеся там ангелы. Они были созданы для любви к Богу, и многие из них, охотники вольно полетать над землею, лежа на облаках, вдруг обратили свою любовь с Бога на дочерей человеческих. Перенесли созерцательное внимание свое с Творца на сотворенные им живые вещи — с сияющими грудями и бедрами, с роскошными волосами, ниспадавшими вдоль спины до круглых выпуклых ягодиц, с прозрачными каплями воды, стекающими с их подбородков, когда они выходили из озера, вдоволь накупавшись там в полуденную жару.

Из падших ангелов впоследствии и создалось войско князя, которое вело войну с ангелитетом за власть над земным человечеством. Но в решительной битве 1914 года, когда силы ангелов возглавлял Сам Спаситель, мятежное войско было разбито, сброшено с небес и преследуемые демоны рассеялись по всей земле, прячась среди людей.

Одни схоронились в вещах, другие внедрили в политические режимы, третьи стали городами или даже государствами в разных частях света. Но некоторые предпочли внедриться в отдельные человеческие жизни, влияя на рождения судьбы а после смерти одного человека переходя в другую судьбу.

Порой бывало и так, что в какого-нибудь бедолагу вселялось сразу по нескольку демонов. Например, в России были партийные и государственные чины, в которых сидело по двести — триста чертей сразу. Правда, это были черти самые ленивые. вконец отупевшие и безобразно опустившиеся от смертного страха — бесы низкого разряда.

Но Последние Времена на земле все же были отмечены и многочисленными проявлениями незаурядных, самобытных действий одиночек, например таких, как я. Я после Ноева потопа никогда не имел своего образа, поэтому никто никогда не видел меня — мне самому неизвестно, как я выгляжу. Когда скуют самого князя и упрячут его в подземную тюрьму, а вместе с ним и всех его приспешников, громадных, как горы, и грозных, как тайфуны, — один я останусь на свободе, и самым блистательным ищейкам ангелитета не удастся меня обнаружить. Я проникаю всюду, преодолеваю любое самое громадное расстояние во мгновение ока и ускользаю от преследующего внимания любых филеров демонария. Я против них действую приемами и способами, известными только мне одному, и преследователей своих завожу в тупик — недаром среди них кличку я ношу д. Неуловимый.

Орфеус тогда находился в Бамберге. Там на крошечной уютной площади с памятником писателю Гофману Надежда усадила мужа на скамейку, а сама пошла искать ближайшее почтовое отделение. Орфеус отрешенно и послушно, как всегда, исполнил повеление жены — сидел и ждал на деревянной скамейке, с краю маленькой, неправильной формы площади, посреди которой на низком постаменте стоял металлический Гофман в цилиндре — причудливого облика худощавый господин. Опираясь подбородком на дорожную, превосходной работы трость, Орфеус отдыхал в этой своей привычной позе — такой способ отдыха заменял ему лежание на диване. Здесь главным было то, что голова успокаивалась на опоре, обретала неподвижность, на какое-то краткое время как бы получала иллюзию освобождения от земного тяготения и, в иные мгновения, даже от самого проклятия человеческого существования.

Д. НЕУЛОВИМЫЙ

У Гофмана в руке также была палочка, и он постучал ею по бронзовому постаменту, на котором стоял.

— Эй, господин в черных очках! Мне не хочется быть неучтивым, но я вынужден спросить у вас: вы, должно быть, слепой?

— Да, — ответил Орфеус и выпрямился на скамейке.

— Вот я и смотрю, что вы как пришли сюда и уселись, так и ни с места, и даже ни разу не обернулись.

Орфеус улыбнулся этим словам; в ответ на удары гофмановской палочки синкопно постучал своей тростью по каменной мостовой и миролюбиво произнес:

— Не пытайся только на этот раз выдать себя за Гофмана или там что у тебя? Бронзовый человечек? Статуя командора?

— А за кого же тогда прикажешь мне себя выдавать? — был ему вопрос.

— Пока жена на почте отправляет свои письма, — говорил Орфеус, — у меня есть время совершить небольшую экскурсию... Будь мне гидом, пожалуйста...

— Хорошо, — ответил я. — Гофман не обидится, надеюсь, на эту твою неучтивость... Так куда бы ты хотел попасть на экскурсию?

— К тебе домой, — неожиданно произнес Орфеус, — или туда, где ты обитаешь на земле. Ведь есть же какое-то место, куда ты удаляешься, когда хочешь побыть один?

— Ну что ж... Отправляемся тогда в монастырь. Я настоятель этого католического монастыря, отец Павел. И учти — я тоже слепой человек.

— Почему же слепой? Когда и как ты ослеп?

— Ослеп я в детстве после болезни.

— Но как же тогда ты мог стать священником?

— Господу было угодно, и я стал-таки священником, к чему у меня было с юности великое желание.

— Не страшно ли, святой отец, стоять между людьми и Богом и делать вид, что ты находишься гораздо ближе к Нему, чем все остальные?

— Но в данном случае, Орфеус, я и на самом деле предстою к Нему ближе, чем ты или другой человек, чем всякое живое существо земного рода. Дело в том, что я один из самых первых ангелов, созданных Им, — из сонма зажигателей звезд во вселенной, и безо всяких кривотолков — Он наш едиnorodный Отец.

Многие из нас, рассеявшись по всей земле среди разных народов, стали жить на уединенных вилах и роскошных загородных дачах, охраняемых вооруженными слугами. Другие же предпочли не иметь постоянного места жительства и вечно находятся в разъездах, и домом их является какая-нибудь первая попавшаяся гостиница. Ну а третьим, таким, как я, подходит больше всего бывать у людей на глазах, соваться всюду им под руки и даже подвизаться на каком-нибудь видном поприще — но быть совершенно неуловимыми и нераспознанными...

Князю теперь ясно, что все его победное шествие по человеческому миру подходит к заведомому концу и надо куда-то складывать парадные знамена и флаги. Но не давая ему спокойно подумать об этом, его верные знаменосцы и флагодержцы начинают потихоньку разбегаться, бросая на землю символы торжества. Хотя делать этого им, неверным офицерам, солдатам и волонтерам княжеского воинства, лучше бы не стоило. В том случае, окажись поближе князь, а не органы ангелитета, изменнику станет ничуть не лучше: сбитый с ног могучим ударом молнии, связанный затем по рукам и ногам, дезертир будет засунут в ту же камеру крематория, в которой жгут трупы обычных людских иуд, предателей всех времен и народов...

Орфеус, ты у меня в гостях, в монастыре, в моей бумагами пахнущей келье-канцелярии. Я для тебя голос отца Павла, такого же слепого человека, как и ты, и тебе неизвестно, что перед тобой сидит лысоватый, полноватый человек с бледным рябым лицом, совершенно невыразительным, хотя, впрочем, и не лишенным приятной профессиональной доброжелательности. И я как бы не вижу перед собою тебя, заграничного гостя, черноволосого азиатского молодого человека в темных очках, с малоподвижным натянутым лицом... Мы, два слепца, сидим друг перед другом.

А теперь я, всего лишь голос грешного отца Павла, молитвенно обращаюсь к Богу совместно с гостем из чуждедальней страны. Он не видит лица священника, но слышит голос, и по нему, должно быть, ему понятно, что мне не будет спасения, хотя я и глубоко сожалею о своей вине перед Господом. Все равно меня постигнет смерть, такая же бездонная и холодная, как все межзвездное пространство тьмы. Но пусть узнает мой гость, что и у того, который лишен всякой надежды, кто навсегда изгнан из Его пределов, есть своя молитва к Богу: это молитва во спасение не своей, но другой души...

Итак, один из падших ангелов высоким теноровым голосом католического священника таким образом обращался к Богу:

— Господи, Тебе ведь все ведомо. Что было отнято у этого юноши, то отнял не Ты... И Ты знаешь, Господи, кто отнял. Но ведь знаешь и то, что человек этот, сидящий передо мной, вовсе не зарывал данного ему таланта в землю...

Тут Орфеус вновь усмехнулся, дрогнув своим малоподвижным бескровным лицом, и сказал:

— Объясни мне только одно... Зачем тебе понадобился я?

— Сын мой, не знаю, о чем ты спрашиваешь, хотя твоя немецкая речь абсолютно правильна и звучит превосходно, — услышал Орфеус. — Я не вижу тебя, но чувствую, что ты молод, прекрасен собою и твоим сердцем правит возвышенное начало. Однако что-то тяжелое гнетет тебя и ты неспокоен. Доверься мне, расскажи о своей заботе, и я облегчу тебе душу. Ведь за этим приходят ко мне люди, и ты, наверное, также пришел за этим?

Они сидели друг против друга на диванчиках, меж ними был низкий пустой журнальный столик, поверх которого и протягивали свои руки два слепых человека: католический священник в темной сутане, с широко раскрытыми незрячими глазами и черноволосый юноша в строгом костюме, худощавый, в темных элегантных очках... Блуждавшие в воздухе руки — белая пухлая рука священника и смуглая, нервная, тонкая кисть Орфеуса — соприкоснулись наконец, и отец Павел нежно принял в свою длань холодные пальцы корейского музыканта. И я увидел, что лица их одинаковым образом просияли счастливой улыбкой.

Мне стало очень жаль обоих слепцов, над которыми я и не думал смеяться! Простая необходимость заставила меня пойти на такой шаг: надо было, чтобы они встретились и поговорили. Корейский слепец был католиком, и он должен был исповедаться своему священнику, принять от него отпущение грехов и благословение.

Слепой священник, не видящий внешнего мира, и впрямь обладал зорким духовным зрением, которое позволяло ему безошибочно угадывать наличие благого начала в любом приближавшемся к нему человеке. И, увидев это, он мог энтузиазмом своей чистой и страстной веры пробудить замеченные благие начала к действию... Вот в чем было прославившее его искусство слуги Божьего.

Но некий компьютерный вирус действовал в душевной машине отца Павла — и столь коварным образом, что начисто разрушал всю спасительную программу, и священнику так и не удалось спасти ни одной души!

В сложном механизме адамова комплекса вирус избирал для своего нападения тот участочек, который управлял гордыней человека. Отец Павел не видел ни одного из своих спасаемых агнцев, поэтому не мог знать, что в минуту наиболее ответственную и напряженную, когда он мощной духовной дланью буквально вырывал из тисков черной безысходности какого-нибудь бедолагу, тот, преданно смотревший в лицо слепому учителю, в какой-то момент вдруг ухмылялся самым неожиданным образом. У иных, правда, мгновенная остановка душевного энтузиазма сопровождалась не улыбкой, а растерянным или даже досадливым выражением лица с невольным отведением взгляда в сторону.

Причиной всего этого было внезапное оживление глаз отца настоятеля, доселе совершенно неподвижных, бесчувственно-пустых, а тут мгновенно наполнявшихся безудержным весельем и смотревших, остро впиваясь в зрачки собеседника... И у того молниеносно исчезала из души уверенность в том, что этот лукавый слепец (слепец ли?) сможет указать правильную дорогу к вечному спасению.

Никто из них — ни пастырь, ни соблазнившиеся овцы — не мог знать, что в момент радостного упоения учителя тем, что ученик усвоил высшее знание, я проскакиваю в его пустые глаза и принимаюсь там хохотать... — по крошечному хохочущему демону пляшет в каждой зрачке слепца... Когда-то, до Ноева потопа, ангелы могли принимать любой, самый причудливый, образ и появляться в таком виде среди людей. Многие из нас соблазнились красивыми дочерьми человеческими и стали жить в их городишках и поселках в качестве мужей или просто сожителей. Но после потопа ангелам было запрещено принимать какое-либо обличье. Поэтому мы больше уже не можем разгуливать по земным дорогам в виде красавцев великанов. Чтобы присутствовать здесь, на земле, мы должны воспользоваться уже готовыми предметами: скалами, городами, реками, русскими, зулусами, грузинами, — чтобы войти в предметы природы, в человекoв, и действовать с помощью их твердости, тяжести и энергии.

Ни отец Павел, ни тем более несчастный Орфеус, навсегда замолкший певец, не подозревали о том, что ими иногда пользуются то как карнавальными масками, то как компьютерами или, в случае крайней необходимости, как живыми щитами для прикрытия от внезапного удара со стороны. Зная то, чего не знали эти люди, а именно: что они никогда не умрут так, как умру я сам, — наблюдая за этими блаженными, доживающими

последние часы той страшной и лживой жизни, которая скоро совсем им будет не нужна хотя бы и как тропинка по крутому склону горы, приводящая к ее вершине, я изнемогал от бессильной зависти.

И никто из людей никогда не знал, что подобная зависть явилась причиной наших общих с ними страданий и, самое главное, — неискоренимой нашей ненависти к ним. Князь и мы — все ангелы, созданные раньше, — мы были рядом с тем, с Кем нам было радостно и весело, и Ему тоже был интересен наш сонм — его первая семья... Так для чего понадобились еще *эти*? Чем они лучше нас и чего в нас не достало, что понадобились *другие* для Его любви?

Князь первым пошел против *этих*, мягкотелых и голых, с их торчащими и лохматыми детородниками, с их ленивыми рычлыми движениями и тупыми глазами, полными бездонного эгоизма. Именно князь обеспечил их смертью, а вместе с нею и всеми сопутствующими тому прелестями и приятствами, за что и был он, один из первых бунтовщиков неба, развенчан, и проклят, и выброшен во тьму внешнюю, как собака из дома... И всем нам было известно, что с князем преступное послушание связалось впервые — и только по причине появления этих голеньких мелких существ.

А им и смерть и изгнание не были помехой для дальнейших их вредопакоостей в нашу сторону. Пышногрудые еврейские девы и белокурые красотки Атлантиды стали причиной следующей волны репрессий в ангельском сонме... А когда наши дети от земных жен вместе с их матерями были утоплены в водах всемирного потопа, вызванного Его гневом, многие из нас сами вышли во тьму внешнюю и полетели искать князя.

А некоторые не стали ни армейцами князя, ни зловещими городами, ни загрязненными реками земли — действуя в одиночку, они летали в качестве пилотов НЛО и в основном стимулировали появление боевых самолетов с ядерным вооружением. Но в последней решительной битве участвовали все — и одинокие партизаны также; после того как войска князя были разбиты и летом 1914 года сброшены в виде грандиозного метеоритного дождя с небес на землю, некоторым из одиночек удалось ускользнуть в космос — и они навсегда расстались с земной жизнью. То есть их постигла смерть. Это были первые ангелы-самоубийцы, добровольно вкусившие смерть, которые таким способом были наказаны за их ненависть к людям.

Значит, приобщение к вечной земной жизни и есть бессмертие; отлучение от этой жизни и есть смерть. Истинный Его гений в том и заключался, что вечность была нерасторжимо связана с жизнью. И венцом творения явился все же человек, ничего с этим не поделая, как бы мы, надевшие карнавальные маски, нырнувшие в диски компьютеров, закрывшиеся щитами из людских тел, — как бы мы ни презирали это Адамово-Евино потомство, уже миллиарды раз обманутое и надругательски истязуемое нами, совершенно чудовищное в своем поведении — но любимое, по-прежнему любимое Им!

Один из них еще задолго до рождения Христова получил возможность узнать о воскресении из мертвых — это был певец Орфей из Греции, которому разрешено было вернуть из подземного царства смерти его жену. Но он нарушил запрет, наложенный на него царем мертвых, и первое восхождение человека не состоялось: жена Орфея не вышла из подземного Тартара. Сын своей матери, каждый потомок Евы удобен для нас первым делом этой своей способностью страстно желать именно того, чего ему не разрешается.

Много веков спустя после смерти Орфея певец был возрожден в Корее в одном из корейцев — вернее, был вновь воссоздан его голос и воскрешен в новом теле дух райской музыки, которая может быть передана только человеком. Этому корейскому счастливицу были обеспечены место в новом раю и переход туда прямым, без тяжкого труда смерти. Но Евин сын не был бы таковым, каким получился, а мы, демоны, не были бы

ревнивыми заоблачными женихами ее дочерей, если бы не попытались сделать все, чтобы блаженному глупцу вновь лишиться милости своего Создателя.

Ведь Он поначалу и создал-то, словно радугу в облаке, на райской земле человека, чтобы только слышать его поющий голос: сочетание музыки и слова. Может быть, в начале и на самом деле была Музыка, а затем — Слово; может быть, Слово рождено Музыкой... Но как бы там ни было, мне теперь ясно, для чего Создателю стал нужен, кроме нас, еще и человек. В крошечном диапазоне и лишь в условиях хрупкого земного климата способен был прозвучать слабенький голосок Орфея; но именно он, только он, голос поющего человека, ребенок Музыки и Слова, может напомнить Ему о тайнах начала — о начале тайн, которых никто, кроме Его Самого, не знает и не может знать...

Орфеус-солдат получил увольнительную и поехал в Сеул, чтобы навесить родных и проведать в университете своего учителя, профессора Рю. После визита к профессору он возвращался домой по скоростному Пусанскому шоссе, где вскоре по выезде из города машина попала в большой затор. Медленно продвигаясь в потоке затиснутых в бетонное русло автомобилей, Орфеус много раз оказывался рядом с шикарной «Grandeur» темно-вишневого цвета — машиной, которую вел господин с седыми висками, черными густыми бровями и с таким надменным тяжелым взглядом, что Орфеусу становилось не по себе и он старался уехать вперед или отстать, чтобы только опять не оказаться вблизи неприятного человека.

Но пробка на дороге была такой плотной, что не только уехать — перестроиться в другой ряд было невозможно, и лишь неравномерные пульсации продвижения на какое-то время разводили машины из двух смежных полос: вишневый «Grandeur» то обгонял маленький «Pride» Орфеуса, то, вновь сравнившись с ним, начинал медленно отставать.

Господин Мэн Дэн, человек с надменным лицом, чьим телом и духом я неоднократно пользовался в своих делах, тоже обратил внимание на солдата в пятнистой форме, долго ехавшего в принудительном соседстве по бетонному рукаву шоссе. Я смотрел тяжелым взглядом господина Мэна в глаза нервничавшего Орфеуса и с тоскливым чувством думал о том, что завтра с моей легкой руки этих черных сверкающих глаз на этом красивом лице уже не будет...

А назавтра, когда во время учебного боя Орфеус бросил из окопа взрывной пакет и присел на корточки в яме, зажимая уши, которые были у него болезненно чутки к выстрелам и взрывам, в глазах солдата возникло почемучье лицо вчерашнего господина из «Grandeur». Возможно, отвлеченный этим воспоминанием, он и не заметил, как взрывной пакет, ударившись о ветку сосны, упал на бруствер и скатился по нему в окоп. Орфеус увидел задымившуюся учебную гранату только в последний миг перед ее взрывом...

Все эти мгновенные впечатления и неприятные ощущения бытия как бы приснились Орфеусу, когда он задремал на площади Гофмана, сидя на скамейке и опираясь на трость руками и подбородком.

Он как бы очнулся от дремоты и услышал рядом звуки дыхания из чьей-то простуженной глотки, забитой kloкочущими мокротными пленками. Чуткое обоняние его было оскорблено зловонием немывтого тела и кислыми отрыжками недавно проглоченного пива.

— Что еще ты приготовил для меня? — напрямую спросил Орфеус у того, кто уже давно мучил его. — Чем на этот раз угостишь?

— Могу предложить, господин иностранец, холодное суфле из курицы, — прозвучало в ответ хриплым пивным голосом, — еда почти свежая, мне притащили ее из кафе «Repata», оно тут недалеко, за углом.

— Ладно, подавай свое суфле, — покорно произнес Орфеус.

— Держи пакет, самрад, — предлагал ему голос.

И Орфеус тогда молвил с досадой:

— Зачем же так откровенно издеваться? Ты бы не терял чувства стиля, камрад. Раньше ты не работал под грубияна. Я все же беспомощный слепой человек.

— О, гром и молния! Я извиняюсь! Я извиняюсь! — заклокотал, захрипел и рассмеялся, кашляя, развеселившийся пивной голос. — Но вся штука в том, господин иностранец, что я тоже слепой! Да, да! Пауль-слепец, нищий музыкант с Розенштрассе, аккордеонист-виртуоз!

И Пауль-слепец выдал мощные и весьма нечистые, как и его дыхание, аккорды из своего крикливого инструмента.

— Пауль-музыкант! — хохоча, подрявкивал аккордеону его голос. — Знаменитый человек в Бамберге! Я здесь работаю уже лет двадцать на самых лучших улицах! Бюргеры считают традицией бросать Паулю в футляр инструмента пфенниги или угощать баночным пивом!

— О господи! Уж лучше был бы Гофман... — с досадой пробормотал Орфеус. — Слышишь? Меня Гофман больше устроил бы, чем этот твой новый вариант Павла... Савла... Пауля...

— А чем я тебя не устраиваю, иностранец? — обиделся Пауль-музыкант. — Разве ты не попросил у меня какой-нибудь жратвы и разве я отказал тебе, господин турок? Ведь ты, наверное, турок? Или ты русский немец, переселенец из России? А? По разговору я чувствую, что ты откуда-нибудь оттуда, из тех стран, где хлеб режут толстыми кусками, потому что никогда не намазывают его маслом...

Орфеус под натиском недоброжелательства пивного голоса совершенно растерялся. Он уже не знал точно, на самом ли деле тот, который часто лез к нему в душу и в мысли, теперь оставил его в покое, и тогда, значит, он и действительно мог задеть какого-то жуткого Пауля своим замечанием о Гофмане... Или это все же голос зла, возникающий из царства тьмы и холода, из вечной мерзлоты безглазого существования — голос пустоты и безвременья, — продолжает свои отвратительные и многосложные издевки?.. К чему опять-таки это подчеркнутое совпадение: сначала отец Павел, а затем этот Пауль-аккордеонист?.. Слепые, ведущие слепых, как на картине Питера Брейгеля Старшего.

— Извините, — произнес покаянным тоном Орфеус, — я ничего не понимаю... Вы и на самом деле... слепой музыкант?

— Нет, что ты! На самом деле я папа римский, — по-прежнему обиженно и грубо отвечал Орфеусу хриплый голос. — А ты, нахальный турок, тоже слепой, скажешь?

— Можете быть уверены... Не сердитесь, пожалуйста, — начал просить Орфеус. — В последнее время я постоянно слышу, что кто-то задает мне один и тот же вопрос...

— Какой вопрос? Кого ты слышишь, Орфеус? — вдруг различил певец голос жены.

— Уважаемая, это ваш патрон? — хрипло рявкнул Пауль и раскашлялся. — Он тут у вас плохо ведет себя, ха-ха!

— В чем дело? Почему вы так громко кричите? — недовольным голосом произнесла Надежда. — Кто вы такой?

— Я Пауль-музыкант! — еще громче проревел пивной голос. — А ваш-то кто будет?

— Орфеус, кто это и что все это значит?

— Знаешь, Надя, кажется, я здесь уснул сидя... И мне снова приснился этот отвратительный голос... Голос дьявола.

— Bravo! Так вот в чем дело! Чердак у нас, значит, не совсем в порядке!.. — возликовал Пауль. — Крыша поехала! Так что же он тебе говорил, дьявол?

— Ты снова обманул меня, — подавленно отвечал слепой певец. — Ты и есть сам сатана, камрад Пауль.

— Э, нет! Пауля тут не примешивайте, турки проклятые! Я по воскресеньям хожу в церковь, там у меня постоянное место на первой скамье с краю...

— Ах, пойдем скорее отсюда, Орфеус! Я заказала по телефону номер в гостинице в городе Плён, оттуда до Виттенберга совсем близко, — говорила Надежда, уводя мужа с площади Гофмана.

Орфеус шел, выставив перед собою над самой землей кончик палки, не постукивая ею по дороге, а как бы нашаривая по воздуху дальнейший путь. Он это делал неосознанно — не только потому, что жена бережно вела его, придерживая под локоть. Черная, с прекрасной перламутровой инкрустацией трость, которую он выставлял перед собою, — это она вела на самом деле Орфеуса, словно собака-поводырь. В этой трости и находился тогда я.

Я один из тех, кто впервые во вселенной зажигал звезды. Но случилось так, что мне выпало полюбить земную женщину и отпасть от небесного ангелитета. Во время Ноева потопа я и потерял свою возлюбленную, хотя она и не утонула, как все остальные люди допотопного мира. После потопа любовная жажда во мне не утихла — наоборот, она стала совершенно невыносимой. Одна лишь жажда, жгучая и горькая, безо всякой надежды утоления! Женщины не только не любили, но в большинстве случаев попросту ненавидели и презирали тех, в кого я воплощался. Может быть, они иного и не заслужили, хотя и винить их, собственно, не за что.

Одним из людей, познавшим через меня эту абсолютную безнадежность любви, был Евгений, первый муж Надежды... Его жизнь, которой завладел я, оказалась поистине трагичной: он полагал, что умирает от несчастной любви к женщине, и не подозревал даже, что это не так, что он просто одержим и неподвластен своей воле.

Надя появилась дома позже двенадцати. Была она почему-то без платка, с растрепанными мокрыми волосами. Дубленка в сырых пятнах — одно особенно крупное, темно-коричневое, на груди... Стояла у двери и с вызовом смотрела на мужа.

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

— Евгений, — произнесла Надя, — ты должен достать и принести, если ты мой муж и защитник. На том самом месте, где стояла старуха, должно быть утоптанное место в снегу... Евгений, я отлично видела, как она бросила в сугроб мои часы и колечко.

— Но зачем же старухе надо было грабить тебя, если она побросала все это в снег? — усомнился я.

— А потому что испугалась милиционера. Я к нему подбежала и говорю, что так, мол, и так, у нее в рукаве спрятан нож, она угрожала ножом и ограбила меня.

— И что же он?..

— Конечно, не поверил мне. Рассмеялся, представляешь, и говорит: «Вы что дурочку валяете? Бабуся, ты ограбила эту девушку?» Та, конечно, все отрицала. «А ножа у тебя тоже нет?» — спрашивает. «Какой ножик, милоч! Нетути!..» Нетути... представляешь? Сказал ей: «Ну, иди домой, бабуся, небось замерзла». А меня обругал по-матерному и даже замахнулся кулаком...

— Ну что теперь можно поделать... Жаловаться на него бесполезно, ты же сама понимаешь...

— А я тебя не пожаловаться прошу, умник ты мой! — крикнула Надя — Это пусть бабы жалуются, а ты ведь мужчина.

— И что мне надлежит сделать, мужчине? — начал я злиться, хотя мне и было очень ее жалко.

— Пойти сейчас же туда, достать из-под снега золотые часы и обручальное колечко.

— Но ты представляешь себе, который теперь час? — окончательно рассердился я. — Час ночи! Где тебя носило до этих пор?

— Не кричи на меня, пожалуйста! — И слезы полились у нее в три ручья. — Лучше пойдем и достанем мои часики из снега.

О, я плохо переносил ее слезы, я испытывал не жалость, когда она вот так вот заливалась, а какое-то сумасшедшее раздражение, близкое к ненависти...

— Завтра! — продолжал я кричать. — Сейчас все равно темно! И чем я буду рыть снег — руками, что ли?!

— Завтра эта бандитка придет и все достанет раньше нас...

С тем она и удалилась в ванную умываться, а потом молча поплелась в спальню. А я посидел еще немного за столом, проверяя студенческие работы, и тоже пошел спать.

Наутро я проснулся чуть свет и стал расталкивать разоспавшуюся жену. Она только мычала и отворачивалась, не желая просыпаться.

И тут на тумбочке я увидел аккуратно выложенные на салфетку золотые часы и обручальное кольцо. Все это было положено таким образом, чтобы я обязательно заметил их.

Я обернулся к ней вновь и увидел, что жена, совершенно проснувшаяся, внимательнейшим образом следит за мной.

— Неужели тебе непонятно, что мне скучно жить? — заговорила она первое...

— Отчего же... скучно? — молвил я в ответ, лежа с закрытыми глазами и, как всегда, чувствуя, что если здесь близко подошли к смерти, то там, в непонятной туманной дали, занимались чем-то похожим на деловитую стирку белья в хорошо отлаженной стиральной машине.

— Ну чего бы ты мог предложить мне, чтобы не было так скучно? — спрашивала жена, пропустив мимо ушей мой тихий вопрос.

— Поэтому ты и разыграла из себя дурочку, чтобы не скучать? — вновь спрашивал я, так же не обратив внимания на ее слова.

— Да и что ты можешь придумать?.. Что может придумать в этой проклятой стране словесник, преподаватель русского языка?.. Может быть, предложишь походить в субботу на лыжах? Электричка, уйма народу.. Реутово... А потом, хорошо уставшие и румяные с мороза, заходим в кафе «Ивушка», пьем мутный кофе с молоком из стаканов...

— Мне предложили, между прочим, поехать на два года в Марокко, — сообщил тут я. — Преподавать русский язык в Касабланке.

— Когда? — оживилась жена. — Когда тебе об этом сказали?

— Вчера. А ты не пришла с работы и не позвонила даже... Где ты была, между прочим?

— А... Ничего особенного, не думай. Одна музыковедша защитила диссертацию. Пригласила на банкет в последнюю минуту...

Впоследствии, после жизни, когда мы с Надеждою встречались в наших скитаниях по разным мирам, я как-то не вспоминал об этом разговоре, происшедшем однажды зимою в Москве, в микрорайоне Ясенево, в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома... Но в последний раз когда мы так же нечаянно повстречались на берегу моря среди прекрасных пальмовых лесов, выросших на том месте, где когда-то был расположен большой марокканский город Касабланка, я напомнил ей о том зимнем разговоре и сделал задним числом мудрейший вывод:

— Ни в холодных снегах России, ни в жарком Марокко ты Надя не была бы со мной счастлива.

— Отчего же?

— «Из-за чего» надо бы сказать... Из-за того что у меня была моя любовь к тебе а у тебя — любовь к Орфеусу. Потом все мы умерли, но проблема не разрешилась. Разве ты перестанешь ходить по земле и искать своего Орфеуса, хотя вряд ли найдешь его? А что я сам? Перестану ли носиться по всему мировому пространству, летая за тобой и каждый раз с горечью уходя от тебя и радостно предощущая, что где-нибудь снова столкнусь с тобой — в самом неожиданном месте, вот как и сегодня?

Сказано: *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.*

И еще сказано, что *Бог есть любовь.*

И последовательность усилий при создании мира была такова:

БОГ — любовь — музыка — слово — жизнь — ЧЕЛОВЕК.

Я существую. Я вечен, созданный по образу и подобию Бога. Он замыслил так. Я тот, кто выпил остатки теплого пива из валявшейся в песке пивной банки, — проходивший по пляжу бродяга, длинноволосый молодой человек, курчавый и бородатый, с крестиком на голой груди, выставленной из-под распахнутой рубахи на обзор всем желающим: полюбуйтесь-ка мощными буграми грудных мышц, поросших густой косматой светлой шерстью...

Я этот молодой бродяга, питающийся из мусорных баков. Из тысяч ежедневно посещающих пляжи Касабланки людей никто не знает о том, что я недавно перелетел сюда через море вместе со своим другом Френсисом Барри, и он полетел дальше, через Атлантику по направлению к Нью-Йорку, а у меня здесь пропала моя уверенность, и я уже не смог больше взлететь. Френсис обещал из Америки прислать мне денег и написать письмо, но вот уже прошло несколько недель, и никаких известий от моего друга нет. И я вынужден голодать.

Однажды попалось даже с килограмм какой-то снеди, нежной каши, перемешанной с кусками баранины и овощами, и эта вкусная масса удобно лежала на краю мусорной груды, почти не соприкасаясь с другими остатками пищи, — роскошно пируя в одиночестве при свете розовых небес рассвета, я мысленно похвалил себя за свою весьма добродетельную привычку вставать рано... Но несмотря на подобные удачи и весьма благополучный для бродяг пляжный сезон этого года, я не мог больше оставаться здесь — и отправился пешком вдоль побережья Атлантики к северу, в сторону Танжера, где скопилось в последнее время довольно много людей, испытывавших свои возможности в левитации на перелетах через Гибралтар.

Не знал я, что случилось с Френсисом — удалось ли ему перелететь через Атлантический океан?.. Не знал я и о том, почему Надежда не приехала встретиться со мной в Касабланку, где собралась наша группа под руководством Френсиса Барри. Я в письме подробно все ей объяснил, письмо это она получила, в том абсолютно уверил меня Джон Скемл, по моей просьбе заезжавший к ней в Геттинген, где она жила в своем домике (в бывшем нашем домике) после смерти своего третьего мужа, тенора из Южной Кореи.

Надежда и ее первый муж когда-то прожили в Марокко два года. — и надо же, именно туда я и попал после своего первого, и последнего, перелета через море. На этой жаркой африканской земле прошла самая лучшая пора их совместной жизни, и муж ее, Евгений, порой начинал уже верить, что все будет у них хорошо... Работа отнимала у него не так уж много времени, и он мог часто ездить с женою в разные уголки и города Марокко, однажды они даже повторили путь знаменитого Тартарена, что из Тараскона, и совершили многодневное путешествие верхом на лошадях.

Они побывали в Рабате и в Маракеше, съездили и к самой алжирской границе, пустынному югу страны. Им доставляло огромную радость само ощущение свободного передвижения по земле, когда никто не спрашивает, откуда они приехали, зачем и куда направляются, где прописаны, как на их несчастной родине, обреченной быть главным полем Армагеддоновым. Они обрели упоительное чувство свободы — принадлежать самим себе, а не государству. И хотя подобное счастье продолжалось для них недолго, они успели за два года жизни в Марокко испытать то самое, что многие тысячелетия людьми называлось райским блаженством. Это были часы и дни, как рассказывала мне потом Надежда, безо всякой тревоги существования, при полном комфорте тела и души, жизнь без начальства и надзора, с утра веселье и молодая чувственная радость пробуждения, са-

мые дивные фрукты, розовое алжирское вино и всегда безоблачное высокое небо — сиятельные небеса, — где, еле заметные, иногда образуются серебристые невнятные сгустки величественных видений, чтобы затем бесследно раствориться в небытии.

Да, на это время их совместной жизни и выпало то уравновешенное супружество, которое можно было бы сравнить с идеальным браком первой человеческой пары в ветхозаветном раю. Вряд ли совершенные Адам и Ева любили друг друга — они вместе пребывали в вечном покое священного брака. Им некуда было деваться друг от друга, жене неоткуда было ждать появления чудесного иностранца, мужу незачем было мечтать о полетах в воздушном океане без крыльев — он и так тогда летал. И любовь, та *любовь*, без которой на земле женщина обыкновенно не могла существовать — эта невыносимая боль души, — отпустила Надежду на все время ее проживания в Марокко.

...Я, Валериан Машке, впервые встретился с нею в Москве, незадолго до ее отъезда в эту жаркую страну. Она шла одна, совершенно пьяная, по зимнему ночному переулку, где ничего не было, кроме грязных сугробов, наваленных с края тротуара, да лютого народного несчастья с температурой воздуха минус пятнадцать градусов по Цельсию. Пройдя за поворот, молодая женщина оказалась перед пятиэтажным зданием школы, все окна которой в этот час ночи были словно запечатаны глухим свинцом. И в виду этих свинцово-слепых окон Надя почувствовала себя совершенно раздавленной тем непосильным грузом отчаяния, который она до этой минуты молчаливо носила в сердце. Она расстегнула и сбросила на снег свою дубленку... размотала с головы и кинула на дорогу свою превосходную шерстяную шаль с алыми розами по белому полю... Но этого показалось ей мало: она расстегнула на груди нейлоновую блузку и хотела ее также стащить с себя — но уже сил никаких не было, к тому же синтетическая ткань застывала на морозе и липла к телу. Надя, приостановившись, качнулась на каблуках своих длинных сапог — и рухнула спиной в сугроб, широко раскинув руки...

А я шел следом и, подбирая с земли сброшенные ею одежды, нес их в руках. От влажного меха афганской дубленки пахло овцой, от вязаной кофты веяло сухим шерстяным теплом вперемешку с духами... Платок издавал прохладный аромат женских волос, с утра вымытых шампунем, но потом целый день пребывавших в присутственном месте, а после этого — на веселой вечеринке, где много курили и пили... Когда же я нагнулся к ней, лежавшей в снегу в неестественно-страшном покое, с расстегнутой блузкой, с полуобнаженной грудью, на которой быстро таяли снежные звездочки, снизу, из сугроба, на меня словно пахнуло теплым ароматным лугом... Словно в ледяной рамке смерти выставленная картина трепетной жизни — благоухание ее молодого женского тела в окружении лютого холода было еще нежнее, выразительнее и печальней...

Я решительным образом поднял женщину из сугроба, отряхнул от снега, а затем почти насильно стал надевать на нее кофту. Вначале она пыталась с упорной злобой отбиваться, но очень скоро сникла и, вся содрогающаяся от холода, послушно поднимала и вытягивала руки навстречу рукам. Платок же шалевый завязала сама — уже на ходу вырвав его у меня из рук, она молча и быстро, почти бегом, направилась прочь. И тут только я заметил, что, выйдя из-за угла школы, стоит и наблюдает за нами старуха, прогуливавшая собаку на поводке. Ах, какая это была нелепая старуха в кожаной мужской шапке-ушанке, завязанной тесемками под подбородком, в толстой ватной куртке, и ее пес, беспрерывно трясущийся дряхлый кобель с одним приподнятым ухом, так же был жалок, беспороден и нелеп. Почти наткнувшись на них, Надежда шаркнулась в сторону и вскоре скрылась за углом пятиэтажного панельного дома.

Через три года, вернувшись из Марокко, она позвонила мне... Когда я одевал ее возле снежной постели, то в последний момент сунул в карман ее дубленки свою визитную карточку. Не знаю, почему я это сделал, — но

она эту карточку не выкинула и через три года воспользовалась ею... А потом она ушла от мужа и перешла ко мне, в мою однокомнатную холостяцкую берлогу эпохи коммунизма. Бедный Евгений ее, не перенеся измены, покончил с собою — или умер от какой-то внезапной болезни? Мы же с Надеждою вскоре поженились и через два года переехали в Германию — я был по происхождению поволжским немцем.

Не уверен, была ли ее вина в том, что случилось с первым мужем, с Евгением, может, никакой вины и не было, но Надя часто плакала, вспоминая о нем, и фотографию с его курчавой головою, вырезанной кружочком из какого-то бывшего семейного снимка, она приклеила на дверном косяке своей комнаты в нашем геттингенском доме. И это при том, что она в жизни, увы, его никогда не любила, хотя и пробыла замужем за ним почти шесть лет.

Все это пришло и всплыло в моей памяти когда я шел пешком к Танжеру, слева гремел стремительными громадными волнами Атлантический океан, а впереди — все время только впереди — стояло высокое безоблачное небо Марокко, театр невнятных белесых теней, появлявшихся и исчезающих в своих прозрачных, как белок сырого яйца, струящихся одеждах. Эти миражи являлись на глаза и бедному Евгению, когда он путешествовал, еще живым и здоровым, вместе с Надею по этой африканской стране. И лишь чайки, подлинные чайки, мелькавшие перед морскими миражами, своим светливым видом напоминали им, что мир человеческой жизни, где они тогда обитали, далеко не совершенен и абсолютно лишен той величавой невозмутимости, которая торжественно представлялась в образах светозарных видений встающих позади алчного мельтешения острокрылых чаек.

Я хотел летать — и научился летать, как и многие люди того времени на земле. Но вдруг откуда-то пришли ко мне страх и нерешительность — и моего чудного умения как не бывало. Отчего прошло для меня время решительности и наступило время неуверенности и уныния? Я не знаю — так же как и Евгений, первый муж Надежды, не мог знать, отчего прошли два сияющих года их жизни в Марокко когда жена казалась счастливой и, по всей видимости, любила его, и настало самое горькое время по возвращении в Москву, когда безо всяких причин или хотя бы каких-нибудь предварительных признаков произошел окончательный разрыв между ними... Итак, я иду по песчаным тропам морского берега, изредка пересекая тенистые рощи высоких пальм, и в душе моей полное неведение того, почему меня покинула упругая сила полета.

Я помнил, что такое полет, и никогда не мог забыть об этом и ни о чем другом не хотел больше думать — ничего другого в жизни не умел себе пожелать, ни к чему мне стало все остальное на свете. И я со рвущейся в сердце надеждою шел в сторону Танжера, где летали через залив счастливые люди, такие же счастливые, как и я сам в еще недалеком прошлом. Мне представлялось, что, оказавшись среди них, я снова без особых усилий смогу обрести полет — и уже никогда больше не окажусь в положении одинокого бродяги, который ест руками из мусорного бака, мечтательно уставясь при этом на только что взошедшее над горизонтом красное солнце...

С этой надеждою и приближался к Танжеру живший когда-то на земле человек по имени Валериан Машке: вновь вернуться к полетам в веселой толпе других пулею несущихся ввысь, к облакам, любителей небесных прогулок. Валериан Машке никогда не встречался мне в жизни, и я о нем вспоминаю лишь потому, что однажды, в посмертии, на пути к поселку Мух в Северной Вестфалии я догнал его на дороге, мы разговорились, и вдруг выяснилось, что в прошлом кратком существовании мы были, оказывается, мужьями одной и той же превосходной и любимой нами женщины. Только вот разница между нами оказалась в том, что Надя меня-то при жизни не любила, а его вроде бы любила, но не большой любовью говорил сам Машке, а обычной, вполне посредственной земной любовью

Будучи оба музыкантами, они могли оценить талант друг друга и на почве взаимного профессионального уважения взрастить небольшое дерево *семейного счастья по интересам*. Но деревце очень скоро заширело и погибло, потому что ребенок, который родился у них в России, сразу же умер, а Валериан Машке по эмиграции в Германию совершенно перестал интересоваться музыкой — да и не только музыкой, но и всем остальным на свете, что только не было связано с медитациями и практикой полетов без крыльев...

Мы шли по пустынной дороге, пересекавшей высокий холм, поросший на самой его вершине небольшой сплоченной группой сосен, и, разговаривая, оба то и дело посматривали на эти деревья, вернее, на то место, где светлая дорога исчезала в створе сосновых стволов, образующих там что-то вроде широко распахнутых ворот. Оттуда вышла навстречу нам, следуя цепочкою друг за другом, небольшая компания рыжих бычков с белым пятном на лбу. Похожие до умопомрачительной неразличимости, напоминавшие скорее свои собственные рекламные изображения где-нибудь в той же Германии или в многомолочной Голландии старого времени, бычки шли по зеленой обочине, изредка то один, то другой подымая лобастую голову и с любопытством поглядывая на нас... Валериан Машке рассмеялся и молвил, перекатывая звуки произносимых слов на роскошных низах своего красивого голоса:

— А ведь я при жизни больше всего боялся коров. Не знаю почему, но у меня был такой страх перед коровами и быками! Признаться, *тогда* при подобной ситуации я уже давно бы спасался бегством...

— Я же очень боялся чужих собак. Но больше всего — автомобильной катастрофы, — признался я.

— Вы, случайно, погибли-то не при автомобильной катастрофе?

— Нет, Бог миловал, обошлось... Но до последних дней боялся, что погибну именно таким образом... Моя младшая сестра, бедная, самая любимая, погибла, знаете ли, вместе с мужем при лобовом столкновении машины... Ах, почему она?.. Я все еще не встретился с нею... Я сейчас шел и почему-то вспомнил единственную нашу с Надей поездку в Испанию, куда мы не совсем легально ездили из Марокко на частном катере одного местного богача. Его звали Саид Мохаммед, он был поэт, говорили, что очень тонкий лирик, — к сожалению, я по-арабски не читаю, поэтому не могу сам судить о его стихах. Но по виду этот красивый, мужественный парень скорее напоминал воина, чем поэта: ему бы горячего скакуна да саблю в руки... Итак, мы на его катере пересекли Гибралтар и оказались где-то возле Кадиса, там у Саида жил друг и партнер, некий дон Педро, на гасиенде которого мы и провели два дня... Быки, дорогой Валериан, с той гасиенды. Но это были не те быки, которых выращивали для корриды, нет, — обычные прозаические бычки на мясо...

— Значит, вы были в Испании... А мне она ничего об этом никогда не рассказывала...

— Мы даже съездили тогда в Севилью!

— Ох ты господи! Да вы, кажется, все еще любите ее так, как любили *тогда*? — взволнованным рокочущим басом произнес Валериан Машке. — Мыслимое ли дело?

— Она была три раза замужем, но душа ее никогда никому не раскрылась для любви, — говорил я, отвечая собеседнику на его слова. — Поэтому она и *здесь* избрала себе такой путь — вечно ходить и искать по свету того, кого она никогда не найдет...

— А вы-то почему за нею ходите? — был еще вопрос. — Неужели даже срок смерти не исправил вашу несчастную душу?

— Не забывайте, Валериан: я ведь умер от любви. И сейчас, после воскресения, я не в силах уйти от той боли, которую я ощутил при слове «прощай». Это было последнее слово, которое мы сказали друг другу *там...*

— Но *здесь-то*, вы знаете, слово и боль, страдание и слово ничего общего не имеют!.. И любовь, и всякая вещь, и эти рыжие бычки с гасиенды дона Педро — это всего лишь слова... Как и весь этот чудный ландшафт, вызывающий в наших сердцах сладостное волнение... Страдание и боль остались ведь *там*, Евгений.

— Да, слова... Всего лишь так или иначе составленные слова... вы правы, — отвечал я Валериану Машке. — Но все равно я не могу не пытаться и теперь понять причину, по которой любовь и смерть на земле были столь близки по значению. И почему в той действительности смерть всегда могла прекратить любовь, а никак не наоборот? Словно бы смерть была закономерным продолжением любви, а воскресение, стало быть, продолжением бытия после смерти.

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Для тех из нас, которые впали в абсолютное отчаяние и, не желая уже никаких действий, службы или борьбы, попросту спрятались в вещи, порою самые незаметные и заурядные, вроде того металлического костыля с обхватами для локтя, чем пользовалась одноногая финская девушка Улла, передвигаясь по своему дому, — и для таких хитрецов и конспираторов смерть все равно становилась неукоснительной и неотвратимой в самом скором будущем... Я присутствовал при том, когда орхидея была вручена Надежде, но в то время, когда в виде сводящего Орфеуса с ума тонкого и довольно неприятного мужского голоса звучал я в его мозгу, вещая из черной, инкрустированной перламутром трости, и мстительно грыз душу Орфеуса за все те Божьи дары, которые ни за что ни про что получил этот корейский юноша.

Та из черного эбенового дерева выточенная, перламутром украшенная трость слепого Орфеуса, с которою он никогда не расставался, стала моим временным обиталищем с тех пор, как он ослеп, — из выгнутой рукояти палки я и подавал свой голос, искушая беднягу и доводя его до умоисступления. Разумеется, он не зал, когда все же кончится время ветхого Адама, как не знал и того, что все наши неопишуемые удовольствия в связи с Адамовой смертью и с умиранием всех его потомков также кончатся. Не знал Орфеус и того, что ему, как и всем остальным бездельникам Адамова рода, будет вскоре возвращено бессмертие — то, чего они лишились благодаря гениальному ходу шахматиста, всегда игравшего черными фигурами.

Князь знал (догадался благодаря своему великому и проницательному уму), что мать греха никогда не полюбит своего супруга и более того — никогда не перестанет противу него тайно восставать. И все это лишь по той причине, что она сделана из вынутого Адамова ребра, то есть что она все же часть его и вторична по сотворению. Несмотря на стремительный и яркий ум, ощущаемый ею в себе, она видела в сонном и неповоротливом Адаме основательность и ограничительную твердость сосуда, в который сама оказалась всего лишь налита — вместе со своею красотой и умственным содержанием. И это безо всякого на то спроса, а также и без согласия с ее стороны. Потом, будучи из одной и той же плоти с супругом, Ева никогда не испытывала жгучего к нему влечения. Все это расчетливо и тонко учел князь, когда решил подвигнуть ее на первую измену мужу, — и результаты были самыми блестящими...

Так кого же любила Ева — кого любили все ее дочери? Да князя она любила, а сонмы последующих земных ев любили нас, нас, не из праха замешанных! Это мы, подглядывавшие за ними с облаков, научили их по-настоящему любить, это с нами они познали неземную радость плотского экстаза. За это нас и наказали изгнанием, выкинули во тьму внешнюю, как псов, а детей наших злых, великанов удалых — «*сильных и издревле славных*», обиженных тем, что они смертны, и оттого злых, — прекрасных гениев наших утопили, как щенят, в ведре всемирного потопа...

Итак, один из тех необычайно одаренных потомков Адама послевоенного времени, которых надлежало нам ненавидеть в особенности (потому что они-то и заберут у нас бессмертие, оставив взамен свою смерть), — Орфейс отправился в свадебное путешествие по Европе, а я при нем в качестве везде и всюду сопровождающей его черной трости, выложенной перламутровой инкрустацией. Я не мог уже, как в прежние времена, захватывать и всевластно держать души подобных людей (Фауст, Дон Хуан, Григорий Распутин) — силы мои были не те, и они стремительно шли на убыль с того рокового дня, как войско наше было разгромлено и мы рассеялись по всей земле. Именно с этого дня нам стало известно, что обмен с человеками предстоит неукоснительный: мы вынуждены будем принять от них то, чем сами когда-то их снабдили.

Из Геттингена в Бамберг, Майнц и Вюрцбург, затем Ротенбург и снова Бамберг, Франкфурт-на-Майне — и далее на север Германии, к Любеку, оттуда в Киль, из Килия — в городок Плён, а уж оттуда — в Wittenberg über Selent, где предстояло Орфеусу и его жене завершить свой медовый месяц в гостеприимном замке графа Фридриха фон Ривентлова. И там именно, в этом массивном родовом гнезде старинных гольштинских аристократов, осталась черная трость Орфеуса, потому что он подарил ее хозяину, которому понравилась эта палка и граф имел неосторожность высказаться об этом вслух. Взамен корейского изделия была срочно куплена в Плёне трость красного дерева, удобная и крепкая, немецкого производства, — но мне, ненавидящему всякое повторение и рутину, вовсе не захотелось вселяться в буковую палку, и я не мудрствуя лукаво внедрил в гортань Нади в виде некоего доброкачественного образования и стал вещать чуть подсевшим голосом жены слепого Орфеуса.

— Не надо думать, что, если ты не видишь того, что вижу я, тебе достается меньше от этого мира, чем мне, мой милый. Не ругай меня, а позволь все же рассказывать тебе обо всем, что я вижу. Я уверена, что смогу тебе рассказывать, как будто вижу все вокруг твоими глазами, Орфеус.

И простодушно и по-молодому жизнерадостно Надежда принималась излагать и перечислять свои замечательные впечатления от свадебного путешествия. Их было много, но они были для Орфеуса убийственно скучны и незначительны, ведь он находился совсем в ином Путешествии, нежели это свадебное по Германии (а затем и по Франции, где, кроме Парижа и Руана, слепой певец больше не смог выдержать ни одного другого города), и все шло надлежащим образом для меня, и я лишь старался заботиться о том, чтобы голос Надежды звучал не очень хрипло и фальшиво.

— Мы сейчас едем по дороге мимо ярко-желтого рапсового поля. Влады видны деревья, темные дубы с развесистыми кронами. Местность холмистая, поблизости одни поля, пшеничные, свекольные, рапсовые, а на дальних холмах растут леса. Деревья посреди полей, которые посчитала я дубами, выглядят живописно, и очевидно, они очень старые.

Слушая голос жены, Орфеус постепенно наполнялся чувством неудержимого детского страха, когда кажется, что вдруг отнесет тебя какая-то неведомая сила к головокружительному краю земли и поставит над бездной... — все, о чем старательно рассказывала Надежда, таилось во тьме этой бездны. Мир за стеной слепоты для него был поистине потусторонним. Мир внутри слепоты не имел движения.

Они ездили в автомобиле хозяина, который предложил им не только гостеприимный кров в своем родовом замке, но и снабдил транспортом для их прогулок: предоставил в распоряжение Надежды удобный «фольксваген» и велосипед. На велосипеде Надя каталась одна по пустынным узким дорожкам, проложенным меж полей вокруг хозяйских угодий, а на машине выезжали они вдвоем, добираясь до соседних городов, проезжая живописные деревни со старинными приземистыми домами под соломенными крышами, которые по высоте намного превышали глиною обмазанные стены, связанные каркасом из бревенчатых потемневших брусьев.

Возила Надежда его в Киль и в Любек там Орфеус слышал плеск гаваней и те лязгающие и скрежещущие, отдающиеся эхом на воде, особенные звуки, какими наполнены большие морские порты. Заезжали они на озера, где их принимали какие-то немцы на своих деревянных платформах-пляжах, и Орфеус часто среди скучных разговоров, ведущихся бодрыми, громкими и уверенными голосами на немецком языке, слышал звуки других слов, произносимых ему в самое ухо на русском языке Надиным голосом:

— *Озеро круглое, берега сплошь заросли зеленью, деревья подходят к самой воде. Какая-то лодка, в ней двое совсем голых людей, мужчина и женщина. К нашей пристани подплывает лебедь, это одинокий ручной лебедь, его все здесь знают и зовут Эмилем. Этого Эмиля кормят булочками, бросая куски в воду, большая белая птица близко подплывает к людям и требует угощения, при этом нетерпеливо встряхивает головою и сердито поглядывает маленькими хмурыми глазками. На тебя он тоже посмотрел, Орфеус, и мне кажется, что на тебя-то он посмотрел особенно пристально. Хозяева посчитали, что уделили достаточно внимания Эмилю, и стали его вежливо отгонять, потому что он ущипнул за попку нашу пожилую хозяйку, которая, как и все тут, на озере, купается совсем голой, — она как раз вылезла из воды вблизи Эмиля. А посреди озера те двое, которые катаются на лодке, принялись, кажется, за дозволенные супружеские ласки, по крайней мере положение их тел таково, что почти не вызывает сомнения, и лодку они раскачивают довольно круто: того и гляди, опрокинется лодка... От нее по всему гладкому озеру разбегаются круговые мелкие волны, а по синему небу над темной зеленью прибрежного леса плывут белым-беленькие ватные клочья облаков. И это смотрится так же, мой дорогой Орфеус, как и миллионы лет назад, когда вас, Адамовых, еще и на свете не было, а мы были безгрешны, всем довольны и могли сами придумывать для себя, в каком обличье появиться друг перед другом или перед Ним. Видел бы ты, как причудливо выглядит каждое из этих маленьких облаков, повисших сейчас в небе. А этот неприветливый Эмиль, такой же белый как облака со своею выгнутой гордой шеей, — разве он не причудлив? Так вот — все это сделано по замыслу и по эскизам Творца вещей и существ. А в те допотопные времена безмятежной нашей юности каждый из нас был волен сам создать свой образ: двукрылый — лебединый, или шестикрылый — серафимов, с восемью ногами или с четырьмя, перепончатокрылый — драконий или змеелошадный но тоже с крылышками что-то вроде гигантского морского конька со стрекодушими серебряными плавниками... Так мы забавлялись во дни священного архаического существования — в веселых и ревностных трудах проходило бесконечное время... И ты знаешь теперь, что с появлением вылепленных из простой глины все у нас переменялось... Казалось бы, ну что такого особенного в тебе или в этой пожилой фрау Машке которую ущипнул за розовую задницу лебедь Эмиль? Только две руки да две ноги одна голова... Но вот что значит высшее гениальное творение: совершенство самого простого. Из всех форм живого и неживого в Сотворенном Мире самым простым и совершенным является нагое человеческое тело. Даже пузатенькая фрау Машке и ее супруг герр Машке, эти состарившиеся карикатуры на Еву и Адама, трогательные толстяки со своими рыхлыми буржуазными телесами, с рыжеватой немецкой шерстистостью в тех местах, кои стали выглядеть почти невинными в результате долгого и верного супружества, — даже нагие старички несли на себе отсвет совершенства. Те же двое, что увлеклись любовной игрою метрах в ста от нас, похоже уже закончили свое занятие, потому что спокойно выпрямили в лодке свои бронзовые от загара тела молодые и сильные торсы супругов Франкенберг, соседей четы Машке, были вне всякого сомнения вылеплены по формулам высшего творения. Даже издали их стройность и соразмерность, Орфеус, невольно радует глаз. Кому, как не нам изгнанным за проявление низкой зависти к вашей красоте не оценить и мысленно не опробовать ее во всех сладостных нюансах греховного вожделения.*

Слушая все это, произносимое на русском языке голосом жены, Надежды, слепой певец ничего не понимал и, пригретый мягким летним солнышком Северной Германии, откровенно дремал, свесив голову на грудь. Он уже привык к тому, что довольно часто жена произносила что-то на русском языке, и тогда ему становилось непонятно, обращается ли она к нему, говорит ли самой себе или, может быть, адресуется к какому-то неведомому русскому, близкому ее душе. Орфеус замечал, что все неохотнее заговаривает Надя на общем для них немецком языке — корейский она так и не смогла выучить.

И теперь бывало, что, с жаром начав какой-нибудь рассказ по-немецки жена вскоре вдруг умолкала на полуслове или же незаметно для себя переходила на русский язык. И никогда Орфеус при этом не останавливал Надежду. Так что мне, ставшему звуками ее низкого, от природы сочного голоса, теперь порою звучащего слегка надтреснуто, удавалось высказать многое из того что я хотел бы ему сообщить на непонятном для него русском языке.

Зачем я это делал? Ах, только лишь затем, чтобы развлечься. Ведь я понимал, что очень скоро, при новом мировом порядке, мы все равно подохнем, а *они* все воскреснут, какие бы мы тому ни пытались чинить козни и препятствия. С приближением срока ИКС все больше попадалось демонов, как бы слегка сошедших с ума или, скажем, потерявших контроль над собой и тихо погрязавших в своих причудах — кажущий в своем углу. Даже мой допотопный школьный друг Келим, в предыдущей земной жизни бывший финкой Эрной Паркконен — суровый ангел смерти, — и тот в Последние Времена совершенно расслабился и ввел в свою работу такую романтическую пустяковину, как цветок орхидеи, запечатанный в прозрачную пластиковую коробочку.

— Нью-Йорк? Это Нью-Йорк? — как-то говорила по телефону жена Орфеуса, и я воспользовался случаем, чтобы пообщаться с другим близким лицейским товарищем, который после войны обрушился с неба на Нью-Йорк и внедрился в его коммуникации, в безумные биржевые страсти и ночные развлечения..

— Это мистер Френсис Барри? Простите, пожалуйста, но мне очень нужен мистер Валериан Машке — он сейчас находится у вас?.. Это его жена, бывшая жена... я говорю из Германии... Большое спасибо, мистер Барри. (Все это было сказано по-английски, и Орфеус понял, что Надежда будет говорить по телефону с бывшим мужем, о чем она уведомила Орфеуса накануне... А далее все было по-русски.) *Это ты, Валериан? Здравствуй. Настали последние дни, Валериан, и нам нужно срочно оформить развод... Да, я буду ждать в Геттингене... Да, решила выйти замуж именно накануне всемирного катаклизма.. Нет, спасибо, учиться летать не собираюсь по-прежнему. А тебе в том желаю успеха... Неужели тебе непонятно, что я встретила наконец-то человека, которого ждала всю жизнь? Люблю ли его? Люблю, конечно, иначе зачем бы выходила замуж, да еще и перед самым концом света... Что?.. А все очень просто. Ни на что такое не рассчитываю Наоборот... Ударит так ударит... Когда ударит — вы все взлетите, а мы, значит, обрушимся... Там, может быть, я встречу нашего малыша Да, такой маленький, такой милый и так скоро ушел. И мне обязательно нужно т у да чтобы поискать его. А ты можешь летать себе... Летай, тебе до нас всегда, в сущности, не было дела... Алло, что-то плохо стало слышно Зачем летать, ты говоришь? Об этом я у тебя должна спрашивать, а не ты у меня. И много их теперь в Нью-Йорке?.. Двести тысяч человек? Ну, Нью-Йорк, я тебя поздравляю. У тебя точные данные, старина? Алло, Нью-Йорк? Что-то неважно со слышимостью... Они, наверное, у тебя прыгают в основном с небоскребов? Над Уолл-стритом летают? Представляю, как они там мельтешат на уровне ста этажей Да, Келиму сейчас не позавидуешь.. Келиму, говорю, стало трудно работать. К тому же он придумал трюк с орхидеями. Слышал об этом от Москвы? Оказывается, теперь только те, которым он вручает орхидею становятся его клиентами*

Нью-Йорк, Нью-Йорк, ты слышишь меня? Я что-то тебя иногда совсем теряю, голос пропадает...

— Конечно, массы сейчас рванулись к левитации, как сказал Москва... И это по всему свету. Даже в Корее, в Сеуле, где самый высокий небоскреб всего в шестьдесят три этажа, — и там началось движение!.. Мой теперешний подопечный тоже каким-то образом узнал об этом... но пока что никаких попыток лететь не предпринимает... Да и куда там! С тех пор как лишился глаз, ничего вроде бы не хочет. Но он что-то задумываться стал. Да. И я долго мучился догадкой... А недавно в Бамберге я у него вытянул признание... Ну, об этом после, старина... не для телефонного разговора это... Разве ты сам не знаешь, Нью-Йорк, что нас ожидает? У тебя появится еще двести тысяч летунов, а у меня — еще один гений, проклявший жизнь. Да вот он, сидит передо мною и слушает, что говорит жена, потихоньку злится, что долго болтает по чужому телефону... Платить-то ему, а не графу, — тот, несмотря на свое богатство и щедрость, аккуратно передает гостям все квитанции за их международные телефонные переговоры...

Так беседовал один демон с другим по телефону, а слепой Орфеус сидел в кресле, слушая долгий разговор жены, ее русскую речь, из которой понимал только знакомо звучащие «Нью-Йорк... Нью-Йорк... Бамберг... Москва». А сама обладательница мелодичного грудного голоса, теперь слегка тронутого хрипотцой, стояла у телефонной тумбочки и разговаривала с давно выключенным сознанием, и тот, кто это сделал, то есть полностью блокировал ее мозг и пользовался лишь звуками ее голосового аппарата, — я, д. Неуловимый, тайно присутствовал в гостевой комнате на третьем этаже замка Wittenberg и налагал тяжкие ковы на души двух обитавших там людей, странной супружеской пары, гостившей по приглашению графа Фридриха фон Ривентлова.

Для того чтобы выйти из состояния «голоса Надежды», которое было избрано на данное время д. Неуловимым для реального присутствия среди людей, ему необходимо было вернуть Наде сознание, но сделать это таким образом, чтобы она сама не заметила некоторого провала в памяти, наступавшего у нее в самое неподходящее, казалось бы, для этого время: в продолжение какого-нибудь ее рассказа о том, что она видит перед собою. Обычно такие рассказы импровизировались ею на ходу, чаще всего во время поездки на автомобиле вдвоем с Орфеусом или в часы их мирных блеваний перед раскрытым окном в теплый солнечный день, когда супруги решали никуда из дома не выходить. В ожидании того, что уже всем людям во всем мире было возвещено, такое спокойное, бессодержательное времяпрепровождение обретало вдруг особенное значение. Каждый прожитый совместно с близкими людьми час значил тогда очень многое — подобные часы и составляли наполнение счастья, единственно верного в том быстротечном существовании.

Д. Неуловимый не беретса судить об истинном настрое общечеловеческой жизни Последних Времен, которые предшествовали часу ИКС, — но не ошибусь насчет некоторых частных в умонастроениях людей, твердо вознамерившихся отказаться от старой системы вещей и — лучше смерть, чем рабство, — с отчаянной решимостью кинувшихся обучаться полетам без летательных аппаратов. Благо инструкторов левитации объявилось вдруг великое множество, одно время их насчитывалось в мире около двух миллионов. Другое дело, что история ветхого человечества умалчивает — по причине своего завершения, — сколько же было среди руководителей полетами настоящих, высококлассных инструкторов и сколько самозванных шарлатанов или попросту диверсантов из подпольного демонария...

В умах людей решительных, нетерпеливых и твердых устоялась в то время идея мгновенного преобразования, предсказанная еще апостолом Павлом: *«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока...»* (1-е Коринфянам). И, связанная с этой идеей, стала быстро распространяться так называемая теория мирного Армагеддона, устраи-

вавшая в те критические времена очень многих, в особенности тех, кто достаточно натворил осознанных преступлений умственного характера, вроде таких, как предательство Иуды Искарота или провокаторский блуд с народом последних русских царей. По этой теории не будет огня *внешнего*, огонь пройдет по человеческому миру *внутренний*, беспощадно и мгновенно выжигающий в людских душах сатанинское начало, от которого носители оного уже смертельно устали к концу «определенных» времен... И тех неисправимых армагеддонцев, у которых качеств дьяволоносных окажется больше, нежели богоданных, постигнет мгновенная смерть: что-то вроде тотального всемирного инфаркта поразит добрую половину человечества. Остальные же, похоронив мертвых, останутся жить дальше, но уже в совершенно новом качестве — как бессмертные, или почти как бессмертные, по крайней мере еще ровно на тысячу лет им гарантирована будет жизнь...

Мне, державшему тогда душу бедного Евгения, не пришлось переживать все эти человеческие надежды и тревоги: я ушел из их мира раньше, чем вознеслись финальные звуки медных труб. И о некоторых частностях последних секунд «определенного» времени Евгений узнал уже от интеллигентного Валериана Машке, с ним довелось ему с большим удовольствием пройти пешком в посмертии многими дорогами лучезарной Германии. Демон же Неуловимый, то есть я, с удовольствием поведал себе самому о тех причудливых мгновениях и болезненных наваждениях, которыми было полно лихорадочное бытие людей, духов и предметов во дни скрежета зубного в обреченном мире. И Валериан Машке, и мятежные демоны, и я, придумывающий самого себя, — все мы свидетельствуем, может быть, всего об одной секунде из «семи прошедших времен», но она принадлежит мгновению их катастрофического завершения.

Вот улыбающийся Евгений с господином Машке — мы шагаем по укромным дорогам гольштинской земли, что вблизи существовавшего когда-то здесь вместо этих сплошных дубовых и грабовых лесов городка Плён, и с каждым шагом все ближе подвигаемся к Wittenberg'у, что благополучно пережил мгновение ИКС и теперь, сотни лет спустя, вновь, как и в отошедшие времена, преспокойно существует в глубине могучего парка и вместе со старым графом, опять водворившимся в родовом замке, приветливо ожидает всех званых и незваных гостей, которых всегда тянет посетить эти места, столь способствующие умиротворению и самозабвению...

Возле перламутрово-голубого озера, вдруг открывшегося за поворотом дороги, я прощаюсь с господином Машке, который хочет навестить своих родственников, живущих (и раньше живших) в маленьком доме у самой воды. И я уже один иду в Wittenberg über Selent, где меня никогда не было, но где в гостях у графа была Надя со своим Орфеусом... Им надлежало после двух недель жизни в замке отправиться дальше, лететь из Франкфурта в Париж, оттуда Надя хотела везти слепого мужа в туманный Альбион, потом на Мальту... И теперь, пытаюсь представить себе прежнее, «ветхое», существование с планами новых путешествий, с азартом приобретения иноземных сувениров, с молодой и алчной любовью в роскошных номерах перзклассных гостиниц, — я, *Евгений бедный*, совершенно теряюсь в догадках о том, как же все это могло совершаться при ясном осознании скорого конца света.

Приближаясь к замку Wittenberg, я внезапно, с запозданием на сотни лет, постиг причину, по которой никогда не могла бы Надя полюбить меня. Оказывается, *при жизни* был я человеком, абсолютно не способным понимать того, что любовь женщины совершенно отличается от любви мужчины. Женщина могла нежно ласкать, целовать в губы и прижимать к своей груди голову человека, которую у него со временем отрубят на плахе и бросят в корзину. Зная о скорой смерти, женщина сознательно стремилась забеременеть и, лелея в себе под сердцем плод зачатия, прислуши-

валась к первым его самым нежным шевелениям. И меня, не знавшего всего этого о ней, — как же она могла бы полюбить?

Я этого раньше не понимал... Стоя под огромными придорожными липами, я плакал от пронзительной боли позднего, слишком позднего раскаяния и, уже миновав деревушку Selent, оказавшись на пустынной дороге к замку, понял и свое самое истинное, сильное желание: *увидеть Надежду в замке Wittenberg в один из тех дней, когда она гостила там вместе с Орфеем...*

Она была на отгороженном пряслами участке, где находились две лошади арабской породы, светло-серые, в темных яблоках, и пыталась приблизиться, протягивая в руке кусок хлеба, к настороженно глядевшему на нее прекрасному жеребцу. Рядом стоял полный лысоватый человек в золотых очках, как оказалось, конюх графа, им приставленный к двум арабам для их воспитания и обучения. Увидев меня, возникшего прямо перед нею за пряслами, Надежда не испугалась, даже не оставила своей попытки приблизиться к лошади, и только тогда, когда гордый араб презрел ее хлеб и, с независимым видом охлестываясь длинным хвостом, направился прочь к дальнему краю площадки, где стоял другой точно такой же пятнистый красавец, Надежда повернулась и подошла ко мне.

— Евгений, к чему твое появление здесь? — безо всякой тревоги, ничуть не волнуясь, лишь слегка удивленно молвила она. — Неужели все это, *наше*, что-нибудь еще значит для тебя?

— Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, — весело отвечал я, довольный тем, как началась наша весьма щекотливая, с точки зрения реальности, встреча.

— Но ведь здесь не только я и эти лошадки, — продолжала Надя в том же спокойном тоне. — Здесь присутствует и господин Зигфрид Ланк, конюх... Если меня можно и посчитать одержимой демонами, впадающей средь бела дня в состояние галлюцинации, то как ты выйдешь из положения в присутствии господина Ланка?

— Будем считать, Надя, что герр Ланк не придает особого значения моему появлению здесь и, разумеется, ничего не поймет из нашего разговора. Вот он берет за недоуздок одного жеребца, подводит его ко второму, подхватывает и этого, затем с добродушной улыбкой на круглом малиновом лице кивает тебе и уводит лошадей в конюшню.

— Ну хорошо, пусть будет так... Но объясни все-таки, зачем ты пожаловал сюда? — настойчиво вопрошала она.

— Знаешь, Надя, что после жизни больше всего берedit человеческую душу? — вопросом на вопрос отвечал я.

— Что?

— Воспоминания о том, чего тебе хотелось и чего никогда не было... Не вышло! Никогда не могло быть...

— И чего же у тебя не было?

— А хотя бы этого... Поездки с тобою в Wittenberg... Герр Зигфрид Ланк в золотых очках берет под уздцы лошадей и уводит их в конюшню...

— Этого действительно никак не могло быть, Евгений, — миролюбиво и мягко, как никогда не бывало при жизни, ответила мне Надежда. — Потому что ты даже имени графа не слышал. Это один из поклонников Орфеуса, слышавших его в то время, когда он пел на концертах в Германии... Граф смог узнать о нашем приезде от старых своих знакомых и соседей, супругов Машке, живущих на озере за Зелентом. А эти Машке, с кем я очень подружилась, близкие родственники моего второго мужа... С ними я познакомилась по прибытии в Германию, так что тебя уже на свете не было, Евгений... Как бы ты мог пожелать того, чего ты никогда не знал?

— Но разве я этого не знал, Надежда? Герр Зигфрид Ланк в золотых очках, похожий скорее на какого-нибудь посла крупной державы, а не на конюха, берет под уздцы двух прекрасных лошадей арабской породы и уводит их в конюшню...

— Евгений, что же все-таки это значит — твое появление?

— Это значит, Надежда, что любовь... — начал было я и вдруг осекся.

В том мире, откуда появился я перед Надей, любовь означала нечто совершенно иное, чем во времена «ветхих», — всегда, всегда, во все тягучие длинные годы, дни и часы ожидания человеческие...

В мире слов, из которых устроен состав наших существований, мы узнали, что неутолимая жажда любви, от которой на земле один умер, а другой сошел с ума, третий повесился, Любовь является главной созидательной силой демиурга, творца вещей и явлений. А ты думал, глядя в спину уходившей от тебя женщины, что *любишь ее*, что она тоже должна бы *любить тебя*, но что она ищет, ждет *кого-то другого*... Наверное, все же вначале Любовь, а потом Слово. Допустим, много лет земной жизни я любил женщину, которая вдруг куда-то исчезла из моей жизни, а когда мы вновь встретились через долгие годы — совершенно не узнал ее. Так кого же все эти годы я любил? Не слово ли я любил вместо нее?

Все это мгновенно промелькнуло передо мной, как рассыпающаяся на дисплее картинка компьютера, зараженного разрушительным вирусом, и, не успев ничего запомнить, я как бы остался сидеть перед пустым экраном... Действительно, труднее всего было бы дать самый точный и правдивый ответ на вопрос: зачем Тому, Кто умер и вознесся в небо, снова возвращаться на землю? И каждый обычный человек, творение Божие, перейдя в состояние мертвых, а потом будучи воскрешен, — он не сможет, ему не надо будет, он не должен бы хотеть возвращения назад, в старое время...

— Надя, мы с тобой существуем сейчас примерно в том состоянии, в каком существуют, скажем, слова в диске компьютера, — начал я снова после долгой паузы. — Я не могу больше распространяться на подобную тему, потому что это опасно: по какой-то неизвестной причине все слова, набранные на компьютере, вдруг станут рассыпаться по буквам и исчезать с экрана... Мысленно я представляю подобную нашу погибель, и невероятная печаль охватывает мое сердце. Милая Надя, а что, если нас с тобою нет и никогда не было?

— В таком случае сейчас тебе надо немедленно замолчать, а мне тоже не говорить больше ни слова и уйти, — был ответ.

И она ушла...

На этом месте книга, которую я пишу, выступая то от имени демонов, то от имени воскресших людей, должна бы оборваться и умолкнуть, как разорванная струна скрипки. Потому что слова, воссоздающие то, чего нет и никогда не было, — страшнее призраков. Письменное слово, во что я превращаюсь, становится для меня тем саркофагом, каковым является для набранного слова компьютерный диск. Я существую в слове — а оно где? Я рождаюсь из слова — а оно откуда?

Мне не узнать — никогда этого мне не знать. Но последовать, но отправиться за словом, за его полетом? Но разбежаться и прыгнуть с обрыва в море или броситься с крыши дворца Ирода? Я ведь это и сделал, потому что я не Сын Человеческий, послушный голосу своего умного сердца, а всего лишь любознательный отступник и дерзкий фаталист.

Я воскресший Евгений, который захотел на несколько мгновений вернуться к земной жизни. Но потом я вновь покинул ее, возвратился в Онлирию, а уж оттуда спустя какое-то время снова отправился в пешеходное путешествие по Северной Германии, направился в одиночестве в сторону графской усадьбы Wittenberg. Я вновь захотел навестить место на земле,

имевшее отношение к жизни женщины, которую я любил, — мой путь проходил через старинную деревню Selent...

Я подхожу наконец к древнему зданию, которое построено, может быть, тысячу лет назад. Громадные буки и величественные дубы парка окружают белый дом простой формы, благородных пропорций; высокие окна бельэтажа встречают спокойным и приветливым взором всякого, кто приближается к дому; большая мансарда под серыми шиферными плитками нахлобучена, как охотничья шапка. Никакого смысла не было бы строителю замка возводить такое превосходное здание, если бы оно не было посвящено свету Тысячелетнего Царства.

Мне виден уголок яркого цветочного ковра, возделанного трудами садовника за углом дома на зеленой поляне; с краю пышно разросшейся клумбы торчит из земли лопата, которой только что касались чьи-то руки; в глубине дома отрывисто лает небольшая, но, видимо, очень сильная и независимая собака. Внимательный взгляд графа исходит откуда-то из покоев первого этажа, и я, несколько смущенный тем, что заявился сюда без приглашения и без спроса, кланяюсь на ходу и озираюсь с вежливой улыбкой на лице.

Перед главным входом встроена в тумбу переговорная система, и я, нажав кнопку, говорю в микрофон:

— Путник, положивший посвятить свое существование путешествиям по тем местам, где бывала когда-то его любимая жена, пришел и к вам, господин граф, и смиренно просит приюта.

Через некоторое время, достаточное для того, чтобы мне вздохнуть и усмехнуться после произнесения столь выпренной фразы, переговорный ящичек ожил и ответил хрипловатым приветливым голосом:

— Отшельник, решивший никогда не искать свою жену после жизни и потому почти не выезжающий из дома, с удовольствием примет гостя и просит его войти с левого подъезда, который является рабочим, — центральный вход, уж извините, не функционирует лет сто, наверное.

И я в приподнятом настроении — почему-то даже счастливый — шагаю мимо сверкающих, чисто промытых окон бельэтажа к левому торцу замка, — шла этой же дорожкой несколько веков назад моя Надя, возвращаясь с прогулки и ведя в руках велосипед. Ей было тревожно, почти больно от всей нежностью дышавшей мирной красоты, объявшей благородный дом и этот уголок земли... Ведь совсем другое настроение и самочувствие души у того, кто воспринимает гармонию мира через чувство собственной бесконечности. Ах, Надя, если бы я мог на том языке, на котором мы все сейчас разговариваем, сказать тебе: *не надо печалиться, ведь на самом деле ты никогда не умрешь, потому что воскреснешь...* если бы я мог это сказать тогда, когда ты вела в руках велосипед и приближалась к левому торцовому подъезду замка Wittenberg. Ведь смысл этой простой Божьей истины невозможно было в те времена передать ни на одном из языков существовавших...

Когда я подошел к подъезду с левого торца дома, то поначалу лишь удивленно присвистнул. Невысокая площадка перед дверью вся обросла по кругу зеленой травой, сама дверь была обвита ползучими плетями вьюнка, чьими голубыми цветами-граммофончиками завешено было воздушное пространство на крыльце, крытом витиеватым чугунным карнизиком и двускатной крышей. К двери подобраться могли, не нарушив покоя вьюнков, разве что муравьи да пчелы с бабочками и, пожалуй, недолговечные лучи полуденного солнца, которое, выйдя из-за угла дома и ослепив скользящим потоком света окна его боковой стороны, уйдет потом за непроницаемые кроны могучих грабов... То есть, господа, в дверь дома давненько никто не входил! И только задрал голову да внимательно осмотрев окна, расположенные над подъездом в верхних этажах, я понял всю подоплеку этой загадочной ситуации.

Окно во втором этаже было широко распахнуто, и на его фрамуге красовалась надпись по-немецки: «Вход здесь». Но и без этого плаката я уже понял, что — здесь, ибо надоело, должно быть, графу, живущему на такой громадной вилле, открывать и закрывать тяжеленные двери подъездов, и он решил, наверное, пользоваться окнами второго этажа, где обычно располагались комнаты для гостей. Граф предлагал им по своему выбору занять любые апартаменты, пользоваться всем, что было в кладовых, холодильниках, библиотеках, чуланах и подвалах замка, но сам очень редко выходил к гостям, а некоторые из них так и не встречали его во все время пребывания в Wittenberg'e... Но обо всех причудах и особенностях хозяина замка мне еще предстояло узнать, а пока что с легким сердцем и с радостным предощущением новой встречи я вначале чуть-чуть приподнялся над землей и, повиснув в воздухе, снял с ног башмаки, отряхнув их от дорожной пыли, постукав подошвами друг о друга. И с башмаками в руках, с идиотской, должно быть, улыбкой на физиономии я медленно, нарочито медленно стал подниматься ко второму этажу — и все время чувствовал, что за мною наблюдают из какого-нибудь окна две пары глаз: глаза графа и глаза его собачки по кличке Руби. Располагаясь то ли на подоконнике, то ли на руках графа, умная собачка наипристальнейшим образом следила за моим вознесением... Ничуть не удивленная оным, она все свое любопытствующее внимание сосредоточила на том, как я самым бережным образом прижимаю к животу свои любимые коричневые башмаки.

Так же и я когда-то при жизни, увидев из окна своей квартиры летящего демона, ничему не удивился и лишь рассеянно следил за тем, как прогибаются на концах маховые перья его крыла. Это было в один из тех последних четырех дней, самых ужасных дней моей странной жизни, когда мне стало ясно, что Надя ушла, что все, связанное у меня с нею, есть не мое: ничего нет, ничего и не было. Просто неуловимый демон побаловался. И вот наконец объявился в московском небе он сам — огромный, грузный, как дирижабль, весь сверкающий серебром, спокойно и деловито облетающий городские кварталы.

Он летел мимо бесчисленных окон в новых высотных кварталах Москвы, никого и ничего не замечая. Но почему-то в Мневниках его взор задержался на одном из окон четырнадцатого этажа, и демон увидел раздергивающего шторы старика, который быстро спрятал за спину окровавленную руку и взглядом василиска уставился в его глаза. Но ему настолько было безразлично, чем озабочен старый человек, костлявый и лысый, что тот мгновенно сам это почувствовал и даже перестал дальше делать вид, будто ничего не произошло. Наоборот, старец раздернул занавеси пошире и поспешил явить перед демоном, пока тот медленно пролетал мимо, всю жуткую убогость своей нерядливой стариковской берлоги, и главным образом не что, завернутое в тяжелую шинельную ткань, к чему имела прямое отношение столь поспешно спрятанная за спину рука в пятнах засохшей крови.

(Окончание следует)



ВЛАДИМИР ЩАДРИН

*

ЛЕТАЮЩАЯ КНИГА

* *
*

Читаю бабочку
в библиотеке сада.
Вот книжица — подкрадываться надо!
Я кто, читатель или тать?
Так ведь не на лету ж читать!

И так-то хлопотно весьма:
то раскрывается сама,
то вновь захлопнется внезапно...
Но издана как импозантно!

Гравюр! Виньеток! Красок! Линий!
Похоже, только хвост павлиний
печатался с подобным лоском.
Не верит глаз — глазкám, полоскам!

Карманней некуда — формат
при двух всего страницах текста.
А в чей захочет влезть карман?
Ей во вселенной не усесться!

Да тут, поди, все мирозданье
само уселось к ней в издание...
Помилуйте! На чьи же средства?

Любому то есть мудрецу
по гроб загадок отоварит.

Как славу не воздам Творцу,
таких рассматривая тварей?
Как этих книг не предпочту
раскиданным в моей каморке?

Всех бабочек в саду прочту
от корки и до корки.

Птицы

Как ни посмотришь в окошко,
всегда — ряд птиц небесных летающих,
на швейных машинках крыльев воздух летающих.
И это, право, роскошно —

на город сырой или душный,
а то и в снегах летающих
полет налагать воздушный.
Работа, сказать можно, та еще...

Птицы выпрямляют пространство,
за ночь искоробленное в гармонию.
Чихают (деликатно выражаясь) на автотранспорт.
Могут и воздушный отправить в ремонт.

А многим из них по плечу —
среди моря рассвирепевшего
принести себя в жертву световому лучу...
Оторопь берет меня, пешего,

чуть стану глазеть сквозь стекло
на все это их ремесло;
из теплой кухни — наружу,
в прострачиваемую птицами стужу;
разутыми, плохо одетыми;
самоотверженнейшими одетками!

Да здравствуют эти птицы,
швей-мотористки, швей-ручницы!

Соловей

Соловей поет, словно его бьет током
на электрифицированной оgrade концлагеря.
То не узники ли его устами
что-то взялись объяснить потомкам?
А те слушают безалаберно,

понимая песнь соловья как песнь для влюбленных,
как предписание сидеть парочками под кустами.
Птицу, выбивающуюся из последних силенок
(температура тела — между двумястами и тремястами,
слышен даже запах перьев паленых),
угощают пониманием столь кустарным...

А она разве стала бы низвергаться на нас такой раскаленной лавиной,
кабы дело касалось только нашего любосластного милованья и лепета?
Хорошо еще — песнь узников обернулась для нас соловьиной.
Видимо, у них попросту не нашлось под руками лебедя.

Наша-то, собственно, безалаберность и привела к Освенциму в свое
время.

И теперь порождает много других освенцимов.
Все мы носим страшного созидания бремя,
как бы ни изошрялись в элоквенции.

Какое-то важное сообщение так и остается не дошедшим до адресата.
 (Непростительная, преступная проволока!)
 А тем временем на земле не выходит из моды костюм полосатый
 и в когтистых бантиках проволока.

Соловей поет так, словно ему ломают кости
 отборнейшие костоломы концлагеря.
 А к нему парочками под кусты подсаживаются все новые и новые гости,
 полагая, что он поет им из оперетты Легара.

Соловей поет так, словно трясет решетку тюрьмы
 (решетку из меридианов и параллелей);
 вероятно, не только затем, чтобы, находящиеся в эпицентре
 этого землетрясения, мы
 парочками под кустами млели.

Соловей поет, словно ему наступили на горло
 сапожищами вояки фюрера;
 а в клюв заливают расплавленное олово
 для вящего фурура.

Соловей осекся,
 словно запекся,
 закоротив на себя электропитание ограды Освенцима
 (ограды из параллелей и меридианов).

Солнце зажигает зарю над русскими, над поляками, над немцами...
 Саломея уже входит с блюдом в покои Иродиады.



НИКОЛАЙ КОНОНОВ

*

РОЗОВЫЙ РОЖОК

* *
*

Когда б лесов хвойное воинство не перешептывалось с тобой по-польски,
Когда б удоды, как молодые шляхтичи, в пух и прах расфуфыренные,
Не залетали в гнездо за счастливой стопочкой морозной посольской,
То и звезды не мерцали бы нам неторопливыми пронырами.

В такую жару, когда спит саранча, и опухает грозовая закваска
За щекой горизонта, и два суворовских перехода нам с тобой
до препирательств,
То я соглашаюсь, что ужасна прикипевшая мохнатая маска
К физиономии бабочки и каждый шмель — золотодобытчик-старатель.

Я не спорю с тем, что надо остудить сердце, а то ведь и ветошь
Загорается сама по себе, вспыхивает, как след стрижа огнеупорный;
Вот мы с тобой умрем, выгорев дотла, как, например, эта
Лампочка с двойной спиралькой горькой, скиснем, словно плач горна.

И тогда отрезвляющая всех насекомых пижма, зверобой, вялая
кровохлебка
Кому доверят жалобы на то, как цвести, зреть и вянуть невыносимо,
Вслед за ними нефть, торф, уголь, и даже объявшая их топка,
И безусловно темная сторона Луны — снежная, холодящая всех перина.

Но оттого, что я ненавижу тянущее жилы рек русское долготерпенье,
И оно платит мне тем же, и вот мы смотрим друг на друга исподлобья...
Ну так урой меня, что ли. Не убивает. Может быть, лень ему,
Может быть, жаль увечить изделие свое неблагодарное — двенадцатое
подобье.

И потому под шумок я приветствую бабочек — асов люфтваффе,
В рюмочку стянутых ос — настигающих мотыльков гестапо,
И тебя, ангел мой, мучаю за то, что ты меня полюбил и мне потрафил,
На руках несешь по этому непереносимому этапу.

* *
*

Даже мухи с растравой в крепком сердце, даже тараканы в душе
со смятеньем,
Даже одна из муз, от слез и сетований ставшая совершенной мокрицей,
Не то что к танцам, разглядыванию порников, свисту не проявляет
тяготенья,
А и к жизни этой, уже улепетывающей, улетающей шумной перепелицей

Да и какое тяготенье, когда так явны все тени, пятна, потеки, повадки
 Скорого переезда, когда даже облаков задвигались боевые чемоданы
 На военных антресолях, и моих чувств к тебе растоптанные впопыхах
 манатки:

Все эти порезы, царапины, ушибы, сердечные раны.

Все эти пристанционные рощи, где в розовый рожок легчайшей улыбки
 Никакой сквозняк не задует, так как плохо разумеющие по-русски туи
 Уже не сулят сплошных безударных не проверяемые на ветру ошибки,
 Склоняемые в прощальные объятия, спрягаемые в слезы и поцелуи.

И мой школьный орфографический, ставший совсем проточным,
 словарь
 Люблю, целую, обнимаю, крепко полощет быстроусвояемым акцентом,
 Что и взгляда безнадежного твоего не пробьется ко мне карий фонарик,
 Лучик его горчичный, — ни приметы, ни признака, ни температурного
 ингредиента.

Так-то вот, так-то вот все и выйдет. И, Господи, нежащий меня в нетях, —
 Боже,
 Запутавший меня в тенетах, что уже и не оторваться, холодея,
 От этого трепета, маниакального сумрака, общего суицида, так как
 в сумме это похоже
 На любовь и обиду, что и оставаться тут я не смею..

* *
 *

А боли боюсь, боюсь, боюсь, трепещу и ее ужасаюсь,
 И каждый, Господи, и каждый не крепче вишневой косточки,
 И ты, пчела самоуверенная, над розой в своем тюрбане нависая,
 Пробуй, пробуй этот воздух, как Сусанна о купальни досточки.

Пробуй, пробуй, ласточка, настройщица, поусердней молодого Давида
 Каждую струнку, каждую струю этого жара, этого заката страстного —
 Вот и арфа сумерек, жалобой у запястья сжатая, стиснутая обидой,
 Досадой сотрясаемая, а вот и слеза оттенка ненастного.

Вот и ты, всего опасаящаяся, жизнь моя — пигалица, юница;
 Толчки лимфы к ночи усердные и кровь как никогда борзая,
 То ли вода в купальне перегрелась, то ли душа томится,
 То ли сердце никак не утихомирится — мерцает и ерзает

Вот и страстная со следами истерик перетекающая в стержовность
 Русская болтовня звезд, месяца кавказские загибонь хмурые,
 Слышимые Толстым и Лермонтовым совершенно розно,
 Грозящие нам мордобитием а им — поцелуями и шуры-мурами

Им — разговоры одинокие, а нам телеграммы блатные
 Серы, пороха, чернил, туши, до синего блеска втертые
 В небеса полуночные, беснующиеся, болью переполненные налитые,
 Татуированные полуживые, полумертвые.



ИОСИФ БРОДСКИЙ

*

ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ

Посвящается Л. К.

1

В полутора комнатах (если вообще по-английски эта мера пространства имеет смысл), где мы жили втроем, был паркетный пол, и моя мать решительно возражала против того, чтобы члены ее семьи, я в частности, разгуливали в носках. Она требовала от нас, чтобы мы всегда ходили в ботинках или тапочках. Выговаривая мне по этому поводу, вспоминала старое русское суеверие. «Это дурная примета, — утверждала она, — к смерти в доме».

Может быть, конечно, она просто считала эту привычку некультурной, обычным неумением себя вести. Мужские ноги пахнут, а эпоха дезодорантов еще не наступила. И все же я думал, что в самом деле можно легко поскользнуться и упасть на до блеска натертом паркете, особенно если ты в шерстяных носках. И что если ты хрупок и стар, последствия могут быть ужасны. Связь паркета с деревом, землей и т. д. распространялась в моем представлении на всякую поверхность под ногами близких и дальних родственников, живших с нами в одном городе. На любом расстоянии поверхность была все той же. Даже жизнь на другом берегу реки, где впоследствии я снимал квартиру или комнату, не составляла исключения, в том городе слишком много рек и каналов. И хотя некоторые из них достаточно глубоки для морских судов, смерти, я думал, они покажутся мелкими, либо в своей подземной стихии она может проползти под их руслами.

Теперь ни матери, ни отца нет в живых. Я стою на побережье Атлантики: масса воды отделяет меня от двух оставшихся теток и двоюродных братьев — настоящая пропасть, столь великая, что ей впору смутить саму смерть. Теперь я могу рассказывать в носках сколько душе угодно, так как у меня нет родственников на этом континенте. Единственная смерть в доме, которую я теперь могу навлечь, это, по-видимому, моя собственная, что, однако, означало бы смешение приемного и передаточного устройств. Вероятность такой путаницы мала, и в этом отличие электроники от суеверия. Если я все-таки не рассказываю в носках по широкому, канадского клена половицам, то не потому, что такая возможность тем не менее существует и не из инстинкта самосохранения, но потому, что моя мать этого не одобрила бы. Вероятно, мне хочется хранить привычки нашей семьи теперь, когда я — это все, что от нее осталось.

2

Нас было трое в этих наших полутора комнатах: отец, мать и я. Семья, обычная советская семья того времени. Время было послевоенное, и очень немногие могли позволить себе иметь больше чем одного ребенка. У некоторых не было возможности даже иметь отца — невинного и присутствующего: большой террор и война поработали повсеместно, в моем го-

роде — особенно. Поэтому следовало полагать, что нам повезло, если учесть к тому же, что мы — евреи. Втроем мы пережили войну (говорю «втроем», так как и я тоже родился до нее, в 1940 году); однако родители уцелели еще и в тридцатые.

Думаю, они считали, что им повезло, хотя никогда ничего такого не говорились. Вообще они не слишком прислушивались к себе, только когда состарились и болезни начали осаждать их. Но и тогда они не говорили о себе и о смерти в той манере, что вселяет ужас в слушателя или побуждает его к состраданию. Они просто ворчали, безадресно жаловались на боли или принимались обсуждать то или иное лекарство. Ближе всего мать подходила к этой теме, когда, указывая на очень хрупкий китайский сервиз, говорила: «Он перейдет к тебе, когда ты женишься или...» — и обрывала фразу. И еще как-то помню ее говорящей по телефону с одной своей неблизкой подругой, которая, как мне было сказано, болела: помню, мать вышла из телефонной будки на улицу, где я поджидал ее, с каким-то непривычным выражением таких знакомых глаз за стеклами очков в черпаховой оправе. Я склонился к ней (уже был значительно выше ростом) и спросил, что же такое сказала та женщина, и мать ответила, рассеянно глядя перед собой: «Она знает, что умирает, и плакала в трубку».

Они все принимали как данность: систему, собственное бессилие, нищету, своего непутевого сына. Просто пытались во всем добиваться лучшего: чтоб всегда на столе была еда — и чем бы еда эта ни оказывалась, поделить ее на ломтики; свести концы с концами и, невзирая на то, что мы вечно перебивались от получки до получки, отложить рубль-другой на детское кино, походы в музей, книги, лакомства. Те посуда, утварь, одежда, белье, что мы имели, всегда блестили чистотой, были отутюжены, заплатами, накрахмалены. Скатерть — всегда безупречна и хрустела, на абажуре над ней — ни пылинки, паркет был подметен и сиял.

Поразительно, что они никогда не скучали. Уставали — да, но не скучали. Большую часть домашнего времени они проводили на ногах: готовя, стирая, крутясь по квартире между коммунальной кухней и нашими полутора комнатами, возясь с какой-нибудь мелочью по хозяйству. Застать сидящими их, конечно, можно было во время еды, но чаще всего я помню мать на стуле, склонившуюся над зингеровской швейной машинкой с комбинированным ножным приводом, штопающую наши тряпки, изнанкой пришивающую обтрепанные воротнички на рубашках, производящую починку или перелицовку старых пальто. Отец же сидел, только когда читал газету или за письменным столом. Иногда по вечерам они смотрели фильм или концерт по нашему телевизору образца 1952 года. Тогда они, бывало, тоже сидели. Вот так год назад сосед нашел сидящего на стуле в полутора комнатах моего отца мертвым.

3

Он пережил свою жену на тринадцать месяцев. Из семидесяти восьми лет ее жизни и восьмидесяти его я провел с ними только тридцать два года. Мне почти ничего не известно о том, как они встретились, о том, что предшествовало их свадьбе; я даже не знаю, в каком году они поженились. И я не знаю, как они жили без меня свои последние одиннадцать или двенадцать лет. Поскольку мне никогда не проникнуть в это, лучше предположить, что распорядок хранит обыденность, что они, возможно, даже остались в выигрыше в смысле денег и свободы от страха, что меня опять арестуют. Если бы не то, что я не мог поддержать их в старости, что меня не оказалось рядом, когда они умирали. Говорю это не столько из чувства вины, сколь из эгоистического отчасти стремления ребенка следовать за родителями в течение всей их жизни; ибо всякий ребенок так или иначе повторяет родителей в развитии. Я мог бы сказать, что в конечном счете желаешь узнать от них о своем будущем, о собственном старении; жела-

ешь взять у родителей и последний урок: как умереть. Даже если никаких уроков брать не хочется, знаешь, что учишься у них, хотя бы и невольно. «Неужели я тоже буду так выглядеть, когда состарюсь?.. Это сердечное — или другое — недомогание наследственно?»

Я не знаю и уже не узнаю, что они чувствовали на протяжении последних лет своей жизни. Сколько раз их охватывал страх, сколько раз были они на грани смерти, что ощущали, когда наступало облегчение, как вновь обретали надежду, что мы втроем опять окажемся вместе. «Сынок, — повторяла мать по телефону, — единственное, чего я хочу от жизни, — снова увидеть тебя. — И сразу: — Что ты делал пять минут назад, перед тем как позвонил?» — «Ничего, мыл посуду». — «А, очень хорошо, очень правильно: мыть посуду — это иногда полезно для здоровья».

4

Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестизэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Северной Европы начала века. Законченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской словесности улиц — Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощущаемым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой «уплотнения» буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены — сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве заложено ощущение бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

В СССР минимальная норма жилой площади 9 м² на человека. Следовало считать, что нам повезло, ибо в силу причудливости нашей части анфилады мы втроем оказались в помещении общей площадью 40 м². Сей излишек связан с тем, что при получении нашего жилища мои родители пожертвовали двумя отдельными комнатами в разных частях города, где они жили до женитьбы. Это понятие о квартирном обмене — или лучше просто обмене (ввиду несомненности предмета) — нет способа передать постороннему, чужестранцу. Имущественные законодательства окутаны тайной повсюду, но иные из них таинственней других, в особенности когда недвижимостью владеет государство. Деньги, к примеру, тут ни при чем, поскольку в тоталитарном государстве доходы граждан не слишком дифференцированы, говоря иначе, все равны в нищете. Вы не покупаете жилье; если вас, допустим, двое и вы решили съехаться, то вам, следовательно, положено помещение, равное общей площади ваших прежних жилищ. Но именно чиновники в районной жилконторе решают, что вам причитается. Взятки бесполезны, ибо иерархия этих чиновников, в свою очередь, чертовски таинственна, а их первое побуждение — дать вам поменьше. Обмены длятся годами, и единственный ваш союзник — уста-

лость, то есть вы можете надеяться взять их измором, отказываясь от всего, размером уступающего тому, чем вы располагали прежде. Помимо абстрактной арифметики, на их решение также влияет уйма разнородных допущений, никогда не оговариваемых законом, связанных с вашим возрастом, национальной и расовой принадлежностью, профессией, возрастом и полом вашего ребенка, социальным происхождением и местом рождения, не говоря уж о производимом вами личном впечатлении и пр. Только чиновники знают, что есть в наличии, лишь они устанавливают соответствие и вольны отнять или накинуть пару квадратных метров. А как много эти два метра значат! Можно разместить на них книжный шкаф, а еще лучше — письменный стол.

5

Помимо излишка в тринадцать квадратных метров, нам неслыханно повезло еще и в том, что коммунальная квартира, в которую мы въехали, была очень мала, часть анфилады, составлявшая ее, насчитывала шесть комнат, разгороженных таким образом, что они давали приют только четырем семьям. Включая нас, там жило всего одиннадцать человек. В иной коммуналке число жильцов могло запросто достигать и сотни. Середина, однако, колебалась где-то между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Наша была почти крошечной.

Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень приличный и уютный. Что до ванной — гигиенические привычки были таковы, что одиннадцать человек нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты с кухней, и каждый из нас назубок знал соседское исподнее.

Соседи были хорошими соседями — и как люди, и оттого, что все без исключения ходили на службу и, таким образом, отсутствовали лучшую часть дня. За исключением одной из них, они не были доносчиками; не плохое для коммуналки соотношение. Но даже она, приземистая, лишенная талии женщина, хирург районной поликлиники, порой давала врачебный совет, подменяла в очереди за какой-нибудь съестной редкостью, приглядывала за вашим кипящим супом. Как там в «Расщепителе звезд» у Фроста? «Общительность склоняет нас к прощению».

При всех неприглядных сторонах этой формы бытия, коммунальная квартира имеет, возможно, также и сторону, их искупающую. Она обнажает самые основы существования: разрушает любые иллюзии относительно человеческой природы. По тому, кто как пернул, ты можешь опознать засевшего в клозете, тебе известно, что у него (у нее) на ужин, а также на завтрак. Ты знаешь звуки, которые они издают в постели, и когда у женщин менструация. Нередко именно тебе сосед поверяет свои печали, и это он (или она) вызывает «скорую», случись с тобой сердечный приступ или что-нибудь похуже. Наконец, он (или она) однажды могут найти тебя мертвым на стуле — если ты живешь один — и наоборот.

Какими колкостями или медицинскими и кулинарными советами, какой доверительной информацией о продуктах, появившихся вдруг в одном из магазинов, обмениваются по вечерам на коммунальной кухне жены, готовящие пищу! Именно тут учишься житейским основам — краем уха, уголком глаза. Что за тихие драмы открываются взору, когда кто-то с кем-то внезапно перестал разговаривать! Какая это школа мимики! Какую бездну чувств может выражать застывший обиженный позвоночник или ледяной профиль! Какие запахи, ароматы и благоухания плавают в воздухе вокруг стоваттной желтой слезы, висящей на растрепанной косице электрического шнура. Есть нечто племенное в этой тускло освещенной пещере, нечто изначально эволюционное, если угодно; и кастрюли и сковородки свисают над газовыми плитами подобно тамтамам.

6

Вспоминаю их не от тоски, но оттого, что именно тут моя мать провела четверть жизни. Семейные люди редко едят не дома; в России — почти никогда. Я не помню ни ее, ни отца за столиком в ресторане или даже в кафетерии. Она была лучшим поваром, которого я когда-либо знал, за исключением, пожалуй, Честера Каллмана, однако у того в распоряжении было больше ингредиентов. Очень часто вспоминаю ее на кухне в переднике — лицо покраснелось и очки слегка запотели — отгоняющей меня от плиты, когда я пытаюсь схватить что-нибудь прямо с огня. Верхняя губа блестит от пота; коротко стриженные, крашенные хной седые волосы беспорядочно вьются. «Отойди! — она сердится. — Что за нетерпение!» Больше я этого не услышу никогда.

И я не увижу отворяющуюся дверь (как с латкой или двумя огромными сковородками в руках она проделывала это? использовала их тяжесть, чтобы нажать на дверную ручку?) и ее, врывающуюся в комнату с обедом, ужином, чаем, десертом. Отец читает газету, я не двигаюсь с места, пока мне не скажут отложить книгу, и ей известно, что та помощь, на которую она вправе рассчитывать, наверняка была бы запоздалой и неуклюжей. В ее семье мужчины скорее знали об учтивых манерах, нежели владели ими. Даже проголодавшись. «Опять ты читаешь своего Дос Пассоса? — она скажет, накрывая на стол. — А кто будет читать Тургенева?» — «Что ты хочешь от него, — отзовется отец, складывая газету, — одно слово — бездельник».

7

Странно, что я вижу самого себя в этой сцене. И тем не менее я вижу — так же отчетливо, как вижу их. И опять-таки это не тоска по молодости, по прежнему месту жительства. Нет, скорее всего теперь, когда они умерли, я вижу их жизнь такой, какой она была прежде, а прежде она включала меня. То же, я думаю, они могли бы помнить обо мне. Если, конечно, сейчас они не обладают даром всеведения и не наблюдают меня сидящим на кухне в квартире, которую я снимаю у колледжа, пишушим эти строки на языке, которого они не знают, хотя, если на то пошло, теперь они должны быть всеязычны. Это единственная возможность для них повидать меня и Америку. Это единственный способ для меня увидеть их и нашу комнату.

8

Наш потолок, приблизительно четырнадцати, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некой несуществующей сверхдержавы или архипелага. Из трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно, кроме школы напротив; но центральное окно одновременно служило дверью балкона. С этого балкона нам открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви св. Пантелеймона или — если взглянуть направо — большой площадью, в центре которой находился собор Преображенского полка ее императорского величества.

К тому времени, как мы перебрались в это мавританское чудо, улица уже носила имя Пестеля, казненного вождя декабристов. Изначально, однако, она называлась по церкви, что маячила в ее дальнем конце: Пантелеймоновская. Там, вдалеке, улица огибала церковь и бежала к Фонтанке, пересекала мостик и приводила вас в Летний сад. В этой части улицы некогда жил Пушкин, сообщавший в одном из писем к жене: «Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома».

Его дом был, если не ошибаюсь, одиннадцатым, наш — номер 27 и находился в конце улицы, впадающей в соборную площадь. Но поскольку здание стояло на пересечении с легендарным Литейным проспектом, наш почтовый адрес выглядел так: Литейный пр., д. 24, кв. 28. По нему мы получали письма, именно его я писал на конвертах, которые отправлял родителям. Упоминаю его здесь не потому, что это имеет какое-то значение, но потому, что моя рука никогда больше не выведет этого адреса.

9

Странным образом наша мебель оказалась под стать обличью и внутреннему виду здания. Она была так же массивна и перегружена завитками, как штукатурная лепка на фасаде или выступавшие на стенах изнутри пилястры и панно, опутанные гипсовыми гирляндами каких-то геометрических фруктов. И внешний облик, и внутренний орнамент — светло-коричневые, цвета какао с молоком. Наши два огромных собороподобных буфета были, однако, из черного лакированного дуба, но все-таки принадлежали той же эпохе, началу века, как и само здание. Возможно, именно это, хотя и невольно, с самого начала расположило к нам соседей. И возможно, по той же причине, едва проведя в этом здании год, мы чувствовали себя так, как будто жили здесь всегда. Ощущение, что буфеты обрели дом или, может быть, наоборот, как-то дало нам понять, что и мы обосновались прочно, что переезжать нам более не суждено.

Эти трех с половиной метров высотой двухэтажные буфеты (чтобы их сдвинуть, приходилось снимать верхнюю, с карнизом, часть со стоящей на слоновьих ножках нижней) вмещали практически все, накопленное нашей семьей за время ее существования. Роль, отведенную повсеместно чердакам или подвалам, в нашем случае играли буфеты. Различные отцовские фотоаппараты, принадлежности для проявления и печатания снимков, сами снимки, посуда, фарфор, белье, скатерти, обувные коробки с ботинками, которые уже малы ему, но еще велики мне, инструменты, батарейки, его старые морские кители, бинокли, семейные альбомы, пожелтевшие иллюстрированные журналы, шляпы и платки моей матери, серебряные бритвы «Золинген», испорченные карманные фонарики, его награды, ее разноцветные кимоно, их письма друг к другу, лорнеты, веера, прочие сувениры памяти — все это хранилось в пещерных недрах буфетов, преподнося, когда открываешь дверцу, букет из нафталина, старой кожи и пыли. На нижней части буфета, как на каминной полке, красовались два хрустальных графина с ликерами и покрытая глазурью фарфоровая парочка подвыпивших китайских рыбаков, тянущих свой улов. Мать вытирала с них пыль два раза в неделю.

Задним числом содержимое этих буфетов можно сравнить с нашим коллективным подсознательным; в то время такая мысль не пришла бы мне в голову. По крайней мере все те вещи были частью сознания родителей, знаками их памяти — о временах и местах, как правило, мне предшествующих, об их совместном и отдельном прошлом, о юности и детстве, о другой эпохе, едва ли не о другом столетии. Задним числом опять-таки я бы добавил: об их свободе, ибо они родились и выросли свободными, прежде чем случилось то, что безмозглая сволочь именуется революцией, но что для них, как и для нескольких поколений других людей, означало рабство

10

Я пишу о них по-английски, ибо хочу даровать им резерв свободы; резерв, растущий вместе с числом тех, кто пожелает прочесть это. Я хочу, чтобы Мария Вольперт и Александр Бродский обрели реальность в «иноземном кодексе совести», хочу, чтобы глаголы движения английского языка повторили их жесты. Это не воскресит их, но по крайней мере английская грам-

матика в состоянии послужить лучшим запасным выходом из печных труб государственного крематория, нежели русская. Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их уничтожению, кончающимся физическим развоплощением. Понимаю, что не следует отождествлять государство с языком, но двое стариков, скитаясь по многочисленным государственным канцеляриям и министерствам в надежде добиться разрешения выбраться за границу, чтобы перед смертью повидать своего единственного сына, неизменно именно по-русски слышали в ответ двенадцать лет кряду, что государство считает такую поездку «нецелесообразной». Повторение этой формулы по меньшей мере обнаруживает некоторую фамильярность обращения государства с русским языком. А кроме того, даже напиши я это по-русски, слова эти не увидели бы света дня под русским небом. Кто б тогда прочел их? Горстка эмигрантов, чьи родители либо умерли, либо умрут при сходных обстоятельствах? История, слишком хорошо им знакомая. Они знают, что чувствуешь, когда не разрешено повидать мать или отца при смерти; молчание, воцаряющееся вслед за требованием срочной визы для выезда на похороны близкого. А затем становится слишком поздно, и, повесив телефонную трубку, он или она бредет из дому в иностранный полдень, ощущая нечто, для чего ни в одном языке нет слов и что никаким стоном не передать тоже... Что мог бы я сказать им? Каким образом исцелить? Ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с неотвратимостью России, и никому с пером в руке их не вылечить: нет, это по плечу лишь Всевышнему, именно у него на это достаточно времени. Пусть английский язык приютит моих мертвецов. По-русски я готов читать, писать стихи или письма. Однако Марии Вольперт и Александру Бродскому английский сулит лучший вид загробной жизни, возможно, единственно существующий, не считая заключенного во мне самом. Что же до меня самого, то писать на этом языке — как мыть ту посуду: полезно для здоровья.

11

Мой отец был журналистом — говоря точнее, фотокорреспондентом, хотя пописывал и статьи. Поскольку писал он по преимуществу для ежедневных многотиражек, которых все равно никто не читает, большая часть его репортажей обыкновенно начиналась так: «Тяжелые штормовые тучи повисли над Балтикой...» — в надежде на то, что погода в наших широтах всегда подстроится к такому началу. У него было два диплома: географа, полученный в Ленинградском университете, и журналиста — в Школе красной журналистики. В последнюю он поступил, когда стало очевидно, что намерения путешествовать, в особенности за границей, не стоит расценивать всерьез: как еврей, как сыну книгоиздателя и беспартийному.

Журналистика (в известной степени) и война (значительно) исправили положение. Он повидал шестую часть суши (обычное количественное определение территории СССР) и немало воды. Хотя его прикомандировали к флоту, война началась для него в 1940 году в Финляндии, а закончилась в 1948-м в Китае, куда он был послан с группой военных советников содействовать притязаниям Мао и откуда прибыли те фарфоровые рыбаки под мухой и сервизы, что мать хотела подарить мне, когда я женюсь. В промежутке он эскортировал конвои в Баренцевом море, отстоявал и сдал Севастополь на Черном, примкнул — когда его корабль пошел ко дну — к морской пехоте. Был отправлен на Ленинградский фронт, сделал лучшие из виденных мной фотографий осажденного города и участвовал в прорыве блокады. (Думаю, этот отрезок войны оказался для него самым важным благодаря соседству семьи и дома. Все же вопреки близости к ним он потерял квартиру и единственную сестру вследствие бомбежек и голода.) Затем он снова был послан на Черное море, высадился на печально известной Малой земле, защищал ее; по мере продвижения фронта на запад оказался в Румынии и короткое вре-

мя был даже военным комендантом Констанцы. «Мы освободили Румынию», — иногда хвастался он и принимался вспоминать свои встречи с королем Михаем, единственным королем, увиденным им воочию; Мао, Чан Кайши, не говоря уж о Сталине, он считал выскочками.

12

В каких бы там военных играх в Китае он ни был замешан, наша маленькая кладовка, наши буфеты и стены сильно выгадали от этого. Все предметы искусства, их украсившие, были китайского происхождения: пробковые с акварелью рисунки, мечи самураев, небольшие шелковые экраны. Подвыпившие рыбаки оставались последними от оживленного многолюдья фарфоровых фигурок, куколок и пингвинов в шляпах, которые исчезали постепенно — жертвы неловких жестов или необходимости подарков ко дню рождения разным родственникам. От мечей тоже пришлось отказаться в пользу государственной коллекции как от потенциального оружия, хранение которого рядовым гражданам было запрещено. Подумать только! — какая разумная предусмотрительность — ввиду последующих милицейских вторжений, навлеченных мной на полторы комнаты. Что касается фарфоровых сервизов, потрясающе изысканных на мой неискушенный взгляд, — мать и слышать не хотела о том, чтобы хоть одно изящное блюдечко украсило наш стол. «Они не для жлобов, — терпеливо объясняла она нам, — а вы жлобы. Вы очень неуклюжие жлобы». К тому же посуда, из которой мы ели, была вполне красива, да и прочна тоже.

Я помню темный, промозглый ноябрьский вечер 1948 года, тесную шестнадцатиметровую комнату, где мы во время и сразу после войны жили вдвоем с матерью. В тот вечер отец вернулся из Китая. Помню звонок в дверь и как мы с матерью бросаемся к выходу на тускло освещенную лестничную клетку, вдруг потемневшую от морских кителей: отец, его друг капитан Ф. М. и с ними несколько военных, вносящих в коридор три огромных деревянных ящика с китайским уловом, разукрашенных с боков гигантскими, похожими на осьминогов иероглифами. Затем мы с капитаном Ф. М. сидим за столом, и, пока отец распаковывает ящики, мать, в желто-розовом крепдешинном платье, на высоких каблуках, всплескивает руками и восклицает: «*Ach! Oh wunderbar!*» — по-немецки, на языке ее латвийского детства и нынешней службы переводчицей в лагере для военнопленных, — и капитан Ф. М., высокий и стройный, в незастегнутом темно-синем кителе, наливает себе из графина рюмочку, подмигивая мне как взрослому. Ремни с якорями на пряжках и парабеллумы в кобурах лежат на подоконнике, мать ахает при виде кимоно. Война окончена, наступил мир, я слишком мал для того, чтоб подмигнуть в ответ.

13

Сейчас мне в точности столько лет, сколько было в тот ноябрьский вечер отцу: мне сорок пять, и вновь я вижу эту сцену с неестественной ясностью, словно сквозь мощную линзу, хотя все ее участники, кроме меня, мертвы. Я вижу ее так ясно, что могу подмигнуть капитану Ф. М. ... Не это ли предвиделось уже тогда? Нет ли здесь, в этом перемигивании через пространство почти в сорок лет, какого-то значения, какого-то смысла, ускользающего от меня? Не вся ли жизнь — об этом? Если нет, откуда эта ясность, зачем она? Единственный ответ, приходящий в голову: чтобы то мгновение жило, чтоб оно не было забыто, когда все актеры, меня включая, сойдут со сцены. Возможно, таким образом понимаешь по-настоящему, каким драгоценным оно было — воцарение мира. В одной семье. И чтобы попутно выяснилось, что такое мгновение. Будь то возвращение чьего-то отца, вскрытие ящика. Отсюда эта месмерическая ясность. Или,

возможно, оттого, что ты сын фотографа и твоя память всего лишь проявляет пленку. Отснятую твоими глазами почти сорок лет назад. Вот почему тогда ты не смог подмигнуть в ответ.

14

Отец носил морскую форму приблизительно еще два года. И как раз тогда мое детство началось всерьез. Он был офицером, заведующим фотолабораторией Военно-морского музея, расположенного в самом прекрасном во всем городе здании. А значит, и во всей империи. То было здание бывшей фондовой биржи: сооружение несравненно более греческое, чем любой Парфенон, и к тому же куда удачней расположенное — на стрелке Васильевского острова, врзавшейся в Неву в самом ее широком месте.

Ранними вечерами после уроков я пробирался через город к реке, пересекал Дворцовый мост, с тем чтобы забежать в музей за отцом и вместе с ним пешком вернуться домой. Лучше всего бывало, когда он по вечерам оказывался дежурным и музей был уже закрыт. Он появлялся в длинном мраморном коридоре во всем великолепии, с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и парабеллумом в кобуре, болтающимся на ремне на правом боку; морская фуражка с лакированным козырьком и позолоченным «салатом» скрывала его безнадежно лысую голову. «Здравия желаю, капитан», — говорил я, ибо таков был его чин; он усмехался в ответ и, поскольку дежурство его продолжалось еще около часа, отпускал меня шляться по музею в одиночестве.

По глубокому моему убеждению, за вычетом литературы двух последних столетий и, возможно, архитектуры своей бывшей столицы, единственное, чем может гордиться Россия, это историей собственного флота. Не из-за эффектных его побед, коих было не так уж много, но ввиду благородства духа, оживлявшего сие предприятие. Вы скажете — причуда, а то и вычуря; однако порождение ума единственного мечтателя среди русских императоров, Петра Великого, воистину представляется мне гибридом вышеупомянутой литературы с архитектурой. Создававшийся по образцу британского флота, менее функциональный, скорее декоративный, проникнутый духом открытий, а не завоеваний, склонный скорее к героическому жесту и самопожертвованию, чем к выживанию любой ценой, этот флот действительно был мечтой о безупречном, почти отвлеченном порядке, державшемся на водах мировых морей, поскольку не мог быть достигнут нигде на российской почве.

Ребенок — это прежде всего эстет: он реагирует на внешность, на видимость, на очертания и формы. Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы — анфас и в профиль — в золоченых рамах, которые неявно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине. В мундирах восемнадцатого и девятнадцатого веков, с жабо или высокими стоячими воротниками, в похожих на лопухи эполетах с бахромой, в париках и бегущих через всю грудь широких голубых лентах, они очень сильно смахивали на орудия совершенного, отвлеченного идеала, не менее точные, чем отороченные бронзой астролябии, компасы, бинокли и секстанты, поблескивающие вокруг. Они могли вычислить место человека под звездами с меньшей погрешностью, чем их повелители! И можно было только пожелать, чтобы они правили житейским морем тоже: подвергаться суровостям их тригонометрии, а не дешевой планиметрии идеологий, быть творением мечты, пусть даже миража, а не частью реальности. По сей день я полагаю, что страна только выиграла бы, имей она символом нации не двуглавую подлую имперскую птицу или полумасонский серп и молот, а флаг русского флота — наш славный, поистине прекрасный Андреевский флаг: косой синий крест на девственно белом фоне.

15

По пути домой мы с отцом заглядывали в магазины, с тем чтобы купить продукты или фотопринадлежности (пленку, реактивы, бумагу), останавливались у витрин. Пока мы проходили через центр города, он рассказывал мне историю того или иного фасада: что находилось здесь до войны или до 1917 года, кто был архитектором, кто владельцем, кто жильцом, что с ними произошло и, на его взгляд, почему. Этот морской капитан шести футов ростом знал немало о гражданской жизни, и постепенно я стал воспринимать его форму как камуфляж; сказать точнее, идея различия между формой и содержанием пустила корни в моем школьном уме. Отцовская форма имела к этому следствию не меньшее отношение, чем современное содержание, кроющееся за фасадами домов, на которые он указывал. В разумении школьника подобное несоответствие преломлялось, конечно, как приглашение ко лжи (хотя нужды особой в ней не было); в глубине души, однако, мне кажется, это научило меня принципу сохранения внешнего благополучия независимо от происходящего внутри.

В России военные редко носят штатское, даже дома. Отчасти это связано с их гардеробом, всегда не слишком обширным, хотя главным образом имеет отношение к понятию значительности, соотносимому с формой и, следовательно, с вашим общественным положением. В особенности если вы офицер. Даже демобилизовавшиеся и пенсионеры норовят еще какое-то время носить и дома и на людях ту или иную часть своего служебного наряда — китель без погон, сапоги с голенищами, фуражку, шинель, дающие понять всем (и напоминающие им самим) об их воинской принадлежности: ибо командовавший однажды командует всегда. Как протестантское духовенство в здешних широтах; и в случае с военным моряком сходство это всего сильнее из-за белого подкладного воротничка.

У нас имелась уйма тех подворотничков, целлулоидных и хлопчатобумажных, в верхнем ящике буфета; через несколько лет, когда я учился в седьмом классе и была введена школьная форма, мать разрезала и пришивала их к стоячему воротнику моей мышино-серой курточки. Ибо та форма тоже была полувойенной: курточка, ремень с пряжкой, соответствующие брюки, фуражка с лакированным козырьком. Чем раньше начинаешь думать о себе как о солдате, тем лучше для государства. У меня это не вызывало возражений, и все же я недолго любил цвет, наводивший на мысль о пехоте или, того хуже, о милиции. Никаким образом он не подходил к черной как смоль отцовской шинели с двумя рядами желтых пуговиц, напоминавшими ночной проспект. А когда он ее расстегивал, из-под нее виднелся темно-синий китель с еще одной шеренгой таких же пуговиц: тускло освещенная вечерняя улица. «Улица внутри проспекта» — именно так я думал об отце, искоса поглядывая на него по пути из музея домой.

16

Две вороны тут, во дворе у меня за домом в Саут-Хадли. Довольно большие, величиной почти с воронов; и, подъезжая к дому или покидая его, первое, что я вижу, это их. Здесь они появились поодиночке: первая — два года назад, когда умерла мать, вторая — в прошлом году, сразу после смерти отца. Во всяком случае, именно так я заметил их присутствие. Теперь всегда они показываются или взлетают вместе и слишком бесшумны для ворон. Стараюсь не смотреть на них; по крайней мере стараюсь за ними не следить. Все же я заметил их склонность задерживаться в сосновой роще, которая начинается за моим домом в конце двора и идет, с четверть мили, по скату к лужайке, окаймляющей небольшой овраг с парой крупных валунов на краю. Нынче я там не хожу, поскольку боюсь спугнуть их, ворон, дремлющих на вершинах тех двух валунов в солнечном

свете. И я не пробую отыскать воронье гнездо. Они черные, но я заметил, что изнанка их крыльев цвета сырого пепла. Не вижу их лишь тогда, когда идет дождь.

17

В 1950, кажется, году отца демобилизовали в соответствии с каким-то постановлением Политбюро, запрещавшим лицам еврейского происхождения иметь высокое офицерское звание. Постановление было подготовлено, если не ошибаюсь, Ждановым, ответственным в ту пору за идеологию в Вооруженных Силах. К тому времени отцу уже минуло сорок семь, и ему, в сущности, приходилось начинать жизнь заново. Он решил вернуться к журналистике, к своим фоторепортажам. Для этого, однако, следовало устроиться на работу в журнал или газету, что оказалось весьма непросто: пятидесятые годы для евреев были тяжелыми временами. Борьба с «безродными космополитами» была в самом разгаре; за ней в 1953 году последовало «дело врачей», не окончившееся привычным кровопролитием лишь потому, что его вдохновитель, сам товарищ Сталин, в апогее кампании нежданно-негаданно сыграл в ящик. Но задолго до того и какое-то время спустя воздух полнился слухами о планируемых в Политбюро репрессиях против евреев, о переселении этих исчадий пятого пункта на Дальний Восток, в область, именуемую Биробиджаном, неподалеку от китайской границы. По рукам ходило даже письмо за подписью наиболее известных обладателей пятого пункта — гроссмейстеров, композиторов и писателей, — содержащее просьбу к ЦК и лично к товарищу Сталину разрешить им, евреям, искупить суровым трудом в отдаленных местностях большой вред, причиненный русскому народу. Письмо должно было со дня на день появиться в «Правде» и стать предлогом для депортации.

То, однако, что появилось в «Правде», оказалось сообщением о смерти Сталина, даже к тому времени мы уже готовились к путешествию и продали пианино, на котором в нашем семействе все равно никто не играл (вопреки стараниям дальней родственницы, приглашенной матерью ко мне в учителя, я решительно не проявлял ни способностей, ни терпения). Но по-прежнему возможности беспартийного еврея в той обстановке устроиться в журнал или газету представлялись жалкими, в связи с чем отец снялся с якоря.

Несколько лет кряду он разъезжал по стране, заключив в Москве договор с ВДНХ. Таким образом, нам иногда перепадали какие-нибудь чудеса — двухкилограммовые помидоры или грушеяблоки; но жалованье выплачивалось более чем скудное, и втроем мы существовали исключительно на материнскую зарплату служащей в районной жилконторе. То были самые нищие наши годы, и именно тогда родители начали болеть. Но все равно отец сохранял верность своей компанейской природе, и часто, прогуливаясь с ним по городу, мы навещали его военно-морских приятелей, нынче заправлявших яхт-клубом, стороживших старые верфи, муштровавших нахимовцев. Их оказалось и впрямь немало, и неизменно они были рады его видеть (вообще я ни разу не встретил кого-либо — ни мужчину, ни женщину, — кто держал бы на него обиду). Один из его приятелей, главный редактор многотиражки морского пароходства, еврей с неприметной русской фамилией, наконец устроил его к себе, и, пока не вышел на пенсию, отец готовил для этой газеты репортажи из ленинградской гавани.

Мне кажется, что большую часть жизни он провел на ногах («Репортера, как волка, ноги кормят» — было частой его присказкой) — среди судов, моряков, капитанов, кранов, грузов. На заднем плане всегда присутствовали зыблющийся цинк водной простыни, мачты, черный металлический силуэт кормы с несколькими начальными или конечными белыми буквами названия порта приписки судна. Круглый год, за исключением зимы, он носил черную морскую фуражку с лакированным козырьком.

Ему нравилось находиться вблизи воды, он обожал море. В этой стране так ближе всего можно подобраться к свободе. Даже посмотреть на море иногда бывает достаточно, и он смотрел и фотографировал его большую часть жизни.

18

В той или иной мере всякое дитя стремится к взрослости и жаждет вырваться из дома, из своего тесного гнезда. Наружу! В настоящую жизнь! В широкий мир. К самостоятельному существованию.

В положенный срок его желание сбывается. И какое-то время молодой человек захвачен новыми перспективами, строительством собственного гнезда, собственной реальности.

Затем однажды, когда новая реальность изучена, когда самостоятельность осуществлена, он внезапно выясняет, что старое гнездо исчезло, а те, кто дал ему жизнь, умерли. В тот день он ощущает себя неожиданно лишенным причины следствием. Чудовищность утраты делает оную непостижимой. Рассудок, оголенный этой утратой, съезживается и увеличивает ее значительность еще больше.

Человек осознает, что его юношеские поиски «настоящей жизни», его бегство из гнезда оставили это гнездо незащищенным. Ничего не попишешь; тем не менее он может свалить вину на природу.

В чем природу не обвинишь, так это в открытии им того, что его собственные достижения, реальность его собственной выделки менее обоснованны, нежели реальность покинутого гнезда. Что если некогда и существовало что-либо настоящее в его жизни, то это именно гнездо, тесное и душное, откуда ему так нестерпимо хотелось бежать. Ибо гнездо строилось *другими*, теми, кто дал ему жизнь, а не им самим, знающим слишком хорошо истинную цену собственному труду, *пользующимся*, в сущности, всего лишь данной ему жизнью.

Он знает, сколь умышленно, сколь нарочито и преднамеренно все, что им создано. Как в конечном счете все это преходяще. И если даже все это никуда не девается, то в лучшем случае ему дано использовать созданное как свидетельство своего мастерства, коим он волен похвалиться.

Ведь при всем своем мастерстве он так и не сможет воссоздать то примитивное, прочное гнездо, которое услышало его первый в жизни крик. И он не сумеет воссоздать тех, кто поместил его туда. Будучи следствием, он не может восстановить своей причины.

19

Самым крупным предметом нашей обстановки, или, правильнее сказать, предметом, занимавшим больше всего места, была родительская кровать, которой, полагаю, я обязан моей жизнью. Она представляла собой громоздкое двуспальное сооружение, чья резьба опять-таки соответствовала в какой-то мере всему остальному, будучи, впрочем, выполнена в более поздней манере. Тот же растительный лейтмотив, разумеется, но исполнение колебалось где-то между модерном и коммерческой версией конструктивизма. Эта кровать была предметом особой гордости матери, ибо она купила ее очень дешево в 1935 году, до того, как они с отцом поженились, присмотрев ее и подобранный к ней в пару туалетный столик с трельяжем во второразрядной мебельной лавке. Большая часть нашей жизни тяготела к этой приземистой кровати, а важнейшие решения в нашем семействе бывали приняты, когда втроем мы собирались не вокруг стола, но на ее обширной поверхности, со мной в изножье.

По русским меркам эта кровать была настоящей роскошью. Я часто думал, что именно она склонила отца к женитьбе, ибо он любил понежиться в этой кровати больше всего на свете. Даже когда их обоих настигал прирост горчайшего обоюдного ожесточения, большей частью спровоцирован-

ного нашим бюджетом («У тебя просто мания спускать все деньги в гастрономе! — несется его негодующий голос над стеллажами, отгородившими мою «половину» от их «комнаты». «Я отравлена, отравлена тридцатью годами твоей скаредности!» — отвечает мать), — даже тогда он с неохотой выбирался из кровати, особенно по утрам. Несколько человек предлагали нам очень приличные деньги за эту кровать, которая и впрямь занимала слишком много места в нашем жилище. Но сколь бы неплатежеспособны мы ни оказывались, родители никогда не обсуждали такую возможность. Кровать была очевидным излишеством, и я думаю, что именно этим она им и нравилась.

Помню их спящими в ней на боку, спина к спине, между ними — заливчик смятых одеял. Помню их читающими там, разговаривающими, глотаящими таблетки, борющимися по очереди с болезнями. Кровать обрамляла их для меня в наибольшей безопасности и наибольшей беспомощности. Она была их личным логовом, последним островком, собственным, неприкосновенным ни для кого, кроме меня, местом во вселенной. Где б она сейчас ни стояла, она выглядит как пробоина в мироздании. Семь на пять футов пробоина. Кровать была светло-коричневого полированного клена и никогда не скрипела.

20

Моя половина соединялась с их комнатой двумя большими, почти достигавшими потолка арками, которые я постоянно пытался заполнить разнообразными сочетаниями книжных полок и чемоданов, чтобы отделить себя от родителей, обрести некую степень уединения. Можно говорить лишь о некой степени, ибо высота и ширина тех двух арок плюс сарацинские очертания их верхних краев исключали любые помыслы о полном успехе. За вычетом, конечно, возможности заложить их кирпичной кладкой или зашить досками, что было противозаконно, так как свелось бы ко владению двумя комнатами вместо полутора, на которые мы по ордеру имели право. Помимо довольно частых проверок, производимых нашим управдомом, соседи, в каких бы милейших отношениях мы с ними ни находились, донесли бы на нас куда следует в ту же секунду.

Следовало изобрести полумеру, и как раз на этом я сосредоточился начиная с пятнадцати лет. Испробовал всевозможные умопомрачительные приспособления и одно время даже помышлял о сооружении четырехметровой высоты аквариума с дверью посередине, которая соединяла бы мою половину с их комнатой. Надо ли объяснять, что такой архитектурный подвиг был мне не по зубам. Итак, решением оказалось приумножение книжных полок с моей стороны, прибавление и уплотнение складок драпировки — с родительской. Нечего и говорить, что им не нравились ни решение, ни подоплека самого вопроса.

Количество друзей и приятельниц, однако, возрастало не так быстро, как сумма книг; к тому же последние оставались при мне. У нас имелись два платяных шкафа с зеркалами на дверцах в полную величину, ничем другим не примечательных, но довольно высоких и уладивших полдела. По их сторонам и над ними я смастерил полки, оставив узкий проход, по которому родители могли протиснуться на мою половину и обратно. Отец недолго любил сооружение в особенности потому, что в дальнем конце моей половины он сам отгородил темный угол, куда отправлялся проявлять и печатать фотографии и откуда поступала немалая часть наших средств к существованию.

В том конце моей половины была дверь. Когда отец не работал в темном закутке, я входил и выходил, пользуясь ею «Чтобы не беспокоить вас», — говорил я родителям, но в действительности с целью избежать их наблюдения и необходимости знакомить с ними моих гостей и наоборот. Для затемнения подоплеки этих визитов я держал электропроигрыватель и родители постепенно прониклись ненавистью к И. С. Баху.

Еще позднее, когда и количество книг, и потребность в уединении драматически возросли, я дополнительно разгородил свою половину посредством перестановки тех двух шкафов таким образом, чтобы они отделяли мою кровать и письменный стол от темного закутка. Между ними я втиснул третий который бездействовал в коридоре. Отодрал у него заднюю стенку, оставив дверцу нетронутой. В результате чего гостю приходилось попадать в мой *Lebensraum*, минув две двери и одну занавеску. Первой дверью была та, что вела в коридор; затем вы оказывались в отцовском закутке и отодвигали занавеску; оставалось открыть дверцу бывшего платяного шкафа. На шкафы я сложил все имевшиеся у нас чемоданы. Их было много; и все же они не доходили до потолка. Суммарный результат походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал себя в безопасности, и некая Марина могла обнажить не только бюст.

21

Косые взгляды, коими отец с матерью встречали эти превращения, несколько просветлели, когда за перегородкой стал раздаваться стук моей пишущей машинки. Драпировка приглушала его основательно, но не полностью. Пишущая машинка тоже составила часть китайского улова отца, хотя он отнюдь не предполагал, что его сын приберет ее к рукам. Я держал ее на письменном столе, вдвинутом в нишу, образованную заложённой кирпичами дверью, которая некогда соединяла полторы комнаты с остальной анфиладой. Вот когда лишние полметра пришлись кстати! Поскольку у соседей с противоположной стороны этой двери стоял рояль, я со своей заслонился от брэнчания их дочери стеллажами, которые, опираясь на мой письменный стол, точно подходили под нишу.

Два зеркальных шкафа и между ними проход — с одной стороны; высокое зашторенное окно точно в полуметре, над коричневым, довольно широким диваном без подушек — с другой; арка, заставленная до мавританской кромки книжными полками — сзади; заполняющие нишу стеллажи и письменный стол с «ундervудом» у меня перед носом — таков был мой *Lebensraum*. Мать убирала его, отец пересекал взад-вперед по пути в свой закуток; иногда он или она находили убежище в моем потрепанном, но уютном кресле после очередной словесной стычки. В остальном эти десять квадратных метров принадлежали мне, и то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал. Если пространство обладает собственным разумом и ведаёт своим распределением, то имеется вероятность, что хотя бы один из тех десяти метров тоже может вспоминать обо мне с нежностью. Тем более теперь, под чужими ногами.

22

Я готов поверить, что в России труднее, чем где бы то ни было, смириться с разрывом уз. Ведь мы куда более оседлые люди, чем другие обитатели континента (немцы или французы), которые перемещаются гораздо чаще хотя бы потому, что у них есть автомобили и нет повода толковать о границах. Для нас квартира — это пожизненно, город — пожизненно, страна — пожизненно. Следовательно, представление о постоянстве глубже, ощущение утраты тоже. Все же нация, погубившая в течение полувека почти шестьдесят миллионов душ во имя собственного плотоядного государства (в том числе двадцать миллионов убитых на войне), несомненно оказалась вынуждена повысить свое чувство стабильности. Уже хотя бы потому, что эти жертвы были принесены ради сохранения статус-кво.

Если мы задерживаемся на этих вещах, то не для того, чтобы соответствовать психологическому складу родной державы. Возможно, в том, что я тут наговорил, виновато совсем другое: несоответствие настоящего тому, что помнится. Память, я думаю, отражает качество реальности примерно так же, как утопическая мысль. Реальность, с которой я сталкиваюсь, не

имеет ни соответствия, ни отношения к полутора комнатам там, за океаном, и двум их обитателям, уже не существующим. Что до выбора, не могу представить более ошеломительного, чем мой. Все равно что разница между полушариями, ночью и днем, урбанистическим и сельским пейзажем, между мертвыми и живыми. Единственная точка пересечения — мое тело и пишущая машинка. Другой марки и с другим шрифтом.

Полагаю, что, живи я вместе с родителями последние двенадцать лет их жизни, будь я рядом с ними, когда они умирали, контраст между ночью и днем, между улицей в русском городе и американским сельским шоссе был бы для меня не таким резким; напор памяти уступил бы утопической надежде. Износ и усталость притупили бы чувства настолько, что трагедия воспринималась бы как естественная и осталась бы позади естественным образом. Однако не многие вещи столь тщетны, как взвешивание разных возможностей задним числом; равным образом положительным в трагедии искусственной является то, что она побуждает обращаться к искусству. Кто беден, готов утилизировать все. Я утилизирую чувство вины.

23

С этим чувством нетрудно справиться. В конечном счете всякий ребенок ощущает вину перед родителями, ибо откуда-то знает, что они умрут раньше его. И ему лишь требуется, дабы смягчить вину, дать им умереть естественным образом: от болезни, или от старости, или от совокупности причин. Тем не менее распространима ли уловка такого сорта на смерть невольника, то есть того, кто родился свободным, но чью свободу подменили?

Я сужаю определение — невольник не из ученых соображений и не по недостатку душевной широты. И не прочь согласиться с тем, что человек, рожденный в неволе, информирован о свободе генетически или духовно: из прочитанного, не то просто по слухам. Следует добавить, что его генетическая жажда свободы, как и всякое стремление, до известной степени непоследовательна. Это не действительная память его разума или тела. Отсюда жестокость и бесцельное насилие столь многочисленных восстаний. Отсюда же их подавление, другим словом — тирания. Смерть такому невольнику или его родным может представляться освобождением. (Известное «свободен! свободен! наконец свободен» Мартина Лютера Кинга.)

Но как быть с теми, кто родился свободным, а умирает в неволе? Захочет он или она — и давайте не впутывать сюда церковные представления — считать смерть утешением? Быть может. Скорее, однако, они сочтут ее последним оскорблением, последней непоправимой кражей своей свободы. Тем именно, чем сочтут ее родные или сын; тем, что она и есть по сути. Последнее похищение.

Помню, как однажды мать отправилась покупать билет в санаторий на юг, в Минеральные Воды. Взяла двадцатидневный отпуск после двух лет непрерывной работы в жилконторе, собираясь в этом санатории лечить печень (она так никогда и не узнала, что это рак). В железнодорожной городской кассе, в длинной очереди, где она проторчала уже три часа, мать обнаружила, что деньги на поездку, четыреста рублей, украдены. Она была безутешна. Пришла домой и плакала, и плакала, стоя на коммунальной кухне. Я отвел ее в наши полторы комнаты; она легла на кровать и продолжала плакать. Я запомнил это потому, что она никогда не плакала, только на похоронах.

24

В конце концов мы с отцом наскребли денег, и она отправилась в санаторий. Впрочем, то, что она оплакивала, не было утраченными деньгами... Слезы нечасто случались в нашем семействе; в известной мере то же относится и к России в целом. «Прибереги свои слезы на более серьезный слу-

чай», — говорила она мне, когда я был маленький. И боюсь, что я преуспел в этом больше, чем она того мне желала.

Полагаю, она не одобрила бы и того, что я здесь пишу, тоже. И конечно, не одобрил бы этого отец. Он был гордым человеком. Когда что-либо постыдное или отвратительное подбиралось к нему, его лицо принимало кислое и в то же время вызывающее выражение. Словно он говорил «испытай меня» чему-то, о чем уже знал, что оно сильнее его. «Чего еще можно ждать от этой сволочи» — была его присказка в таких случаях, присказка, с которой он покорялся судьбе.

То не было некой разновидностью стоицизма. Не оставалось места для какой-либо позы или философии, даже самой непритязательной, в реальности того времени, способной скомпрометировать любые убеждения или принципы требованием во всем подчиниться сумме их противоположностей. (Лишь не вернувшиеся из лагерей могли бы претендовать на бескомпромиссность; те, что вернулись, оказались податливы не меньше остальных.) И все-таки цинизмом это не было тоже. Скорее — попыткой держать спину прямо в ситуации полного бесчестия; не пряча глаз. Вот почему о слезах не могло быть и речи.

25

Мужчины того поколения всегда выбирали или — или. Своим детям, гораздо более преуспевшим в сделках с собственной совестью (временами на выгодных условиях), эти люди часто казались простаками. Как я уже говорил, они не очень-то прислушивались к себе. Мы, их дети, росли, точнее, растили себя сами, веря в запутанность мира, в значимость оттенков, обертонов, неуловимых тонкостей, в психологические аспекты всего на свете. Теперь, достигнув возраста, который уравнивает нас с ними, нагуляв ту же физическую массу и нося одежду их размера, мы видим, что вся штука сводится именно к принципу или — или, к да — нет. Нам потребовалась почти вся жизнь для того, чтобы усвоить то, что им, казалось, было известно с самого начала: что мир весьма дикое место и не заслуживает лучшего отношения. Что «да» и «нет» очень неплохо объемяют, безо всякого остатка, все те сложности, которые мы обнаруживали и выстраивали с таким вкусом и за которые едва не заплатились силой воли.

26

Ищи они эпитафию к своему существованию, таковыми могли бы стать строки Ахматовой из «Северных элегий»:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

Они почти не рассказывали мне о детстве, о своих семьях, о родителях или дедах. Знаю только, что один из моих дедов (по материнской линии) был торговым агентом компании «Зингер» в прибалтийских провинциях империи (Латвии, Литве, Польше) и что другой (с отцовской стороны) владел типографией в Петербурге. Эта неразговорчивость, не связанная со склерозом, была вызвана необходимостью скрывать классовое происхождение в ту суровую эпоху, дабы уцелеть. Неутомимый рассказчик, коим слыл отец, пускаясь в воспоминания о своих гимназических проделках, бывал без промедления одернут предупредительным выстрелом серых глаз матери. В свою очередь она не моргнув глазом оставляла без внимания случайную французскую фразу, расслышанную на улице или оброненную кем-нибудь из моих друзей, хотя однажды я застал ее за чтением французского издания моих сочинений. Мы посмот-

рели друг на друга; потом она молча поставила книгу обратно на полку и покинула мой *Lebensraum*.

Повернутая река, бегущая к чужеродному искусственному устью. Можно ли ее исчезновение в этом устье приписать естественной причине? И если можно, то как быть с ее течением? Как быть с человеческими возможностями, обузданными и направленными не в то русло? Кто отчитается за это отклонение? И есть ли с кого спросить? Задавая эти вопросы, я не теряю из виду тот факт, что ограниченная и пущенная не в то русло жизнь может дать начало новой, например моей, которая, если бы не именно эта продиктованность выбора, и не имела бы места, и никаких вопросов бы не возникло. Нет, мне известно о законе вероятности. Я бы не хотел, чтобы мои родители разминулись. Возникают подобные вопросы именно потому, что я — рукав этой повернутой, отклонившейся реки. В конце концов, полагаю, что я разговариваю сам с собой.

Так когда же и где, спрашиваю себя, переход от свободы к рабству обретает статус неизбежности? Когда он делается приемлемым, в особенности для невинного обывателя? Для какого возраста наиболее безболезненна подмена свободного состояния? В каком возрасте эти перемены запечатлеваются в памяти слабее всего? В двадцать лет? В пятнадцать? В десять? В пять? В утробе матери? Риторические это вопросы, не так ли? Не совсем так. Революционеру или завоевателю по крайней мере следует знать правильный ответ. Чингисхан, к примеру, его знал. Просто убивал всякого, чья голова возвышалась над ступицей тележного колеса. Стало быть, в пять. Но 25 октября 1917 года отцу исполнилось уже четырнадцать, матери — двенадцать лет. Она уже немного знала французский, он — латынь. Вот отчего я задаю эти вопросы. Вот почему я разговариваю сам с собой.

27

Летними вечерами три наших высоких окна были открыты, и ветерок с реки пытался обрести образ предмета под тюлевой занавеской. Река находилась недалеко, всего в десяти минутах ходьбы от дома. Все было под рукой: Летний сад, Эрмитаж, Марсово поле. И тем не менее, даже будучи моложе, родители нечасто отправлялись на прогулку вдвоем или поодиночке. В конце дня, проведенного на ногах, отец вовсе не испытывал охоты снова тащиться на улицу. Что касается матери, то стояние в очередях после восьмичасового рабочего дня приводило к тому же результату, и вдобавок домашних дел было невпроворот. Если они отваживались выбираться из дому, то главным образом для родственных встреч (дней рождения, годовщин свадьбы) или для походов в кино, очень редко — в театр.

Живя рядом с ними, я не замечал их старения. Теперь, когда моя память снует меж минувших десятилетий, я вижу, как мать наблюдает с балкона за шаркающей внизу фигуркой мужа, бормоча себе под нос: «Настоящий старичок, ей-богу. Настоящий законченный старичок». И я слышу отцовское: «Ты просто хочешь загнать меня в могилу», завершавшее их ссоры в шестидесятые годы вместо хлопанья дверью и шума его удалявшихся шагов десятилетием раньше. И, бреясь, я вижу его серебристо-серую щетину на своем подбородке.

Если мой ум тяготеет нынче к их старческому облику, это связано, по-видимому, со способностью памяти удерживать последние впечатления лучше прежних. (Добавьте к этому наше пристрастие к линейной логике, к эволюционному принципу — и изобретение фотографии неизбежно.) Но я думаю, что мое собственное продвижение по пути к старости тоже играет здесь не последнюю роль: редко случается грезить даже о своей юности, о своем, скажем, двенадцатилетнем возрасте. Если есть у меня представление о будущем, оно создано по их подобию. Для меня они как «Здесь был Ося», нацарапанное на послезавтрашнем дне по крайней мере зрительно.

28

Подобно большинству мужчин, я скорее отмечен сходством с отцом, нежели с матерью. Тем не менее ребенком я проводил с ней больше времени: отчасти из-за войны, отчасти из-за кочевой жизни, которую отцу затем приходилось вести. Четырехлетнего, она научила меня читать; подавляющая часть моих жестов, интонаций и ужимок, полагаю, от нее. А также некоторые из привычек, в том числе курение.

По русским меркам она не казалась маленькой — рост метр шестьдесят; белолица, полновата. У нее были светлые волосы цвета речной воды, которые всю жизнь она коротко стригла, и серые глаза. Ей особенно нравилось, что я унаследовал ее прямой, почти римский нос, а не загнутый величественный отцовский клюв, который она находила совершенно обворожительным. «Ах, этот клюв! — начинала она, тщательно разделяя речь паузами. — Такие клювы, — пауза, — продаются на небесах, — пауза, — шесть рублей за штуку». Хотя и напомилавший один из профилей Сфорцы у Пьеро делла Франчески, клюв был недвусмысленно еврейский, и она имела причины радоваться, что мне он не достался.

Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в браке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем водится, из-за внешности. Она была определенно очень привлекательна североевропейским, я бы сказал, прибалтийским обликом. В некотором смысле это было милостью судьбы: у нее не возникало проблем с устройством на работу. Зато она и работала всю сознательную жизнь. По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуазное происхождение, она вынуждена была отказаться от всякой надежды на высшее образование и прослужить всю жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером. Война принесла перемены: она стала переводчиком в лагере для немецких военнопленных, получив звание младшего лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей было предложено повышение и карьера в системе этого министерства. Не сгорая от желания вступить в партию, она отказалась и вернулась к сметам и счётам. «Не хочу приветствовать мужа первой, — сказала она начальству, — и превращать гардероб в арсенал».

29

Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Маса или Киса — мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом. За исключением Кисы все они были ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопротивление. «Не смейте называть меня так! — восклицала она сердито. — И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!»

Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению. «Мясо» было одним из таких слов, и к моим пятнадцати годам в нашей семье стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с другом как «большой кот» и «маленький кот». «Мяу», «мур-мяу» или «мур-мур-мяу» покрывали существенную часть нашего эмоционального спектра: одобрение, сомнение, безразличие, резиньяцию, доверие. Постепенно мать стала пользоваться ими тоже, но главным образом дабы обозначить свою к этому непричастность.

Имя Киса все-таки к ней пристало, в особенности когда она совсем состарилась. Круглая, завернутая в две коричневые шали, с бесконечно добрым, мягким лицом, она выглядела вполне плюшевой и как бы самодостаточной. Казалось, она вот-вот замурлычет. Вместо этого она говори-

ла отцу: «Саша, заплатил ли ты в этом месяце за электричество?» Или, ни к кому не обращаясь: «На следующей неделе наша очередь убирать квартиру». И это значило мытье и натирку полов в коридорах и на кухне, а также уборку в ванной и в сортире. Ни к кому не обращалась она потому, что знала: именно ей придется это проделать.

30

Как справлялись они со всеми этими уборками, чистками, особенно в последние двенадцать лет, — боюсь подумать. Мой отъезд, конечно, избавлял от одного лишнего рта, и они могли позволить себе изредка кого-то нанять. И все же, зная их бюджет (две скудные пенсии) и характер матери, сомневаюсь в этом. Кроме того, в коммуналках такое редко практикуется: естественный садизм соседей так или иначе требует удовлетворения. Родственнику это возможно, было бы позволено, но не наемной руке.

Хотя я и стал крезом с моей университетской зарплатой, они и слышать не хотели об обмене долларов на рубли. Официальный курс обмена считали надувательством; были слишком щепетильны и напуганы, чтоб иметь что-либо общее с черным рынком. Последняя причина оказалась, по-видимому, решающей: они помнили, как их пенсии были аннулированы в 1964-м, когда я получил свой пятилетний срок, и им пришлось снова искать работу. Итак, все свелось главным образом к одежде и книгам по искусству, поскольку было известно, что последние высоко котировались у библиофилов. Они получали удовольствие от одежды, особенно отец, который был не прочь ею щегольнуть. Книги, впрочем, они тоже оставляли себе. Чтобы рассматривать их после мытья коммунального пола в семидесятипятилетнем возрасте.

31

Их читательские вкусы были довольно пестрыми, притом что мать предпочитала русскую классику. Ни она, ни отец не имели твердых мнений о литературе, музыке, изобразительном искусстве, хотя в молодости были даже знакомы кое с кем из ленинградских писателей, композиторов, художников (с Зощенко, Заболоцким, Шостаковичем, Петровым-Водкиным). Они оставались просто читателями, так сказать, читателями перед сном, и аккуратно обновляли библиотечный абонемент. Возвращаясь с работы, мать неизменно приносила в сетке с картошкой или капустой библиотечную книгу, обернутую в газету, чтобы та не испачкалась.

Это она посоветовала мне, когда я шестнадцатилетним подростком работал на заводе, записаться в городскую библиотеку; и не думаю, что она при этом имела в виду только помешать мне болтаться вечерами по улицам. С другой стороны, насколько я помню, она хотела, чтобы я стал художником. Как бы то ни было, залы и коридоры того бывшего госпиталя на правом берегу Фонтанки стояли у истока моих невзгод, и я помню первую книгу, спрошенную мною там по совету матери. То был «Гулистан» («Сад роз») персидского поэта Саади. Матери, как выяснилось, нравилась персидская поэзия. Следующей вещью взятой мной самостоятельно было «Заведение Телье» Мопассана.

32

Что роднит память с искусством, так это способность к отбору вкус к деталям. Лестное для искусства (особенно для прозы), для памяти это наблюдение должно показаться оскорбительным. Оскорбление однако, вполне заслужено. Память содержит именно детали, а не полную картину: сценки, если угодно, но не весь спектакль. Убеждение, что мы каким-то образом можем вспомнить все сразу, оптом, такое убеждение, позволяющее нам

как виду продолжать существование, беспочвенно. Более всего память похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без чьих-либо собраний сочинений.

33

Подобно тому как у других отмечают рост детей карандашными метками на кухонной стене, отец ежегодно в мой день рождения выводил меня на балкон и там фотографировал. Фоном служила мощенная булыжником средних размеров площадь с собором Преображенского полка ее императорского величества. В военные годы в ее подземелье размещалось одно из бомбоубежищ, и мать держала меня там во время воздушных налетов в большом ящике для поминальных записок. Это то небольшое, чем я обязан православию, и тоже связано с памятью.

Собор, творение классицизма высотой с шестиэтажное здание, был щедро окаймлен садиком с дубами, липами и кленами — моей детской площадкой для игр, и я помню, как мать заходит туда за мной (она тянет, я упираюсь и кричу: аллегория разнонаправленных устремлений) и тащит домой делать уроки. С той же ясностью я вижу ее, своего деда, отца на одной из узких дорожек этого садика, пытающихся научить меня кататься на двухколесном велосипеде (аллегория общей цели или движения). Внутри на дальней восточной стене собора находилась за толстым стеклом большая тусклая икона «Преображение Господне»: Христос, парящий в воздухе над горсткой тел, простертых в изумлении. Никто не мог объяснить мне смысла этого видения, — даже теперь я не уверен, что осознал его полностью. На иконе клубились облака, и я их как-то связывал с местным климатом.

34

Садик был обнесен черной чугунной оградой, поддерживаемой расставленными на равном расстоянии стволами пушек с перевернутыми вниз жерлами — трофеями преображенцев, захваченными у англичан в крымскую кампанию. Дополняя декор ограды, пушечные стволы (по три в каждой связке на гранитных блоках) были соединены тяжелыми чугунными цепями, на которых самозабвенно раскачивались дети, наслаждаясь как опасностью свалиться на колючий кустарник внизу, так и скрежетом. Стоит ли говорить, что это было строго запрещено, и церковный сторож постоянно прогонял нас. Надо ли объяснять, что ограда казалась гораздо интереснее, чем внутренность собора с его запахом ладана и куда более статичной деятельностью. «Видишь их? — спрашивает отец, указывая на тяжелые звенья цепи. — Что они напоминают тебе?» Я второклассник, и я говорю: «Они похожи на восьмерки». — «Правильно, — говорит он. — А ты знаешь, символом чего является восьмерка?» — «Змеи?» — «Почти. Это символ бесконечности». — «Что это — бесконечность?» — «Об этом спроси лучше там», — говорит отец с усмешкой, пальцем показывая на собор.

35

И он же, наткнувшись на меня на улице средь бела дня, когда я прогуливал школу, потребовал объяснения и, услышав, что я страдаю от жуткой зубной боли, поволок меня прямо в стоматологическую поликлинику, так что я заплатил за свою лож двумя часами непрерывного ужаса. И опять-таки он взял мою сторону на педсовете, когда мне грозило исключение из школы за плохую дисциплину. «Как вы смее! Вы, носящий форму нашей армии!» — «Флота, мадам, — сказал отец. — И я защищаю его потому, что я его отец. В этом нет ничего удивительного. Даже звери защищают своих детенышей. Об этом сказано у Брема». — «Брем? Брем? Я...

я сообщу об этом в парторганизацию вашей части». Что она, разумеется, и сделала.

36

«В день рождения и на Новый год следует надеть что-нибудь совершенно новое. Хотя бы носки» — это голос матери. «Всегда поеешь, прежде чем иметь дело с кем-нибудь вышестоящим: начальником или офицером. Это придаст тебе уверенности» (говорит отец). «Если ты уже вышел из дому и должен вернуться, потому что что-то забыл, посмотри в зеркало, прежде чем снова выйти. Иначе тебя ждет неудача» (опять он). «Никогда не думай, сколько теряешь. Думай, сколько можешь приобрести» (это он). «Не выходи на прогулку, не захватив куртку». «Хорошо, что ты рыжий, что бы там ни говорили» (это она).

Я слышу эти увещания и наставления, но они — фрагменты, детали. Память искажает, особенно тех, кого мы знаем лучше всего. Она союзница забвения, союзница смерти. Это сеть с крошечным уловом и вытекшей водой. Вам не воспользоваться ею, чтобы кого-то оживить, хотя бы на бумаге. Что делать с миллионами невостребованных нервных клеток нашего мозга? Что делать с пастернаковским: «Всесильный Бог деталей, / Всесильный Бог любви»? На каком количестве деталей можно позволить себе успокоиться?

37

Я вижу их лица, его и ее, с большой ясностью, во всем разнообразии выражений, но тоже фрагментарно: моменты, мгновения. Это лучше, чем фотографии с их невыносимым смехом, но и они тоже разрозненны. Время от времени я начинаю подозревать свой ум в попытке создать совокупный обобщенный образ родителей: знак, формулу, узнаваемый набросок, — в попытке заставить меня на этом успокоиться. Полагаю, что мог бы; и полностью осознаю, сколь абсурден мотив моего сопротивления: отсутствие непрерывности у этих фрагментов. Не следует ждать столь много от памяти; не следует надеяться, что на пленке, отснятой в темноте, проявятся новые образы. Нет, конечно. И все же можно упрекать пленку, отснятую при свете жизни, за недостающие кадры.

38

По-видимому, дело в том, что не должно быть непрерывности в чем-либо. По-видимому, изъяны памяти суть доказательство подчинения живого организма законам природы. Никакая жизнь не рассчитывает уцелеть. Если вы не фараон, вы и не претендуете на то, чтобы стать мумией. Согласившись, что объекты воспоминания обладают такого рода трезвостью, вы смирились с данным качеством своей памяти. Нормальный человек не думает, что все имеет продолжение, он не ждет продолжения даже для себя или своих сочинений. Нормальный человек не помнит, что он ел на завтрак. Вещам рутинного, повторяющегося характера уготовано забвение. Одно дело завтрак, другое дело — любимые тобой. Лучшее, что можно сделать, — приписать это экономии места.

И можно воспользоваться этими благоразумно сбереженными нервными клетками, дабы поразмыслить над тем, не являются ли эти перебои памяти просто подспудным голосом твоего подозрения, что все мы друг другу чужие. Что наше чувство автономности намного сильнее чувства общности, не говоря уж о чувстве связей. Что ребенок не помнит родителей, поскольку он всегда обращен вовне, устремлен в будущее. Он тоже, наверное, бережет нервные клетки для будущих надобностей. Чем короче память, тем длиннее жизнь, говорит пословица. Иначе — чем длиннее будущее, тем короче память. Это один из способов определения ваших видов

на долгожительство, выявления будущего патриарха. Жаль только, что, патриархи или нет, автономные или зависимые, мы тоже повторяемся, и Высший Разум экономит нервные клетки на нас.

39

И не отвращение к такого сорта метафизике, и не неприязнь к будущему, обеспеченные качеством моей памяти, заставляют меня размышлять над этим, несмотря на скудный результат. Самообольщение писателя или страх быть обвиненным в сговоре с законами природы за счет моего отца и матери имеют с этим тоже мало общего. Просто я думаю, что естественные законы, отказывающиеся в непрерывности всякому, выступая в союзе (или под маской) с ущербной памятью, служат интересам государства. Что до меня, то я не собираюсь потворствовать их торжеству.

Конечно, двенадцать лет разбитых, возрождающихся и снова разбитых надежд, которые вели двух стариков через пороги бесчисленных учреждений и канцелярий в печь государственного крематория, изобилуют повторами, принимая во внимание не только их продолжительность, но также и число сходных случаев. Все же я меньше берегу свои нервные клетки от монотонности этих повторений, нежели Высший Разум — свои. Мои, во всяком случае, изрядно засорены. Кроме того, память о деталях, фрагментах, не говоря уж о воспоминаниях, написанных по-английски, не в интересах государства. Уже одно это заставляет меня продолжать.

40

Тем временем две вороны становятся все наглей. Сейчас они приземлились у моего крыльца и расхаживают там по старой дровяной поленнице. Они черны как сажа, и, хотя я стараюсь к ним не присматриваться, я заметил, что они несколько отличаются друг от друга размерами. Одна поменьше другой, вроде того как мать приходилась отцу по плечо; их клювы, однако, в точности одинаковы. Я не орнитолог, но полагаю, что вороны живут долго, во всяком случае вороны. И хотя я не в состоянии определить их возраст, они мне кажутся старой супружеской четой. На прогулке. У меня не хватает духу прогнать их прочь, и я не умею хоть как-то наладить с ними общение. Кажется, также припоминаю, что вороны не перелетные птицы. Если у истоков мифологии стоят страх и одиночество, то я еще как одинок. И представляю, сколь многое будет мне еще напоминать о родителях впредь. И то сказать, когда такие гости, при чем тут хорошая память?

41

Признак ее неполноценности — в способности удерживать случайные предметы. Вроде нашего первого, тогда еще пятизначного, номера телефона, что был у нас сразу после войны: 265-39; и я полагаю, что до сих пор его помню, поскольку телефон был установлен, когда я запоминал в школе таблицу умножения. Теперь он мне не нужен, как не нужен больше последний наш номер в полутора комнатах. Я его не помню, этот последний, хотя на протяжении двенадцати лет набирал его едва ли не раз в неделю. Письма не доходили, оставался телефон: очевидно, проще прослушать телефонный разговор, нежели перлюстрировать и потом доставить письмо по адресу. Ох уж эти еженедельные звонки в СССР! Международные телефонные услуги никогда так не благоденствовали.

Мы не могли многого сказать при таком общении, нас вынуждали быть сдержанными, прибегать к обинякам и эвфемизмам. Все больше о погоде и здоровье, никаких имен, множество диетических советов. Главное было слышать голос, уверяя таким непосредственным способом друг друга во взаимном существовании. То было несемантическое общение, и

нет ничего удивительного в том, что я не помню подробностей, за исключением отцовского ответа на третий день пребывания матери в больнице. «Как Маша?» — спросил я. «Знаешь, Маша больше нет, вот так», — сказал он. «Вот так» оказалось здесь потому, что и в этом случае он попытался прибегнуть к эвфемизму.

42

Или вот еще ключ, выброшенный на поверхность моего сознания: продолговатый, из нержавеющей стали ключ, плохо приспособленный для наших карманов, но хорошо помещавшийся в сумке матери. Ключ открывал нашу высокую белую дверь, и не понимаю, почему я вспоминаю о нем сейчас, когда места этого больше нет. Не думаю, что здесь скрыта некая эротическая символика, ибо он существовал у нас в трех экземплярах. Если на то пошло, мне непонятно, почему я вспоминаю морщины на отцовском лбу и подбородке или красноватую, слегка воспаленную левую щеку матери (она называла это вегетативным неврозом), ибо ни этих черт, ни их носителей больше нет на свете. Только их голоса в целостности и сохранности живут в моем сознании: потому, наверное, что в моем голосе перемешаны их голоса, как в моих чертах — их черты. Остальное — их плоть, их одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба замедленного действия, разрывающая на клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с лица земли, и новые жильцы, нет — войска оккупируют его: таков принцип действия этой бомбы. Ибо это война замедленного действия.

43

Им нравились оперные арии, тенора, кинозвезды их молодости; живопись, напротив, не волновала, в искусстве привлекало все «классическое», решение кроссвордов доставляло удовольствие, а мои литературные занятия озадачивали и огорчали. Думали, что я заблуждаюсь, моя судьба внушала им тревогу, но поддерживали меня насколько могли потому, что я был их ребенком. Впоследствии, когда мне удалось кое-что напечатать там и сям, они были польщены и временами даже гордились мной, но я знаю, что, окажись я обыкновенным графоманом и неудачником, их отношение ко мне было бы точно таким же. Они любили меня больше, чем себя, и скорее всего не поняли бы вовсе моего чувства вины перед ними. Главное — это хлеб на столе, опрятная одежда и хорошее здоровье. То были их синонимы любви, и они были лучше моих.

Что касается бомбы замедленного действия, то они вели себя мужественно. Знали, что она когда-нибудь взорвется, но не меняли своей тактики. Пока сохраняли вертикальное положение, они передвигались, доставали и доставляли продукты прикованным к постели друзьям, родственникам, делились одеждой, деньгами или кровом с теми, у кого в это время дела обстояли похуже. Какими я их запомнил, такими они и оставались всегда; и не потому, что в глубине души они думали, что если будут добры к некоторым людям, то это будет зафиксировано на небесах и с ними обойдутся однажды точно так же. Нет, то была естественная и нерасчетливая душевная широта экстравертов, которая, по-видимому, стала тем более ощутимой для других, когда я, главный ее объект, оказался вне досягаемости. И в конечном счете именно это, надеюсь, поможет мне совладать с качеством моей памяти.

То, что они хотели видеть меня перед смертью, не имело ничего общего с желанием или попыткой уклониться от взрыва. Они не были готовы эмигрировать, закончить свои дни в Америке. Ощущали себя слишком старыми для таких перемен, и в лучшем случае Америка была для них на-

званием места, где они могли бы встретиться с сыном. Для них она казалась реальной только в смысле их сомнений, удастся ли им переезд, если им разрешат выехать. И тем не менее в какие только игры не играли двое немощных стариков со всей этой сволочью, ответственной за выдачу разрешения! Мать обращалась за разрешением на получение визы одна, чтобы показать, что она не собирается переметнуться в Соединенные Штаты, что ее муж остается заложником, гарантией ее возвращения. Затем они менялись ролями. Потом некоторое время никуда не обращались, притворяясь, будто утратили интерес, или показывая властям, что они осознают, как тем трудно принимать решение при том или ином климате в американо-советских отношениях. Затем они обращались с просьбой о недельном пребывании в Штатах или за разрешением съездить в Финляндию или Польшу. Потом она ехала в Москву добиваться аудиенции у того, кого страна имела тогда в качестве своего президента, и стучалась во все двери министерств внешних и внутренних дел. Все напрасно: система сверху до низу не позволяла себе ни одного сбоя. Как система она может гордиться собой. И потом, бесчеловечность всегда проще организовать, чем что-либо другое. Для этих дел Россия не нуждается в импорте технологий. Можно сказать, что единственный для страны способ разбогатеть — это наладить их экспорт.

44

Что она и делает во все растущем объеме. И все-таки можно извлечь некоторое утешение, если не надежду, из того факта, что генетический код пусть и не смеется последним, но оставляет за собой последнее слово. Ибо я благодарен матери и отцу не только за то, что они дали мне жизнь, но также и за то, что им не удалось воспитать свое дитя рабом. Они старались как могли — хотя бы для того, чтобы защитить меня от социальной реальности, в которой я был рожден, — превратить меня в послушного, лояльного члена общества. То, что они не преуспели в этом, что им пришлось заплатить за это тем, что их глаза закрыла не рука их сына, но анонимная рука государства, свидетельствует не столько об их упущениях, сколько о качестве их генов, чья комбинация образовала тело, найденное системой достаточно инородным, чтобы его отторгнуть. И если вдуматься, чего еще ждать от наложения друг на друга их готовности терпеть?

И если это звучит бахвальством, пусть так. Смесь их генов заслуживает того, чтобы ею гордиться уже хотя бы потому, что оказалась способной противостоять государству. И не просто государству, но Первому Социалистическому Государству в Истории Человечества, как оно предпочитает величать себя; государству, особенно преуспевающему в генной инженерии. Вот почему его руки всегда омыты в крови — в результате экспериментов по изоляции и обездвиживанию клеток, отвечающих за человеческую волю. Итак, принимая во внимание объем этого государственного экспорта, сегодня, собираясь построить семью, следует интересоваться не группой крови или приданым, а его или ее ДНК. Не потому ли некоторые народы косо смотрят на смешанные браки?

Передо мной две фотографии родителей, снятые в их молодости, на третьем десятке. Он на палубе: улыбающееся беззаботное лицо на фоне паровой трубы; она — на подножке вагона, кокетливо машущая рукой в лайковой перчатке, на заднем плане поблескивают пуговицы на тужурке проводника. Ни один из них еще не знает о существовании другого; ни один из них тем более не знает обо мне. К тому же невозможно воспринимать другого, существующего объективно вне вашей физической оболочки, как часть себя. «Но не были мама и папа / Другими двумя людьми», как говорит Оден. И хотя мне не дано облегчить их прошлое даже в качестве мельчайшей возможной частицы любого из них, что может помешать мне теперь, когда они объективно не существуют вне моего сознания, рас-

смаатривать себя как их сумму, их будущее? Так, по крайней мере, они свободны, как при своем рождении.

В силах ли я побороть волнение, думая, что обнимаю свою мать и отца? Могу ли я отнести к содержимому своего черепа как к тому, что осталось от них на земле? Возможно. Я, по-видимому, способен на такой солипсический подвиг. И полагаю, что лучше не противиться их сжатию до размеров моей, меньшей, чем их, души. Думаю, что справлюсь. Должен ли я промяукать в ответ, сказав себе «Киса»? И в какую из трех моих комнат должен я сейчас побежать, чтобы это мяуканье прозвучало убедительно?

Я — это и есть они; я и есть наше семейство. И поскольку никто не знает своего будущего, не уверен, что однажды сентябрьской ночью 1939 года в уме у них промелькнуло, что они обеспечили себе выход. В лучшем случае, полагаю, они думали о том, чтобы завести ребенка, создать семью. Довольно молодые, к тому же рожденные свободными, вряд ли они понимали, что страна, где они родились, — это государство, которое само решает, какая вам положена семья и положена ли вообще. Когда они поняли это, было уже слишком поздно для всего, кроме надежды. Что они и делали, пока не умерли: они надеялись. Люди, настроенные по-семейному, они не могли иначе: надеялись, старались, строили планы.

45

Мне хотелось бы верить, что они для своего же блага не позволяли надеждам зайти слишком далеко. Боюсь, мать все-таки позволяла; если это так, что объясняется ее добротой, отец не упускал случая указать ей на это («Самое бесперспективное, Маруся, — объявлял он, — это прожектерство»). Что до него, то я вспоминаю, как солнечным полднем вдвоем мы гуляли по Летнему саду, когда мне было не то девятнадцать, не то двадцать лет. Мы остановились перед дощатой эстрадой, на которой морской духовой оркестр играл старые вальсы: он хотел сделать несколько фотографий. Белые мраморные статуи вырисовывались тут и там, запятнанные леопардово-збровыми узорами теней, прохожие шаркали по усыпанному гравием дорожкам, дети кричали у пруда, а мы говорили о войне и немцах. Глядя на оркестр, я поймал себя на том, что спрашиваю отца, чьи концлагеря, на его взгляд, были хуже: нацистские или наши. «Что до меня, — последовал ответ, — то я предпочел бы превратиться в пепел сразу, нежели умирать медленной смертью, постигая сам процесс». И продолжал фотографировать.

1985

Перевел с английского Дмитрий Чекалов.



ИВАН БУРКИН

*

И В ДВЕ И В ЧЕТЫРЕ СТОПЫ

Часы

1

Часы поют
черную азбуку времени.

2

Это с детства
знакомое лицо.
Спокойное,
равнодушное,
холодное.
На нем
двенадцать ран,
двенадцать ударов,
двенадцать шагов,
двенадцать узлов,
двенадцать гнезд,
двенадцать голубей —
моего времени.

3

Двенадцать этажей разочарования,
двенадцать ступеней к палачу,
двенадцать дверей в неизвестность,
двенадцать вопросов к Богу.

Лес

1

Я в лес вхожу.
Деревья ждут команды.
Их мускулы давно напряжены.
Спокойствие. Внимание. А вдруг...
А вдруг и в самом деле
раздастся громкое:
— Деревья, шагом ма-а-рш! —
И лес пойдет,
поротно и повзводно
построившись в колонны,
пойдет на нас
войной священной...

2

Я в лес вхожу
и думаю: вот братство,
вот равенство, с которым
спорить трудно.
Деревья как застыли.
Как в церкви православной
молящиеся, тихо
стоят и шепчут
про себя молитву:
— Избави, Боже, нас от топора!

* *
*

Зачем, откуда набежала скорбь?
Зеленый куст, цветущий с упоением,
Прикладывает ветвь, как стетоскоп,
И слушает мое сердцебиенье.

Он чувствует, наверно, мой недуг
И смотрит на меня в упор цветами.
О чем, о чем, скажи, зеленый друг,
Твои цветы в глазах моих читали?

Зеленый друг, я тоже где-то цвел,
И ветры буйные меня хлестали.
Хребет ломали где-то мне, как ствол,
И целовали лживыми устами.

Не странно ли: чем больше я терпел,
Тем лучше я о бурях жизни пел.

* *
*

Вечерний, увешанный башнями Мюнхен. Каштаны, взяв факелы в руки, толпятся на площади Макса Второго, и тени, как оруженосцы, сопровождают забывших свой путь и свой адрес прохожих. Пивные подвалы расписаны розовой краской физиономий. Полнотелые кельнерши снуют вдоль столов с полнотелыми кружками пива, кидая клиентам улыбки, в которых уже зашифрованы сладкие, как виноград, обещанья. Повергнутый в прах, притихший в развалинах город на час или два забывает удары войны и предается обманчивым играм, веселью. Вот и я примостился на краю уже этой тревожной картины, в тупике всех дорог и разумных решений. А что еще завтра возьму у судьбы под расписку?

Памяти отца

Четыре стороны у света.
И пять ножей дурной звезды.
Куда бежать? Где гвоздь ответа?
Где эти винтики беды?

Звезда кровавыми концами
Вонзилась в спину, в грудь отца,
И смерть на тройке с бубенцами
Остановилась у крыльца.

— Ну как, буржуйская порода?
Молчишь? Дождался, мироед! —
Ликуют лоботряс и лодырь,
Опора власти, ее цвет.

Бежать, бежать на все четыре.
А если можно — на все пять...
Стоят березы, как святые, —
Им тоже хочется бежать.

И вот бегут куда-то рельсы.
За Волгу, дальше, в Казахстан...
Стоят кресты, как погорельцы.
Куда бежать теперь крестам?

Трясутся сумки с сухарями.
Журчит вокзальный кипяток.
Бегут волжане и куряне,
И мы впадаем в их поток...

Бегут, и поезд с серой гривой
Свои объятия раскрыл...
А вот и плачущие ивы
Бегут подалее от Москвы.

Четыре стороны у света
У нас четыре колеса.
И тыща верст и слез и ветра.
У нас немые голоса.

Лагерь военнопленных 1941

И этот вот сейчас умрет.
В глазах уже знамена смерти.
Надежно, верно заперт рот.
Душа навьлете, в конверте...

Как прост последний переезд:
Ведь никуда не надо ехать.
Порой опаздывает крест,
Но это тоже не помеха...

Никто не ведает, куда
Уходят тихо, глаз не прячут.
Как хорошо, что здесь не плачут,
Рукой не машут уходя.

На белом свете побывали,
Все в общей яме, все Ивановы...

* *
*

В тесноте этой каменной,
В пустоте разливной,
В какофонии камерной
Ты мелькаешь со мной.

Мы шатаемся в сумерках
Как в лесу, как в бору.
Я твой страх, что с изюминкой,
В свои руки беру.

Облака ходят жирные.
Месяц как вояжер.
На тебе мой расширенный,
Затянувшийся взор.

Мои взгляды как обручи,
А твои как сады.
На лице моем облако,
Но с какой высоты?

Уезжают во Францию,
Чтоб наладить свой сон.

Мы попали в инфляцию
Лиц и важных персон.

Лица стали дешевыми.
Да и все господа
Стали ныне тесовыми,
Деревянными. Да.

За улыбками сальными
Свил гнездо бюрократ,
Свил себе расписание
И хороший оклад.

А под бровью бравурною
Свил гнездо черный взгляд.
Посмотри: губы бурные,
Кудри как виноград.

Ах, какие способные
Есть у женщин глаза!
И порой как пособие
Им дается слеза.

* *
*

Останови свое лицо!
Оно и так подробно близко.
Уже под прядью золотой
Я бровь читаю, как записку.

Я слышу грудь твою. Светло
От плеч твоих, так нежно белых.
Сквозь ткань сосок твой, как цветок,
Расцвел так нежно, оробело.

В двойной горячей тишине
Два сердца слушают друг друга.
Мечты, натянутые туго.
Надежды — те еще вчерне.

Но глубже ночь и ближе час...
Все хорошо и все как раз.

* *
*

После грозы хотелось:
послать привет черту,
выпить шампанского,
сочинить стихотворение,
поцеловать женщину,
нарисовать коня,
разбудить цветок,
купить сапоги,
заблудиться
в рассказах Тургенева...

* *
*

Круглая речь. Прямая в стихах не годится. Разум готов раздраконить темный, в царапинах весь черновик. День уходит, шатаясь под ношей чужих облаков, навалится вечер тяжелый, и кто бы поверил! Поздней ночью является Пушкин. Вспыхнет памятный профиль. И я снова на скачках хороя и ямба... Снова бегу по живым, вечно новым страницам, по привычным, проторенным строчкам... Бегу, как мальчишка, и опять не могу отдышаться от ямба. Сердце бьется и в две и в четыре стопы, слышу пульс и цезуру его и на женскую рифму надеюсь, чтобы на ней сделать опять передышку. И бежать, и бежать... Ах, если бы жизнь убежала цезуристым ямбом, мелькая страницами вдоль голубых горизонтов. Жаль, что гармония ныне совсем одичала, и речь моя как бы боится приблизиться к ней.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. В. ЯБЛОКОВ,

член-корреспондент Российской академии наук



ЯДЕРНАЯ МИФОЛОГИЯ КОНЦА XX ВЕКА

Начиная с 1991 года в отечественной прессе появляется все больше статей и выступлений, направленных на реабилитацию в общественном сознании ядерного комплекса — от АЭС и «мирных» ядерных взрывов и до ядерного оружия. Снова, как и накануне Чернобыля, пропагандисты ядерных технологий убеждают нас в их исключительной безопасности и экономической выгодности. Во время визита Б. Н. Ельцина в Железногорск (Красноярск-26) в июле 1994 года атака на общественное мнение достигла такой силы, что кое-кому могло и в самом деле показаться, что без ядерной энергетики нам не прожить и что ядерные технологии, включая подземные ядерные взрывы, не горе, а благо для российского общества. При этом сами атомщики и связанные с ними журналисты действуют по простой схеме: пропагандируют и детализируют лишь собственные представления, «не опускаясь» до рассмотрения аргументов противников. Они делают это сознательно, во-первых, понимая, что их контраргументы слабы, и, во-вторых, в расчете на то, что в массовом сознании в силу столь настойчивой пропаганды должны возникнуть своего рода клише, такие, как «атомная энергетика — экологически чистая энергетика», «атомные программы экономически высокоэффективны».

Известно, что Минатом России тратит на такую пропаганду колоссальные средства как на региональном, так и на федеральном уровнях. В «Российской газете» чуть ли не еженедельно появляется целая страница студии «НЕКОС» с открытой апологетикой ядерного комплекса, на страницах многих газет, не упускающих случая подчеркнуть свою объективность, в последнее время все чаще появляется развесистая атомная клюква. Программы фирмы «Телевидео» АО «Техснабэкспорт» Министерства по атомной энергии идут не только на зарубеж, но поступают и на наш экран. Горькой иронией в этих случаях звучит известный девиз журналистов «не лгать и не допускать, чтобы тебя купили».

Обработка общественного мнения дает свои плоды, и в результате в нашей жизни появилась новая, ядерная мифология. Она очень опасна для общества, поскольку создает благоприятную обстановку для принятия опасных решений. Я попытаюсь здесь более подробно, чем в своих газетных выступлениях, рассказать об этой современной мифологии.

Миф о безопасности атомных реакторов

В свое время академик А. П. Александров убедил руководство СССР в полной безопасности реакторов чернобыльского типа. Он утверждал, что такой реактор можно поставить даже на Красной площади в Москве. Ныне руководители атомной отрасли снова говорят о «совершенной безопасности» нового поколения реакторов (признавая тем самым, кстати, что прежние, то есть работающие сейчас на просторах страны, являются опасными), публикуют рекламные брошюры с красивыми схемами и... не могут показать положительного заключения государственной экологической экспертизы на такой реактор!

Два года назад один из генеральных конструкторов обещал быстро представить мне как советнику президента положительное заключение государственной экологической экспертизы на свой новый реактор, но так и не представил. Это не случайно. Не только у нас, но и во всем мире не прекращаются споры относительно путей создания действительно безопасных реакторов. Не оправдались надежды на термоядерный синтез. До сих пор нет действующих прототипов такого реактора, а промышленные установки, если все пойдет благополучно, могут быть созданы не ранее чем через несколько десятков лет. Сложные технические проблемы встают и при переводе атомной энергетики на реакторы-бридеры (реакторы на быстрых нейтронах). Большинство специалистов в этой области сдержанно относятся к возможности надежного обеспечения их безопасности. Физики иногда говорят о ториевых реакторах как теоретически заманчивом пути атомной энергетики, позволяющих избежать накопления плутония. Однако — и это общепризнанно — по экономическим причинам и из-за токсичности ториевого топлива такой путь малореален. Как бы то ни было, сам факт появления над всеми западными работающими реакторами непробиваемых и непроницаемых (и очень дорогих) железобетонных колпаков — так называемых контейнментов — неопровержимо свидетельствует об опасности, неизбежно исходящей от современных атомных реакторов. Эти непроницаемые колпаки в конце концов обеспечивают хоть какой-то маломальски приемлемый уровень безопасности всей атомной станции.

Подавляющее большинство наших АЭС построено без колпаков. Добавим к этому и существенно худшее качество их строительства. Лишь в 1989 году стал широко известен до того «совершенно секретный» факт монтажа на строительстве Кольской АЭС для ускорения работ вместо монолитной металлической заглушки — сварной пустотелой конструкции. А сколько таких же больших и малых «усовершенствований» остались необнаруженными? Добавим к этому существенно более низкий уровень автоматики наших АЭС.

«Атомные бомбы, дающие электричество» — так называют наши АЭС на Западе. И для этого есть веские основания. Лишь по счастливой случайности у нас после Чернобыля не произошло новых крупных катастроф. Однако состояние, близкое к катастрофическому, имело место уже несколько раз. Чего стоит авария на Кольской АЭС в феврале 1993 года, когда в результате — смешно сказать — разрыва линий электропередач, идущих от станции, из-за очередной арктической пурги чуть было не случилась та самая максимальная проектная авария. После отключения потребителей из-за аварии в энергосистеме нагрузка АЭС автоматически снизилась, все четыре блока АЭС отключились, начались опасные перепады давления в активной зоне реакторов, сбой в работе циркуляционных насосов, резервные дизель-генераторы запускались беспорядочно и в конце концов вышли из строя... Не были ли мы всего в полчасе от второго Чернобыля? Такие «приближения» происходят у нас, по-видимому, примерно раз в год. Но не бесконечно же нам будет безумно везти!

Напомню и о серьезнейшем инциденте на Ленинградской АЭС в марте 1993 года. Тогда вследствие отказа клапана в одном из технологических каналов охлаждения произошло повреждение тепловыделяющей сборки (ТВС) — пучка тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), металлических трубок, содержащих ядерное топливо. Как известно, несмотря на бодрящие заявления работников АЭС («Ничего страшного не случилось»), в результате выброса радиоактивных газов мощность дозы в окрестностях двадцатого блока увеличилась в 20 раз! На АЭС России и Игналинской АЭС (Литва) только с января 1992 по ноябрь 1994 года было более 380 аварийных ситуаций, в том числе 5 серьезных, с выходом радиоактивных веществ. «В целом состояние ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации нельзя признать удовлетворительным» — это слова из официальной справки Госатомнадзора, написанной в 1993 году

Считается, что никакими переделками нельзя добиться безопасной эксплуатации реакторов типа РБМК (реактор большой мощности, каналный) первого поколения: их надо просто закрывать как можно скорее. Реакторы типа ВВЭР (водяной энергетический реактор) теоретически можно в результате осуществленной переделки сделать более безопасными. Но на это необходимо затратить 22 — 26 миллиардов долларов, и займет это более десяти лет. Впрочем, и через десять лет проблема безопасности АЭС будет, видимо, так же остра, как сегодня. Ведь по

технологическим причинам аварии на АЭС у нас случаются, по-видимому, лишь в 30 — 40 процентах случаев, остальные — в результате «человеческого фактора».

На фоне этих расчетов несерьезным выглядит предложение «большой семерки» повысить безопасность наших АЭС за счет установки нового — западного — оборудования, в основном приборов и автоматики. Тут я, пожалуй, соглашусь с Минатомом, что такая «помощь» в основном обеспечит рабочие места западным компаниям, но нашу атомную энергетику поставит в полную зависимость от зарубежных фирм. Но разве это решит проблему человеческого фактора?

Понимание чрезвычайной опасности, исходящей от нашей атомной энергетики, заставило в Законе об охране окружающей природной среды (1991) специально оговорить необходимость для всякого нового атомного строительства не только положительного заключения государственной экологической экспертизы, но и решения парламента. Причем все экспертизы по радиационно-ядерным производствам должны осуществляться на федеральном уровне. Мне известна пока одна такая экспертиза — на проект Программы развития атомной энергетики. Она была закончена осенью 1993 года и оказалась отрицательной. Ни на одну из новых строящихся АЭС (ни на Дальневосточную у озера Эворон, ни на Костромскую, ни на Ростовскую и другие) не было ни заключения государственной экологической экспертизы, ни решений парламента.

Нам говорят: вот построим АЭС, тогда и проводите свою экологическую экспертизу. И это при том, что по правилам МАГАТЭ уже выбор площадки является элементом строительства АЭС и, следовательно, подлежит экспертизе. И вот при вопиющем нарушении закона создаются дирекции по строительству станций на Дальнем Востоке и в других местах и начинают такое строительство без всякой экспертизы. Генпрокуратура России, которой известно состояние дел, бездействует. Конституционный суд, принявший было к рассмотрению иск Социально-экологического союза о нарушении в декабре 1992 года правительством России закона при разрешении строительства АЭС, никак не может наладить свою работу.

Миф об экологической чистоте ядерной энергетики

То, что ядерная энергетика «экологически чистая», — настоящий миф. Он не станет истиной даже несмотря на то, что одна из государственных ядерных программ (еще дочернобыльских, советских, а теперь и российских) Министерства науки и технической политики так и называется — «Экологически чистая энергетика»

Конечно, одного Чернобыля достаточно, чтобы поставить под сомнение экологическую непорочность ядерной энергетики. При этом и в отношении чернобыльского выброса многое еще остается неизвестным общественности, и риск здоровью населения от аварийных выбросов этой АЭС существенно занижен. Я настаиваю, что это сделано сознательно. Скорее дело просто в том, что в большинстве стран СНГ отсутствует хорошая медицинская статистика (многолетняя, помесечная, по небольшим административным регионам).

Рядом исследователей в США было установлено, что с мая по август 1986 года в США наблюдался значительный рост общего числа смертей среди населения, рост младенческой смертности, а также пониженная рождаемость. Высокая корреляция этих трех групп независимых данных с концентрацией радиоактивного йода-131 из чернобыльского облака, накрывшего США, настолько значительна, что не более одной тысячной за то, что эта связь случайна. Особенно подскочила младенческая смертность в южноатлантических штатах — здесь такая смертность за четыре послечернобыльских месяца выросла на 20 — 28 процентов. На 7,4 процента больше было умерших в США за четыре летних месяца 1986 года по сравнению со средним числом смертей за этот период в 1983 — 1985 годах. Количество смертей от пневмонии возросло на 18,1 процента по сравнению с 1985 годом, а вся смертность от разных видов инфекционных заболеваний — на 32,5 процента, от СПИДа — на 60 процентов. Все это с высокой, статистически достоверной вероятностью связано с поражением иммунной системы чернобыльскими радиоактивными выбросами, накрывшими, как известно, США.

Такой же точной и открытой статистики нет для большинства других стран, исключая Германию. На юге Германии, где чернобыльские выпадения были особенно интенсивными, младенческая смертность возросла в 1986 году на 35 процентов. С этими данными хорошо совпадают и данные американских орнитологов, с 1975 года проводивших наблюдения по размножению 51 вида птиц недалеко от Сан-Франциско. В июне — июле 1986 года число птенцов снизилось у некоторых видов в 3 — 5 раз (в среднем на 62 процента) ниже среднедесятилетнего. Последующие исследования показали, что сходная картина наблюдалась и в штатах Вашингтон и Орегон, но только в тех районах, где в эти дни выпадали дожди, осаждавшие радиоактивный йод-131. Статистика говорит, что вероятность простого совпадения всех этих групп фактов (увеличение смертности от болезней, увеличение младенческой смертности, пониженная рождаемость и, наконец, неудача в размножении птиц) практически равна нулю.

Вот еще несколько фактов о влиянии АЭС, работающих в нормальном режиме, без катастрофических выбросов. Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс с 1990 года установил, что у людей, живущих и работающих в двадцатимильной зоне АЭС «Пилигрим», около города Плимут, в 4 раза выше заболеваемость лейкемией, чем ожидалось. Статистически заметное увеличение случаев лейкемии и рака обнаружено в окрестностях АЭС «Троян», у города Портленд, штат Орегон. Заболеваемость лейкемией детей в поселке около британского ядерного центра в Селлафилде в 10 раз выше, чем в среднем по стране, и, несомненно, связана с его работой. Это стало известно уже в 1990 году, а недавно официально подтверждено Британским национальным комитетом по радиологии. Следовало бы проанализировать состояние здоровья населения вокруг наших АЭС, но, к сожалению, ни уровень первичных медицинских обследований, ни уровень статистики не позволяет пока решить эту задачу. Аналогичные же данные по АЭС Германии, Франции и других атомноэнергетических стран если и имеются, то тщательно скрываются, по-видимому, для того, чтобы не вызвать общественного недовольства.

Даже когда АЭС работает нормально, она обязательно выбрасывает изрядное количество радиоактивных изотопов инертных газов. У экологов постепенно накапливаются доказательства их опасности. Так же как радиоактивный йод концентрируется в щитовидной железе, вызывая ее поражение, радиоизотопы инертных газов, в 70-е годы считавшихся совершенно безвредными для всего живого, накапливаются в некоторых клеточных структурах растений — хлоропластах, митохондриях и клеточных мембранах. После установления этого факта остается слово «инертные» всегда употреблять в кавычках, поскольку, конечно же, они должны оказывать серьезное влияние на процессы жизнедеятельности растений.

Радиоизотопы «инертных» газов вызывают и такой феномен, как километровые столбы ионизированного воздуха (свечки) над АЭС. Эти образования могут наблюдаться с помощью обыкновенных радиолокаторов на расстоянии в сотни километров от любой АЭС. Кто сможет утверждать, что все это никак не сказывается на состоянии и качестве окружающей среды, на миграционных путях птиц и летучих мышей, на поведении насекомых?

Одним из основных выбрасываемых «инертных» газов является криптон-85 — бета-излучатель, образующийся в процессе ядерного деления в ТВЭЛах. Уже сейчас ясна его роль в изменении электропроводности атмосферы. Количество криптона-85 в атмосфере (в основном в результате работы АЭС) ежегодно увеличивается на 5 процентов. Уже сейчас содержание криптона-85 в миллионы раз выше (!), чем до начала атомной эры. Учтем и то обстоятельство, что криптон-85 в атмосфере ведет себя как тепличный газ, внося тем самым вклад в антропогенное изменение климата Земли. Нетрудно предположить, что проблема криптона-85 через некоторое время может стать не менее важной, чем сегодняшняя проблема истощения озонового слоя.

Нельзя не упомянуть здесь и проблему другого бета-излучателя, образующегося при всякой нормальной работе АЭС, — трития, или радиоактивного водорода. Доказано, что он легко связывается протоплазмой живых клеток и тысячекратно накапливается в пищевых цепочках. Добавим к этому загрязнение тритием грунтовых вод практически вокруг всех АЭС. На это пока мало обращают внимания, хотя ничего хорошего от вероятного замещения части молекул воды в живых организ-

мах молекулами трития ждать не приходится. Мне несколько лет назад пришлось в составе одной из государственных комиссий обследовать Южно-Украинскую АЭС — повышенное содержание трития отмечалось в колодцах, расположенных в десятках километров от станции!

Уже давно было показано, что в окрестностях некоторых американских АЭС содержание трития в хвое деревьев с наветренной стороны в 10 раз больше, чем с подветренной, — прямое доказательство, что именно АЭС являются источником трития.

Когда тритий распадается (период полураспада — 12,3 года), он превращается в гелий и испускает сильное бета-излучение. Эта трансмутация особенно опасна для живых организмов, так как может поражать генетический аппарат клеток. Даже МАГАТЭ в одном из своих обзоров признало, что наличие трития вокруг АЭС скоро станет «главной головной болью».

Еще один радиоактивный газ, не улавливаемый никакими фильтрами и в большом количестве производимый всякой АЭС, — углерод-14. Есть основания предполагать, что накопление углерода-14 в атмосфере ведет к резкому замедлению роста деревьев. Такое необъяснимое замедление роста, по заключению ряда лесоводов, наблюдается на Земле чуть ли не повсеместно. Сейчас в составе атмосферы количество углерода-14 увеличено на 25 процентов по сравнению с доатомной эрой.

Проблема влияния АЭС на растительность начала исследоваться, наверное, уже лет двадцать назад, и тут появилось немало тревожных симптомов. Споры идут и по сей день, но уже в 1985 году федеральное Агентство по охране среды Швейцарии вынуждено было признать, что «в окрестностях ряда АЭС и ядерных предприятий (шахты) могут возникать большие поражения, чем на сопоставимых площадях, не имеющих ядерных предприятий. Степень поражения сопоставима с поражением от промышленных выбросов».

В 1986 — 1988 годах в моей лаборатории в Институте биологии развития имени Н. К. Кольцова Академии наук СССР В. М. Захаров провел обстоятельные работы по сравнению популяций рыб, обитающих в водоемах — охладителях атомных станций в Карлсруне (Швеция), Игналине (Литва) и Сосновом Бору (Россия). Рыбы, обитающие в Карлсруне, по всем показателям были нормальными, у ЛАЭС и в Игналине — заметно асимметричными. Мы до сих пор не знаем, в чем конкретные причины таких различий, но главный вывод ясен: наши АЭС экологически более грязные, чем шведские.

Но, пожалуй, главная экологическая опасность от нормально работающих АЭС — загрязнение биосферы плутонием. Проблема плутония недооценивается обществом и сознательно замалчивается атомщиками. На Земле было не более 50 килограммов этого сверхтоксичного элемента до начала его производства человеком в 1941 году. Сейчас глобальное загрязнение плутонием принимает катастрофические размеры: атомные реакторы мира произвели уже много сотен тонн плутония — количество более чем достаточное для смертельного отравления всех живущих на планете людей. Плутоний крайне летуч — стоит пронести открытый его образец через комнату, как допустимое содержание плутония в воздухе будет превышено. У него низкая температура плавления — всего 640 градусов по Цельсию. Он способен к самовозгоранию при наличии кислорода. Несомненно, что плутоний — одно из самых опасных веществ.

Нам говорят: скоро сделаем такие реакторы, которые могут работать на уран-плутониевом топливе (так называемое МОХ-топливо) или даже на чисто плутониевом, и тогда накопленный плутоний можно будет сжигать. Но в МОХ-топливе, несмотря на повышенное содержание плутония, основной компонент — уран. В результате через некоторое время в реакторе образуется больше плутония, чем его туда загружают. В лучшем случае около половины загружаемого плутония остается и во вновь отработавшем топливе. Для сжигания посредством МОХ-топлива запасов плутония потребуются многие десятилетия. Но за это время многократно большее количество плутония будет наработано другими станциями!

Зловещая цепочка событий, неуклонно ведущая ко все большему загрязнению атмосферы плутонием, не разрывается. Уже только из-за неизбежной наработки плутония современная атомная энергетика должна быть свернута.

Специалисты утверждают, что создать реактор, сжигающий чисто плутониевое топливо, вряд ли возможно: известно, что горение плутония менее устойчиво, чем урана, а значит, и реактор на плутонии будет неприемлем по причинам безопасности. Напомним, что если загрязнение радиоактивным стронцием или цезием через несколько десятилетий существенно падает (период полураспада — десятки лет), то загрязнение плутонием — это практически навечно (период полураспада плутония-239 — двадцать четыре тысячи лет).

Иногда защитники «экологической чистоты» АЭС пытаются дезавуировать все подобные вышеприведенным факты на том основании, что, дескать, столь незначительных доз радиации, выбрасываемых АЭС, просто недостаточно, чтобы произвести сколько-нибудь значимые биологические эффекты. Однако в отличие от большинства химических загрязнений радионуклиды обладают способностью накапливаться в определенных органах, тканях и органеллах внутри клетки. Это доказано для трития, углерода-14, америция, плутония, йода-131 и других радионуклидов. При этом их исходная концентрация может возрастать в тысячи и даже сотни тысяч (!) раз. Поражение генетического аппарата клеток — ДНК — при этом просто неизбежно.

У защитников «экологической чистоты» АЭС стало чуть ли не дежурным аргументом сравнивать их по величине опасных выбросов с угольными. При этом вроде бы получается, что уровень облучения в окрестностях угольных станций едва ли не в 100 раз выше, чем вокруг АЭС. На самом же деле еще в 1977 году Научный комитет ООН по действию радиации установил, что с учетом всего топливного цикла относительное (на мегаватт произведенной энергии) влияние угольных станций в 375 раз ниже (!), чем АЭС.

Но вот проходит тридцать — сорок лет с момента пуска АЭС — и станцию из-за выработки ресурса надо выводить из эксплуатации. Что с ней делать? Остановленный четырнадцать лет назад один и четыре года назад другой реактор Белоярской АЭС с тех пор лишь потребляют электроэнергию. То же самое — с двумя блоками Ново-Воронежской АЭС, остановленными соответственно десять и три года назад. А что будет через несколько лет, когда из эксплуатации будет выведено еще с десятков атомных блоков? Никто не знает, что делать с огромным количеством радиоактивных материалов от их разборки, да и как их вообще разбирать.

В заключение надо отметить, что обычно, когда говорят о радиационном загрязнении, имеют в виду гамма-излучение, легко улавливаемое счетчиками Гейгера и дозиметрами на их основе. В то же время есть немало радиоактивных бета-излучателей (углерод-14, криптон-85, йод-129 и 130, стронций-90). Существующими массовыми приборами они измеряются недостаточно надежно. Еще труднее быстро и достоверно определять содержание плутония, поэтому если ваш дозиметр не щелкает, это отнюдь не означает радиационной безопасности и говорит лишь о том, что нет опасного уровня гамма-радиации.

Итак, радиоактивное загрязнение неизбежно сопровождает все звенья сложного хозяйства атомной энергетики: добычу и переработку урана, производство ТВЭЛов, работу АЭС, хранение и регенерацию топлива. Это делает атомную энергетику экологически безнадежно грязной. С каждым десятилетием открываются все новые опасности, связанные с работой АЭС. Есть все основания считать, что и далее будут выявляться новые данные об опасностях, исходящих от АЭС.

Миф об экономической эффективности ядерных программ

Нет ни малейшего сомнения, что развитие наших ядерных программ всегда было делом экономически убыточным. С начала 40-х — в 50-х годах интенсивное развитие ядерных программ было возможно благодаря широкому применению труда сотен тысяч заключенных ГУЛАГа и военных строителей. Сейчас убыточность этой отрасли для страны значительно увеличилась из-за огромных расходов на реабилитацию территорий и групп населения, пострадавших от радиационного поражения. Суммарные затраты федерального и регионального бюджетов на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы плюс затраты на программы реабилитации в Алтайском крае (от последствий ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне) и на Южном Урале (в результате известной ядерной катастрофы 1957 года и многократно большего, чем чернобыльский, по интенсивности загрязнения бассейна реки Тобол радиоактивными отходами комбината «Маяк»), навер-

ное, сопоставимы теперь со всеми затратами на содержание Минатома. Только один конкретный пример последнего времени. В апреле 1993 года произошла авария на Сибирском химическом комбинате в Томске-7 (Северске) с выбросом сравнительно небольшого количества радиации. С тех пор на устранение последствий этой аварии только дополнительное финансирование из госбюджета составило 20 миллиардов рублей.

Все эти расходы идут по другим статьям бюджета, чем ядерные программы. Если же подсчитать их вместе, то эффективность развития всего ядерного комплекса у нас действительно окажется мифом. А ведь к ним в ближайшем будущем придется добавить еще немало расходов: на очистку омывающих Россию морей от сброшенных туда тысяч контейнеров с радиоактивными отходами и затопленных атомных подводных лодок (в том числе с не выгруженным ядерным топливом), на реабилитацию северных территорий, пораженных радиоактивными выбросами Новоземельского полигона, и многих мест, связанных с подземными «мирными» ядерными взрывами.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении часто декларируемой дешевизны электроэнергии, получаемой на АЭС. Даже когда АЭС работает в безаварийном проектом режиме, производство электроэнергии оказывается не особенно экономически выгодным, если судить по удельным затратам на 1 киловатт установленной мощности (в ценах 1984 года):

Северная ТЭЦ города Москвы	533 руб/кВт
АЭС (усредненные данные)	около 500 руб/кВт
ТЭЦ (усредненные данные)	470 руб/кВт
КЭС (усредненные данные)	250 руб/кВт
ТЭЦ с газотурбинной установкой «Витязь»	100 руб/кВт

При этом не учитывается необходимость крупных затрат для АЭС в будущем в двух направлениях. Во-первых, все, что связано с практически бессрочным хранением либо отработавшего ядерного топлива (в разомкнутом топливном цикле), либо радиоактивных отходов (РАО), получаемых в процессе переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Во-вторых, каждая АЭС должна быть в конце концов разобрана после отработки своего ресурса, как говорится, «до зеленой лужайки». И стоимость разборки, как показывает зарубежный опыт, вполне сравнима со стоимостью первоначального строительства. Мне очень хочется, чтобы люди, которые безразлично относятся к рассуждениям о необходимости демонтажа старых АЭС, побывали бы около этих циклопических сооружений, посмотрели бы на толстые электрокабели, теперь подводящие к ним энергию. Равнодушными к этому зрелищу, похоже, остаются только сами атомщики, лишь в 1993 году (!) приступившие ни шатко ни валко к разработке планов разборки своих умерших монстров. Так и хочется спросить у руководителей Минатома: где же ваша гражданская ответственность?

Итак, если приплюсовать все эти будущие затраты к стоимости отпускаемой электроэнергии (как это делается, например, в США), тогда от ее декларируемой сверхдешевизны мало что остается.

Расхожим стало утверждение о якобы высокой экономической эффективности французской ядерной программы: АЭС дают 70 процентов всей электроэнергии в стране. Однако недавно стали известны тщательно скрывавшиеся данные об огромном бюджетном дефиците этой программы: долг французских атомщиков, накопленный за последние двадцать лет, составляет ныне более 30 миллиардов долларов! Когда это обстоятельство стало известно обществу, немедленно начался процесс свертывания атомной программы: в июне 1994 года впервые за историю атомной энергетики Франции было решено отложить на будущее строительство очередного реактора. По всей видимости, это означает начало заката французской атомной энергетики. Напомню, что и по экологическим и по экономическим причинам (очень сложно получить разрешение) несколько лет назад было прекращено строительство новых АЭС в США: слишком дорогостоящими оказались меры по обеспечению приемлемого для общества уровня их безопасности.

Особо надо рассмотреть экономическую эффективность организации переработки ОЯТ. Сейчас по этому поводу в России развернулась широкая и бурная дискуссия. В ней наши атомщики часто апеллируют к якобы эффективному функционированию английских и французских заводов по регенерации ОЯТ. Они даже добились от Б. Ельцина в августе 1994 года согласия на строительство в Железногорске (Красноярске-26) второго российского завода по регенерации ядерного топлива — так называемого РТ-2 (РТ-1 находится на территории комбината «Маяк» в Челябинской области и перерабатывает ТВС из реакторов типа ВВЭР и от атомных подводных лодок).

«Экономический эффект от создания в Российской Федерации замкнутого топливного цикла атомной энергетики путем строительства завода РТ-2 определяется двумя факторами: отказом от строительства дорогостоящих хранилищ и могильников для... ОЯТ; возможностью реализации на мировом рынке сэкономленного природного урана и услуг по обогащению урана и по переработке ОЯТ АЭС других стран», — уверенно заявляют руководители отечественной атомной промышленности (Карелин, Курносков, 1994). Наши атомщики хотели бы повторить британский вариант при строительстве комбината THORP (термо-окислительные перерабатывающие заводы): там заранее, на много лет вперед, собрали заказы на переработку ОЯТ от разных стран, получив от них кредиты на такое строительство. Сейчас уже ясно, что англичане горят со своими расчетами. В Германии посчитали, что хранение ОЯТ значительно дешевле его переработки: расторжение ранее заключенных договоров на переработку ОЯТ только с французской фирмой «Кожема», несмотря на неизбежные крупные неустойки, позволит всем германским АЭС сэкономить более 3 миллиардов долларов. Такие же расчеты стали известны и для шотландских АЭС, а также для одной из двух крупных государственных английских атомных компаний. В Голландии в 1993 году парламент даже вынес решение о необходимости хранения, а не переработки ОЯТ, за чем должно последовать и расторжение договора с THORP. Официальным прогнозам о прибыли THORP в 500 миллионов фунтов стерлингов за первые десять лет его эксплуатации противоречат расчеты, прогнозирующие не прибыль, а от 200 до 700 миллионов фунтов стерлингов убытка. В пиковом положении оказывается и французский завод по переработке ОЯТ на мысе Ла-Аг: поступление заказов от других стран прекратилось, ранее заключенные договоры расторгаются. И это несмотря на отчаянные попытки фирмы «Кожема» привлечь заказчиков весьма длительными (пятнадцатилетними!) сроками хранения получаемых РАО (или плутония) на французской территории. Если капитаны нашего ядерного комплекса не знают об этих нарастающих тенденциях, то они, наверное, должны уйти в отставку. Если же знают и тем не менее твердят об экономической эффективности переработки, а не хранения ОЯТ — возникает вопрос: имеем ли мы право вообще им доверять? История французских и английских заводов по регенерации ОЯТ говорит о том, что стоимость переработки ядерного топлива за последние десятилетия выросла в несколько раз. Это вызвано необходимостью осуществлять все более строгие и дорогие меры по охране окружающей среды от загрязнения радиоактивными материалами и возросшими требованиями к охране здоровья персонала предприятий атомной промышленности. И это при том, что в Англии и Франции не так остро, как в России, стоит проблема избавления от жидких радиоактивных отходов: их заводы по переработке отработавшего ядерного топлива, расположенные на берегу Атлантического океана, просто сливают отходы в Атлантику по многокилометровым трубам. Радиоактивные следы этих сбросов прослеживаются вплоть до Карского моря!

Наши атомщики сейчас надеются привлечь зарубежных заказчиков на переработку ОЯТ сравнительно низкими ценами: они готовы получать 900 — 1200 долларов за килограмм вместо 2000 — 3000 долларов на французских и английских комбинатах. У нас такая низкая стоимость складывается в значительной мере из-за дешевизны рабочей силы. Однако наметившаяся здесь тенденция говорит о том, что рост оплаты труда у нас идет весьма быстрыми темпами: средняя месячная зарплата в 1992 году — около 35 долларов, в 1994-м — около 70 долларов, то есть за два года увеличилась вдвое. Значит, в будущем придется осуществлять все более дорогостоящие мероприятия по охране среды и у нас. А если учесть еще стоимость перевозки ОЯТ за тысячи километров? Похоже, что уже скоро стоимость переработки у нас и у них сравняется.

По Закону об охране окружающей природной среды 1991 года ввоз в Россию радиоактивных отходов и материалов для хранения и захоронения запрещен. Это было подтверждено и в заявлении Государственной Думы в связи со скандалом из-за недавней попытки ввоза венгерского ОЯТ. Однако представители Минатома ведут переговоры о переработке ОЯТ из Швейцарии, Швеции, с Тайваня, из Ирана и других стран! Они даже уговорили администрацию Красноярского края поддерживать их (ради 25 процентов отчислений от валютных поступлений за организацию хранения ОЯТ). Это открытое, демонстративное попрание российских законов! Впрочем, такое попрание законов у атомщиков уже вошло в привычку. Президент трижды издавал указы и распоряжения о необходимости тотальной вневедомственной инспекции атомных установок на безопасность. А Минатом вместе с Минобороны говорят: не хотим! И ведь действительно не пускают инспекторов Госатомнадзора на многие объекты!

Разве выгодно для страны завозить на переработку чужое ядерное топливо, неизбежно загрязняя свою территорию огромным количеством средне- и низкорadioактивных отходов? Для России невыгодно и опасно, но выгодно для предприятий Минатома — они получают деньги, необходимые для жизнеобеспечения бывших секретных атомградов, производивших оружейный плутоний, и... хороший повод для новых бюджетных вливаний в отрасль.

Уверен, что завод РТ-2 не может быть экономически выгодным для России. Экологически он будет крайне опасен. Его деятельность окажется сомнительной и с политической точки зрения: возвращая получаемый в ходе переработки ОЯТ плутоний, мы будем обеспечивать государства-поставщики материалом для создания ядерного оружия. Недаром во многих странах мира ширится движение за законодательное запрещение технологических процессов, связанных с обогащением плутония и переработкой ОЯТ.

Надежды на щедрое зарубежное финансирование строительства РТ-2 призрачны: в Указе президента России об инвестициях от 19 сентября 1994 года четко определено, что все инвестиционные проекты могут осуществляться только при положительном заключении государственной экологической экспертизы. Никакая нормальная экспертиза не даст согласия на неглубокую (такую, какая осуществляется сейчас в Железногорске, Северске и Дмитровграде) зачку под землю радиоактивных отходов. Высокоактивные отходы придется стекловывать, так же как средне- и низкоактивные, или обеспечивать их длительное хранение каким-то иным способом. Интересное дело: отказываемся от «дорогостоящего хранилища и могильника для ОЯТ», для того чтобы... строить хранилища и могильники для РАО? Где логика? Где экономические расчеты на длительную перспективу (стоимость земли, стоимость хранения и т. п.)?

В случае с РТ-2 возникает и более общий вопрос: зачем нужно строить завод по регенерации отработанного топлива, если ни регенерированный уран, ни энергетический плутоний, обращение с которыми намного сложнее и дороже, чем с природным ураном и оружейным плутонием, народному хозяйству не нужны?

Мы на много десятилетий вперед обеспечены ураном и плутонием из расщепленных десятков тысяч ядерных боеголовок. Россия даже продала США в 1993 году 500 тонн высокообогащенного урана, который будет извлекаться из ядерных боеголовок при разоружении и который при разбавлении можно использовать в качестве топлива для реакторов АЭС. И даже после этой продажи у России еще остается 750 тонн высокообогащенного урана из расщепленных боеголовок.

Если какие-то страны просто хотят избавиться от своего ОЯТ, а Россия готова на этом заработать деньги, то логичнее сразу строить специальные хранилища для иностранных отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), предназначенные для их длительного хранения. Но как бы ни хотелось Минатому или некоторым региональным администрациям заработать на этом хорошие деньги, такая коммерция — слава богу! — прямо запрещена законом в интересах будущих поколений.

В заключение замечу, что получаемые в ходе репроцессинга регенерированный уран и плутоний имеют отрицательную экономическую стоимость: в обозримом будущем их невыгодно использовать. Подсчитано, что стоимость хранения одного грамма плутония составляет 1 — 5 долларов в год (то есть 1 — 5 миллионов долларов за тонну). Реакторы-бридеры, способные сжигать плутоний, пока где-то далеко за горизонтом. Сошлюсь при этом на доклад 1993 года известной своими глубокими

прогнозами американской «РЭНД корпорейшн»: в течение ближайших пятидесяти, а может быть, и ста лет плутониевое топливо не может быть экономически эффективным. Уран же для новых ТВЭЛов гораздо выгоднее получать непосредственно из руды (это обходится всего в несколько десятков долларов за килограмм).

Похоже, что в истории с нашим РТ-2 оправдывается ядовитое высказывание английской газеты «Индепендент»: «Когда ядерная индустрия встречается с нерешенной проблемой, она предлагает построить что-то очень дорогое просто для того, чтобы отсрочить решение».

Миф о необходимости строительства новых АЭС

Чтобы решить, нужно ли в России строить новые АЭС, следует ответить на вопрос: сколько электроэнергии нам требуется? Энергоемкость нашего национального продукта в 2—3 раза выше, чем у большинства других промышленно развитых стран. Это означает, что можно сократить потребление электроэнергии вдвое и получить то же количество продукции, что получаем теперь. Поэтому прекращение работы всех АЭС не представляет смертельной опасности для экономики страны, ведь они дают нам всего 12 процентов электроэнергии. Вспомним и о сокращении промышленного производства за последние три года, по-видимому, не менее чем на 40 процентов (в основном за счет производства энергоемкой военной продукции). Вспомним, наконец, что мы активно торгуем электроэнергией (электроэнергия — за рубеж, а нам — радиоактивные отходы от АЭС).

Ответ на вопрос о необходимости (или ненужности) развития атомной энергетики должен быть дан в Энергетической программе России. Эта программа вот уже несколько лет разрабатывается под эгидой Минтопэнерго. Известно, к сожалению, что этот проект безальтернативно исходит из необходимости развития ядерной энергетики. По моей просьбе в 1992 году группа экспертов — экономистов и энергетиков — представила в Минтопэнерго действительно альтернативную к разрабатываемой концепцию энергетической программы. В ней обосновывалась принципиальная возможность надежного обеспечения развития России на обозримое будущее без ядерной энергии. Для того чтобы эта концепция стала многогранным альтернативным проектом, нужны средства, нужно подключение крупных коллективов. Ничего этого Минтопэнерго делать явно не собирается, видимо боясь испортить отношения с Минатомом.

Не организовав разработку альтернативных концепций Энергетической программы, правительство готово порой весьма неэффективно потратить изрядные суммы. Так, в одной из принятых в 1993 году программ под названием «Экологически чистая энергетика» заложены затраты на прокладку штольни для ядерного испытания на Новой Земле! Планировавшихся на это средств хватило бы для разработки упомянутого проекта альтернативной энергетической программы. Тут даже риторические вопросы излишни: ясно, что политика в области разработки Энергетической программы находится под мощным давлением Минатома, для которого собственные интересы важнее общероссийских. Одно из наглядных свидетельств этому тот факт, что в России до сих пор не построено ни одной современной электростанции: ни газотурбинной, ни работающей на технологии сжигания бурого угля в кипящем слое. Именно такие станции служат экологически приемлемой заменой АЭС в США, Германии и других странах.

Вот конкретный пример. Для замены устаревших и опасных реакторов Ленинградской АЭС на более совершенные атомные нужно около 4 миллиардов долларов. Американская фирма «Альстром—Пайропауэр» предлагает заменить существующие реакторы АЭС на экологически чистую и более экономически эффективную ТЭЦ за... 1,6 миллиарда долларов! Однако и на ее предложение нашему правительству, и на мое прямое обращение к мэру Санкт-Петербурга ответов не последовало.

Эффективные газотурбинные станции есть и у нас: разработанные в свое время двигатели СУ для военных самолетов после минимальной переделки способны работать на земле как великолепные, высокоэффективные газотурбинные электростанции. Они автономны, дешевы, надежны, экологически безопасны, быстро монтируются

В настоящее время в России в результате конверсии оборонной промышленности сложилась исключительно благоприятная ситуация для массового производства модульных газотурбинных установок (ГТУ) разной мощности: от сравнительно небольших (по 20 — 25 мегаватт) до 60 — 80 мегаваттных. Разные подсчеты показывают, что в течение шести-семи лет при затратах 6 — 7 миллиардов долларов можно было бы заместить газотурбинными установками все имеющиеся в России АЭС. Напомню, что, по некоторым оценкам, для доведения наших АЭС до западных стандартов нужно 26 миллиардов долларов и более десяти лет. Почему же правительственная комиссия, созданная после моих обращений к Б. Н. Ельцину и Е. Т. Гайдару еще летом 1992 года, так ни разу и не собралась для обсуждения этой проблемы? Самый вероятный ответ: потому что это невыгодно российскому ядерно-промышленному комплексу.

И еще один интересный факт, иллюстрирующий эффективность отечественных ядерных программ: восемь лет назад на Годичном собрании Академии наук СССР академик Ж. И. Алферов сообщил, что, если бы на развитие альтернативных источников энергии было затрачено всего 15 процентов средств, брошенных в СССР на развитие атомной энергетики, для производства электроэнергии АЭС вообще не потребовались бы.

Убежден, что строительство новых АЭС в России сегодня стимулируется ведомственными и корпоративными интересами и не отвечает долгосрочным национальным интересам нашей страны. В ряде стран, активно развивавших (Великобритания, Франция, Китай) или развивающих (Индия, Аргентина, Израиль, Иран, Ирак, ЮАР, Япония, обе Кореи, Пакистан) атомную энергетику, такие программы были стимулированы явно желанием поближе подойти к обладанию ядерным оружием.

В последнее время сторонники ядерной энергетики, исчерпав другие аргументы в ее защиту, утверждают, что АЭС могут служить гарантом мирного развития: если страна имеет АЭС, то на нее страшно нападать. Я, пожалуй, согласен с этим. Надо просить экспертов рассчитать, не стоит ли срочно построить АЭС во всех горячих точках мира — глядишь, и разом прекратятся все войны. Боюсь только, что мы стали заложниками собственных АЭС: теперь у террористов и вымогателей невиданные потенциальные возможности диктовать свою волю угрозой взрыва АЭС. Эта соблазнительность АЭС для террористической активности — еще одна дополнительная причина, почему я считаю опасным широкое распространение атомной энергетики. Причем таким ядерным терроризмом могут теперь успешно заниматься целые страны. В 1994 году мы наблюдали, как Северная Корея, шантажируя все мировое сообщество, фактически заявила: стройте мне современные АЭС — или я буду продолжать производить плутоний для ядерных бомб на своих реакторах. Результат? 4 миллиарда долларов, выделяемых США, Южной Кореей, Японией и другими странами этому государству-шантажисту. А ведь из криминальных романов хорошо известно, что даже обычный шантаж, как правило, кончается крупными неприятностями...

Что же надо делать с энергетикой, если не строить новые АЭС? Конечно, прежде всего — энергосбережение. Во-вторых, по мере вывода из строя стареющих и не отвечающих современным требованиям безопасности АЭС замещать их газотурбинными и тепловыми станциями, работающими на современных, экологически безопасных и экономически выгодных технологиях. В-третьих, нам необходимо более активно развивать в России освоение как водородной энергетики, так и «классических» альтернативных источников энергии (ветер, солнце, приливы и др.), а также подключаться к аналогичным международным программам. Есть, например, обоснованные проекты получения практически неограниченного количества водорода из воды. Для опытной проверки этих проектов необходимы затраты, сопоставимые со стоимостью всего лишь одной АЭС. Но этих денег мы никак не можем найти, и опять же простой причине — это невыгодно атомной промышленности.

Миф о решении проблемы радиоактивных отходов

На заре атомной эры никто всерьез не думал о долгосрочных последствиях развития ядерных программ, хотя деклараций по этому поводу хватало. МАГАТЭ писало еще в 1960 году: «Безопасный сброс все возрастающих объемов радиоактив-

ных отходов, накапливающихся в результате эксплуатации атомных объектов, является проблемой первой величины».

В ходе каждой ядерной реакции неизбежно образуются побочные продукты: радиоактивные «осколочные» элементы или радиоактивность, наведенная на другие конструкционные материалы (стенки реакторов, трубопроводов и т. д.). Длительность действия радиоактивности одних веществ измеряется минутами, других — тысячелетиями.

Любой технологический процесс предполагает уборку рабочего места. Так и в атомной промышленности надо что-то делать с РАО, масштабы накопления которых, похоже, уже перешли все мыслимые границы и ныне составляют реальную угрозу национальной безопасности России. Чтобы более наглядно представить себе эти масштабы, замечу, что они стократно превышают весь чернобыльский выброс! И с каждым годом объемы РАО увеличиваются на несколько миллионов кубических метров, а радиоактивность — на десятки миллионов кюри. Этого количества уже, наверное, достаточно, чтобы всю территорию России превратить в одну сплошную чернобыльскую зону по величине ее радиационного загрязнения.

Уже сорок лет нам твердят: не беспокойтесь, это сравнительно простая, чисто техническая проблема, она вот-вот будет практически решена, раньше просто руки не доходили, а сейчас возьмемся... Собираются бесчисленные научные симпозиумы, выдвигаются и обсуждаются самые фантастические предложения (вроде отправки РАО в космическое пространство, «уничтожения» их посредством подземных ядерных взрывов), а на практике все кончается либо спуском их в глубины Мирового океана, либо закачкой в поверхностные (первые сотни метров) геологические формации, либо остекловыванием, битумированием, бетонированием и... закладкой на хранение в возникающих тут и там хранилищах-могильниках.

Масштабы проблемы РАО огромны. В ходе переработки тонны отработавшего ядерного топлива возникает (по минимальным оценкам) 4,5 тонны высокоактивных отходов, 150 тонн жидких среднеактивных и более 2000 тонн низкоактивных отходов.

Работа трех подземных атомных реакторов и радиохимического завода, на котором выделяется плутоний, а также остальных производств в Красноярске-26 привела к загрязнению одной из самых крупных рек мира, Енисея, на протяжении полутора тысяч километров, и, по всей видимости, эти страшные выбросы уже попали в Северный Ледовитый океан. Отходы от английских и французских атомных заводов загрязнили радиоактивными элементами практически всю Северную Атлантику: Северное, Норвежское, Гренландское, Баренцево и Белое моря.

К сказанному надо добавить, что физические процессы, происходящие при хранении РАО, еще далеко не изучены. Обычно такие отходы представляют собой смесь различных радиоактивных веществ и других химических элементов. И в каждом хранилище таких отходов неизбежно пойдут свои собственные процессы, будь то подземный горизонт, поверхностный водоем или искусственная емкость. А чем это чревато, наглядно показала радиационно-химическая катастрофа в Кыштыме, на Южном Урале, в 1957 году. Тогда в результате мощного радиоактивного загрязнения огромной территории пострадали десятки тысяч людей. Там до сих пор многие тысячи гектаров земли выведены из хозяйственного оборота.

Напомню, что радиоактивные элементы отличаются от всех других тем, что со временем изменяются, причем эти изменения не всегда ведут к ослаблению их воздействия. От альфа-излучателя плутония можно защититься даже листком бумаги (правда, попадание плутония внутрь организма с воздухом, пищей, водой или через кожу чревато развитием самых тяжелых, иногда смертельных, заболеваний). Но изотоп плутоний-241 со временем превращается в америций-241 — сильнейший гамма-излучатель (опасное свойство америция — способность распространяться с водой). Получается, что территории, загрязненные плутонием, через некоторое время могут сначала стать относительно радиационно-спокойными, поскольку тяжелый элемент плутоний опускается в нижние слои почвы. Однако через несколько лет они могут опять превратиться в весьма опасные из-за образующегося америция. Именно это похоже, происходит сейчас в чернобыльской зоне.

С моей точки зрения, не идеальный, но хоть минимально приемлемый вариант решения проблемы РАО — это опускание их на значительную глубину (на несколько километров) в земную кору. У РАО не должно быть никаких шансов вый-

ти на поверхность на протяжении столетий. Но, похоже, и тут нас ждут сложности: на Кольской сверхглубокой скважине трещины и воды были встречены на глубине более десяти километров! Кроме того, для захоронения сколько-нибудь заметного количества РАО такие скважины должны быть более значительного диаметра (несколько метров). И тогда такое решение проблемы РАО, похоже, обойдется человечеству в десятки, если не сотни миллиардов долларов.

Если обобщить все те немногие методы, которые сейчас используются для обращения с РАО, получается простая схема: высокоактивные отходы концентрируются и изолируются, средне- и низкоактивные — разбавляются и распыляются. Пусть простят меня атомщики, которые всегда считали себя лидерами научно-технического прогресса, но эти решения, с моей точки зрения, выглядят безнадежно устаревшими.

Все другие отрасли промышленности уже давно намучались и с концентрацией и с разбавлением отходов. Вспомним, например, как в этом веке «подрастали» дымовые трубы, достигнув двухсот и даже трехсот метров. В результате то же количество отравы отравляло не локальную, а большую территорию. Теперь все прогрессивные технологии в промышленности основаны на принципе безотходности. Это оказалось выгоднее и экономически и экологически. Атомная промышленность, к сожалению, не спешит пойти по этому единственно правильному пути. Сегодня, без преувеличения, это самая грязная отрасль промышленности.

Нет, не решена проблема радиоактивных отходов, и пока не видно приемлемых путей ее решения. А радиоактивность ядерных материалов по всему свету ежедневно возрастает на десятки, а возможно, и на сотни тысяч кюри — ведь во всем мире работает уже несколько сотен атомных реакторов.

Миф о безопасности подземных ядерных взрывов

Одна из настойчиво пропагандируемых в последнее время ядерных технологий — использование подземных «мирных» ядерных взрывов. Академик Е. Н. Аврорин и другие руководители Минатома говорят о них только хорошее. А недавно, в 1994 году, на симпозиуме «Урал атомный» был даже прочитан доклад на тему «Подземные ядерные взрывы для улучшения экологической обстановки».

Я побывал на местах более десятка таких взрывов. Видел рыжий лес, уходящий на несколько километров от берега реки Мархи в Якутии и безошибочно свидетельствующий о мощном радиационном выбросе от взрыва «Кратон-3» 1978 года. Говорил я и с родителями детей, заболевших лейкозом через несколько лет после проведения серии таких подземных ядерных взрывов в бассейне Вилюя. Да, конечно, точных измерений радиоактивности вод Вилюя в то время не велось, но не было раньше и стольких случаев детских лейкозов в Якутии. Остается только предположить, что это последствия подземных ядерных взрывов. Обследование, проведенное в 1993 году, показывает уровни загрязнения плутонием в десятки тысяч (!) раз выше, чем фоновые. Нашли там даже радиоактивный кобальт, что неоспоримо свидетельствует о выбросе из скважины, с глубины около шестисот метров, остатков металлической оболочки взрывного устройства. Известно также, что люди, находившиеся тогда вблизи места взрыва, получили мощную дозу облучения. Экспедиция 1993 года располагала уже и доказательствами миграции плутония в реку Марху, приток Вилюя. А выброшенное радиоактивное облако, как теперь стало известно, ушло на юго-запад на расстояние не менее двухсот километров. Наверняка и заболели, и раньше времени умирали люди, попавшие под это облако, но в то время было даже невдомек — отчего. Только с 1989 года — спустя одиннадцать лет! — якутское правительство получило доступ к прежде секретным данным. И только тогда стали срочно проводить исследования. И вот что для меня самое удивительное: как могли люди, отвечавшие за проведение таких взрывов, зная в деталях их страшные последствия, молчать все эти годы? Где их раскаяние в содеянном?

Был я и на местах таких взрывов в Астраханской области, где на поверхности радиационная обстановка спокойная, но подземные технологические емкости, созданные подобными взрывами, разрушились и схлопнулись уже через несколько лет. Теперь остается только ждать, где на поверхности обнаружится грозная радиация.

Известны и сокрушительные неудачи подземных ядерных взрывов, рассчитанных на выброс больших масс земли. Я осмотрел в Якутии территорию одного такого выброса: вместо того чтобы насыпать плотину водохранилища, атомный заряд под красивым названием «Кристалл» в 1974 году недалеко от знаменитой алмазной трубки Удачная образовал небольшую воронку, а радиационная волна поразила при этом близлежащий лес. И здесь концентрации плутония в тысячи раз выше фоновых, и по совокупности критериев эту территорию следует отнести к зоне экологического бедствия. И в Пермской области в ходе реализации приснопамятного проекта по повороту северных рек на водоразделе Печоры и Камы не получилось направленного выброса грунта, однако вполне получился серьезный выброс радиоактивного облака. Говорят, уже тогда, в середине 70-х годов, американцы со спутников по пятнам «рыжего леса» определяли места и масштабы радиационного загрязнения России. Они — знали, а население пораженных радиацией районов даже не подозревало, что здесь нельзя больше собирать грибы-ягоды, нельзя бить зверя и птицу, нельзя пить воду...

Иногда утверждают, что «мирные» ядерные взрывы «приносили миллиарды рублей экономике страны и позволяли решать многие экологические проблемы наиболее загрязненных районов России». Насчет помощи экологии, так это, что называется, с большой головы на здоровую: подземные взрывы не решили ни одной экологической проблемы, но создали изрядное количество новых. Взять те же подземные емкости для особо опасных отходов. Не будь этого ядерного соблазна — создать пустоту и закачать туда любую отраву, — быстрее нашлись бы способы усовершенствовать производство.

Наивными оказались представления атомных проектантов о том, что взрывом будет создана полость с крепчайшими, непроницаемыми на века стенками. И стенки неизбежно трескаются, и полость ненадежна. А какими миллиардами оценить утраченное людьми центральной Якутии здоровье?

Те, кто в наши дни активно проповедует необходимость возобновления подземных ядерных взрывов, не могут по роду своей деятельности не знать о приведенных выше фактах. Знают и продолжают утверждать, что без таких атомных взрывов «сохранить природную среду... невозможно» (А. Васильев), «технология этих работ отшлифована, она весьма совершенна. Это касается изучения... всех последствий взрывов» (Е. Аврорин). Эти безответственные высказывания даже не хочется комментировать!

Подземные атомные взрывные технологии не только запредельно опасны, но и экономически невыгодны. Если бы это было не так, то почему тогда в США прекратили реализацию намеченных было в 60-е годы проектов? Почему такие взрывы не производят Франция, Великобритания и другие западные страны? Просто потому, что на Западе умеют считать затраты и выгоды лучше, чем это делаем мы.

Не можем мы не учитывать и возможного сверхдальнего влияния подземных ядерных взрывов: гипотезы о провоцировании такими взрывами отдаленных землетрясений (так называемое тектоническое оружие) звучат фантастично, но никто всерьез их пока не опроверг. Напротив, хорошо известен (и используется в геофизике) факт распространения сейсмических волн от подземных ядерных взрывов на тысячи километров. Известно также, что А. Д. Сахаров в последние годы активно интересовался возможностью с помощью таких взрывов управлять землетрясениями, и эти идеи всерьез обсуждаются и поныне.

Не прибылью, а колоссальными убытками обернулся для нашей страны недальновидный энтузиазм атомных покорителей недр.

Миф о «миролюбии» ядерной энергетики

Не всем известно, что военные ядерные программы Великобритании, Франции и Китая основаны на широком использовании наработанных в реакторах АЭС материалов. В январе 1994 года британское правительство признало, что более чем в 570 случаях «в интересах национальной безопасности» подобное имело место. Доказана на практике возможность создания ядерной бомбы из урана и плутония, полученных из переработанного ядерного топлива АЭС (а не из специального оружейного плутония, как в «обычных» атомных боеприпасах) Как

свидетельствуют недавно рассекреченные документы, такой эксперимент в начале 70-х годов успешно был проведен в США. Именно после этого Соединенные Штаты и решили воздержаться от переработки ОЯТ: не только потому, что хранить такое топливо дешевле, чем перерабатывать, но и для того, чтобы избежать серьезной опасности дальнейшего распространения ядерного оружия.

Эксперты МАГАТЭ неоднократно заявляли, что основная угроза режиму нераспространения ядерного оружия скрывается в плутонии, получаемом при переработке ОЯТ обычных АЭС. Специалисты говорят, что любая страна, обладающая АЭС, способна в небольшой лаборатории (с персоналом в 20—30 человек) извлечь из ОЯТ плутоний и сделать примитивную ядерную бомбу.

Затянувшийся скандал вокруг северокорейских АЭС советской постройки, успешно использованных для производства пяти ядерных зарядов, должен развеять последние сомнения у тех, кто никак не хотел поверить в тесную связь между атомной энергетикой и производством не такого совершенного, как у великих держав, но несомненно вполне боеспособного ядерного оружия. Как после всех этих сведений прикажете относиться к заявлению наших ведущих специалистов-атомщиков — директора «радиевого института» в Санкт-Петербурге и генерального директора ВНИПИЭТ (Всероссийский научный и проектный институт энерготехники): «Плутоний из топлива АЭС... не подходит для использования в военных целях»? Заподозрить их в незнании проблемы невозможно. Значит, опять «ложь во благо»? Это еще одно яркое свидетельство, что давно назрел открытый, честный и принципиальный разговор атомщиков с общественностью. Без такого разговора им трудно будет рассчитывать на доверие общества, которого они так добиваются.

Ядерная энергетика и ядерное оружие — близнецы-братья. Сложно воспрепятствовать созданию ядерного оружия в странах, обладающих ядерными электростанциями. Поэтому развитие ядерной энергетiki делает наш мир все более и более опасным.

Миф о Минатоме как «становой отрасли» России

Слова в названии этой главки позаимствованы из одной из последних статей министра атомной энергетики России В. Н. Михайлова. Его заявление, отражающее, вероятно, естественную гордость за свое родное министерство, представляется самообманом. Это не «становая отрасль», а едва ли не главная головная боль новой России.

Советский Средмаш, а сейчас российский Минатом — это государство в государстве. Создавая ядерное оружие, советское руководство сконцентрировало невероятные ресурсы (людские и природные) и создало замкнутую систему, самодостаточную для выживания в разных условиях. Система бывших закрытых городов — лишь верхушка айсберга. В Минатоме есть все, начиная от полного набора предприятий коммунального и сельского хозяйства, добычи золота и драгоценных камней и кончая собственной строительной индустрией и авиацией. Минатом, пожалуй, сравним в своей самодостаточности и закрытости только с системой ОГПУ-МВД-КГБ, с которой он, кстати, и срешен по целому ряду направлений. По отношению к КГБ российское общество уже давно поняло опасность такой самодостаточной закрытой системы. Выход был найден в виде разделения его на ряд самостоятельных ведомств, в большей степени находящихся под контролем государства.

То же самое необходимо сделать с Минатомом. Я недавно был в Кирово-Чепецке на огромном химическом комбинате, когда-то созданном для производства компонентов ядерного топлива и до сих пор принадлежащем Минатому. Сейчас это современное химическое производство, не имеющее ничего общего с ядерной индустрией. Зачем оставлять его под крылом Минатома? Те продукты, которые будут нужны предприятиям атомной индустрии, они могут получать на коммерческих началах от других отраслей промышленности, как это происходит в США, Германии, Англии, Франции. И это ничуть не нарушает национальной безопасности, на которую так любят ссылаться сторонники закрытости Минатома.

Учетом и неизбежное и уже интенсивно идущее сокращение размеров ядерного оружейного комплекса в жизни страны. Средмаш произвел, как теперь мы понимаем, в десятки раз больше ядерных боезарядов, чем этого требует любая доктрина ядерного сдерживания. Сейчас перед нашим ядерным комплексом не менее грандиозная задача — ликвидация этих сверхзапасов. И потребуются, видимо, несколько десятилетий для ее решения. Кроме того, надо поддерживать и безопасность остающегося ядерного оружия. Обе эти задачи и могли бы составить основу деятельности будущего самостоятельного «военно-атомного» федерального органа.

Атомная же энергетика должна развиваться отдельно. Уже сейчас Ленинградская АЭС не входит в единую систему Минатома и юридически самостоятельна. В большинстве стран мира атомные электростанции принадлежат не государству, а частным компаниям. Это же неизбежно произойдет и у нас. Тогда никакого федерального органа, занятого лоббированием их интересов на правительственном уровне, и не потребуются — будет работать экономик, и АЭС станут строить только там, где это экономически выгодно и безопасно. За их безопасностью будет наблюдать ныне существующий Госатомнадзор, который, конечно же, должен быть усилен и получить реальные, а не бумажные, как сейчас, права.

Естествен вопрос: что же надо делать с нашими атомными программами? Поскольку ядерное разоружение продлится десятилетия, необходимо на высоком и достойном уровне поддержать соответствующие научно-производственные подразделения.

Надо разработать и принять вариант Энергетической программы с постепенным выводом и замещением мощностей АЭС неядерными источниками электроэнергии.

Следует разработать и принять правительственную программу разборки отслуживших свой срок АЭС до «зеленой лужайки».

Необходимо на федеральном уровне принять программу ликвидации радиоактивных отходов и основательно ее профинансировать.

Надо выполнить уже принятую правительственную программу по утилизации отработавших свой срок атомных подводных лодок (их уже сейчас около 100, и это количество катастрофически растет, создавая крупнейшие проблемы для национальной безопасности в северных и дальневосточных регионах страны).

Надо организовать глубокие (и честные!) научные исследования по влиянию радиации на живую природу и человека на базе уникальных ситуаций, данных нам нашей трагической историей, вокруг Семипалатинского и Новоземельского полигонов, в черновильской и уральской зонах. Эти данные нужны не только России, они нужны всему мировому сообществу, чтобы объективно оценить масштабы опасности радиоактивного загрязнения.

Необходимо неуклонно выполнять программы реабилитации пострадавших от радиации районов России — не только черновильского, но и южноуральского, и новоземельского, и семипалатинского (алтайского), и дальневосточного (бухта Чажма), и десятков других, более локальных, от Калмыкии до Забайкалья.

Для реализации этих планов следует разделить Минатом на два ведомства. Одно будет связано с решением проблем радиоактивных отходов и реабилитацией радиоактивно загрязненных территорий, а также будет решать, как поступать с высвобождающимися при разоружении ядерными материалами, как разрабатывать ядерные технологии будущего и т. д. Другое же ведомство станет осуществлять чисто оборонные программы (безопасности и надежности существующего ядерного оружия и т. п.).

Миф об объективности МАГАТЭ

МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии — было создано ООН в 1957 году после известной речи Дуайта Эйзенхауэра «Атомы для мира», он сказал о необходимости распространения мирного атома и контроля за военным применением атомной энергии. Это было время, когда утверждалось, что к концу XX века в мире будет не меньше 1800 атомных станций, которые дадут 21 процент мирового производства коммерческой энергии (на самом деле сейчас около 400 АЭС, и они дают менее 5 процентов энергии). МАГАТЭ и было призвано «уско-

рять и расширить применение атомной энергии для мира, здоровья и процветания во всем мире...» (из устава МАГАТЭ).

МАГАТЭ — уникальное подразделение ООН. Оно единственное, призванное способствовать распространению одной технологии. Все остальные агентства ООН связаны с такими проблемами, как культура (ЮНЕСКО), сельское и лесное хозяйство (ФАО), охрана окружающей среды (ЮНЕП), здоровье (ВОЗ), проблемы беженцев, развивающиеся страны, демография, голод, климат, метеорология. Естественно, что технологии в решении всех этих глобальных проблем являются подчиненными, вторичными: сегодня одни, завтра, по мере развития науки и техники, — другие. МАГАТЭ же как будто застыло на уровне менталитета 50-х годов: атомная энергия несет избавление человечеству от всех бед, и нужно только получше присматривать за ядерным оружием, которое разрешено иметь пяти избранным странам.

МАГАТЭ олицетворяет собой осуществление в международном масштабе порочного принципа «козла в огороде»: одновременной поддержки распространения ядерных технологий и регулировки использования атомной энергии.

В советское время вся атомная проблематика была объектом повышенной секретности. И тогда многим из нас казалось, что к словам международных экспертов, не связанных обязательствами «о неразглашении», можно относиться с доверием. Сейчас нужно с горечью признать, что в отношении МАГАТЭ это совсем не так. Прежде всего потому, что сам устав МАГАТЭ определяет его пристрастное отношение к распространению ядерных технологий. МАГАТЭ именно для этого создано, и если его сотрудники будут говорить что-то против атомной промышленности, значит, они поступают неloyально по отношению к работодателю.

Тем, у кого осталась вера в объективность МАГАТЭ, стоило бы проанализировать его официальные заключения по поводу разных атомных станций. Говорят, не было среди них ни одного, которое однозначно рекомендовало бы закрыть какую-то АЭС. Во всех случаях, отметив даже очень серьезные нарушения или возможные опасные последствия, общий вывод экспертов МАГАТЭ оказывался положительным: продолжать строить, продолжать эксплуатировать.

Предельно отчетливо предвзятость МАГАТЭ проявилась в оценке последствий чернобыльской аварии. В 1989 году по просьбе советского правительства (которое находилось под мощным общественным давлением) МАГАТЭ организовало международную комиссию для выяснения «истинных» масштабов и последствий чернобыльской катастрофы. Мы все напряженно ждали результатов. Результаты работы комиссии были ошеломляющие — «ничего страшного!» Когда я просмотрел полсотни страниц отчет комиссии, мне все стало ясно: высокая «научная» и «объективная» комиссия пользовалась только официальными данными! Не было сделано даже попытки проанализировать вопрос о том, как сказались на официальных данных «сов. секретное» распоряжение 1988 года, запрещавшее советским врачам устанавливать причинную связь между радиационным поражением и заболеваемостью людей. Не высказано даже тени сомнения в уже тогда широко оспаривавшихся официальных оценках размеров выброса радиоактивных веществ.

В 1993 году у меня состоялся интересный и обстоятельный разговор с Гансом Бликсом, генеральным директором МАГАТЭ. Это интеллигентный и высокоэрудированный человек, приятный собеседник. Среди моих вопросов к нему был и такой: как могло получиться, что в СССР не было ни одного закона об атомной энергии? Ведь чуть ли не первым и главным правилом МАГАТЭ для любой страны, развивающей ядерные технологии, является предварительное принятие общенациональных законов! Ответ был прост: рекомендации МАГАТЭ необязательны для стран — членов этой организации. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Да ведь наши атомщики нам много лет жужжали, что они-де выполняют все требования МАГАТЭ! Почему же МАГАТЭ не обращалось к правительству?

Позднее г-н Бликс прислал мне целую стопку нормативных изданий МАГАТЭ. В одном из них я нашел важное для России определение: строительство АЭС включает все подготовительные работы, такие, как выбор площадки, подведение дорог и других коммуникаций. А наши атомщики умудрились убедить российское правительство, что все эти работы — вовсе не строительство АЭС (и поэтому никакой государственной экологической экспертизы на эти мероприятия не требуется). МАГАТЭ, зная эту нелепую и опасную ситуацию, опять же молчит. Потому

что его главная цель — распространение ядерных технологий, а совсем не поиск более эффективного решения проблем энергетики (где-то — АЭС, а где-то — другие источники энергии).

В уставе МАГАТЭ до сих пор прямо записано: способствовать всемерному распространению подземных ядерных взрывов для решения народнохозяйственных проблем. И это тогда, когда давным-давно стала ясна огромная опасность этих технологий.

Нет никакого сомнения в том, что уже давно настало время для коренной реорганизации МАГАТЭ. Один из путей — превращение МАГАТЭ в орган ООН, способствующий решению всех энергетических проблем мира: где-то (как и у нас в России) есть колоссальные резервы по экономии энергии, нам можно производить тот же объем валового национального продукта при вдвое-втрое меньших затратах энергии; а где-то надо строить ветровые, приливные (а может быть, и атомные) станции, но обязательно быстро распространять самые современные технологии в энергетике. Сейчас таковыми служат мощные паровые турбины, работающие либо от сжигания низкосортных твердых теплоносителей (например, бурого угля в кипящем слое), или парогазовые турбины.

Реформа МАГАТЭ необходима и потому, что полностью провалилось решение второй главной задачи — препятствовать распространению ядерного оружия: МАГАТЭ не смогло предотвратить появления ядерного оружия в Индии, Пакистане, Израиле, Южно-Африканской Республике, Северной Корее, Ираке и, возможно, еще в ряде стран. Число государств, получивших доступ к ядерным технологиям, создавших свое ядерное оружие в обход договора о его нераспространении, сейчас превышает число официальных обладателей ядерного оружия. Мир в результате деятельности МАГАТЭ не стал более стабильным.

* * *

Когда в декабре 1992 года на заседании правительства я отчаянно выступал против известного решения о возобновлении строительства АЭС, В. С. Черномырдин спросил меня: «Вы в принципе против развития ядерной энергетики?» «Нет, — ответил я. — Но только при условии обеспечения приемлемого уровня экологической безопасности».

С тех пор прошло два года. Все сказанное выше, как и целый ряд других фактов, свидетельствует: развитие ядерных программ делает мир все более взрывоопасным. Настало время, когда общество должно еще раз, как в 1956 — 1957 годах, проанализировать свое отношение к ядерным проблемам и, я уверен, пересмотреть многие ранее принятые решения.

Сегодня все такие решения должны основываться на приемлемом уровне экологической безопасности, на приоритете общечеловеческих и общенациональных интересов над ведомственными. Отказ от ядерной мифологии, открытое и честное обсуждение с «неспециалистами» и общественностью проблем, генерированных атомной промышленностью, — вот единственный путь.

Ну а нам, «населению», необходимо быть активными сегодня, чтобы завтра не стать радиоактивными.

Д. ШТУРМАН

*

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

По страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»

В настоящем материале, предлагаемом вниманию читателей «Нового мира», я продолжу свои размышления о знаменательной мировоззренческой трилогии. Начином ее были «Вехи» (см. мою статью «В поисках универсального сознания. Перечитывая „Вехи“» — 1994, № 4), второй книгой — сборник «Из глубины», третьей — сборник «Из-под глыб». Финал ее пока (июнь 1994) остается открытым...

Д. Ш.

«...воззвах к Тебе, Господи!»

Сборник «Из глубины» именуется по своему эпиграфу и названию статьи С. Л. Франка — «De profundis». Эпиграф звучит так:

«Из глубины воззвах к Тебе, Господи!
De profundis clamavi al te, Domine!

Пс. СХХІХ».

Сборник составлен и сверстан в 1918 году, но тогда остановлен в печатании большевистской цензурой. В 1921-м самовольно издан рабочими типографии, но в основном конфискован. Недаром «несознательные» печатники так раздражали Ленина (см. его статью «Как организовать соревнование»¹). И наконец, уже совсем утратив, казалось бы, свою актуальность для России (разве что как исторический документ), сборник был опубликован издательством YMCA-PRESS в Париже в 1967 году. Его подзаголовок — «Сборник статей о русской революции» («Вехи» имели подзаголовок «Сборник статей о русской интеллигенции»). Однако пролетело еще восемнадцать — двадцать лет, и сборник «Из глубины» опять зазвучал вполне актуально, повышая свою злободневность с каждым годом.

Очередным (после огромного перерыва со времени издания «Вех» и через шесть лет после парижского переиздания «Из глубины») стал сборник статей «Из-под глыб», появившийся в русском самиздате в 1974 году и затем опубликованный на Западе. В этом сборнике прозвучал голос Солженицына, придавший ему значительность, уравновесившую голоса знаменитых предшественников.

В двух сборниках, продолжающих традицию «Вех», явно или подспудно заявило о себе большинство нынешних проблем. Поэтому имеет смысл на них оглянуться.

* * *

Тематика сборников «Вехи» и «Из глубины» определяется Н. Полторацким в предисловии к парижскому изданию 1967 года как «Интеллигенция, революция и Россия».

¹ В прошлом году сборники «Из глубины» и «Из-под глыб» рассматривались в опубликованном на страницах нашего журнала (в № 8) эссе Модеста Колерова «Самоанализ интеллигенции как политическая философия». (Прим. ред.)

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 195 — 205.

Сегодня, когда революция завершается распадом гигантского «красного колеса» и неизвестно еще, чем, как и когда завершится его судорожная агония, это определение можно оставить в силе. С той, однако же, оговоркой, что Россия успела побывать в СССР и что от нее отпали большие и малые густонаселенные страны, которые мыслились тогда как ее части. Процесс этот не закончен, и я не берусь предугадывать, чем и когда он завершится.

Автор предисловия к парижскому, 1967 года, изданию «Из глубины» Н. Полторацкий, связывая единством направления сборники «Проблемы идеализма», «Вехи» и «Из глубины», определяет их мировоззренческую основу

«как такое идейное течение, характерными особенностями которого являются отрицание атеизма, материализма, социализма, интернационализма, революционизма и политической диктатуры (вплоть до тоталитаризма), предельным выражением коих является большевизм-коммунизм, — и утверждение начал религии, идеализма, либерализма, патриотизма, традиционализма и народоправства»².

П. Б. Струве облегчает исследователям их задачи, четко формулируя в лаконичном предисловии, подписанном инициалами, выводы авторов сборника:

«...всем авторам одинаково присуще и дорого убеждение, что положительные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания и что разрыв этой коренной связи есть несчастье и преступление. Как такой разрыв они ощущают то ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение, которое постигло наш народ и наше государство».

Этот тезис безусловно связывает «Из глубины» с «Вехами», хотя и не все авторы первого сборника участвуют во втором и не все авторы второго участвовали в первом.

Приведенные выше два коротких отрывка содержат в себе существенные противоречия. Они неотвратимо порождают вопросы, занимающие намного больше места, чем их основополагающие постулаты. Выделим последние:

1) утверждение начал религии, идеализма, либерализма, патриотизма, традиционализма и народоправства;

2) положительные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания, и... «разрыв этой связи есть несчастье и преступление».

Российская империя — многонациональное, многоверное, многоконфессиональное государство. Как в связи с этим неустранимым фактом трактовать два только что процитированных суждения?

Большевики полагали, что снимают этот вопрос тем, что религию они практически ставят вне закона. Они ее отменяют в принципе, всякую. А как же относятся к этому разнообразию авторы «Из глубины»? Просто не принимают его в расчет?

Традиционность (у каждого из бесчисленных народов Российской империи свою) коммунисты попытались подменить бессодержательной формулой новой культуры, «национальной по форме, социалистической по содержанию». Противоречие разрешалось лишь на словах, но им удалось воспитать вне религии три поколения и подчинить себе легализованные остатки недоубитых церквей всех вероисповеданий. Мы видим сегодня, к чему это привело. Моральный фундамент существования доброй сотни народов был разрушен. Нового — не возникло.

Православные интеллигенты, говоря о России (но подразумевая всю империю), опираются на понятия лишь своей конфессии. Они игнорируют не только мусульманство, буддизм и язычество, не говоря уж об иудейском кагале³, но и католицизм, и протестантские ветви христианства. Получается, что эта изоцированно культурная группа интеллигентов посредством умолчания так же игнорирует иноверцев, как атеисты-большевики (тоже в истоках интеллигенты) — всех верующих. Впрочем, большевики верующих не игнорируют: огнем, железом и словом они их перековывают на свой лад или уничтожают. В противоположность большевикам

² Все цитаты из статей сборника «Из глубины» даются по изданию: «Вехи. Из глубины». М. 1991.

³ Кагал (на иврите) — общественность, публика, община.

авторы обоих сборников видятся себе в основном либералами. Но когда они говорят о вере как о фундаментальном начале государственной и общественной жизни, они не подчеркивают свободы **иметь веру и категорической несвободы посягать на чужую веру**. Они попросту (как и большевики) не принимают в расчет ничьей веры, кроме своей. В этом «родимом пятне» общеинтеллигентского утопизма заключен почти незаметный глазу зародыш того порядка, который подводит при последовательном своем развитии под права личности идеологическое ли, мировоззренческое ли, вероисповедное ли, но некое неравноправное обоснование. Вероисповедание грозит превратиться в правообразующий фактор. Большевик (интеллигент-атеист) перечеркивает все веры, кроме атеизма. Условно говоря, веховец забывает обо всех верах, кроме православия. Между тем четкое, ясное и воспроизводимое демократическое право оставляет за человеком свободу выбора веры (включая неверие). Оно лишает и личность, и группу (сколь угодно большую), и государство права силой навязывать свою веру другим.

В 1918 году катаклизм, разрушивший Российскую империю, воспринимается как явление исторически уникальное. Странно, что предисловия к переизданию 1967 года не отмечают этой естественной для 1918 года ошибки. Между тем Ленин был прав, называя русскую революцию «прорывом слабого звена». Разумеется, не в «цепи мирового империализма», как заканчивал свое определение он, а в цепи роковых побед утопии над бытием.

Но обратимся непосредственно к сборнику «Из глубины».

* * *

Первый по порядку печатания автор «Из глубины» С. А. Аскольдов (Алексеев), подобно большинству своих коллег по сборнику, воспринимает русскую революцию как трагедию исключительно религиозную. История всех революций, имеющих корни в интернациональном или националистическом социализме, в определенном смысле оправдывает этот подход. Нечто превышающее наш разум сообщило миру определенный порядок. Сломать его, как сучок о колено, и заменить новым невозможно. Может быть, самый грозный и сложный вопрос истории — определение границ, на которые вправе посягать разум и своеволие человека. Превышение человеком в его намерениях и действиях своей способности (возможности, права) изменять мир сыграло решающую роль в цепи трагедий, одна из которых развернулась в XX веке в России.

«Величайшей и роковой ошибкой русского либерального движения было отсутствие ясного сознания о своих реальных силах», — говорит С. Аскольдов. И хотя он вкладывает в эти слова свой смысл (русские либералы не захотели и не сумели опереться на святое начало в «свято-зверином» составе русской народной души), слова его выражают истину. Можно спорить с Аскольдовым о многом: о синонимах его начал; о русском ли только или о российском (имперском, а затем советском) человеке; о «зверином» (или как-то иначе определяемом) темном, стадном инстинкте любой (не только русской или российской) души. Но то, что к энергическим, деятельным, светлым началам человеческой души и народных множеств российские либералы-интеллигенты доступа так и не обрели, они доказали на протяжении XX века блистательно.

Я не буду анализировать концепции Аскольдова в целом. В отдельных своих наблюдениях он прозорлив; другие представляются надуманными или натянутыми. Но подчеркну еще раз симметричность большинства интеллигентских мировоззрений. У Аскольдова центральная фигура отечественной истории — некий обобщенный «Свято-Зверь Народ». У большевиков такая же центральная фигура современной истории — обобщенный и мифологизированный пролетариат. У Аскольдова православие должно стать духовной и этической основой бытия разнородного множества объединенных исторически и государственно народов и личностей. У большевиков «идеология мирового пролетариата» (в 1918 году 3 — 5 процентов населения вчерашней империи) должна стать мировоззрением («не догмой, а руководством к действию») всех сословий, классов, слоев, «прослоек», которым позволят остаться жить. И там и тут обществу навязывается некий умозрительный, внешний универсальный «конструкт».

Аскольдов говорит, что большевики соблазнили народ, разбудив в нем звериное начало, а Временное правительство бездарно этому попустительствовало. Но большевики меньше всего пропагандировали в 1917 году основы марксизма. В

силу нескольких издалека идущих причин в 1917 году большевики получили (и не упустили) возможность опереться на истинные народные настроения.

Да, Временное правительство бездарнейшим образом предоставило большевикам возможность соблазнить народ. Но чем? Призраками, конечно, но призраками чего? Мира, а не войны. Большевики очень громко, настойчиво, всепроникающе, самыми простыми словами твердили о немедленном мире, о немедленной передаче земли народу, о немедленном удовлетворении насущных нужд бедняков — вплоть до «ежедневной бутылки молока каждому пролетарскому ребенку» (Ленин). Временное правительство бормотало на чуждом народу газетном и юридическом наречии о беспощадном и безжалостном пролитии крови, своей и чужой, во имя не нужной, непонятной народу победы; во имя борьбы за не нужные народу проливы, веками он их не знал и не знал бы. И это — из верности каким-то заморским союзникам... Не зверя будила первичная (до ноября 1917 года) большевистская пропаганда, и не «святому» была адресована декламация «временных». Большевики обращались к самому что ни на есть обыкновенному человеку, измученному войной, разлукой с семьей и бедами близких. А «временные» совали ими же нарисованному народному образу свои призывы в никуда, в белый свет. В реальной народной (солдатской в том числе) массе их никто не слышал, а если и слышал, то раздражался и стервенел. Народ (живой, а не символический, воображаемый) вообще жила не в той реальности, которую умозрительно конструировали Временное правительство и либеральная интеллигенция. И в этом смысле статья Аскольдова являет собой образец такого же точно интеллигентского пустословия, что и речи «временных». Народ не понял бы в ней ни одного слова. А поняв (если растолковали бы), покрутил бы у виска пальцем: что это еще за «свято-зверь»? мира хочу, домой хочу, земли, достатка, покоя. А если путь к ним идет через разорение барских гнезд и дворцов — что ж поделаешь? Хватит, побарствовали. «Грабь награбленное» — очень понятные слова и к месту сказаны, повторены и втолкованы.

Религиозная фразеология интеллигентного автора лишь увеличивает до астрономических величин его отстояние от народной массы, тоже религиозной, но совсем иначе. К тому же он честен: всю свою возвышенную риторику он выносит на суд читателя, не упрощая, оставаясь доступным лишь тому, кто равен ему по развитию.

Образованец-большевик демагогичен. Ему важно не что сказать, а зачем и кому сказать. Он ни на минуту не забывает об уровне и круге понятий своего адресата. Если он говорит для масс, то говорит на их языке и обещает им насущно необходимое. А для завоевания или защиты насущно необходимого нетрудно разбудить в толпе зверя. Он, кстати, дремлет в той или иной мере почти в каждом, но подавляется разными людьми в разной степени. Ведь природа человека действительно двойственна: и биологична и духовна. Люди часто идут на соблазнительную приманку (вовсе, кстати, в данном конкретном случае не изуверскую, а положенную «по справедливости»), а ловушка тем временем захлопывается.

Нельзя забывать, что в 1918 году большая российская революция наблюдается и осмысливается впервые. И потому беззастенчивая демагогия своего же брата, образованного российского человека, ужасает его интеллигентных оппонентов. Но сведение социализма только к богоборчеству лишает антагонистов большевизма реальной почвы. Простонародье слышит, что большевики обещают хорошую, справедливую жизнь. Веховцы объясняют (преимущественно друг другу), что это уловка Антихриста, растолковывают (опять же преимущественно на языке друг друга), почему хорошей жизни не получится, а выйдет ад крошечный. Врут, сволочи, говорит большевик рабочему, крестьянину и солдату, потому что сытые и богатые. Дрожат за свое добро. Отнимай — и точка. И это доступно и понятно каждому. И контрдоводов вроде бы нет. Хотя по существу они есть. Но как философу и богослову опуститься до поисков такой же простой, массовой и подвигающей на немедленное сопротивление контрформулы? И существует ли она вообще, эта доступность? Правда совсем не проста: она сложна по определению. Упрощать ее не искажая — редкое и величайшее искусство. А не упрощая преподносить массам — бессмысленно: не вкусят.

Кстати, первобольшевики в значительной части своей верили, что — упрощая — не лгут, что все обещанное исполнится. Они только откладывали его на потом, на после победы. И более того: христианство было настолько искажено церковностью и сословностью, что большевикам легче легкого было отождествлять справедливость с атеизмом. Золотые облачения и великолепие церквей им очень в

том помогли. Но главное заключалось в том, что богословские размышления были не ко времени в уже начавшейся и побеждающей революции. Гремучая смесь (замедление реформ после убийства Столыпина — война — февраль) уже взорвала мирную жизнь.

Как всегда, труднее всего оказывается прогноз. И в этой своей части первая же статья сборника «Из глубины» должна вызвать на устах дьявола сардоническую усмешку.

«Мы не беремся судить, к чему фактически приведет социализм в смысле ухудшения или улучшения общего материального благосостояния. Мы готовы лишь утверждать, что социализм, понимаемый в смысле социальной справедливости, имеет полное основание рассматриваться и с гуманистической, и даже с религиозной точки зрения имеющим на себе некоторое историческое благословение. Это есть явление прогрессивное, имеющее впереди некоторое, по существу, оправдываемое торжество: нечто из его замыслов должно воплотиться в жизнь, ибо без этого воплощения эволюция человеческой природы была бы неполна и незаконченна».

Единицы в ту пору понимали отчетливо, что в массовом варианте пропаганды немедленное улучшение и выравнивание условий жизни есть не побочная, а центральная мотивация социализма и что именно этой своей основной задачи социализм выполнить никогда не сможет. Не захочет, а не сможет, не способен изначально и принципиально.

Богоборчество не есть основной мотив социализма, имеющего и атеистические и религиозные ветви. Но оно возникает в социализме чаще и естественней, чем вера: мир несправедлив, и, значит, Бог либо зол (плохо устроил мир), либо отсутствует. И либо Ему бросается вызов («перестройка» творения), либо Он отрицается (так проще и понятней. не к кому, кроме себя, апеллировать).

Аскольдов, возможно, и пророчески в глубинном смысле. Я не берусь об этом судить, как не берусь судить и о том, какая из религиозных интерпретаций Творца и творения ближе к истине. Но объяснение неспособности социализма решить поставленные им перед собой задачи не требовало такого глубокомыслия. Эта задача была (с XVIII века!) теоретически решимой и решенной на прикладном (математическом) уровне. Но довести это решение до большинства умов и — особенно! — сердце оказывается по сей день невозможным.

* * *

Н. Бердяев эпиграфом к своей знаменитой статье «Духи русской революции» взял слова Пушкина:

Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

В потоках метафизических парадоксов и блестящих домыслов, которыми искрятся статьи Бердяева, останавливает современного читателя поразительно меткая фраза:

«...нет народа, в котором соединялись бы столь разные возрасты, который так совмещал бы XX век с XIV веком, как русский народ. И эта разновозрастность есть источник нездоровья и помеха для цельности нашей национальной жизни».

Очень нечасто мыслителю дано угадать, что из его предположений есть прозрение. Нередко главному суждено прозвучать среди высказываний, в глазах автора второстепенных.

Можно поистине позавидовать безмятежности, позволяющей русскому мыслителю в 1918 (!) году рассуждать и размышлять о проблемах творческих, психологических, эстетических, мистических и — в весьма своеобразной интерпретации — религиозных, совершенно забывая о необходимости сопротивления. Но случайная оговорка в потоке блестящих и чуть-чуть, самую малость, кокетливых mots (фраза — и очерчен Толстой, страница — и анатомирован Гоголь, а уж насколько основательно — за блеском сразу не разглядеть) охватывает роковое

для России обстоятельство. Неожиданно вскрывается суть дела. Речь идет об очень молодой стране. Она на сотни лет моложе одних, на тысячи — других соседствующих с ней географических стран. Да еще расположена на пограничье между двумя мирами — Европой и Азией. На заре государственности она погасила в своих просторах нашествие кочевой Азии на Европу, унаследовавшую духовный опыт всего Средиземноморья и Ближнего Востока. Нашествие это замедлило естественное развитие юных государственных образований и осложнило их будущее. И вместе с тем по ряду причин, много раз обсужденных и все еще обсуждаемых, в этой молодой евразийской державе сложился примерно к началу XIX столетия вполне западноевропейский образованный слой, сперва аристократический, затем разночинский. К середине XIX столетия возникла неповторимая русская интеллигенция «с душою прямо геттингенской». Западные источники ширятся и меняются, их спектр растет. Но ведь культуры как нравственно-духовно-психологическое целое не перевозятся и не переносятся. Они вырастают из своего корня, впитывая в себя при этом и чужие влияния, принимая и чужие прививки. Русская интеллигенция заимствует на Западе мысли, теории, идеологии, философские системы, политические образцы и программы — весь свой профессиональный материал и инструментарий. А ее отечество (народ и власть) продолжает жить в своем хронотопе и своей жизнью. «Третье сословие», как низовое, массовое, так и просвещенное, быстро строилось и разрасталось. Эволюционная стабильность России была у порога. Затяжная война и чудовищные ее трудности, как того и опасался Столыпин (и жаждал Ленин), сорвали сложный процесс обретения эволюционной устойчивости. Естественно, что измученному солдату и его тыловой семье легче всего было понять не какие бы то ни было концепции государственного и — тем более — духовного строительства, а простейшие лозунги, выражавшие все, чего он безотлагательно жаждал. Повторим: не зверством и мерзостями народ прельстился, а миром, землей и волей. Домом, работой, достатком вместо крови и грязи. И той же прогрессивной интеллигенции ленинцы обещали, что репрессии против немногочисленных идиотов, не желающих всеобщего блага, будут количественно ничтожными и кратковременными. Осильте «Красное Колесо» А. Солженицына и еще две-три книги, просмотрите большевистские, эсеровские, анархистские листки тех лет — и вы в этом убедитесь.

А то, что в гражданской войне проснулся зверь? Так в какой же просвещеннейшей и христианнейшей стране он в таких обстоятельствах не просыпался? Насколько я могу судить, ни один из христианских и нехристианских народов не проявил на протяжении своей истории в этом смысле полного иммунитета. Большевики въехали в историю на пропаганде немедленного прекращения смертоубийства. Все то, чем это обернулось, было скрыто завесой миротворческой и уравнительной демагогии. И далеко не только от глаз малограмотного крестьянина, рабочего и солдата.

Авторы «Из глубины» удивляют современного читателя тем, что ужас охватил их (и объяснения потребовались), когда зверство расширило линию фронта и вошло в каждый дом. Пока просвещенный тыл ел, пил, музицировал, эстетствовал и философствовал, он только более или менее глубоко играл в мазохистские констатации, в кокетливые и некокетливые предчувствия апокалипсиса. Зато обитатели солдатских окопов уже извивались в его когтях. И тут им предложили мир, землю и волю.

Бердяев цитирует Достоевского, монолог Ивана Карамазова в споре с Алешей

«В окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». „Для чего признавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к Боженьке” „От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке... Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее что вся истина не стоит такой цены...”».

Этот крик: «Я не хочу, чтобы страдали больше» (выделено мною. — Д. Ш.), а не пробуждение зверя есть тот архимедов рычаг, который помог большевикам перевернуть мир. Но народная масса переосмыслила эти слова.

«Я не хочу страдать больше» — вот что звучало во множестве душ. «Ты не будешь страдать больше!» — вот что твердили им на все лады левые радикалы. Идеалист Иван Карамазов самоуничтожается в споре с Богом. Большевики боролись за овладение массовым настроением в решающий и подходящий момент. И выиграла. Далее у Бердяева сказано:

«Иван Карамазов — мыслитель, метафизик и психолог, и он дает углубленное философское обоснование смутным переживаниям неисчислимого количества русских мальчиков, русских нигилистов и атеистов, социалистов и анархистов. В основе вопроса Ивана Карамазова лежит какая-то ложная русская чувствительность и сентиментальность, ложное сострадание к человеку, доведенное до ненависти к Богу и божественному смыслу мировой жизни. Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский делает историю Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святости, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он же ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях. В нигилистическом морализме русского человека нет нравственного закала характера, нет нравственной суровости перед лицом ужасов жизни, нет жертвостребности и отречения от произвола. Русский нигилист-моралист думает, что он любит человека и страдает человеку более, чем Бог, что он исправит замысел Божий о человеке и мире. Невероятная притязательность характерна для этого душевного типа. Из истории, которую русские мальчики делали Богу по поводу слезинки ребенка и слез народа, из их возвышенных разговоров по трагикам родилась идеология русской революции. В ее основе лежит атеизм и неверие в бессмертие. Неверие в бессмертие порождает ложную чувствительность и сострадателность. Бесконечные декламации о страданиях народа, о зле государства и культуры, основанных на этих страданиях, вытекали из этого богоборческого источника. Само желание облегчить страдание народа было праведно, и в нем мог обнаружиться дух христианской любви. Это и ввело многих в заблуждение. Не заметили смешения и подмены, положенных в основу русской революционной морали, антихристовых соблазнов этой революционной морали русской интеллигенции. Заметил это Достоевский, он вскрыл духовную подпочву нигилизма, заботящегося о благе людей, и предсказал, к чему приведет торжество этого духа. Достоевский понял, что великий вопрос об индивидуальной судьбе каждого человека совершенно иначе решается в свете сознания религиозного, чем в тьме сознания революционного, претендующего быть лжерелигией».

Но почему «ложная сентиментальная чувствительность» и «ложное сострадание к человеку»? Очень даже не ложные и весьма убедительные. И когда Бердяев говорит далее, что русский интеллигент имеет претензию «исправить замысел Бога» и что «неверие в бессмертие порождает ложную чувствительность», во мне все восстает против определения этой чувствительности как ложной. Боль за умученного ребенка не может быть ложной. И вера в Бога не объясняет, почему одни войдут в Царство Божие, не пережив того, что вынес этот ребенок, а ему суждено это вынести. И как бы ни был прав Бердяев в своем дальнейшем рассуждении, обозначение этой законнейшей и естественнейшей муки как ложной отгалкивает своей человеческой черствостью.

Мы оставим в стороне тонкий бердяевский анализ миропонимания Достоевского и вычленим из него только часть того, что наиболее тесно связано с русской революцией:

«Достоевский отлично понимал, что в революционном социализме действует дух Великого Инквизитора. Революционный социализм не есть экономическое и политическое учение, не есть система социальных реформ, — он претендует быть религией, он есть вера противоположная вере христианской».

Религия социализма вслед за Великим Инквизитором принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне во имя свободы человеческого духа. Религия социализма принимает соблазн превращения камней в хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира. Религия социализма не есть религия свободных сынов Божьих, она отрекается от первородства человека, она есть религия рабов необходимости, детей праха. Религия социализма говорит словами Великого Инквизитора: «Все будут счастливы, все миллионы людей». «Мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. Мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны». «Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы». Религия социализма говорит религии Христа: «Ты гордишься твоими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех... У нас все будут счастливы... Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей». Религия социализма, подобно Великому Инквизитору, упрекает религию Христа в недостаточной любви к людям. Во имя любви к людям и сострадания к людям, во имя счастья и блаженства людей на земле эта религия отвергает свободную, богоподобную природу человека. Религия хлеба небесного — аристократическая религия, это религия избранных, религия «десятка тысяч великих и сильных». Религия же «остальных миллионов, многочисленных, как песок морской, слабых», есть религия хлеба земного. Эта религия написала на знамени своем: «накорми, тогда и спрашивай с них добродетели». Достоевский гениально прозрел духовные основы социалистического муравейника».

Но ведь действительно «накорми, тогда и спрашивай» — это религия «остальных миллионов, многочисленных, как песок морской, слабых», а не умудренных философов, никогда к тому же не голодавших. На земле, в жизни сей, а не потусторонней, большинством будет услышан ее призыв. Потому что не могут живые и обычные не думать о живом и обычном. Хлеб духовный дается не вместо телесного. Они расположены в различных измерениях бытия. Высокомерное отношение к хлебу насущному, которым грешит Бердяев, на руку силам, подобно Великому Инквизитору эксплуатирующим любую фразеологию в своих интересах. Подмена неотложных социальных, государственно-устроительных, хозяйственных, военных и т. п. задач вопросами сугубо духовными убийственна, если она обуславливает промедление в спасительном действии против зла. Разумеется, если не решено целиком положиться на провидение и практически бездействовать. Но не означает ли это — в определенных условиях — предоставить себя и посюсторонний мир в распоряжение зла?.. Умереть или подчиниться и служить ему?

Большинство людей не идут на верную гибель, если есть, как им в данный момент кажется, возможность выжить. И даже выиграть.

Надмирная высота полемики Бердяева с революционерами не перевесит «просто, как мычание», «мир, земля, воля!».

Российские интерпретаторы западных утопий, родившихся отнюдь не в XX веке, обречены, но только в эпилоге: у них нет будущего, как и у тех, кто за ними пойдет. Их цель — мираж, за которым обрыв, пропасть. Но это в будущем. И зачастую весьма отдаленном. По части же зачина, начала они реалисты: они знают, на какие клавиши нажимать, чтобы, подобно Крысолову из Гаммельна, повести за собой и крыс и детей. А живущий рядом с ними религиозный метафизик, может быть, и провидец, но он строит свои величественные модели во взрывающемся котле с поразительным равнодушием к его обитателям. Если эту ледяную черствость рождает вера в жизнь потустороннюю, то я теряю уважение к его вере. Я думаю, что на веру можно уповать, лишь совершив все посильное здесь.

Итак, одни готовы взять народ за шиворот и посредством любого соблазна, любой провокации, демагогии, лжи и крови пересбросить его в счастливое будущее утопии. Другие, наблюдая этот маневр, умствуют и рассуждают о том, каковы свойства народа, позволяющие ему обмануться. Более того: кое-кому из них представляется, что нет упомянутых нами первых, что народ действует самовольно, соединяя в себе святого и зверя. Правительственных государственных реформаторов они в упор не видят или же были и остаются к ним безразличны. Семеро повешенных и Богов вызывают у образованного общества больше сочувствия, чем их жертвы.

В том, что голодные толпы «малых сил» будут Великим Инквизитором насыщены, Бердяев не сомневается. Точнее — он не касается этого вульгарного сюжета. Как горьковский Сатин («На дне»), он «выше сытости». «На дне» блестяще воспроизводит рассмотренные сквозь линзу придонных вод затонувшие типовые фигуры образованного слоя (не знаю, видел ли это Горький и тем более — его зрители). Но рядовой человек «выше сытости» преимущественно тогда, когда он сыт. Основная же масса человечества не может позволить себе быть «выше сытости», если заведомо не согласится на исключительно потустороннее разрешение ото всех печалей. Но ведь самоубийство — смертный грех?

А сказать (для начала себе и своим интеллигентным читателям, а потом — на доступнейшем языке — и «малым сим»), что социализм их не накормит, и объяснить почему, в этой высокодуховной среде некому. Только-только перестав быть марксистами, они реактивно откочнулись от презренной прозы жизни. Им представляется, что в христианство, а на самом деле — в философические эмпирии. Ну, пусть социализм и накормит, и оденет, и обогреет, да ведь это низменно, утилитарно, бездуховно — вот их лейтмотив.

«Проблема о том, все ли дозволено для торжества блага человечества, стояла уже перед Раскольниковым».

Да, это, разумеется, проблема. Даже более того: проблема проблем. Но ведь уже столь многие объяснили, что и блага-то человечество в социализме не обретет! Самого примитивного — блага сытости, тепла и посильной работы, не говоря уж о благе мира. Но этих не слушали, не слышали. Не только народ, но и «братья по разуму».

Большое, с выразительнейшими отрывками из Достоевского размышление Бердяева представляется написанным в таком философическом отрешении, на таком философическом досуге, словно оно опубликовано по меньшей мере в «Вехах», а не доносится «из глубины» кровавого 1918 года. Такое размышление не более понятно массе, идущей в данный миг за большевиками, чем латынь. Здесь нет ни одного слова из ее обиходного языка. Это, конечно же, не предопределяет соотношения правды и лжи в этих словах, но делает их заведомо и предопределенно беспомощными перед «безбожным социализмом» и «явлением антихристовой любви», которая говорит понятно о вещах первоосновных: мир, хлеб, земля, достаток — жизнь.

Бердяева как мыслителя религиозного (правда, с весьма своеобразной концепцией) наполняет негодованием (я бы даже сказала, что несколько презрительным негодованием) предпочтение брэнного и тленного (сытости, земного благополучия и мира) ценностям нетленным и вечным. Согласимся, что духовные ценности религиозного философа выше голодных слез ребенка. Но, во-первых, недостаточно все же мала доля людей, которым легко внушить эту возвышенно-бесчеловечную мысль. А во-вторых, социализм не несет ни мира, ни сытости, ибо факторы, коренящиеся в тривиальных математических законах (а не только в религиозной метафизике), делают его утопией.

Но беда в том, что для Бердяева это неочевидно. Для него социализм — это низкое, смертное, брэнное, преходящее земное счастье (в отличие от вечного неземного). Для него такое счастье — это не счастье, это катастрофа, еще одна потеря, утрата неба и обретение смертности. Что ж, правомерен и такой аспект. Но социализм «не тянет» на такой уровень полемики. Он может соблазнить миражем благополучия, но дать благополучие (земное, брэнное, тленное, относительное, но благополучие) он по ряду своих структурных особенностей не в состоянии в принципе. Чего Бердяев не видит. И Ленин в 1918 году еще не видит (и в 1923-м вряд ли увидел). Но Ленин видит, что не святой, не зверь, а усталый, измученный войной, стоящий перед угрозой голода человек будет поднять словами «мир, земля, достаток» («грабь награбленную!») на все что угодно. И ему, Ленину, лишь бы начать и победить. А там он надеется подыскать ключ к задаче.

Итак, большевики говорят понятные, желанные, заветные, человеческие слова в нужном месте, в решающий миг. И поднимают народный вал. А русский интеллигент (вчерашний начетчик Маркса, сегодняшний толкователь Евангелия) выписывает мудреные философемы. Кто же пойдет за ним? И куда? Меня как читателя не покидает неприятное ощущение владеющего Бердяевым в разговорах о самых страшных, самых трагических вещах самолюбования. Удовлетворение остротой

собственной мысли в нем сильней чувства надвигающегося и уже надвинувшегося на Россию ужаса.

Большинство статей «Вех» оставляло впечатление, что перед Россией, перед авторами сборника простираются долгие годы мирной духовной работы. Никто не знает, чем обернется следующий миг, но в 1909 году такое чувство было естественным. Многие еще можно и должно было (бы) сделать, чтобы (если бы) обстоятельства сложились иначе, чем они сложились. Но в 1918 году такая абстрактность размышлений, такая внесобытийность мыслителя представляется уже не угрожающей, а роковой.

Мысли Бердяева о том, что в апокалиптической перспективе Россия будет спасена ее провидческим меньшинством, я не берусь обсуждать. Но отчетливо проступает другое: то ли возвышенное, то ли бесчувственное игнорирование своей личной роли в попытке остановить вал крови и тьмы, катящийся на Россию. А до высылки Бердяева в составе знаменитого интеллектуального этапа за границу остается еще три с лишним года.

* * *

Далее следует пять эссе С. Булгакова под общим названием «На пиру богов», «Pro и contra», «Современные диалоги». Эпиграфом ко всем пяти диалогам служат знаменитые строки Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил.

Эти восемь строк поражают тем же надмирным бесстрашием, которое так потрясает в Бердяеве. Как высоко надо стоять над миром, чтобы ощущать как блаженство, как пир небожителей, как «высокое зрелище» «его минуты роковые» с их кровью и грязью? Виден ли мир с такого расстояния вообще?

Всегда, когда я читаю или слышу эти строки, я вспоминаю Надежду Мандельштам. Ее преследовала мысль о бирке на ноге мертвеца, брошенного в лагерную яму. И она отказывалась признавать какой бы то ни было романтизм за «мрачными безднами» XX века. Я не готова на цветаевское: «На твой безумный мир один ответ — отказ». Но мне страшно. И «наслаждения в бою» я не испытываю.

Сборник «Из глубины» не исследование, не воспоминания, то есть не реставрация прошлого — это кусок прошлого. Диалоги «на пиру богов» зафиксированы, а не сочинены. Что же мы в них слышим?

Собеседники: Дипломат, Общественный деятель, Писатель, Беженец, Генерал, Светский богослов. Диалогов пять плюс заключение. Генерал появляется во втором диалоге, Светский богослов — в третьем. Время записи апрель — май 1918 года.

Диалог первый открывают скептический Дипломат и прошедший, по-видимому, сквозь все оболыщения и миражи сначала военно-патриотического порыва, затем «бескровной», «святой» и так далее Февральской революции Общественный деятель, ныне растерянный и сотрясенный. Чуть позднее к ним присоединяется славянофил Писатель, полагающий трагедию России в том, что из двух равно вероятных дорог она избрала худшую. Вот его резюме:

«Произошло то, что Россия изменила своему призванию, стала его недостойна, а потому пала, и падение ее было велико, как велико было и призвание. Происходящее ныне есть как бы негатив русского позитива: вместо вселенского соборного всечеловечества — пролетарский интернационал и «федеративная» республика. Россия изменила себе самой, но не могла и не изменить. Великие задачи в жизни как отдельных людей, так и целых народов вверяются их свободе. Благодать не насилует, но и Бог поругаем не бывает. Потому следует наперед допустить разные возможности и отклонения путей.

Этот вопрос, вы знаете, всегда интересовал С. В. Ковалевскую и с математической и с общечеловеческой стороны, и она излила свою душу в двойной драме: *как оно могло быть и как оно было*, с одними и теми же действующими лицами, но с разной судьбой. Вот такая же двойная драма ныне начертана перстом истории о России: теперь мы переживаем печальное «как оно было», а тогда могли и должны были думать о том, «как оно могло быть»...

Писателю возражает Дипломат, в реплике которого трудно не услышать отголоска жестокой правды:

«Вот в том-то и беда, что у нас сначала все измышляется фантастическая орбита, а затем исчисляются мнимые от нее отклонения. <...> Народ хочет землицы, а вы ему сулите Византию да крест на Софии. Он хочет к бабе на печку, а вы ему внушаете войну до победного конца.

...Нет, большевики честнее: они не сочиняют небылиц о народе. Они подходят к нему прямо с программой лесковского Шерамура: *жрать*. И народ идет за ними, потому что они обещают «жрать», а не крест на Софии».

Но почему же, господа, вы хотите кушать, а мужик обязательно «жрать»? Почему о его, мужика, естественнейшей тоске по семье, по земле, по миру говорится с такими высокомерными интонациями? Более того: и здесь, как и в статье Аскольдова, возникает роковая дихотомия, прозревающая в душе народа как некоего мистического целого две крайности: святое и звериное начала. И святое начало звало народ воевать за Царьград (за проливы), а зверское велит идти за большевиками (*любой ценой прекратить войну «раз навсегда»*):

«*Писатель*. Припомните начало войны: наши галицийские победы, дух войск, который и мы узнавали здесь по настроению раненых, общий подъем. Сделайте над собой усилие, отвлекитесь от подлого шерамурства исторической минуты и продолжите мысленно *тогда* намечавшуюся магистраль истории. Куда она ведет? Мы были уже накануне похода на Царьград, а ведь это целая историческая программа, культурный символ. Но нет большого горя, как в дни бедствий вспоминать о минувшем блаженстве... Будете ли вы отрицать, что народ имеет разные пути и возможности, как и душа народная имеет две бездны: сверху и внизу? Народ в высшем своем самосознании есть тело церкви, род святых, царственное священство, но в падении своем он есть та революционная чернь, которая, опившись какой-нибудь там демократической сивухи марки Ж.-Ж. Руссо или К. Маркса, таскается за красной тряпкой и горланит свое «вперед». И разве народ наш до этого революционного запоя не бывал христоролюбив и светел, жертвенен и прекрасен? Станете вы это отрицать? Нет, не станете.

Дипломат. Да, в известном смысле и не стану».

Можно переписать весь диалог, поражаясь тому, насколько далеки от реальности его участники и насколько проникли в нее (манипулируют ею) большевики. Мысли о действии или, точнее, о противодействии большевикам в диалоге просто не возникает (а на дворе середина 1918 года). Интонации у собеседников такие, словно их философское глубокомыслие имеет в запасе пусть черные, но годы.

Итак, мифический Свято-Зверь Народ, по мнению большинства участников диалога, мог стать орудием высокой миссии. Должен был по замыслу стать. Однако большевики сделали его орудием зла и сосудом мерзости. Но попытаемся после всего нами пережитого быть справедливыми. Большевизм 900 — 10-х годов руководствовался не любым стимулом власти ради власти. Ему требовалась власть для осуществления любой великой альтруистической цели. Однако утопический характер цели всегда превращает власть ради цели во власть ради власти. И тут уж это «любой ценой» реализуется во всей своей (боюсь, еще недоиспытанной человечеством) полноте.

Собеседники страшно упрощают ситуацию. А это значит, что они оказываются вне действительности. Народ(ы) России не «род святых», не «царственное священство», но и не сплошь «революционная чернь, опившаяся какой-то там демократической сивухи». И большевики делали первые шаги, апеллируя не только к «нижней бездне». Апелляция к ней действительно очень легко и быстро стала од-

ним из наиболее действенных инструментов развязывания темных сторон человеческой природы (отнюдь не только в простонародном ее варианте). И «верхнюю бездну» большевики постарались отрезать от человека (опять же отнюдь не только массового) всей своей мощью. Но зато они сосредоточили все свои посулы на **среднем (житейском, обыденном) горизонте**: достаток, мир, земля — здесь, сейчас. И, подчеркнем, свобода тоже. Но не сразу. Все это не сразу: с небольшой отсрочкой. Достаток надо отнять («не отдают»), завоевать («сопротивляются»), отстроить и т. п. С наибольшей отсрочкой — мир. А свобода — та и вовсе после всего. Но, во-первых, отсрочку объявили не заранее и не сразу. А во-вторых, ведь свобода подавляющему большинству людей нужна **после** мира, хлеба, крыши над головой, работы. А многим вообще — в наивысшем своем значении — **не нужна**.

Как уже было сказано, модели, которые строят философствующие интеллигенты, разворачиваются в **одной бытийной плоскости**, а большевики разворачивают свою деятельность в **другой**. Первые оперируют определенными духовно-интеллектуальными стереотипами, не имеющими каналов прямой и обратной связи к человеческим множествам (разве что к умам узкого круга собеседников и читателей). Вторые используют естественные эмоции масс, как силу воды, направляя поток на свои турбины. Массы и не заметят, как окажутся в их бетонных каналах и будут вращать их колеса.

Ведь даже собравшиеся на страницах булгаковских диалогов интеллигенты склонны считать революцию не столько кровавым потоком (он лишь начинался в 1918 году), сколько «очистительной грозой». Удивительно, до чего стары и бессмертны эти интеллигентские дискуссии в грохоте рушащегося мира:

«Писатель. Так что вы, очевидно, полагаете, что Европа, задыхавшаяся в капиталистическом варварстве, в напряжении милитаризма накануне войны, имела больше духовного здоровья, нежели теперь, когда очистительная гроза уже разразилась? Ведь ваша Европа тогда представляла собой скопидомскую мешанку которая настолько уже обогатилась, что стала позволять себе пожить и в свое удовольствие. Только вспомните одни курорты европейские, да и все это торгашество, мелкие достижения мелких людей, на которые разменяла себя Европа. Я сделаю вам личное признание: за последние пятнадцать лет я совершенно перестал ездить за границу, и именно из-за того, что там так хорошо жилось. Я боялся отравиться этим комфортом, от него можно веру потерять...

Европа накануне войны была духовно мертвеейшей страной, и лучше что угодно, нежели возвращение к status quo ante. Вообще ни к какой реставрации вкуса я не ощущаю, а уж тем более к духовной».

«Очистительная гроза», «духовно мертвеейшая» Европа, «лучше что угодно, нежели возвращение к status quo ante» — в России 1918 года!.. В речах Дипломата звучат порой трезвые ноты. Но Писатель со своей великодержавно-царьградской идеей сегодня воспринимается как предтеча евразийцев, младороссов и других (ангажированных известным ведомством) романтиков советского империализма в эмиграции. Вспомните восторженное принятие эмигрантскими совпатриотами 40-х годов (с Милюковым последних месяцев жизни в их числе) продвижения Сталина к сердцу Европы. Продвижения — с необозримым лагерным Архипелагом в тылу, о котором совпатриотическая эмиграция не хотела тогда ничего слышать. Многие вскоре пополнили его бараки и могильные рвы. Сегодня эта роковая идея снова застит глаза части россиян.

Но **никто** не проявляет в первом диалоге ни тени столыпинского провидения опасности любых международных конфликтов, прежде чем утвердится в России крепкое, свободное крестьянство и мощное «третье сословие». Напротив: даже и более трезвый, чем собеседники, Дипломат на буржуазной более всего и ополчается, а от социализма отмахивается, как от назойливой мухи:

«Да ведь и то сказать: разве же нет и глубокой правды в этом движении «народного гнева», как и в прежней пугачевщине? Я социализм считаю, конечно, недомыслием и ребяческим предрассудком, но когда я вспоминаю о той оргии наживы, которой охвачены были наши Минины и Пожарские перед революцией, иногда не могу воздержаться от злорадства. Так им и надо! Умели кататься, умеете и саночки возить! Им, конечно, всякое пробуждение

народных масс доставляет неудобства... Теперь народ все-таки получает справедливое удовлетворение за то, что нес тяжесть этой войны... А все-таки вот вам мораль войны: благодаря войне наступила не византийская, но большевистская эпоха в русской истории».

Знали бы вы, господа хорошие, тогда, чем обернется «большевистская эпоха в русской истории»! И ведь что характерно: трагический разворот российской истории, обусловленный переплетением великого множества сложнейших факторов, относится интеллигенцией на счет еще и не сложившейся буржуазии. То, что укоренение и упрочение сословия собственников, земельных, промышленных и торговых, взорвано «слева» и «справа», остановлено и сорвано войной, не воспринимается как роковая утрата. Напротив: пусть большевики всех этих гнавшихся за добычей «чумазных» потреплют за холку. Социализм, конечно, «ребяческое недомыслие» и «предрассудок», но толстосумов следует проучить: чересчур зарвались.

Диалог второй открывает реплика Генерала. Между ним и Дипломатом возникает спор, меняющий местами причины и следствия. Генерал убежден, что революция

«сгубила войну, а затем и Россию. Армия лишилась души, а война — своего смысла вследствие революции. Не знаю, какой уж — немецкий или масонский — заговор здесь был, чтобы свалить Россию, но революция, да еще во время войны, явилась настоящим самоубийством для русской государственности».

По убеждению Дипломата, война породила революцию. И это хорошо:

«Низвержение старого строя есть единственное из достижений войны, которое я приемлю безусловно и без всякого ограничения. Ветхий трон разлетелся в тысячу щеп. И хотя я знаю, что из этой тысячи образовалась тысяча тысяч доходных курульных кресел для разных помпадуров от социализма да земских начальников от революции, но это все пройдет, а к прошлому все-таки возврата не будет. И день 2 марта 1917 года навсегда для меня останется светлой датой».

Только из нынешнего далека можно судить о степени того поистине хлестковского легкомыслия, с которым собирательный Дипломат относится к революции, к ее «помпадурам» и «земским начальникам». Никто из собеседников: ни те, кто продолжает поклоняться «бескровной Февральской», ни тот, кто, подобно Генералу, трагически чувствует апокалиптичность крушения империи, не слишком разбираясь в его истоках, — не приближается к предощущению (или предпониманию) того строя жизни, который уже стоит на пороге их дома. Примечательно, что к понятию «социализм» все они, даже прогрессист Дипломат, относятся негативно, однако с достаточной долей недомыслия. Если же, как в суждениях Светского богослова, предвосхищен отчасти его, этого общественного устройства, роковой характер, то опять же в апокалиптическом, высоком смысле. Между тем для вынесения приговора этому строю достаточно было доказательств менее возвышенных, но более точных. Поспешу заметить, что свобода слова конца 80-х — начала 90-х годов тоже не поспешила распространить в толщах народных эти доказательства. Немногие исключения погоды не сделали.

Собеседники 1918 года «слева» спорят о политических ошибках разных партий, «справа» — проклинают легкомысленные посягательства на священные устои. Естественно и даже неизбежно, что перед современниками трагических событий не возникает картины рокового переплетения многих причин, которая только сейчас начинает вырисовываться в многотомных исследованиях, читаемых сотнями из миллиардов.

Льется поток lamentаций. В нем мелькают и фантастические домыслы, и проницательные наблюдения. Но, повторим снова и снова, ни разу не прозвучало (равно антипатичное по противоположным причинам и «левым» и «правым») имя Столыпина, ни разу не повторены его предостерегающие, трезвые, прозорливые речи, произнесенные между двумя революциями. Убитый противоестественным «лево-правым» симбиозом (не прообраз ли нынешнего содружества «красно-коричневых?»), при полном равнодушии спасаемой им страны и династии, он остается не востребуемым.

Генерал, которому, казалось бы, никак не откажешь в патриотизме, говорит:

«Генерал. Русское войско держалось двумя силами: железной дисциплиной, без которой не может существовать никакая армия, да верой. Пока была власть, законная, авторитетная, была и основа дисциплины. Солдат знал, что он поставлен пред неизбежностью повиновения, и он с этой неизбежностью покорно, но мудро и кротко мирился. Вот почему он представлял столь первоклассный боевой материал, для него ничего не было невозможного. Но затем у него была вера, которая давала ему возможность воевать не за страх, а за совесть. Содержание же этой солдатской веры известно, оно в трех словах: за веру, царя и отечество. Но все эти три идеи нераздельно были для него связаны: вера православная, царь православный, земля тоже православная, а не какая-то *patrie* или *Vaterland*.

Общественный деятель. А сколько в армии было не русских и не православных?

Генерал. Сколько бы ни было, но ядро ее составляли русские, православные солдаты. А у других тоже есть своя вера, и не в «землю же и волю», а в Бога. Это и все. Никакого там личного начала, сознательной дисциплины, государственности у них нет и не было. Потому-то наши чудо-молодцы с подорванной верой так стремительно переродились в большевиков, и армии не стало. Для всех сделалось ясно, что армия есть тоже духовный организм, и русская военная мощь, как и русская государственность, связана с своей энтелехийной формой и основана на вере, а не на воле народной и разных там измышлениях. Вне этой формы нет и России. Развалилась, рассыпалась! Но и все-таки скажу: пусть подпадет лучше временно под иноземное иго, которое ее воспитает, нежели гниет от благополучия при кадетской власти, с европейским парламентаризмом».

Можно было бы задать ему вопрос (ведь немало генералов оказалось к началу 20-х годов в эмиграции) — что же это за вера такая, которая оборачивается за несколько месяцев «ревом племени»: «За землю, за волю, за лучшую долю»? И прежде всего — «за мир» (который, вполне по Оруэллу, означает «война»)? Но сейчас, по прошествии неполных восьми десятков лет, потрясает другое. Реальная и близкая альтернатива для Генерала, как и для большинства остальных собеседников, — иноземное иго или демократия (по Генералу — гнилая, для либералов — благословенная). Большевицкое всевластие разумеется всеми участниками диалогов кратковременным и преходящим. Того паралича естественного развития, того обрыва всех эволюционных нитей, того почти векового саморазрушения, самоизжития без преемственности, которое несет с собой большевизм, никто не предвидит. Хотя, повторяю, немногие работы на эту тему уже вышли в свет на нескольких языках, включая русский. Этот факт — очередное свидетельство другого, более широкого феномена: то, чего никогда не было, крайне трудно себе представить. Немногочисленные его пророки остаются, как правило, неуслышанными.

И все-таки поразительно, с каким упорством интеллигенция (ведь все участники диалогов, включая образованного Генерала и Светского богослова, — интеллигенты) наворачивает свои иллюзии, свои идеалы, свои предпочтения и свои неприятия на стержень простейших фактов. Народ устал и отвлатился от совершенно бессмысленной для него бойни. Народу вовемя, умело и широкоушательно пообещали мир и достаток (землю, фабрики, заводы с властью в придачу). Народ (солдат) возмутился против окопной крови и грязи, против бессмысленного смертоубийства и гибели. Он поверил, что тот «последний и решительный бой», который обещают большевики, будет и короче и осмысленнее. А может, его и вовсе не будет, если побрататься с немцем, таким же солдатом, как ты, и навалиться всем миром на бар и буржуев: пусть отдадут неправедно найденное ими добро. Короткого (по историческим срокам) соблазна, вполне естественного и понятного, достаточно было, чтобы втянуться в ловушку. Тем более что тогда, в 1917 — 1918 годах, и соблазнитель-то в большинстве своем веровали в близкий земной рай. Но каким туманом веет от непосредственных наблюдателей этого соблазна (по сей день планетой не изжитого)! И не они ли сами ее породили, эту обернувшуюся ловушкой утопию? Ведь это их родовая идея изменяет им с ловким демагогом и с хмельным солдатом.

Далее в диалог вступает фигура, по всей очевидности, авторская — Светский богослов. Он и прошлым своим, вскользь упомянутым, сходен с С Булгаковым, и в настоящем не слишком далек от него, еще не принявшего священства.

Сегодня, когда матерная ругань затопила салоны и литературу, странное чувство вызывает отождествление матерщины и большевизма, с которым вступает в диалог Светский богослов. Но не будем останавливаться на второстепенном. В диалоге четвертом становится наконец предметом серьезного, казалось бы, обсуждения социализм. Но и здесь в подавляющем большинстве реплик и обличительных монологов речь идет о приземляющем, потребительском, богопротивном, наконец, характере социализма и нет намека на самое главное для искренне соблазненных им интеллигентов и народных масс. Ведь на самом-то деле социализм означает непоправимое крушение и всех идеальных (свободолюбивых, гуманистических), и всех житейских надежд, которые господа идеалисты презрительно называют потребительскими. Он не даст (структурно в принципе не способен дать) даже и примитивно-житейского благоденствия. Того благоденствия, ради которого измученные войной массы готовы скрепя сердце переступить через вековые моральные императивы. Напомним, что до войны жизнь стремительно улучшалась. Но, во-первых, измотала, истерзала война. А во-вторых, если можно быстрее, больше, правильной зажить «по справедливости», обрести богатство, то почему бы и нет? В конце концов, «кто не работает, тот не ест» — это и справедливо! А в глазах простонародья только зримый, вещественный труд — это работа. Если кое-где в репликах Дипломата проскальзывают намеки на понимание этого факта, то большинство собеседников окутывают его в имперско-патриотический, философский, богословский туман (что кому по вкусу и по сословию). Эти размышления, порой по высокому счету, и верны и глубокомысленны, но все вьются вокруг да около основного стержня событий, обходят его. Они подменяют народное понимание социализма своим пониманием и толкованием. Для каждого из них, в том числе и для исключенного из диалога народа (и тем более большевика или эсера), социализм означает нечто свое. Он и сегодня имеет сотни взаимоисключающих толкований со своим знаком. Для всех собеседников этот знак — минус. Но доводы высокообразованных отрицателей социализма лежат в патриотической, исторической, политической и высшей метафизической плоскостях. Для Дипломата он и вовсе народная блажь, преходящий пустяк. А народ грезит о нем (и большевики пропагандируют его, не называя по имени) совершенно в иной плоскости: бытовой, прагматической, житейской, личной. Народу обещают немедленное замирение всех воюющих друг с другом стран. Ему гарантируют землю и волю, достаток. Он, народ, не соприкасается и не пересекается со всеми теми патриотическо-философскими изысками, которые насочиняли за него и о нем участники диалогов.

Светский богослов решительнейше не прав, когда говорит:

«А я говорю, что наш народ болен и находится в состоянии острого отравления. Он, конечно, мало цивилизован и даже дик, но доселе вековая мудрость народная, учение церковное ему внедряли, что дикость есть грех, и когда он пугачествовал, то знал, что идет на черное дело, а здесь ведь ему внушили, что он делает самое настоящее дело, что он прав, грабя и душегубствуя. Ему дали новую заповедь: будь зверь, не имей ни совести, ни чести, только голосуй за такой-то «номер» <...> Нет, все дело здесь в религиозном самосознании интеллигенции, в ее безбожии и нигилизме».

Никто никогда не говорил народу: будь зверь, не имей ни совести, ни чести. Большевики, во-первых, слишком ловкие тактики для того, чтобы так говорить. А во-вторых, в крайне «левых» (по тому делению) партиях, от большевиков и левых эсеров до анархистов, было в ту пору немало идеалистов. Напротив, солдату, крестьянину, рабочему, люмпену говорили: отнимай награбленное и дели его по справедливости. Ему объясняли: пусть кто не работает, тот не ест. А работа, подчеркнем еще раз, для него испокон веков — это физический труд да еще два-три полезных, понятных дела. Так началось. Так развязаны были и заключили союз естественные стремления и самые темные инстинкты. Последующее же слишком сложно для очерка: его и тома не исчерпали.

Генерал продолжает Светского богослова:

«Генерал. Да, проклятая интеллигенция теперь отравила весь народ своим нигилизмом и погубила Россию. Именно она погубила Россию, надо это наконец громко, во всеулышание сказать. Ведь с тех пор как стоит мир, не видал он еще такой картины: первобытный народ, дикий и страшный в своей ярости, отравленный интеллигентским нигилизмом: соединение самых темных сил варварства и цивилизации. Нигилистические дикари! Вот что сделала с народом нашим интеллигенция. Она ему душу опустошила, веру заплевала, святая святых осквернила!

Дипломат. Слушая вас, можно подумать, что у нас нет собственного, народного нигилизма. Вспомните хоть того же Достоевского. И разве не народно это босячество духовное, которое Горький исповедует?

Генерал. У якутов, у чукчей, у ирокезов, у самоедов, у тунгузов, у кого хотите, есть своя религия, своя святыня, есть свой культ и быт, а стало быть, и культура духовная. А ведь здесь вместо Бога прямо брюхо поставили, те чурбану хотя кланяются, а эти — горячечной химере. Для дикарей даже обидно это сравнение!

Дипломат. Хорош же народ, который допускает совершить над собой подобное растление. Да и что можно сказать о тысячелетней церковной культуре, которая без всякого почти сопротивления разлагается от демагогии? Ведь какой ужасный исторический счет предъявляется теперь тем, кто ведает церковное просвещение русского народа! Уж если искать виноватого, с которого можно, действительно можно, спрашивать, таковым будет в первую очередь русская церковь, а не интеллигенция.

Светский богослов. Однако же позвольте: что иное могло получиться, если образованный класс, вот эта самая интеллигенция чуть не поголовно ушла из церкви и первым членом своего символа веры сделала безбожие, вторым — революцию, а третьим — социализм? <...> На русской интеллигенции лежит страшная и несмыслимая вина — гонения на церковь, осуществляемого молчаливым презрением, пассивным бойкотом, всей этой атмосферой высокомерного равнодушия, которой она окружила церковь. Вы знаете, какого мужества требовало просто лишь не быть атеистом в этой среде, какие глумления и заушения, чаще всего даже непреднамеренные, здесь приходилось испытывать. Я очень хорошо знаю русскую интеллигенцию и вполне отвечаю за то, что говорю. Да, с разрушительной, тлетворной силой этого гонения не идет ни в какое сравнение поднятое большевиками. Это последнее гонение дает силу, призывает на мученичество, исповедничество, а вот исповедовать веру в атмосфере интеллигентского шипа, глупых смешков, снисходительного пренебрежения — нет, это хуже большевизма, который в своем нигилизме есть, конечно, законнейшее порождение этой же самой интеллигенции, как она от этого ни отрекайся. И вот теперь судьба свела церковь и интеллигенцию в состоянии общей гонимости со стороны большевиков. Дай Бог, чтобы эта встреча повела и к внутреннему сближению».

Мы не будем здесь говорить о том, какое место в конце концов заняла церковь (любая, не одна только христианская) по отношению к большевизму. После жестоких гонений начала коммунистической эры церковь оказалась в том же положении, что и будущая «образованщина»: уцелели, за редкими исключениями, те, кто пошел на компромисс с безбожной властью. Они явили собой некий противостественный симбиоз государственного чиновника и формального отправителя культа.

О тлевшей все годы борьбе истинно верующих, среди них и священников, с этой властью мы тут, после «Архипелага ГУЛАГ», распространяться не будем: уже сказано. Но какая поистине трагическая чересполосица блестящих прозрений и роковых заблуждений представлена, к примеру, в следующих отрывках:

«Светский богослов. Да ведь и интеллигенция-то может быть разная, в этом же все дело. Интеллигентами были и Микеланджело, и Леонардо. И у нас и Достоевский, и Вл. Соловьев, и К. Леонтьев, и славянофилы — разве они не были интеллигентами? Борьба нужна не с интеллигенцией, а с интеллигентщиной во имя духовной культуры. И надо надеяться, что уроки истории, пережитые испытания многому научат интеллигенцию, углубят ее духовное сознание и, самое главное, подвинут ее к воцерковлению. Пока же интел-

лигенция действительно переживает жесточайший кризис, но он есть вместе с тем и кризис России.

Дипломат. Такие глубины для нашего брата позитивиста недоступны, но мировой кризис социализма и для меня налицо, углублять же его действительно выпало на долю тех, кто всю энергию прилагает к углублению революции. Первый удар международному социализму нанесла война, а второй — русские большевики.

Беженец. И все-таки Европе тоже не уйти от своего большевизма. Она еще содрогнется в конвульсиях мировой революции, и по ней пронесется красный конь социального мятежа. И это несмотря на то, что социализм уже мертв: начало, себя изживающее, все же должно опытно познать свое бессилие. И русская интеллигенция, как духовная виновница большевизма, есть действительно передовой отряд мирового мятежа, как об этом и мечталось революционным славянофилам от Бакунина до Ленина, при всем их интернационализме программном.

Светский богослов. Я такого низкого мнения о духовной сущности социализма, что даже отрицаю за ним способность иметь кризисы. Социальные революции вообще буржуазны по природе, если только не считать некоторые количества фанатиков, ослепленных бредовой идеей. А так как мешанство вообще бездарно и бесплодно, то такова же и социальная революция. Здесь нелицеприятнее всего свидетельствует эстетическое чувство. Попробуйте подойти к интеллигентшине, к демократии и социализму с эстетическим мерилом, как сделал это Леонтьев, и увидите, что получится. Как бездарна и уродлива русская революция: ни песни, ни гимна, ни памятника, ни жеста даже красивого. Все ворованное, банальное, вульгарное. Лоскут красного кумача да марсельеза, украденная как раз в то время, когда мы подло изменили французам. В один из первых еще дней революции мне пришлось созерцать на одной из московских улиц шествие. Я человек спокойный и, в общем, настроенный народолобиво, но во мне тогда клокотали презрение и брезгливость. Вот если бы Леонтьев увидел эту картину! Впрочем, он ее, в сущности, уже провидел. То, что настолько безобразно, скажу даже гнусно, не может быть и правдивым.

Писатель. Не к лицу нам этот эстетический плащ сверхчеловека, и не люблю я этой нелюбви леонтьевской, лишь прикрываемой эстетикой. Притом, по существу, всякая картина требует определенной перспективы. Весенний поток прекрасен и могуч, но, рассматриваемый вблизи, он состоит из пены и грязи. Надо иметь мудрое, благодное сердце, чтобы созерцать красоту стихии народной.

Беженец. Своими словами вы сами свидетельствуете против себя же. Если социализм находится в некоторой интимной, подпочвенной связи с футуризмом, что, я думаю, верно, то в нем есть и своя глубина, он является симптомом мирового распада и кризиса. Старая красота умерла уже в мире, футуризм свидетельствует об ее разложении, о корчах и воплях, о стенаниях всей мятущейся твари... Болен мир, потому больно и искусство. А потому и улица так уродлива... Жизнь не рождает красоты. Это чувствовал остро, но не хотел все-таки принять во всей серьезности Леонтьев. Он все хотел как-нибудь «подморозить», вернуть к старому. Но ничего не надо подмораживать, ибо к великой Красоте и свету Преображения стремится стенающая тварь...»

Во всех этих разноречивых монологах и репликах есть одно общее свойство: наблюдающий как бы со стороны, вчуже, взгляд на события. Это словно пролог грядущих бессильных эмигрантских дискуссий. Правда, еще не инфильтрованный советской агентурой (это произойдет уже там, за бугром). Нынешнего читателя поражает (и учит не быть самонадеянным в прогнозах) абсолютное неприятие длительности того всепроникающего, разрушительного тотального кошмара, который надвигается, уже надвинулся на Россию и подстерегает мир.

Чего стоит хотя бы следующее пророчество Светского богослова:

«Вы забываете самое важное. Вы упускаете из виду ценнейшее завоевание русской жизни, которое одно само по себе способно окупить, а в известном смысле даже и оправдать все наши испытания. Это — освобождение православной русской церкви от пленения государством, от казенщины этой убий-

ственной. Русская церковь теперь свободна, хотя и гонима. А свободная церковь возродит и соберет и рассыпанную храмину русской государственности. Ключ к пониманию исторических событий надо искать в судьбах церкви, внутренних и внешних. Здесь лежит ее внутренняя закономерность».

Это пророчество о спасении. А теперь послушаем (из нашего «постперестроечного» далека), в чем видит главную для России опасность тот же герой. Беженец попытается заговорить о единой задаче всех христианских церквей, но Светский богослов его обрывает:

«Светский богослов. Сознаюсь, что совершенно вас здесь не понимаю. Ведь это тот же интернационализм, только иначе перелицованный. Раньше всех у нас его стали проповедовать русские иезуиты и вообще католизирующие, как, например, Чаадаев, им довольно неожиданно, хотя и по-своему, протягивает руку в своей пушкинской речи Достоевский, который вообще-то знал настоящую цену католичеству; потом за это принялись либералы, марксисты, вплоть до нынешних товарищей. Теперь вы снова проповедуете интерконфессиональное братание в то время, когда надо охранять фронт от коварного врага.

Беженец. В том-то и дело, что фронт должен быть обращен вовсе не туда. Настоящий враг наступает на эти оба раздробленные и тем обессиленные фронта.

Светский богослов. Чего же вы хотите: вероисповедного безразличия или унии, модного теперь «католичества восточного обряда?»

Рассмотрел Светский богослов главного врага своей родины в апреле — мае 1918 года, ничего не скажешь...

Могла ли таким далеким от мира сего, от его насущных, неотложных, по сути, уже сугубо военных задач, образованным обществом быть спасена Россия середины 1918 года?

* * *

Статья А. С. Изгоева «Социализм, культура и большевизм» самим названием своим предполагает злободневность тематики. Что же сказано в ней?

С самого начала в ней наталкиваешься на множество разумных вещей и одновременно — на страшную и крайне распространенную в кругах небольшевистской интеллигенции иллюзию. Ее представители говорят так, словно у них еще есть время для рассуждений. Они не видят, что случилось непоправимое: их исключили из диалога. В эмиграции они будут продолжать говорить как участники драмы, в действительности в ней уже не участвуя. В лучшем случае — восстанавливая и сберегая ее летопись. Оставшимся на родине предстоит нечто непредставимое, во всей истории российской интеллигенции не имеющее сравнимых по ужасу прецедентов. Они не предвидят и того, что возникает государственное образование нового типа, а потому доступные им критерии окажутся к нему неприменимыми.

Так, Изгоев пишет:

«Но если случится чудо и страна воскреснет, если силой тяготения соединятся, на первых порах хотя бы и не все, части разорванного целого, сможет ли этот зародыш воскресающего государства жить и развиваться, расти и крепнуть? Это в значительной степени зависит от идей правящих, руководящих групп. Опыт доказал нам, что без интеллигенции и помимо нее нельзя создать жизнеспособного правительства. Но из того же опыта мы знаем, что интеллигенция, воспитанная в идеях ложных и нежизненных, служит могучим орудием не созидания, а разрушения государства».

Это государство создаст, однако, особый и новый функциональный слой, «образованщину», который заменит ему и интеллигенцию и «интеллигентщину». И это новообразование будет справляться со своими обязанностями не лучше и не хуже других его, этого государства, органов.

Не будем спорить с Изгоевым о фундаменте монархической власти и причинах ее падения: здесь он рассуждает как тривиальный интеллигент-прогрессист, то

есть поверхностно и пристрастно. Но истоки нежизнеспособности Временного правительства и меньшевистского социализма схвачены им поистине метко:

«Монархия рухнула с поразительной быстротой. Русская интеллигенция в лице ее политических партий вынуждена была немедленно из оппозиции перестроиться в органы власти. Тут-то ее и постигло банкротство, заставившее забыть даже провал монархии. Все главные политические, социально-экономические и психологические идеи, в которых столетие воспитывалась русская интеллигенция, оказались ложными и гибельными для народа. В роли критиков выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь. Нет высшего авторитета. На критику жизни нет апелляции. Большевики и их господство и воплотили в себе всю эту критику жизни. Напрасно интеллигенция пытается спасти себя отводом, будто она не отвечает за большевиков. Нет, она отвечает за все их действия и мысли. Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говорили и к чему толкали другие. Они лишь поставили точки над *i*, раскрыли скобки, вывели все следствия из посылок, более или менее красноречиво установленных другими. Добросовестность велит признать, что под каждым своим декретом большевики могут привести выдержки из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских социалистов и сочувственников как марксистского, так и народнического толка. Единственное возражение, которое с этой стороны делалось большевикам, по существу, сводилось к уговорам действовать не так стремительно, не так быстро, не захватывать всего сразу. Это не принципиальные возражения, а оговорки трусливого оппортунизма. Чхеидзе, Чернов, Церетели, Скобелев, Некрасов, Ефремов, Керенский говорили и проповедовали то, что принципиально должно было привести к господству большевизма, решившегося наконец воплотить в делах их речи <...>

В области идей должно быть твердо установлено, что между большевизмом и всеми леворадикальными и социалистическими течениями русской мысли существует тесная, неразрывная связь. Одно влечет за собой другое. Русские социалисты, очутясь у власти, или должны были оставаться простыми, ничего не делающими для осуществления своих идей болтунами, или проделать от а до ижицы все, что проделали большевики. Когда большевики на этом настаивают, они неопровержимы. Это оказалось истиной в 1917 — 1918 гг. Это истинно и для будущего».

«Для будущего» это не совсем справедливо хотя бы потому, что в середине 1918 года Изгоеву это большевистское будущее не могло еще привидеться даже в страшном сне. Но справедливость требует напомнить, что Керенский в эмиграции в своем знаменитом диалоге с «большевизаном» («Современные записки» («*Annales contemporaines*»), Париж, 1937, LXIII) утверждал дословно то же самое, что говорит Изгоев: различие было, по его убеждению, только в темпах и методах, а не в сути программ большевиков и эсеров. И в этом он видит **свое оправдание**, а не свой грех. Три возражения, каждое из которых самодостаточно, вызывает это суждение у тех, кто увидел большевистскую эру изнутри и в расцвете. Во-первых, программу эту (эсеровскую и литературную большевистскую) **нельзя было выполнить иначе чем ее выполняли**: при любом действительном послаблении ее никто не стал бы долго терпеть. Во-вторых, не литературная, а практическая программа большевиков (а после победы и укоренения — и подогнанная под практику литературная) была противоположна эсеровской в самом главном для России вопросе — в аграрном. Большевики взяли на вооружение эсеровскую формулировку этой программы лишь в тактических целях, на короткий период завоевания ими политической власти. В-третьих, конструктивные части **обеих программ** (все то, что должно было бы последовать после захвата власти) были невыполнимы **в принципе, искони утопичны**.

То, о чем говорит Изгоев в разделах, посвященных культуре и западному социализму, на большой дистанции верно, однако катастрофически несвоевременно. Это полемика, естественная для той же западной демократии, для которой характерен и западный, то есть гедонистический, «буржуазный» (Изгоев) потребительский квазисоциализм. Западный — в многопартийной системе — социализм есть легальный способ конкурентного увеличения **своей** (наемного работника и служащего) доли в национальном пироге. Он **безопасен** (в границах, не нарушающих здра-

вого смысла, то есть не выходящих за рамки оплаты работника по труду его) в уютявшемся, прочном, экономически более или менее благополучном государстве. Запредельный же радикализм социализма российского для полемики места не оставлял, особенно в большевистском его варианте (коммунизм). На Запад он был позднее экспортирован большевизмом (в малых легальных и больших законспирированных метастазах).

Изгоев пишет:

«Большевики вполне поэтому правы, когда обличают огромное большинство западноевропейских социалистов в «буржуазности», в отступничестве от заповедей Корана, от заветов первоучителей. То, что есть творческого в европейском социализме, по существу своему «буржуазно», основывается на идеях, противоречащих социализму. Огромное, мировое значение деятельности русских большевиков в том, что они продемонстрировали эту истину всему миру. Вот что означает последовательное проведение социалистических идей, сказали они, вот какой вид получает социализм, осуществленный в жизни. И весь мир, в том числе раньше других социалисты, ужаснулся, когда раскрылись эти кошмарные картины одичания, возвращения к временам черной смерти, Тридцатилетней войны, великой московской смуты, неслыханного деспотизма, чудовищных насилий и полного разрыва всех социальных связей. Таковым оказался социализм, действительно осуществленный, испробованный в жизни. Невольно вспоминаются знаменитые слова Чаадаева: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподавать, конечно, не будет потеряно но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение». Поистине в этих словах, написанных девяносто лет тому назад, слышится какое-то пророчество».

Но ведь это еще не социализм, это только война за социализм — это июнь 1918 года. И главное, ни Изгоев, ни — тем более — Чаадаев не представляли себе (и не могли представить), что урок этот, если он пересечет некую грань саморазрушения, может оказаться смертельным трюком не для России только — для человечества.

Ссылки на Достоевского, развернутые Изгоевым, стали сегодня общим местом для критиков социалистической бесовщины. Разительно, хотя и естественно, принятие 1917 — 1918 годов за апогей большевистского зверствования и распада. Изгоев весьма пронзительно предвещает экономическую абсурдность и беспомощность социализма, но, во-первых, не представляет себе, как долго сумеет социализм выжимать из империи ее исторический и природный потенциал своими зверскими, насильственными приемами. А во-вторых, он так и не добирается до сугубо конкретного системного корня этой — вопреки всей мощи насилия — совидаельной беспомощности и абсурдности. Главное же, что (подчеркнем еще раз) бросается в глаза и в этой статье, и в остальных статьях сборника, это отсутствие чувства необходимости немедленно что-то делать. Некая созерцательная неспешность, предполагающая, по-видимому, что большевики не посягнут на право не подкрепленного действием инакомыслия. Но они — посягнули.

* * *

Говоря о статье В. Н. Муравьева «Рев племени», мы оставим вне обсуждения ее начальные поэтические фигуры. Отметим только, что, на взгляд сухой и придирчивый, реветь должны бы племена, а не племя, ибо племен на Руси испокон веку великое множество. И чем ближе к описываемой эпохе, тем больше (уже не племен, а народов). Поэтому если и существовала в древней (какая уж тут древность — в запасе одно тысячелетие) Руси «небывалая цельность духа» (а, по словам автора, это «не легенда и не метафора»), то ни в летописях, ни в многотомных исторических монографиях (разумеется, дооктябрьских) она не отразилась. Что же до «рева племени» в многоплеменных волей-неволей современных государствах, то мы с ужасом слышим сейчас его какофонию в Югославии, или в ЮАР, или... Особоенно он многообещающ при ядерной дубинке в руках ревушего. Но каждому

вольно чувствовать прошлое, свое и своего рода-племени, как ему заблагорассудится. Спорить с ощущением невозможно. Бесплезно также рассматривать по пунктам, как и в чем российская история разошлась с уверенными пророчествами еще одного из ее прорицателей. Говоря о будущем, не ошибаются слишком немногие, для того чтобы остальным вменить в вину их ошибки. Зато заслуживают благодарного внимания догадки, искрящиеся в потоке домыслов. Они словно крупинки золота, отмытые от песка на лотке времени. Их значение непреходяще.

Как большинство пишущих и рассуждающих, В. Н. Муравьев констатирует зорче, чем прогнозирует. Если отвлечься от особенностей его риторики и перевести последнюю на менее пафетический и более современный язык, то его констатации предстанут много более точными.

По сути, речь идет о том трагическом разрыве, о котором уже неоднократно говорилось. Он подстерегает всякий молодой народ, окруженный старшими, чем он, народами, обладающими мощной государственностью, иной историей и могучей культурой. Естественно, что во взаимодействии с новым и все более близким знакомцем участвуют прежде всего административные и образованные слои обоих партнеров. Чем массивней и самобытней младший народ (или полиэтнос), тем глубже окажется при подобном взаимодействии трещинка между основной массой такого народа и его тонким слоем, активно взаимодействующим с иноземцами в духовной области. Но ведь и этот тончайший активный слой не прошел эволюции новых знакомцев. Его духовные заимствования не имеют корней ни в родной почве, ни тем более вне ее. Вростание в чуждый мир в одном-двух поколениях — чудо для единиц и невозможность для множеств. Убеждения, заимствованные у соседней близкой и дальней, имели у них (у соседней) свою органику, свои источники и, главное, свои параллельно (а то и задолго до рождения новых идей) возникавшие противовесы, обеспечивающие обществу относительную стабильность и устойчивость по отношению к духовной взрывчатке. Эти идеи являлись даже не антитезой других идей, а одной из реакций определенных общественных слоев на органическое развитие государства и общества. Идеям противостояли не только контридеи, но и прочные социальные институты, сложившееся право, могучая инерция основного мировоззренческого потока, естественный мировоззренческий иммунитет. Он создавался общими корнями как позиции, так и оппозиции. И на Руси такое (относительное, как везде) равновесие могло бы возникнуть и устояться. Но ее дооктябрьская историческая траектория была резко изменена по меньшей мере дважды: татаро-монгольским нашествием и петровскими «перестройкой» и «ускорением» (правда, без «гласности»).

Муравьев пишет:

«Петр явился как бы повивальным мастером в процессе «европеизации» России. Великий император, рубя головы стрельцам или урезывая бороды боярам, тем самым внедрил в Россию Европу, вколачивал в московские головы на место старых идей новые, перенятые с Запада. И то страшное сопротивление, которое встретил Петр, не было сопротивлением отдельных фанатиков и отсталых варваров, но сопротивлением всего древнерусского мирозерцания <...>

Со времени Петра начинается отрыв образованных русских классов от народа и усвоение ими нового, западного мирозерцания. Народ остался при старом. Вплоть до нашего времени он жил запасом идей, верований, психологических и действенных навыков, накопленных в средних веках русской истории. Он продолжал жить исторически, воспринимая события и участвуя в них целостным, действенным образом. Но трагическое положение народа нашего заключалось в том, что народ не может существовать без связи с выделяемыми им постоянно образованными слоями. Они для народа то же, что цветок плодоносный для растения, — необходимый орган, обновляющий его жизнь идвигающий его развитие. Мы же находились в таком положении при наличии двух культур, что часть народа, получавшая образование немедленно этим самым воспринимала чуждое народу мирозерцание, отрывалась от народа, жила вне связи с русской историей. От этого древнее мирозерцание наше не могло развиваться. Не развиваясь же, оно должно было зачахнуть и умереть. Три века держалось оно, несмотря на ожесточенную войну, объявленную ему интеллигенцией, и три века им держалось русское государство. Наконец, к началу XIX века народ оказался вовсе без мирозерцания. Старое умерло, нового он не усвоил. <...>

Русское интеллигентское мирозерцание в том виде, в каком оно существовало в XIX веке, очень определено. В него вошла совокупность идей, отражавших все главные течения европейской мысли. Но отличительная черта всего этого мирозерцания заключалась в том, что идеи эти усвоены были со свойственным русской душе максимализмом. Они доводились без колебаний до конца. Из них сделаны были бесстрашно все последние, самые суровые и нелепые выводы. Русские интеллигенты остались русскими людьми, искали в европейских откровениях последнюю религиозную правду. И в каждой идее, в каждой теории старательно, ни перед чем не останавливаясь, ее выводили»

Соглашаясь или не соглашаясь с тем, каким видится Муравьеву Запад (важно, что иным, чем Россия, и это верно), нельзя не признать его правоты в отношении русской интеллигенции:

«Русское интеллигентское мирозерцание есть доведенное до конца отвлеченное построение жизни. В основах русского социализма и в значительной мере либерализма лежит отрицание истории, полное отрицание и отвержение действительности совершающегося. Интеллигентская мысль есть мысль о человеке, о мире, о государстве вообще, а не об этом человеке, об этом мире, об этом государстве».

Страшная умозрительность и схематическая беспочвенность радикалистских моделей, навязывавшихся интеллигенцией России с середины XIX века, бесспорны. И консервативно-либеральное меньшинство русского общества тщетно пыталось объяснить это радикалистскому большинству образованного слоя.

В статье Муравьева вопреки ее экзотическому названию знаменательно понимание одного (и тогда и теперь) непопулярного обстоятельства: народную массу качнули в решающий момент «влево», в сторону крайних радикалов, вовсе не «звериные» элементы народной души, а естественная человеческая жажда благополучия, достатка и мира. Иностранцы были в этом порыве активней, чем русские, потому что у них было еще больше поводов искать «заступников» и делегировать своих представителей в их ряды. Муравьев, правда, говорит только о русских. И постулирует право православия игнорировать все инославное:

«Для православия, в настоящем, наиболее чистом его учении, нет неправославных, ибо есть только те, кто православен».

Но это парадоксальное суждение лежит за рамками проблемы, о которой мы говорим («игнорировать все инославное» — тоже утопия, ибо само инославное, а его много, себя игнорировать не станет и не позволит, да и все православное не сумеет и не захочет замкнуться в себе). Но в контексте этой весьма спорной и сложной идеи трудно не согласиться со следующим суждением:

«Революция произошла тогда, когда народ пошел за интеллигенцией. Конечно, народ по совершенно не зависевшим от последней причинам должен был куда-то идти. Великое народное движение, во всяком случае, должно было произойти в результате кризиса русской жизни, усугубленного войной. Но путь, по которому пошел народ, был указан ему интеллигенцией. И в том, что революция приняла такой вид, виновны не одни большевики, но вся интеллигенция, их подготовившая и вдохновившая.

Народ в очень короткий срок усвоил интеллигентскую идею. Но он усвоил ее не отвлеченно, а по-своему, конкретно. Он не мог в несколько месяцев изменить свою сущность, научиться понимать умственно, уйти от своих давних психологических навыков. Он остался в своих способах разума и действия целостным и действенным, и то, о чем мечтали, думали, говорили, писали интеллигенты, — он осуществил.

Нельзя не признать вместе с тем, что в народе был возвышенный идеализм. Конечно, шкурные инстинкты были сильны в массах и подвинули народ на измену, на грабеж, на разорение родины. Народ не предал бы России, если бы не было у него страха и усталости на фронте и приманки земли и обогащения в тылу. Но народ не послушался бы этих темных чувств, если бы рядом с ними, сплетаясь с ними, не выросал в нем идеальный порыв и не

было идеального оправдания этим темным инстинктам. Оправданием этим была вера в какую-то новую, внезапную правду, которую несла с собой революция. То была вера в чудо, то самое чудо, что отвергла презрительно интеллигенция и тут же народу преподнесла в другом виде — в проповеди наступления всемирной революции, уравниения всех людей и т. п. Главная вина интеллигенции в том, что она этой проповедью дала освящение измененным влечениям. Социалистический рай был для простых людей тем же, чем были для него сказочные царства и обетованные земли религиозных легенд. И так же как в старину подвижники и странники, народ был готов все отдать ради этого царства. В иностранной карикатуре, изображавшей русский народ слепым и потерявшим рассудок, идущим с глазами вверх, тогда как снизу угрожают ему штыки, содержится образ действительного величия.

И тем более виновны те, кто сугубо обманул народ, дав как пищу его великолепному порыву ложные и бессмысленные идеи. Виновна революция, виновно интеллигентское мирозерцание, создавшее революцию, виновна западная современная культура, создавшая интеллигентское мирозерцание.

Обман вскрылся тогда, когда в русской революции встретились и соединились две расщепленные части русской души — душа умствующая и душа действующая. Народ проверил интеллигенцию. Он судил ее не так, как судила она сама себя дотоле, теориями отвечая на теории, рассуждениями на рассуждения. Он принял ее на слово и судил действием».

«Западная современная культура», положим, ни в чем не виновна, ибо никого не обязывала и не принуждала принимать за откровение одну краску из пестрой мозаики ее идей. Не она силой навязывала это лжеоткровение России, а россияне же — радикальные интеллигенты, воспринявшие одну из западных социально-экономических утопий как абсолют. Но народ услышал в речах интеллигенции лишь то, что хотел и был способен расслышать. Здесь Муравьев безусловно прав. Добавим, что люди всегда слышат в чужих речах только то, что дремлет в их собственном опыте или в их сокровенных желаниях. И этой особенностью человеческого мышления, о которой забывали радикалы более или менее совестливые, совершенно сознательно воспользовались большевики-ленинцы. Во всяком случае — Ленин, Троцкий и еще несколько инициаторов, самая прагматичная и наименее отягощенная нравственными «предрассудками» группа радикалов. Качнув свинцово-тяжелую глыбу массы на свою сторону, они дадут ей очнуться только тогда, когда из ее же наиболее хваткой и цепкой части наберут достаточное число насильников и загонщиков. И тут же подавят это опаматование железом, кровью и ложью.

Те же, кого Муравьев называет интеллигентщиной, лишь подготовили почву для победы особой своей породы, которая перегрызет глотки всем непокорным, а для острстки — и великому множеству покорных (большевиков — тоже).

Да, конечно, поработали на революционной ниве многие поколения. Приложили, так сказать, к светлому будущему руки. Но большевики откололись от обреченного ими на гибель родового древа и создали строй, которого никто из предшественников, современников и оппонентов не мог предвидеть. В том числе, конечно же, и Муравьев. А потому в его рассуждениях «все прочее — литература».

* * *

Интересной и не утратившей злободневности представляется статья П. И. Новгородцева «О путях и задачах русской интеллигенции». Так как издание 1918 года почти все было уничтожено на выходе, а второе появилось в 1967 году в Париже, статья, как и весь сборник, не могла повлиять на роковой ход событий. Но драма еще идет. И потому плоды размышлений ума глубокого и просвещенного должны наконец быть затребованы его родиной. Статья начинается напоминанием о еще недавнем тогда прошлом:

«В 1909 г. появился сборник статей о русской интеллигенции под заглавием «Вехи». Участники этого сборника писали свои статьи, как они высказали это в предисловии к сборнику, не с высокомерным презрением к прошлому русской интеллигенции, а «с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны». Они хотели призвать русскую интеллигенцию к пе-

решению тех верований, которыми она до того жила, которые привели ее к великому разочарованию 1905 г. и которые, как предвидели они, должны были привести к еще более тягостным разочарованиям в будущем. Сами видные представители русской интеллигенции, они не ставили себе целью отвратить интеллигенцию от присущей ей задачи сознательного строительства жизни. Они не звали ее ни к отказу от работы творческого сознания, ни к отречению от веры в свое жизненное призвание. Они хотели лишь указать, что путь, по которому шло до сих пор господствующее течение русской интеллигенции, есть неправильный и гибельный путь и что для нее возможен и необходим иной путь, к которому ее давно призывали ее величайшие представители, как Чаадаев, Достоевский, Влад. Соловьев. Если вместо этого она избрала в свои руководители Бакунина и Чернышевского, Лаврова и Михайловского, это великое несчастье и самой интеллигенции, и нашей родины. Ибо это есть путь отпадения, отщепенства от положительных начал жизни».

Сегодня мы всё еще ждем вынесения историей окончательного приговора тому выбору, которым ответила интеллигенция на вдумчивый призыв «Вех». Она, интеллигенция, не была, разумеется, единственным определителем того пути, по которому пошла в XX веке Россия. Но интеллигенция — профессиональный мыслительный орган народного тела, и она отвечает за ход событий больше тех, для кого думание не является профессией. Суждено ли России дойти до конца в своем саморазрушении? Обратима ли нынешняя фаза крушения? Как воздействуют на этот вопрос ядерный и экологический факторы? На краю обрыва слабые руки цепляются за кустарник. Но притча о двух лягушках в крынке с молоком заставляет барахтаться. Поскольку все еще длится цепная реакция распада «Великой Октябрьской», стоит вернуться к размышлениям пронизательного очевидца об ее истоках.

П. И. Новгородцев движется к самой сердцевине вопроса, когда он, во-первых, подчеркивает не исключительный русский характер интеллигентской (я бы сказала, вообще человеческой) мысли, а во-вторых, когда этим главным пороком он называет рационалистический (добавим: социально-строительный) утопизм:

«Выразив эту мысль в привычных формулах философского словоупотребления, мы должны будем сказать, что основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия. Если высшей основой и святыней жизни является религия, т. е. связь человека с Богом, связь личного сознания с объективным и всеобщим законом добра как с законом Божиим, то рационалистический утопизм есть отрицание этой связи, есть отпадение, или отщепенство, человеческого разума от разума Божественного. И в этом смысле кризис интеллигентского сознания есть не русское только, а всемирно-историческое явление. Поскольку разум человеческий, увлекаясь силой своего движения, приходит к самоуверенному сознанию, что он может перестроить жизнь по своему и силой человеческой мысли привести ее к безусловному совершенству, он впадает в утопизм, в безрелигиозное отщепенство и самопревознесение. Движение сознания, критикующего старые устои и вопрошающего о правде установленного и существующего, есть необходимое проявление мысли и великий залог прогресса. В истории человеческого развития оно представляет собою момент динамический, ведущий сознание к новым и высшим определениям. Значение критической мысли в этом отношении велико и бесспорно. Но когда, увлекаясь своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю действительность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда, вместо того чтобы быть силой созидательной и прогрессивной она становится началом разрушительным и революционным»

Возводя рационалистический утопизм к его античным истокам, Новгородцев пишет

«Когда Сократ и Платон нападали на софистов за их безбожное и разрушительное дело, они имели в виду именно это отпадение разума человеческого от его вечной и универсальной основы. Сами они были также носителями

критической мысли и также подвергали своему суду существующее и установленное. Но они совершали этот суд в сознании высшего божественного порядка, господствующего в мире, связующего «небо и землю, людей и богов». В противоположность этому просветительная деятельность софистов представляет собою классический пример утопического сознания, стремящегося построить и философию и жизнь на началах рационалистического субъективизма. В области философии эти стремления приводят к релятивизму и скептицизму, что составляет кризис философского сознания. В области общественной жизни они ведут к отщепенству и самопревознесению, к отрыву индивидуального сознания от объективных начал истории, что влечет за собою кризис общественности. Право и государство, утверждали софисты, существуют не от природы, а по человеческому установлению, и потому весь общественный порядок — дело человеческого искусства. Человек сильный может разорвать все связи общественные, может отринуть все чары и заклинания, которыми его удерживают в общем строе, и создать для себя свою собственную справедливость. Так индивидуальный разум человеческий объявляется всемогущим и самодовлеющим, и нет над ним никакой высшей силы, перед которой он мог бы преклониться. Крушение софистов есть один из самых ярких примеров кризиса такого интеллигентского самопревознесения, а борьба с софистами Сократа и Платона есть величайший образец восстания религиозно-философского сознания против интеллигентского утопизма».

Подход Новгородцева к этой теме — редчайший пример обнаружения в российской трагедии общечеловеческих, а не специфически «племенных» заблуждений. Он прослеживает определенный тип (или порок) мышления, проявлявшийся и проявляющийся на всем протяжении истории человеческой мысли. Высшая Сила — Объективная Сущность Творения и Строения — Бог — Закон — Новгородцев дает разные наименования тому порядку, в котором только и может существовать мир (мир). Порядок этот можно улучшать, совершенствовать и ухудшать только в границах заложенных в нем принципов.

В блистательных размышлениях Новгородцева о генезисе, параллелях, прецеденте и причинах российской катастрофы есть два момента, один из которых вызывает опасения, а другой требует развития сказанного:

«Важно признать, что в смысле влияния на развитие русской государственности отщепенство русской интеллигенции от государства имело роковые последствия. И для русской общественной мысли несколько не менее важно выяснить эту сторону дела, столь важную для будущего, чем искать объяснений прошлого. Важно, чтобы утвердилось убеждение, что отщепенство от государства — этот духовный плод социалистических и анархических влияний — должно быть с корнем исторгнуто из общего сознания и что в этом необходимый залог возрождения России».

Здесь еще нет и не может быть предвидения того типа государства, которое построят большевики, государства, примирение и сотрудничество с которым есть гибель и преступление. Поэтому нет и не может быть соответствующего предупреждения. Новгородцеву, как большинству его коллег по сборнику, большевизм представляется тяжелейшим, но эпизодом: они не могут представить себе его устояния почти на столетие. В приведенном выше отрывке говорится о сотрудничестве интеллигенции с **нормальным правовым** государством. Сменовеховцы, младороссы, евразийцы и другие коллаборанты тоже заговорят о сотрудничестве интеллигенции с государством. Но — с каким?! Новгородцев умрет в 1924 году и не увидит фальсификации своего тезиса.

И второе: П. И. Новгородцевым сказано много прозорливых и точных слов о рационалистическом утопизме. Но он подходит к нему как философ, а не как экономист. Поэтому он не может вооружить свои размышления еще и расчетом, зачатки которого были уже у Адама Смита, развитие — у Герберта Спенсера, первые разработки — у Бориса Бруцкуса (Россия — Берлин — Иерусалим). Математических же (то есть неумолимых и непреложных) доказательств неизбежности закона и объективной немислимости рационалистического произвола по отношению к нему, появившихся в 40-х годах, он и вовсе не мог увидеть. Но в прозрениях ему не откажешь. Хотя бы в следующем:

«Все чаще и чаще слышатся сомнения, тем ли путем мы шли; и нет сейчас вопроса более жгучего, как вопрос о судьбах нашей интеллигенции. Стихийный ход истории уже откинул ее в сторону. Из господствующего положения ее стало служебным, и в тяжком раздумье стоит она перед своим будущим и перед будущим своей страны. Те, кто ранее этого не видел, все более настойчиво повторяют, что беда интеллигенции в том, что она была оторвана от народа, от его подлинного труда и от его подлинной нужды. Она жила в отвлечении, создавала искусственные теории, и самое понятие ее о народе было искусственным и отвлеченным. Погруженная в свои теоретические мечты и разногласия, она жила в своем интеллигентском скиту, и когда пришло время действовать, ответственность пред своим скитом, пред своими теориями и догматами она поставила выше своей ответственности пред государством, пред национальными задачами страны. В результате государство разрушилось и скит не уцелел».

На наших глазах рушится и монстр-псевдопобедитель, детище утопии-оборотня. Что и кто останется живым и жизнеспособным на его обломках, мы еще не знаем.

Новгородцев говорит о 1918 году:

«...это — падение в бездну, спасение от которой может быть достигнуто только чрез самоотречение, только чрез подвиг духовного освобождения от иллюзий рационалистического утопизма».

«Подвиг духовного освобождения» спас бы, возможно, Россию. Но только в том случае, если бы он безотлагательно обернулся делом, подвигом бранным, объединившим все трезвые силы в стране. Большевиков уже в 1917, тем более в 1918 году нельзя было одолеть иначе как силой и без всякого промедления. Но этому не дано было произойти.

* * *

П. Б. Струве в своей статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи» берет на себя миссию поистине грандиозную. Солженицын в многоотномном «Красном Колесе» решился на куда более скромную задачу: проследить шаг за шагом за тем, как это было, что на деле произошло. Если говорить о хронологии, то Солженицын выполнил половину своего замысла. По смыслу же завершил основное: восстановил роковое течение событий почти до момента их политической (на данном витке развития) необратимости. Солженицын считает, что такой момент наступил в апреле — мае 1917 года; некоторые полагают, что только в июле. Это вряд ли существенно. П. Б. Струве же и в августе 1918 года думает, что у России есть еще время для самопознания и самоочищения. Впрочем, у него это время было: Ленин его не убил, а выдворил.

В своей обширной статье Струве пишет:

«Разыскание причин той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией и которая, в отличие от внутренних кризисов, пережитых другими народами, означает величайшее во всех отношениях падение нашего народа, имеет первостепенное значение для всего его будущего. Конечно, судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями. Они определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Но всякие такие стремления выливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей движущей и творческой силой исторического процесса страсть может, только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть. Для того чтобы создать такую идею-страсть, которая призвана покорить себе наши чувства и волю, заразить нас до восторга и самозабвения, мы должны сперва измерить всю глубину того падения, в котором мы оказались, мы должны прочувствовать и продумать наше унижение сполна и до конца. Это важная очистительная работа самопознания. Отрицательного самопознания, смешанного из раздумья, покаяния и негодования, недостаточно, однако, для возрождения нации. Необходимы ясные положительные идеи и превращение этих идей в могучие творческие страсти».

Я хочу наметить, как я понимаю те реальные психологические условия, которые привели нас к национальному банкротству и мировому позору, и затем развить, какие идеи-страсти могут и должны своим огнем очистить нас и спасти Россию».

В воздухе эпохи, очевидно, еще не чувствовалось, что сдвиг угрожает стать роковым. Не понималось, что это за сдвиг. Народная война возможна тогда, когда ее ведет против общего противника большинство народа. В 1917 — 1918 годах такой войны не возникло. Опасность была смертельной, но большинство народа опомнилось поздно (если опомнилось). В такую минуту те, кто видит опасность во всей мере ее, хватаются за оружие и (или — если стары и недужны) побуждают к тому всех, кого могут, а не философствуют. Но П. Б. Струве вдумчиво погружается в историко-философские и мистические глубины событий, в их, как ему представляется, истоки.

Считает ли Петр Бернгардович в начале 1918 года, что есть еще время для философствования? Или, напротив, думает, что на данном витке спирали дело прибрано, и готовится к следующему витку? Трудно сегодня вникнуть в миропонимание 1918 года. На Россию надвигалось совершенно инокачественное бытие. Ощутить мертвенное дыхание непознанного сумели слишком немногие.

Струве отказывает российской катастрофе в праве на «все-таки морально (выделено Струве. — Д. Ш.) значительный титул» революции. А ведь это была революция из революций по степени перемен и последствий, которые она принесла. Но у этого слова — «революция» — оставался еще реликтовый ореол. Бывший марксист, даже и легальный, не может дойти до логического конца в посягательстве на вчерашнюю святыню. Ведь как-никак он вслед за Плехановым открывал России Маркса и выводил в свет Ульянова-Ленина. И какая же (прошу прощения) хлестаковская «легкость в мыслях необыкновенная» сквозит в нижеследующем уподоблении:

«Революция, низвергшая «режим», оголила и разнуздала гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и советская власть есть, по существу, николаевский городничий, возведенный в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков как бытовой символ из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и «Ревизор» из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-щедринское обличие великой русской революции есть непререкаемый исторический факт».

Когда бы так!.. Но гостиная Городничего окаменела бы от ужаса, одним глазком заглянувши в уездную чрезвычайку. Да и сам Струве без интервала, в следующем абзаце, пишет:

«В настоящий момент, когда мы живем под властью советской бюрократии и под пятой красной гвардии, мы начинаем понимать, чем были и какую культурную роль выполняли бюрократия и полиция низвергнутой монархии. То, что у Гоголя и Щедрина было шаржем, воплотилось в ужасающую действительность русской революционной демократии».

Так зачем же пустословить?

Я не буду касаться общих мест в статье Струве (общих с его статьей в «Вехах», общих с другими авторами обоих сборников, просто — общих). Затрону лишь некоторые основные моменты. Струве пишет

«Владимир Ильич Ленин-Ульянов мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте ее развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что в 1730 году отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого, герцогиня курляндская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его товарищами-верховниками и добивавшейся вольностей, но боявшееся «сильных персон» шляхетство и тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред независимой от них верховной

властью. Своим основным содержанием и характером события 1730 г имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер».

Но еще раньше органическое, хотя и медлительное развитие гражданского общества в рамках монархии шло при двух первых Романовых и продолжалось при Софье, окруженной далеко не одними обскурантами и ретроgrадами. Государство Российское несколько раз имело возможность и время для не петровски свирепых, а более или менее плавных шагов вперед и их делало. И уж во всяком случае с 1860-х годов до 1914-го при всех рецидивах реакции и осложнениях, при всем трагизме террористического самозванства революционеров и причиненных им невосполнимых утрат Россия жила и росла.

«Владимир Ильич Ульянов-Ленин мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте ее кроваво-призрачную Совдепию» (когда бы «призрачную!» очень даже реальную и цепкую) в силу сложнейшего переплетения исторических и современных ему обстоятельств. Какие же видит Струве?

«Запоздание личного освобождения крестьян на столетие, и во всяком случае на полустолетие, было лишь выражением и следствием, в области социальной, той победы самодержавия над конституционализмом, которую русская монархия одержала в 1730 г. *Крепостным правом русская монархия откупалась от политической реформы.* А запоздание личного крестьянского освобождения отсрочило и прочное установление мелкой земельной собственности и землеустройство. Теперь для нас должно быть совершенно ясно, что русская монархия рушилась в 1917 г. оттого, что она слишком долго опиралась на политическое бесправие дворянства и гражданское бесправие крестьянства. Из политического бесправия дворянства и других культурных классов родилось государственное отщепенство интеллигенции. А это государственное отщепенство выработало те духовные яды, которые, проникнув в крестьянство, до 1861 г. жившее без права и прав, не развившее в себе ни сознания, ни инстинкта собственности, подвинули крестьянскую массу, одетую в серые шинели, на ниспровержение государства и экономической культуры.

До недавнего времени в русском обществе был распространен, даже господствовал взгляд, по которому в России освобождение крестьян, к счастью, не было предварено дворянской или господской конституцией. Этот народнический взгляд, как в его радикальной, так и в его консервативной (монархической) версии, совершенно превратен. Историческое несчастье России, к которому восходит трагическая катастрофа 1917 г., обусловлено, наоборот, тем, что политическая реформа страшно запоздала в России. В интересах здорового национально-культурного развития России она должна была бы произойти не позже начала XIX века. Тогда задержанное освобождение крестьян (личное) быстро за ней последовало бы, и все развитие политических и социальных отношений протекало бы нормальнее. Народническое же воззрение, гоняясь за утопией спасения России от «язвы пролетариата», считало и считает счастьем России ту форму, в которой у нас совершилось освобождение крестьян. Между тем теперь уже совершенно очевидно, что крушение государственности и глубокое повреждение культуры, принесенные революцией, произошли не оттого, что у нас было слишком много промышленного и вообще городского пролетариата в точном смысле, а оттого, что наш крестьянин не стал собственником-буржуа, каким должен быть всякий культурный мелкий земледелец, сидящий на своей земле и ведущий свое хозяйство. У нас боялись развести сельский пролетариат и из-за этого страха не сумели создать сельской буржуазии. Лишь в эпоху уже после падения самодержавия государственная власть в лице Столыпина стала на этот единственно правильный путь»

Здесь можно по-разному относиться к частностям, но правильность основного суждения сомнений не вызывает. Однако следующие за упоминанием о Столыпине фразы некорректны и отдают попыткой объяснения (если не оправдания) собственной «отщепенской» молодости:

«Но упорствуя в своем реакционном недоверии к культурным классам, ревниво ограждая от них свои прерогативы, она систематически отталкивала

эти классы в оппозицию. А оппозиция эта все больше и больше проникалась отщепенским антигосударственным духом. Так подготовлялась и творилась революция с двух концов — исторической монархией с ее ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в устройении государства и интеллигенцией страны с ее близорукой борьбой против государства»

Здесь все представлено с некоторой рефлекторной самооправдательной сдвижкой

Столыпин упорно и безответно звал всю «прогрессивную общественность», в том числе Думу, к сотрудничеству, но встречал оппозицию или глухую стену Слой, именуемый бюрократией, был достаточно интеллигентен (в «неорденском», чисто культурном значении слова), но интеллигенция (теперь уже в «орденском») не хотела множить его ряды, быть опорой легальных преобразований в рамках конституционной монархии. Ею владели заветные социалистические идеалы. Среди государственных чиновников той поры, судя по многим авторитетным свидетельствам, быстро нарастал слой «культурных и образованных элементов». В том числе и в провинции. Но правда и то, что царствующая чета не расположена была с этими элементами сотрудничать. Столыпина в последний год его жизни с трудом терпели: отставка была предreshена. Но еще больше роковой правды в том, что интеллигенция отвергла союз даже с просвещенной и реформаторски настроенной высшей бюрократией *априори*, с ходу и категорически. В просвещенной части светского общества хороший тон прямо-таки требовал сочувствия сокрушителям основ и традиций, а не государственным усилиям их одолеть.

«Только немногие люди, живо ощущавшие роковую круговую поруку между пороками русской государственности и русской общественности, тщетно боролись и с безумием интеллигенции, и с ослеплением власти»

Но большинство этого меньшинства, лишь после того как способствовало пожару 1905 года, ему ужаснулось. Да и нельзя уравнивать на исторических весах «безумие интеллигенции и ослепление власти». «Ошибки, пороки и преступления» (как выражается Струве чуть выше) власти были унаследованными и/или обуславливались недостатками *лиц*, объяснялись порой стечением трагических обстоятельств и не сокращали целенаправленно устоев жизни и государства. В конце концов царь поддавался давлению жизни и обстоятельств, и вплоть до рокового 1914 года государство *либерализовалось, не теряя структуры*. А хозяйство развивалось быстрее, чем когда бы то ни было. Интеллигенция же, готовящая приход социализма и трактуя его в каждом кружке по-своему, но одинаково схематически и отвлеченно, руководствовалась девизом «чем хуже — тем лучше». Она препятствовала любой стабилизации и усиливала любую раскачку устоев. Поэтому ставить союз «и» между монархией, о которой Струве ниже пишет как о власти, «все-таки выражавшей и поддерживавшей единство и крепость государства», и силой, которая «натравливала низы на государство и историческую монархию» (там же), значит проявлять непоследовательность и алогичность. Боюсь, что это лишь некоторое дипломатическое лукавство во имя прошлого или его, этого прошлого, инерция.

Струве 1918 года еще не видит того, что он увидит и постулирует через несколько лет: принципиальную неконструктивность идеи социализма, ее абсолютный утопизм, в том числе и чисто экономический. И это неведение крайне ослабляет его позицию. В 1918 же году Струве писал:

«Торжество социализма или коммунизма оказалось в России разрушением государственности и экономической культуры, разгулом погромных страстей, в конце концов поставившим десятки миллионов населения перед угрозой голодной смерти»

В том, что произошло, характерно и существенно своеобразное сочетание, с одной стороны, безмерной рационалистической гордыни ничтожной кучки вожаков, с другой — разнузданных инстинктов и вожделий неопределенного множества людей, масс.

Таково реальное воплощение в жизни проповеди революционного социализма, опирающегося на идею классово-вой борьбы. Вожаки мыслят себе орга-

низацию общества согласно идеалам коммунизма как цель, разрыв существующих духовных связей и разрушение унаследованных общественных отношений и учреждений — как средство. Массы же не принимают, не понимают и не могут понять конструктивной цели социализма, но зато жадно воспринимают и с увлечением применяют разрушительное средство.

Поэтому идея социализма как организации хозяйственной жизни — безразлично, правильна или неправильна эта идея, — вовсе не воспринимается русскими массами; социализм (или коммунизм) мыслится ими только либо как раздел наличного имущества, либо как получение достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, с минимумом обязательств. Раздел наличного имущества, равномерный или неравномерный, с признанием или не признанием права собственности, во всяком случае ничего общего с социализмом как идеей организации хозяйственной жизни не имеет и есть не конструктивно-социалистическая, а отрицательно-индивидуалистическая манипуляция, простое перераспределение или перемещение благ или собственности из одних рук в другие».

Какое поистине причудливое переплетение точных наблюдений и теоретических ошибок! В него имеет смысл вдуматься, ибо оно господствует и поныне, многократно опровергнутое и теоретически и практически. Фактически это начало пути к тому, чтобы подменить в названиях партий и теорий слово «социалистический» словом «социальный», тем самым отказавшись от социализма (как, например, Социально-христианский союз в Германии). Но это лишь начало. Вернемся, однако, к тезисам Струве.

В России не состоялось «торжество социализма или коммунизма». Там состоялась победа партии коммунистов, которая будет пытаться построить свой теоретический «социализм или коммунизм», но построит лишь тоталитарную партократию. Эта партократия будет называться коммунистической. Но она так и не построит того, чего принципиально нельзя построить: литературного коммунизма. Все, что сказано здесь Струве о соотношении целей и средств, вожаков и массы, прозорливо и верно. Но вот «правильна или неправильна» «идея социализма как организации хозяйственной жизни» (и почему «правильна или неправильна») — это в высшей степени не безразлично. Было не безразлично тогда и не безразлично теперь. Однако, в отличие от его следствий (террора, милитаризации и идеологизации жизни, бедности, несвободы, разрушения экономики и экологии и т. д. и т. п.), этот первоосновной вопрос воспринимается с одиозным и роковым безразличием. И по одной уже этой причине (а их еще много) в общественное сознание он не включается.

Из рассуждений Струве следует, что для него «социализм как идея организации хозяйственной жизни» ценности не утратил. Но то ли недоучками, то ли злоумышленниками-большевиками эта «конструктивно-социалистическая идея» бесстыдно и бессовестно профанируется.

«„Справедливое распределение“ в смысле получения каждым гражданином достаточного и равного пайка с наименьшими жертвами есть в лучшем случае заключительный потребительный результат социализма. Без социалистической организации народного хозяйства этот результат безжизнен и висит в воздухе, есть чистейшее „проедание“ без производства»

При таком (генетически общем с большевиками — при всех расхождениях) взгляде на социализм, даже при рудиментах этого общего взгляда, нельзя успешно противостоять большевизму в массовом сознании. Впрочем, авторы «Вех» и «Из глубины» к массовому сознанию и не апеллируют. Они, очевидно, все-таки полагают, что у них есть время.

«Отвлеченное социологическое начало классовой борьбы, брошенное в русские массы, было ими воспринято, с одной стороны, чисто психологически как вражда к «буржуйам», к «господам», к «интеллигенции», к «кадетам», «юнкарям», к дамам в «шляпах» и к т. п. категориям, не имеющим никакого производственно-экономического смысла; с другой стороны, оно, как директива социально-политических действий, было воспринято чисто погромно-механически, как лозунг истребления, заушения и ограбления «буржуев» Поэто-

му организующее значение идеи классовой борьбы в русской революции было и продолжает быть ничтожно; ее разрушительное значение было и продолжает быть безмерно. Так две основные идеи новейшего социального движения, идея социализма и идея классовой борьбы, в русское развитие вошли не как организующие, созидательные силы строительства, а только как разлагающие, разрушительные силы ниспровержения».

А во что и куда они вошли как «организующие, созидательные силы строительства», эти две идеи? Они становятся таковыми лишь тогда, когда соглашаются на конкурентное партнерство с другими силами, на правовую конкурентную борьбу за свои социально-экономические интересы в рамках данного строя, без посягательства на его разрушение. Российские социалисты и тем более коммунисты (большевики) считали такую позицию преступным оппортунизмом.

Вообще в этой статье Струве «родимых пятен» марксизма едва ли не больше, чем в его же более ранней статье в «Вехах». Терминологическая родственность его риторике словарному составу «легального марксизма» 1890-х годов несомненна.

В дальнейшем в рассуждениях Струве есть мысль о том, что «буржуазный строй» ближе на самом деле к действительным чаяниям и устремлениям масс, чем социализм (учение, подчиняющее личность интересам отвлеченного «коллектива»). Но пережитки прежней фразеологии мешают ему выразить свою мысль отчетливо и однозначно.

Однако центральным стержнем статьи Струве является не развенчание или корректировка идеи социализма, а утверждение первенствующего — для спасения России — значения идеи нации:

«Принципиально, по существу, понятие нации есть такая же категория, как и понятие класса. Принадлежность к нации прежде всего определяется каким-либо объективным признаком, по большей части языком. Но для образования и бытия нации решающее значение имеет та выражающаяся в национальном сознании объединяющая настроенность, которая создает из группы лиц одного происхождения, одной веры, одного языка и т. п. некое духовное единство. Нация конституируется и создается национальным сознанием»

Класс — понятие чисто функциональное, вытекающее из его роли в обществе. Нация — понятие этно-генетическое, гораздо более широкое, чем класс (нация объемлет все классы общества). Ни то, ни другое (ни класс, ни нация) не определяется только сознанием: быть объединенными сознанием (или более узко — идеологией) — это прерогатива партий и других родственных им союзов.

Но вдумаясь в определение нации, которое предлагает Струве. Оно включает в себе зерно противоречия, из которого вырастет весьма экзотический монстр. С одной стороны,

«принципиально, по существу понятие нации есть такая же категория, как и понятие класса. Принадлежность к нации прежде всего определяется каким-либо объективным признаком, по большей части языком».

Но с другой стороны,

«для образования и бытия нации решающее значение имеет та выражающаяся в национальном сознании объединяющая настроенность, которая создает из группы лиц одного происхождения, одной веры (выделено мною. — Д. Ш.), одного языка и т. п. некое духовное единство»

И наконец —

«нация конституируется и создается национальным сознанием»

Как же тогда быть с Россией — империей или республикой многонациональной и многоверной?

«Жизненное дело нашего времени и грядущих поколений должно быть творимо под знаменем и во имя нации. Нация, как я уже сказал, есть фор-

мально такое же понятие, как класс. Национальное сознание так же образует нацию, как сознание классовое — класс. Нация — это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, живого в настоящем и в нем творимого для будущего. Но в то время как классовый признак приурочивается к скудному социально-экономическому содержанию, не имеющему ни моральной, ни какой-либо иной духовной ценности, признак национальный указывает на все то огромное и нетленное богатство, которым обладает всякий член и участник нации и которое, в сущности, образует самое понятие нации», —

пишет Струве.

Но класс образуется вовсе не «классовым сознанием». Классовая принадлежность определяется родом занятий и положением человека в обществе. А постулат общности веры как образующего признака нации не позволяет считаться таковой ни россиянам, ни французам, ни немцам, ни уж тем более американцам, ни евреям и т. д. и т. п. Исторически сложилось так, что большие государства, известные нам, строились и, главное, достраивались как многоплеменные и многоконфессиональные образования. И Российская империя — один из ярчайших примеров такого государства. Грозные события в современной Югославии, распад СССР и бомбы замедленного действия с тлеющими фитилями в российских автономиях показывают наглядно, чем чревато приложение этнического и вероисповедного принципов к современному государству. Отчаянная попытка евреев возродить национальный очаг, убежище от антисемитской паранойи, в бинациональной Палестине тоже доказывает: либо два народа сумеют добиться сосуществовательного компромисса, либо им суждена битва за мир до последней капли крови. От всей души надеюсь на первый вариант.

Зовя многоэтничное и многоверное государство к национальной одноверной идиллии, Струве заводит его в тот же тупик, в который привел его деспотический агрессивный «интернационализм», точнее — насильственный «безнационализм» коммунистов. Он пишет:

«В том, что русская революция в своем разрушительном действии дошла до конца, есть одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики над умами русских образованных людей. На развалинах России, пред лицом поруганного Кремля и разрушенных ярославских храмов мы скажем каждому русскому юноше: России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину (выделено мною. — Д. Ш.), но ей важно, чтобы ты чтит величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего, чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святынями, творилась и поддерживалась Россия как живая соборная личность и как духовная сила. Ими, их духом и их мощью мы только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое России, и только оно, есть залог ее будущего. На том пепелище, в которое изуверством социалистических вожаков и разгулом соблазненных ими масс превращена великая страна, возрождение жизненных сил даст только национальная идея в сочетании с национальной страстью. Это та идея-страсть, которая должна стать обетом всякого русского человека».

Я не хочу оскорблять память П. Б. Струве поименным перечислением малопочтенных лиц, которые с удовольствием поставят свои подписи под этой декларацией. Я только замечу, что в условиях многонациональной России (где революция только в начале 90-х годов, а не в 1918-м «в своем разрушительном действии» дойдет почти до конца) «национальная идея» Струве носит решительно антигосударственный, деструктивный характер. Обратите внимание на выделенные мною слова:

«...России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину...»

И на финал статьи:

«„Быти нам всем православным христианом в любви и в соединении. И вам бы... помнити общее свое... А нашим будет нерадением учинится конечное разоренье Московскому Государству... который ответ дадим в страшный день Христова” — в этих словах бесхитростной грамоты нижегородцев к вологжанам 1612 г. и в других аналогичных документах Смутного времени, в совершенно других, менее сложных, но, быть может, не менее грозных исторических условиях, была уже возведена стране и народу спасительная сила национальной идеи и духовно-политического объединения во имя ее.

Сим победиши!»

Я еще раз прошу прощения у тени Струве, но это обращение к энтузиазму и ведущей идее Руси 1612 года в России 1918 года уже само по себе знаменует такую оторванность от реальности, какой достаточно, чтобы предопределить поражение в борьбе с большевизмом. Если бы даже еще оставалось время для статей. Но если бы даже и оставалось еще какое-то время? Не слышится ли за этой рафинированной патетикой нынешний истошный и вульгарный вопль «Россия — для русских» («Германия — для немцев»)? Германии надо было ради немецкой идеи изгнать или истребить один небольшой «неполноценный» народ. А России? Сколько ни дроби и ни очишай хотя бы только одну Российскую Федерацию (а Струве грезил о всей империи), она уже не станет этнически чистой. Я понимаю, что Струве великодушно готов позволить всем россиянам стать православными и считаться русскими. Но, повторяю, в огромной, многоверной России всех народов не окрестить и не сделать русскими — даже и после распада СССР.

Спросите себя, кто в ней сегодня станет под многопартийно-православно-патриотическую хоругвь, которую предлагает развернуть над Россией 1918 года Струве, — и у вас потемнеет в глазах, как потемнело бы и у самого Струве.

Как бы это ни ранило полные национального романтизма души, но критерий современного цивилизованного государственного права — не раса, не нация, не вероисповедание, не имущественный ценз. Современное цивилизованное существование немислимо без полноты прав личности и равенства всех граждан перед лицом закона.

Как П. Б. Струве, человек несомненно нравственный и образованный, представлял себе совмещение своего национально-религиозного идеала с цивилизованным правом, представить себе невозможно. Боясь, что его марксистское прошлое еще продолжало манить его к радикальным решениям, безнадежно упрощенным в приложении к многоцветию и многослойности жизни. Как, впрочем, и все утопии, бессильные в созидании, но могущественные в разрушении и умерщвлении.

* * *

По заголовку статьи С. Л. Франка «De profundis» теперь называют и весь сборник.

«Если бы кто-нибудь предсказал еще несколько лет тому назад ту бездну падения, в которую мы теперь провалились и в которой беспомощно барахтаемся, ни один человек не поверил бы ему. Самые мрачные пессимисты в своих предсказаниях никогда не шли так далеко, не доходили в своем воображении до той последней грани безнадежности, к которой нас привела судьба. Ища последних проблесков надежды, невольно стремишься найти исторические аналогии, чтобы почерпнуть из них утешение и веру, и почти не находишь их. Даже в Смутное время разложение страны не было, кажется, столь всеобщим, потеря национально-государственной воли столь безнадежной, как в наши дни; и на ум приходят, в качестве единственно подходящих примеров, грозные, полные библейского ужаса мировые события внезапного разрушения великих древних царств. И ужас этого зрелища усугубляется еще тем, что это есть не убийство, а самоубийство великого народа, что тлетворный дух разложения, которым зачумлена целая страна, был добровольно в диком, слепом восторге самоуничтожения привит и всосан народным организмом.

Если мы, клеточки этого некогда могучего, ныне агонизирующего государственного тела, еще живем физически и морально, то это есть в значитель-

ной мере та жизнь по инерции, которая продолжает тлеть в умирающем и которая как будто возможна на некоторое время даже в мертвом теле»

Это 1918 год, то есть только начало. Продолжительность, формы и масштабы бедствия были для тогдашнего сознания непредставимы (разве что для Достоевского — или для Кафки). Библейские пророчества мыслятся нами отвлеченно. Всегда кажется, что это еще не о нас и не о наших ближайших потомках.

Франк оказывается пророком, ибо победители создают строй, неспособный к развитию и плодоношению, мертвый, выжимающий из страны жизненные силы и соки, накопившиеся в многовековом прошлом. Когда они будут всеми силами и средствами выжаты, тело начнет разрушаться. Возможна ли остановка в разрушении, остались ли в экологии, экономике и, главное, в психике людей резервы для поворота процесса вспять — неизвестно. В 1917 году начала разрушаться страна, еще не начиненная ядерной взрывчаткой и ядохимикатами. Это была страна со впадшим в утопическое галлюцинации, в истерику, но еще нормальным, психически не деформированным населением. Поэтому несколько лет нэпа чуть было не вдохнули в нее жизнь. Сталин вовремя пререк опасный процесс.

Франк и в «Вехах» был проницательнее своих коллег, и в «Из глубины» проницательней остальных предостерег угрожающую стране бездну.

Трудно было бы и сегодня дать более точный и беспощадный анализ того, что свершилось в жизни России на протяжении истекших ко времени написания статьи Франка полутора лет. Вот малая доля этих не услышанных на родине обобщений (тем более окружающим миром: он и своих пророков не слышит):

«...ни при каком общественном порядке, ни при каких общественных условиях народ в этом смысле не является инициатором и творцом политической жизни. Народ есть всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства. Это есть простая, незыблемая и универсальная социологическая истина: действенной может быть не аморфная масса, а лишь организация; всякая же организация основана на подчинении большинства руководящему меньшинству. Конечно, от культурного, умственного и нравственного состояния широких народных масс зависит, какая политическая организация, какие политические идеи и способы действий окажутся наиболее влиятельными и могущественными. Но получающийся отсюда общий политический итог всегда, следовательно, определен *взаимодействием* между содержанием и уровнем общественного сознания масс и направлением идей руководящего меньшинства. Применяя эту отвлеченную социологическую аксиому к текущей русской действительности, мы должны сказать, что в народных массах в силу исторических причин накопился, конечно, значительный запас анархических, противогосударственных и социально-разрушительных страстей и инстинктов, но что в начале революции, как и всегда, в тех же массах были живы и большие силы патриотического, консервативного, духовно здорового, национально объединяющего направления. Весь ход так называемой революции состоял в постепенном отмирании, распылении, уходе в какую-то политически бездейственную глубь народной души сил этого последнего порядка. Процесс этого постепенного вытеснения добра злом, света — тьмой в народной душе совершался под планмерным и упорным воздействием руководящей революционной интеллигенции. При всем избытке взрывчатого материала, накопившегося в народе, понадобилась полугодовая упорная, до иступления энергичная работа разнуздывания анархических инстинктов, чтобы народ окончательно потерял совесть и здравый государственный смысл и целиком отдался во власть чистокровных, ничем уже не стесняющихся демагогов. Вытесненные этими демагогами слабонервные и слабоумные интеллигенты-социалисты должны, прежде чем обвинять народ в своей неудаче, вспомнить всю свою деятельность, направленную на разрушение государственной и гражданской дисциплины народа, на затаптывание в грязь самой патриотической идеи, на разнуздание, под именем рабочего и аграрного движения, корыстолюбивых инстинктов и классовой ненависти в народных массах, — должны вспомнить вообще весь бедлам безответственных фраз и лозунгов, который предшествовал послеоктябрьскому бедламу действий и нашел в нем свое последовательно-прямолинейное воплощение. И если эти бывшие вдохновители революции

обвиняют теперь народ в том, что он не сумел оценить их благородное «оборончество» и отдал предпочтение низменному «пораженчеству» или смешал чистый идеал социализма как далекой светлой мечты человеческой справедливости с идеей немедленного личного грабежа, то беспристрастный наблюдатель, и здесь отнюдь не склонный считать народ безгрешным, признает, что вина народа не так уж велика и по человечеству вполне понятна. Народная страсть в своей прямолинейности, в своем чутье к действенно-волевой основе идей лишь сняла с интеллигентских лозунгов тонкий слой призрачного устоявания и нравственно-беспочвенных тактических дистинкций. Когда «оборончество» основано не на живом патриотическом чувстве, не на органической идее родины, а есть лишь ухищренный тактический прием антипатриотического интернационализма, когда идеал социализма, к бескорыстному служению которому призывают народные массы, обоснован на разлагающей идее классовой ненависти и зависти, — можно ли упрекать народ в его неспособности усвоить эти внутренне противоречивые, в корне порочные сгустки морально и интеллектуально запутавшейся интеллигентской «идеологии»?»

Все это не устарело ни в одном слове. Но последуем дальше:

«Более глубокое определение источника зла, погубившего Россию, придется отметить в лице нарастающего сознания гибельности *социалистической идеи*, захватившей широкие круги интеллигенции и просочившейся могучими струями в народные массы. Действительно, Россия произвела такой грандиозный и ужасный по своим последствиям эксперимент всеобщего распространения и непосредственного практического приложения социализма к жизни, который не только для нас, но, вероятно, и для всей Европы обнаружил все зло, всю внутреннюю нравственную порочность этого движения. На примере нашей судьбы мы начинаем понимать, что на Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния и даже, наоборот, в известной мере содействовал улучшению форм жизни, укреплению ее нравственных основ, что этот социализм не только извне сдерживался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому, что это был не чистый социализм в своем собственном существе, а всецело буржуазный, государственный, несоциалистический социализм. У нас же, при отсутствии всяких внешних и внутренних преград и чужеродных примесей, при нашей склонности к логическому упрощению идей и прямолинейному выявлению их действительного существа, социализм в своем чистом виде разросся пышным махровым цветом и в изобилии принес свои ядовитые плоды».

Но в 1918 году социализм лишь пытались построить. Пытались действовать согласно букве утопии, что абсурдно по определению. Возник монстр. Продолжим, однако, цитировать Франка:

«Конечно, наши рабочие стремились не к социализму, а просто к привольной жизни, к безмерному увеличению своих доходов и возможному сокращению труда: наши солдаты отказались воевать не из идеи интернационализма, а просто как усталые люди, чуждые идее государственного долга и помышлявшие не о родине и государстве, а лишь о своей деревне, которая далеко и до которой «немец не дойдет»; и в особенности столь неожиданно обращенные в «эзэров» крестьяне делили землю не из веры в правду социализма, а одержимые яростной корыстью собственников. Все это фактически бесспорно, но сила этого указания погашается более глубоким уяснением самого морально-психологического существа социализма. Ибо эта внутренняя ложь, это несоответствие между величием идей и грубостью прикрываемых ими реальных мотивов, столь драстически, с карикатурной резкостью обнаружившееся в наших условиях, с необходимостью вытекает из самого существа социализма»

И все-таки мы гнетно будем искать в статье С Л Франка ответ на последний, на самый главный для нас вопрос: что такое социализм? Почему, победив, он разрушает и разрушается? Нет ответа Действуют ли тут причины только духовные,

нравственные, мистические? Или есть обстоятельства и чисто структурные, которые даже при бескорыстнейших намерениях устроителей новой жизни приводят общество в ад?

С. Л. Франк увидел воочию начало агонии и ужаснулся. Однако в этой статье, написанной не позже 1918 года, он структурной причины невоплотимости в жизнь гуманистических целей утопии-оборотня не констатирует. Может быть, они представлялись ему столь самоочевидными, что он не счел нужным на них останавливаться? В его поле зрения лежали вопросы более глубокие. Между тем структура и мистика возникавшей тогда Системы нераздельно связаны. При этом **структурные причины** ее обреченности на тиранию и саморазрушение доступны и агностическому и атеистическому сознанию. Вряд ли имеет смысл пренебрегать какой бы то ни было из сторон проблемы.

Вот простейшая и достаточно поверхностная формулировка **структурной причины неработоспособности социализма**. Никакая инстанция не может охватить всей массы процессов, протекающих в обществе в каждый данный момент. Количество этих процессов бесконечно велико. Само слово «процесс» говорит о том, что все в обществе непрерывно изменяется — разнообразные параметры всех его составляющих и отношения между ними. Попытки командовать необъятным количеством разнородных взаимосвязанных и автономных процессов, планируя их заранее, неизбежно ведут к накоплению неполадок и к нарастающему расстройству общественного организма. Они, эти попытки, сравнимы с попыткой человеческого ума математически рассчитывать каждое предстоящее шевеление организма, каждую его — на всех уровнях — реакцию. Неумение или нежелание это понять и своевременно отказаться от такого способа управления заставляет ввести в Систему фактор принуждения. По мере нарастания расстройства Системы приходится принуждение наращивать. Вечно это продолжаться не может. Принуждение исчерпывает свои ресурсы, и Голем рушится.

Самоорганизация есть имманентное свойство вселенной и жизни, положенное в основу их бытия. Когда пытаются это свойство изъять, заменить своеволием, бытие рушится. Сборник «Из глубины» проникнут ощущением этой катастрофы, но обнажение ее механизма — вне его проблематики (или вне интересов его авторов).

Всех станом не боец

Свободным людям чужды наши беды.
Их на досуге зреющим умам
Грешно изобретать велосипеды
По не спеша пролистанным томам
А узнику в темнице и крупницы,
И тени истин, словно тени птиц,
Позволят в подозренья укрепиться
И яд догадок выжать из крупниц —
Целебный, но смертельно горький плод
Плененной мысли и ее забот...

Из юношеских стихов автора.

Я позволила себе предпослать раздумьям о третьей части трилогии (или, если угодно, о третьем акте идейной драмы) отрывок из собственных юношеских стихов. Не потому, что они представляют собою некую поэтическую ценность (на этот счет я не заблуждаюсь), а потому, что и они — вехи исследуемого пути. Именно так выбивалось из-под глыб лжи на магистраль познания почти все (об отдельных счастливых не говорю) пооктябрьское поколение наследников «Вех»

Читатели и критики не сразу осознали, что сборники «Вехи», «Из глубины» и «Из-под глыб» представляют собой исторически сложившуюся трилогию, хотя название последнего из них говорит об этом достаточно ясно. На родине уже почти не помнили первого и не знали второго сборника (посвященные десятки и даже сотни — не в счет).

В русском зарубежье — по причинам естественной убыли — людей, хорошо помнящих «Вехи» и «Из глубины», становилось все меньше. Что же касается сборника «Из-под глыб», то он был воспринят большинством своих читателей, являвшихся одновременно его героями, резко отрицательно (как сборник «Вехи» — его

читателями и героями). Солженицын оказался вдруг не своим. Его статьи в сборнике вызвали шоковую реакцию. Они были восприняты читающей самиздат публичкой как неожиданное и необъяснимое впадение недавнего ее кумира в махровую «реакционность» (повторение истории «Вех»). В этом сошлись и активнейшие протестанты-антисоветчики, авторы и организаторы самиздата (не все, но большинство таковых), и листающие самиздат с дрожью в коленках интеллигентные обыватели. Очень немногие увидели тогда в статьях одиозного сборника поворот к насильственно прерванному самоосмыслению российской интеллигенцией ее роли в отечественной истории.

В своем прочтении «Из-под глыб» я ограничусь только работами Солженицына. В одних статьях сборника нет к ним существенных дополнений. Тематика других — вне моей компетенции. Так или иначе, именно статьи Солженицына продолжают и развивают проблематику «Вех» и «Из глубины» на уровне, достойном славных предшественников.

В русле общей своей задачи (осмыслить новую и новейшую историю России в качестве ключа к ее современности) Солженицын не мог не попытаться самостоятельно прощупать шаг за шагом пути российской и советской интеллигенции. Если это и была реакция, то в первичном, а не в политизированном значении слова. Ре-акция эта означала напряженное и углубленное осмысление грандиозной и еще не исчерпавшей себя до конца акции революции и ее последствий.

Солженицын в этом своем осмыслении отбросил все ограничения диссидентского хорошего тона. Не только цензурные, это ему охотно и с восхищением прощали. Его вина перед советским читающим слоем состояла в том, что путем постепенного и нелегкого преодоления он отклонил все священные штампы его мышления. Последовательно уходя все глубже в предысторию текущего времени, он осваивал разные мировоззренческие стереотипы предшествовавших победе коммунистов «отмеренных сроков». Принимая первоначально некоторые из них за истинную истину, он в дальнейшем движении их перерастал, отставлял или корректировал. В конце концов складывалась позиция, наиболее отвечающая истине — таковой, какой она виделась лично ему.

А. К. Толстой писал в 1858 году: «Двух станов не боец...» Солженицын стал в этом своем поиске всех станов не бойцом. Так, по крайней мере, казалось тем, кто числил его до этого в своем стане. На самом деле все станы оказались настолько раздробленными, переплетенными и разошедшимися, что ни к одному из них он не смог примкнуть безоговорочно и бесповоротно. Оглядок на личности и обстоятельности Солженицын не принимал, условностей ни одной корпорации не придерживался, честолюбия и слабостей оппонентов (и непоследовательных, разочаровавших его союзников) не щадил. Главное же — он без колебаний пренебрегал прогрессистскими штампами своего времени (и на родине и в изгнании). Его работа требовала уединения — круг общения сузился. Всего этого ему, естественно, не простили. Но это позже. Первым ударом по его связям с диссидентской средой стали «реакционные» его статьи, объединенные в сборнике «Из-под глыб». Реакционным было, по убеждению читающей неподцензурную литературу публики, все содержание сборника. Но статьи Солженицына в нем задели ее особенно больно: ведь он был любимец, кумир, легенда — и такая измена всему прогрессивному и передовому!..

Мне уже случалось писать о каждой из этих его статей⁴. Но я впервые попытаюсь их прочитать в контексте мировоззренческой трилогии «Вехи» — «Из глубины» — «Из-под глыб».

Может быть, в наименьшей мере связана со сборником «Из-под глыб» как с неким целым статья «На возврате дыхания и сознания». Теснее же всего примыкает к «Вехам» одиозная в глазах большинства прочитавших ее современников «Образованщина». Именно она (как поздней — «Наши плюралисты») вырыла «бомбовый ров» (Солженицын) между ее автором и советским образованным слоем. Даже в той его части, которая не только почитывала самиздат, но и распространяла его и входила в число его авторов. Самиздат, а затем гласность показали, насколько различными были положительные идеалы мыслящего слоя, объединенного своим отрицательным отношением к советской реальности. В одиночестве Солженицын, разумеется, не остался, но оппозиция к нему в читающем самиздат слое оказалась

⁴ См. Штурман Д. Городу и миру. «Третья волна». Париж — Нью-Йорк. 1988.

преобладающей. Она значительна (в разных кругах и странах) и по сей день. Однако выросло и число сочувственных и заинтересованных читателей. Попытаемся же перечитать статьи Солженицына в сборнике «Из-под глыб» непредвзято.

* * *

В первом приближении резко бросается в глаза черта, которая противопоставляет позицию Солженицына его предшественникам.

Эта черта — категорический отказ от одного из центральных мотивов обоих (особенно второго) сборников, от их имперского мироощущения. Словно провидя сегодняшний день, Солженицын уже в начале 70-х годов говорит в основном о собственно России и о двух ближайших к русскому (этнически, исторически и культурно) народах — украинском и белорусском. Украинцами это нередко воспринимается как посягательство на их суверенитет (позиция белорусской интеллигенции кажется более мягкой). Народы же, которые Солженицыну уже в начале 70-х годов не видятся в будущем государственно объединенными с Российской Федерацией, часто воспринимают это как их одностороннее отторжение. И ни первые, ни вторые не видят двух оговорок: в первом случае — о безусловной добровольности союза, во втором — о теснейших и многообразных связях при государственном разделении. (Последний мотив особенно отчетлив в брошюре «Как нам обустроить Россию».)

Но мне хотелось бы остановиться на тех идеях статей Солженицына в сборнике «Из-под глыб», которые генетически восходят к «Вехам» и «Из глубины». Между первым сборником («Вехи») и вторым («Из глубины») произошли один за другим два взрыва (Февраль и Октябрь 1917-го), сделавшие их авторов и героев обитателями иной реальности. Авторы «Вех» не предчувствовали всей неотвратимости и близости взрыва. Авторы «Из глубины» в большинстве своем еще, по-видимому, не осознали масштабов повреждений, нанесенных этим взрывом России. Голоса третьего сборника («Из-под глыб») пробиваются из-под развалин в некоем предчувствии возрождения. Не случайно первая статья Солженицына в этом сборнике называется «На возврате дыхания и сознания».

Существенная часть этой статьи посвящена диалогу и полемике с А. Д. Сахаровым. Я постараюсь как можно меньше касаться здесь этой темы. Дискуссия между Солженицыным и Сахаровым — предмет для особого исследования, а не повод для попутных замечаний. В данном случае меня занимает не эта дискуссия, а развитие линии, обозначенной выше («Вехи» — «Из глубины» — «Из-под глыб»). Решив не касаться того стержня статьи, вокруг которого организовано ее содержание (темы Сахарова), я отмечу лишь несколько очень существенных моментов. Статья написана за четыре года до выхода в свет в самиздате и за границей всего сборника (в 1969 — 1970 годах). Но вот как оценивает автор ее актуальность (и вот почему я решаюсь коснуться ее вне требующей отдельного рассмотрения темы Сахарова):

«Эта статья была написана 4 года назад, но не отдана в Самиздат, лишь самому А. Д. Сахарову. Тогда она была в Самиздате нужней и прямо относилась к известному трактату. (Имеется в виду статья А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» — Д. III.) С тех пор Сахаров далеко ушёл в своих воззрениях, в практических предположениях, и сегодня к нему статья уже мало относится, она уже не полемика с ним.

Так теперь поздно! — возразят. То ли ещё у нас не поздно! Мы и полстолетия ничего не успевали ни называть, ни обмысливать, нам и через 50 лет ничто не поздно. Потому что напечатана у нас — пустота! Во всяком таком опоздании — характерная норма послеоктябрьской русской жизни.

Не поздно потому, что в нашей стране на тех мыслях, которые Сахаров прошёл, миновал, ещё коснеет массивный слой образованного общества. Не поздно и потому, что, видимо, ещё немалые круги на Западе разделяют те надежды, иллюзии и заблуждения»⁵.

⁵ Все цитаты из статей А. Солженицына, помещенных в сборнике «Из-под глыб», даются по изданию: «Из-под глыб». М. 1992.

С одной стороны, будет ли России еще и через пятьдесят лет что-либо не поздно, сегодня трудно сказать. Несомненно было бы не поздно и через пятьдесят лет, если бы не прибавились во всем мире факторы, которые медлить не позволяют.

Для чего же обсуждение, ежели не для отыскания мер? Солженицын — человек высшей степени вовлеченности в события. Им всегда владеет обостренная ответственность за них. А события обрели роковой параметр: экологический со входящим в него ядерным. В этом плане управлять ходом события на одной шестой части суши — значит подарить планете надежду выжить. И наоборот: не управлять — значит убавить эту надежду. Поэтому все опасения и предупреждения Солженицына неизменно наращивают свою злободневность. И по той же причине слово «долг» в следующем отрывке умаляет надежду: длить нынешнюю неразбериху смертельно опасно (май 1994). Солженицын предвкушал возрождение, воскресение свободного слова. Но и предвидел те противостояния, которые вместе с ним возникнут, точнее — проявятся:

«Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долг (выделено мною. — Д. Ш.), и снова мучителен — тем крайним, прбпастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга.

За десятилетия что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись (выделено мною. — Д. Ш.), не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедённо втолакиваемые через магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучёбы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповреждённых умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокость колодок, в которые загнаны были незрелыми, — а по нашей умственной разьединённости ни на ком не могут себя проверить».

Это ведь в 1970 году сказано, когда казалось нам всем (или почти всем), что только бы отворить шлюзы, вырвать свободу самовыражения — и все решится наилучшим образом. Мы были уверены, что на свободе лучшее и вернейшее из слов не победить не может. Будто не пришли к власти Ленин и Гитлер в наидемократичнейших республиках, при полнейшей свободе словоизвержения.

Знаменательна (и в дальнейшем будет Солженицыным развита) его полемика реплика о социализме (святыне подавляющего числа диссидентов 60 — 70-х годов):

«...нигде в социалистич ских учениях не содержится внутреннее требование нравственности как сути социализма — нравственность лишь обещается как самовыпадающая манна после обобществления имуществ. Соответственно: нигде на Земле нам ещё в натуре не был показан нравственный социализм (и даже такое словосочетание, предположительно обсуждённое мною в одной из книг, было сурово осуждено ответственными ораторами). Да что говорить о «нравственном социализме», когда неизвестно: вообще ли социализм всё то, что нам называют и показывают как социализм. Он — в природе-то есть ли?»

И еще одно совершенно еретическое (в глазах рабов) высказывание — о степени самодостаточности, самоценности свободы:

«Действительно, в нашей стране интеллектуальная свобода преобразила бы многое сейчас, помогла бы очиститься от многого. Сейчас, из той впадины тёмной, куда мы завалены. Но глядя далеко-далеко вперед: а Запад? Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и от интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздёрганной и сниженной душой. Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. Интеллектуальная свобода — очень желанный дар, но как и всякая свобода — дар не самоценный,

а — проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей»

Впоследствии Солженицын заговорит о Западе иначе, глубже, в другом тоне. Но существо его мысли, многократно искаженной и искажаемой оппонентами, останется прежним: **свобода — одно из необходимых условий полноценного существования; но она не самодостаточное его условие.** По убеждению и чувству Солженицына, к слову «свобода» необходимы дополнительные определения. Свобода — в чем? Свобода — для чего? Свобода — чего?

Почти невозможно было почувствовать в условиях тоталитарного рабства ущербность и разрушительность культа свободы, не оговоренного нравственным самоограничением. Солженицыну помог в этом уже тогда постигаемый многолетним изучением опыт российского Февраля. Но настороженность к свободе «без конца и без края» воспринята была современниками не как прозорливость и не как результат постижения исторического опыта, а как все та же пресловутая реакция.

В размышлениях Солженицына будет многократно продолжена и та линия «Вех», которая заставила (в тех же «Вехах») правоведа Кистяковского — в противовес ей — отстаивать решающую и принципиальную значимость категории юридического права.

Большинство авторов «Вех» и Солженицын заняты преимущественно более высокими духовно феноменами, чем право: верой, нравственностью, этикой. Кистяковский же, с одинаковыми основаниями оглядываясь назад, взирая вокруг и пророча будущее, доказывает, что вне «четкого, ясного и воспроизводимого права» (много более поздняя формулировка Н. Винера) жизнь общества, а следовательно, долг и права личности не могут быть приближены к нравственным абсолютам. Это давний и все еще не решенный спор. Страстность Солженицына не раз порывалась поставить право ниже горения абсолютной нравственной истины. Однако история русской революции доказывает и показывает: без «четкого, ясного и воспроизводимого» права жизнь будет просто взорвана и убита хаосом взаимно противоречивых устремлений. Она, жизнь, слишком сложна и внутренне конфликтна, чтобы оставаться удовлетворительно сносной и плодоносить, не будучи постоянно вводимой в рамки не идеальных, но хотя бы ориентируемых по нравственному идеалу правовых норм. «Красное Колесо» развернуло перед нами картину жизни **со взорванным правом.** Между тем сколь многие полагали, его раскачивая и взрывая, что действуют «по справедливости» (и это тоже показано). В «Архипелаге ГУЛАГ» воспроизведена та стадия катастрофы, когда право полностью заменяется своеволием победителей. В «Красном Колесе» пренебрежением к правам личности закладывается фундамент права сильного. Так или иначе, в трудном подвиге постижения теме соотношения права и справедливости уделено Солженицыным одно из первенствующих мест. В этом смысле знаменательно «Добавление 1973 года» к статье, о которой мы говорим. В нем, в частности, сказано:

«Внешняя свобода сама по себе — может ли быть целью сознательно живущих существ? Или она — только форма для осуществления других, высших задач? Мы рождаемся уже существами с внутреннюю свободой, свободой воли, свободой выбора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная — очень желательна для нашего неискаженного развития, но не больше, как условие, как среда, считать её *целью* нашего существования — бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной (насмешка Достоевского «среда заела»). В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным (например: покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки). Сопrotивление среды награждает наши усилия и бóльшим внешним результатом.

Поэтому в настойчивых поисках политической свободы как первого и главного есть промах: прежде хорошо бы представить, что с этой свободой делать. Таковую свободу мы получили в 1917 году (и от месяца к месяцу всё бóльшую) — и как же понять мы её? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. И с телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей»

Мне уже случалось писать, что этот тезис статьи вызывает серьезные опасения. В нем не поставлена граница, не определена та степень несвободы внешней, при которой обыкновенный (не святой) человек решительно теряет «возможность развиваться к целям нравственным». Это происходит, например, тогда, когда он перестает быть человеком и становится обезумевшим от боли и ужаса существом. Когда перейдены границы психически и физически выносимого, существо превращается в организм и хорошо, если быстро — в труп. Такие обстоятельства возникали в страшном XX веке, в частности в СССР, массово. Что происходит в это время с душой, я не знаю. Мне повезло: меня не пытали в СССР (хотя я и сидела, то есть побывала в тюрьме и в лагере); меня не удушили газом и не сожгли в гитлеровском рейхе (хотя в Польше убили большую часть семьи моей матери); на меня не надели горящую шину друзья супруги лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы; я не испытала «укрутки» в психушке, пыток «культурной революции» в Китае и т. п. Как бы я в перечисленных обстоятельствах смогла «развиваться к целям нравственным», я не знаю. Это главное мое возражение Солженицыну в вопросе о самоценности свободы и права — такого, которое исключает вышеперечисленные ситуации.

Но перечитываешь дополнение 1973 года в 1994 году, и бьет в глаза искра прозрения недалекого будущего:

«И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю (выделено мною. — Д. Ш.), — может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным».

Но опоздали в СССР с таким переходом. Не нашлось своевременно прозорливых и зорких авторитариев (преобразователей, а не коммунистических демагогов), которые провели бы необходимые реформы в осторожно смягчаемых политических обстоятельствах.

Я думаю, что следующий ниже финал статьи заключает в себе и прозрения и ошибки, общие в конце 60-х — начале 70-х годов для большинства самых вдумчивых аналитиков советской системы. Не поленимся перечитать его:

«Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она недемократична, авторитарна на основе физического принуждения, — в таких условиях человек ещё может жить без вреда для своей духовной сущности.

Всемирно-историческая уникальность нашей нынешней системы в том, что сверх всех физических и экономических понуждений от нас требуют ещё и полную отдачу души: непрерывное активное участие в общей, для всех заведомой лжи. Вот на это растление души, на это духовное порабощение не могут согласиться люди, желающие быть людьми.

Когда кесарь, забрав от нас кесарево, тут же, ещё настойчивей, требует отдать и Божье — этого мы ему жертвовать не смеем!»

Советская система не авторитарна, а тоталитарна, тотальна. В этой системе высшая ее инстанция, единоличная или групповая, берет на себя командование всеми (потому и тотальна) сферами жизни: политической, экономической и духовной. Более и полнее всего духовной. В том числе — производством всех видов информации⁶, их распространением и обменом. По чисто математическим причинам (бесконечное количество непрерывно меняющихся параметров) центр Системы не может управлять всеми взятыми им под свое начало процессами. Все его усилия волей-неволей направляются на овладение ситуацией политическими (внешними,

⁶ Слово «информация» употреблено здесь в наиболее общем и точном смысле (все сигналы, циркулирующие в Системе).

силовыми) средствами, и главное — на запрет правдивого слова и свободной мысли. Ведь король-то голый!

Столь гигантских Систем, в такой степени централизованных, то есть экономически нерациональных, тупиковых, бессмысленных, в истории еще не существовало (были карликовые прецеденты). Солженицын прав, когда говорит, что отказ от лжи взорвет Систему. Ее и взорвала горбачевская «гласность». Она лавинообразно ускорила и без нее идущий с 1917 года фундаментальный хозяйственный, экологический, организационный распад. Но сам по себе такой взрыв не несет в себе созидательного начала. Гласность (без кавычек) лишь проявила то трагическое обстоятельство, с описания которого Солженицын начинает свою статью.

Но когда, при Горбачеве, заговорили тысячи и десятки тысяч, то сами же были и поражены (предсказанным на пятнадцать лет раньше)

«тем крайним, про́пастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга».

И зинуло. И зияет по сей день все более угрожающе.

А когда за обвалом словесным ускорился до небывалых скоростей и развал вещественный, оказалось, что ничего вещественного же, в том числе и организационного, на смену рушащейся (в зародыше уже обреченной) Системе не подготовлено. И тут Солженицыным заданный вопрос («...я не утверждаю это, лишь спрашиваю...») станет стержневым. Я не могу не процитировать, выходя за пределы сборника «Из-под глыб», развернутую форму того же вопроса, в которую он развился через несколько лет.

В одном из первых своих выступлений на Западе (пресс-конференция в Стокгольме 12 декабря 1974 года) Солженицын сказал:

«Я в своем «Письме вождям», которое было почти исключительно неверно понято на Западе, хотя можно легко перечитать его, совсем не говоря, что западная демократия вообще не годится для России, там нет этого. Там сказано только, что мы сейчас, именно мы вот, Россия, и именно сейчас, мы к ней не только не готовы, но менее готовы, чем в 17-м году. А в 17-м году, когда мы были более готовы, когда у нас было уже все-таки 12 лет общественной жизни, парламента... в 17-м году мы настолько еще были не готовы, что это привело к изнурительной гражданской войне и возникновению тоталитарного государства.

<...> развитие в сторону демократии должно происходить в России в условиях сильной власти (выделено мною. — Д. Ш.). Если же объявить демократию внезапно, то у нас начнется истребительная межнациональная война, которая смоеет эту демократию вообще в один миг, и миллионы лягут совсем не за демократию, а просто будет межнациональная война».

И еще следующее:

«А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то ещё скорей начнутся) разбой и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни?»

Это уже не столько вопросы, сколько суждения. Все-таки, по-видимому, наиболее целесообразный (не исключено, что единственно возможный) не катастрофический переход от окостеневающего, омертвевшего социализма к правовому и продуктивному устройству общества должен пройти через преобразующий реформаторский авторитаризм. Но как он редко случается, такой переход. За авторитаризмом ведь могут стоять хасбулатовы, руцкие и жириновские, а не Столыпин. Прыжок же в демократию из пропасти или с ледящей скалы тоталитаризма без авторитарной амортизации вряд ли мыслим (в лучшем случае — крайне рискован) Станет ли президентская конституция Ельцина таким амортизатором для России?

Не берусь гадать: для выполнения миссии авторитарного раскрепощения нужен не только закон, но и достаточный круг деятелей. Имеется ли он в России? Обладает ли президент Ельцин не только доброй волей, но и силой, средствами и приемами ее осуществления? Я не знаю (1994).

Солженицын весь еще вдохновлен идеей жизни не по лжи, которую он для себя лично, в своем творчестве, осуществляет. Но вместе с тем он не может не чувствовать (а вскоре и обоснует), что в той бездне, в которую впала Россия, помимо разногласного спора многих правд и многих неправд (и даже одной, как ему видится, правды против многих неправд) нужны принципиальные и неотложные практические преобразования. И провести их могла бы только сильная и прозорливая власть.

Он осознаёт все опасности авторитарной системы:

«У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой, есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных, веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности»

Но подчеркну еще раз: Солженицын не может не осознавать и того, что преобразования, назревшие за полвека насилия и разрушения, может более или менее удовлетворительно осуществить только по-настоящему сильная и целенаправленная власть. Впоследствии будет многократно повторена и развита эта мысль, и не одним только Солженицыным. Но никто не вспомнит, какую лавину негодования обрушили на него апостолы безграничной свободы, когда он впервые высказал эту непопулярную идею.

* * *

Вторая статья Солженицына в сборнике «Из-под глыб» называется «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»

Человек размышляет. Он осмысливает сложнейшую действительность, ищет нравственный выход из ее лабиринтов и тупиков. Он предельно искренен. Он стремится быть объективным и справедливым. Тем не менее он в какой-то мере и пристрастен: первые крики из-под заваливших поколение каменных глыб не могут быть раздумчиво-взвешенными. Все чувства и мысли в них обострены болевой реакцией на толщу и мощь обвала.

Первая попытка самоизлечения пленного духа — перенос на постигаемую реальность оценок, применяемых к лицам и малым человеческим сообществам:

«...благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... Да так все и пишут, даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно: какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества — те и окрашивают собой в данный момент всё общество, и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов.

И всегда открыто для каждого, даже неучёного, и представляется весьма плодотворным: не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики.

Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя: раскаянием и самоограничением».

С такой преамбулой эта сравнительно ранняя статья Солженицына обречена была на известную долю утопизма.

При переходе от лиц, семей и малых сообществ «к тысячным и миллионным ассоциациям» (тем более к миллиардным) меняется механизм действия многих законов (природных ли, заданных ли свыше — как угодно верить). Утопия обычно пренебрегает деталью, незаметной на фоне ее грандиозных истин. Но эта незамеченная деталь и делает замысел утопическим. Утопическое «если бы все.. или большинство...» есть именно такая мелочь: на бесконечно большие множества нельзя переносить законы, действительные для сравнительно малых групп. Миллионы и миллиарды — это конечные величины, но вся совокупность человеческих отношений внутри таких множеств (психологических, социальных, эмоциональных, экономических и пр., и пр.) бесконечно велика и изменчива. Это не означает, что к таким совокупностям нет ключей. Но к ним применимы принципиально иные ключи, чем к малым сообществам.

Так, раскаяние в отношениях человека к человеку может быть абсолютным и выразиться в полной самоотдаче. Человека с человеком, семью с семьей, малую группу с малой группой можно и рассудить, и повелеть возместить урон (не всегда, но часто возможно). Народ с народом уже так не рассудишь. И не может народ во всех своих поколениях испустить нанесенный когда-то другому народу даже и страшный ущерб. Тем более что у каждого большого множества свой счет и обид и грехов. Здесь, как и в вопросе о нравственных абсолютах и праве, неизбежна определенная юридическая формализация. К примеру: здесь могут действовать законы давности, здесь невозможно не округлять и не закруглять взаимных расчетов.

Представляется также, что раскаяние и самоограничение — явления не одного ряда. Без самоограничения цивилизованное человеческое общежитие вообще невозможно. В большом и многосоставном человеческом сообществе самоограничение есть обязательное условие выживания и удовлетворительных взаимоотношений. Если человечество не выйдет в правовое пространство разумного самоограничения, то оно падет жертвой собственного своеволия. Самоограничение — феномен прежде всего нравственный, но и социальный. Он распространяется и на этику, и на экологию, и на производство, и на потребление, и на взаимоотношения с соседями (как по дому, так и по планете). Стоило бы подчеркнуть, что многоаспектное самоограничение должно и может иметь выражение в праве. Не во всей, разумеется, полноте и не во всех отношениях, но с большой степенью приближения к уровню, отводящему от человечества угрозу гибели.

Раскаяние в отличие от самоограничения — категория чисто нравственная, духовная. Оно имеет характер более личный, существенно менее нормативный, чем самоограничение. Но Солженицын в обоих случаях имеет в виду не только глубоко личные проявления того и другого. Он говорит «мы», имея в виду то ли «мы, русские» (что вероятнее), то ли «мы, россияне» (что реалистичнее). В условиях, когда писалась его статья, ни первое, ни второе «мы» не являлось реальным объектом волеизъявления. Инициатива была сосредоточена в высшей точке Системы, без санкции коей ни одно радикально-созидательное шевеление не мыслилось.

Солженицын знает, кто хозяин в стране (отсюда — «Письмо вождям»), видит принципиальную неработоспособность Системы в созидательном смысле. В те годы только и оставалось, что уповать на промыслительный поворот к свету всего «мы». Но ни вожди, ни «мы» Солженицына не услышали и к свету своевременно не повернулись. Саморазрушение неработоспособной Системы дошло до критического момента, не выпестовав к этому времени жизнеспособного ее преемника. Преемник, ищущий дорогу на ощупь, методом проб и ошибок, появился уже на краю обрыва. Его шансов и качеств мы здесь не обсуждаем. Призыв Солженицына «жить не по лжи» (подчеркиваю: жить, а не только самовыражаться) осуществился в форме всеобщего лавинного выговаривания своих правд, а не радикального массового изменения образа своей жизни. В этом словесном урагане («рев племен»? нет: рев племен) голоса тех немногих, кто предлагал дело, заглушались хором обид, обвинений, угроз, оживших агрессивных и прекраснодушных утопий. Говорящих дело в таком реве не слышат. Но солженицынское «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» прозвучало в почти полной еще немоте. И его почти не расслышали (многие ли читали тогда нелегальщину?). А из услышавших многие осмеяли. И среди осмеявших — какие тонкие, просвещенные люди. Но не поняли. Или не захотели понять. А стоило хотя бы всерьез задуматься. Тогда очень болезненно все отозвались на запоздалый его упрек татарам. Но не заметили центральной пропозиции: предложения разубить гордые узел, прекратить наконец счет взаимных обид и обратиться каждому на себя. Не увидели (а

если увидели, то осудили: изоляционизм), что Солженицыным обсуждаются пути государственного развития не СССР, а России (это в 1973 году!). Солженицын предвосхитил события на двадцать лет. Кто об этом вспомнил?

В этой важнейшей теме хотелось бы снова обратить внимание читателя на момент, который не раз был мною отмечен. Когда все послесталинское диссидентство, активно действовавшее внутри СССР, не подвергало ни малейшему сомнению социализм (как учение и как принцип), Солженицын в анализируемой нами статье говорил о ценности частной собственности в ее цивилизованных формах. Это было записано прогрессистами (в качестве немаловажного пункта) в состав его преступлений, в число доказательств его реакционности. А он и в этом шел впереди «прогресса», не знаю, прочитав ли к тому времени отечественные и западные исследования этой проблематики или придя к сходным результатам самостоятельно.

Солженицына часто упрекали и упрекают в том, что судьба украинцев, белорусов и русских издавна и по сей день видится ему общей. Мне же, напротив, представляется (и представлялось), что он был и остался в этом вопросе удивительно прозорливым. Более того: он недооценил и тогда, и в более поздних «поисильных соображениях» вряд ли уже делимую общность судеб большинства народов бывшей империи. Солженицын грешит не упорно вменяемым ему в вину «империализмом», а скорее излишним изоляционизмом. Он не видит, что не только одни славянские народы срослись друг с другом за имперский и советский периоды неразделимо. Разрывы дорого обойдутся, если вообще обойдутся, и другим народам бывшего СССР. Столько веков государственного единства, столько лет расселений, переселений стихийных и целенаправленных не могли не создать переплетенного различными узами и связями конгломерата. В этом вопросе большевистская эра ознаменовалась хитроумнейшими изобретениями. Во-первых, резко усилились верховно организуемые (по разным поводам и предлогам) перемещения, передвижения («этапы») больших этнических масс в инородную им среду. Во-вторых, административно-национальные территориальные единицы, большие и малые, были нарезаны, напластованы так, что разнонациональные анклавов самым неудобным для отделения образом пересекались и входили друг в друга. В-третьих, экономика (я убеждена, что совершенно сознательно) строилась таким образом, чтобы ни один регион, даже такой огромный, как Россия, Украина или Казахстан, не оставался (научно, промышленно, аграрно) самодостаточным. В-четвертых, все существенные экономические связи организовывались не непосредственно, а через центр, через союзные наркоматы, позднее — министерства. При постоянной миграции населения (в силу существования института прописки не свободной, а в меру сил контролируемой) и при целенаправленных «распределениях», переселениях и выселениях в стране практически не осталось этнически однородных районов. А крупнейшие нации — русские и украинцы — оказались расселенными и смешанными семейно повсюду.

Уже ламентации авторов «Вех» по поводу русской национальной и государственной судьбы, русского национального характера, русской религиозной особенности представлялись — в приложении ко всей империи — утопическими. Уже тогда Кистяковский был провидчески прав, когда выдвигал на первый государственно-устроительный план вопросы правовой регуляции, правового упорядочения, правовой универсализации общегития сложнейшей и разнороднейшей машины империи. В сборнике «Из глубины» (1918 год!) поразительные имперские споры и разговоры — без тени мысли о многоверности и многонациональности распадающегося (большевики собрали, чем и покорили эмигрантов-имперцев) полиэтнического образования. Разве что тень антисемитизма (по нынешним временам — очень корректного) в речах Генерала нарушала сосредоточенность мысли только на русских. Даже у евреев, которым вроде бы следовало не забывать о внутримперских напращениях, в сборнике «Вехи» русское превалирует над российским.

Смешение (или отождествление?) понятий «российский» и «русский» наличествует и в третьем сборнике, «Из-под глыб». Я хочу быть понятой правильно. Русские имеют свою историческую, культурную, социальную и т. д. судьбу. У них есть все основания (не говоря уж о правах) быть сосредоточенными в первую очередь на своих проблемах. Но они создали империю и приобщили своей судьбе десятки народов, существенно с ними смешавшись и среди них расселившись, а также позволив им расселиться на искони русских землях. Они могут желать сосредоточиться лишь на себе, но обстоятельства им этого просто не позволяют.

«Даже и более жёсткая, холодная точка зрения, нет — течение, определилось в последнее время. Вот оно (обнажённо, но не искажённо): русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чём-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня, ленинско-сталинское решение идеально; коммунизм даже немислим без патриотизма; перспективы России-СССР сияющие, принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью, что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие — нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественнонаучное мировоззрение или, например, индуизм; писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой.

Всё это вместе у них называется *русская идея*. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)

«Мы русские, какой восторг!» — воскликнул Суворов. «Но и какой соблазн», — добавил Ф. Степун после революционного нашего опыта», —

говорит Солженицын, опровергая избраннические и ксенофобийные тезисы национал-большевизма («русская идея»). **И какая ответственность** — это вытекает из его дальнейшего рассуждения. Русские как исторические создатели империи даже и после ее крушения не могут избавиться ни от этого восторга, ни от этого соблазна, ни от этой ответственности. Ведь рушатся только связи, а расчлененное, но живое тело с его этногенезом, с его культурогенезом, с его еще недавно единым, а теперь бесцеремонно и безумно дробимым хозяйственным пространством — осталось существовать. И части этого исторического тела грозят передрапаться между собой, как в фильме ужасов.

Задолго до наступления этой ирреальной реальности Солженицын (осмеянный за то наиславнейшими россиянами) думал о надвигающемся крушении и набрасывал первую приближенную (позднее последуют уточнения) схему выхода из (почти уже) тупика:

«По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу»

Я вынуждена привести большой отрывок, без которого не ясна будет позиция Солженицына, ее сильные и слабые или непрявленные стороны:

«Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по нашей Теории — ведущие, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетних культур — второстепенны) (выделено мною. — Д. Ш.)...»

Здесь я на мгновение прерву цитирование и попутно замечу: многие ли из прославленных диссидентов начала 70-х годов сказали с такой определенностью, как (обруганный за это ретроградом) Солженицын:

«Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия (выделено мною. — Д. Ш.), и благодетельны были бы для общества, если бы только... если бы только носители их на первом же пороге развития самоограничились, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого

гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм».

Но вернемся к прерванному рассуждению:

«Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для жилья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противостоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издёргиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении их ожидает нас престиж истинный, а не тленный. Дальних ли тёплых морей нам добиваться или чтобы теплота разлилась между собственными гражданами вместо злобы?»

Но — не отошли вовремя, и последствия успели стать страшными: развалилась насильственно слепленная постройка, а заменить оказалось нечем.

Однако далее следует сквозное для всех трех сборников игнорирование (или необсуждение) важнейшего и судьбоноснейшего момента. Беженцев, реальных и потенциальных, со всех окраинных и не преимущественно русскими заселенных земель, ранее входивших в империю и/или в СССР, окажется лет через двадцать непосильно много для истощенной социализмом России. А кроме того, и в самой России, в Российской Федерации народов пребудет множество, и невозможно выделить из них для какой-то созидательной миссии собственно русских. Если же речь идет о россиянах, то терминология не должна сбивать с толку. Ее определенность в данном контексте нужна не менее, чем в точных науках:

«Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать свое горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома»

Не остаться уже русскому народу наедине с собой после стольких веков имперского и стольких десятилетий советского существования и смешивания. А потому примем, что речь идет обо всех народах и национальностях, не отделяющих своих судеб от российской. И тогда нам в отличие от многих острословов-насмешников нечего возразить против следующих (в 1973 году — своевременных, а сегодня как бы уже не опоздавших) строк:

«К счастью, дом такой у нас есть, ещё сохранён нам историей, неизгнанный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе (выделено мною. — Д. Ш.) — обратим своё национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустынность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни.

Северо-Восток — это Север Европейской России — Пинега, Мезень, Печора, это и — Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, по сегодня пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле. Но и тундра и вечная мерзлота Нижней Оби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадежно при технике XXI века и перенаселении его.

Северо-Восток — тот ветер, к нам, описанный Волошиным:

В этом ветре — вся судьба России...

Северо-Восток — тот вектор, от нас, который давно указан России для её естественного движения и развития.

Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном вызябании. Но лишь два-три десятилетия ещё, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство (выделено мною. — Д. Ш.), но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мёрзлые пространства ещё далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы её не разбазарили.

Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства.

Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор *самоограничения*, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; всё развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан направит к расцвету внутреннему, а не внешнему».

И заключительная оговорка:

«Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не соответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы несомненно ещё сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по политической корысти: не для того, чтоб они жили по нашему или служили нам.

Возражат: но как далеко могут нация, общество, государство зайти в самоограничении? Ведь роскошь произвольных и вполне самоотверженных решений, какая есть у отдельного человека, не может быть допущена целым народом. Если народ перешёл к самоограничению, а соседи его — нет, — должен ли он быть готов противостоять насилию?

Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманной угрозой, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красоты генералитета. Оставлены — в надежде, что начнёт же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнёт меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет».

* * *

Самую бурную реакцию советской элитарной читающей публики 70-х годов вызвала статья Солженицына с провоцирующим на такую реакцию названием — «Образованщина». Конечно же, это была прямая преемственность от «Вех» (вспомним бердяевскую «интеллигентщину»). Но многие ли тогда, особенно вне Ленинграда и Москвы, читали «Вехи»? В сознании даже весьма нестандартно начитанного меньшинства советского образованного слоя «Вехи» ассоциировались не только с ленинской, но и с досоветской либеральной критикой. А на досоветский либерализм интеллигенция начинала привыкать полагаться.

Итак, сложился уже устойчивый стереотип дважды опосредованного восприятия «Вех»: из советских оценок (в учебниках и литературе) и из досоветских леволиберальных и левых оценок вплоть до ленинской. Солженицын же в «Образованщине» с доверием апеллировал к «Вехам». И в глазах образованной публики это

оказалось дополнительным голом в его ворота — еще одним доказательством его постыдной реакционности.

Некий оттенок страстного неопитства в «Образованщине» определенно присутствует (как и во всем сборнике «Из-под глыб»). Все впервые (или вновь) открытое воспринимается открывателями с чрезмерной горячностью. Особенно если они чувствуют, что открывают несомненные ценности, и при этом видят, что в оппозиции к ним находится большинство их же социального слоя. Кроме того, страстное желание убедить часто воспринимается и выглядит как не менее страстное желание обличить. Между тем бесчисленные тогдашние оппоненты Солженицына давно уже не замечают, что понятия «образованщина», «образованец», «образованщичий» не сходят ныне у них с языка. Слова эти прочно вошли в русский язык и, подобно термину «интеллигенция», потеряли авторскую принадлежность.

Солженицын подхватил эстафету российского самоосмысления «на возврате дыхания и сознания». В начале 70-х годов у него появилась надежда, что дно бездны достигнуто и надо искать уступы и поручни для подъема. Он торопился разделить это чувство с теми, чей слух, как ему представлялось, был открыт.

Вот как более чем через полвека после «Вех» подводит Солженицын итог победы-поражения «„революционно-гуманистической” интеллигенции» на заре новой жизни:

«Интеллигенция сумела раскатать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять ее обломками (выделено мною. — Д. Ш.). (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался «народ — не такой», «народ обманул ожидания интеллигенции». Так в этом и состоял диагноз «Вех», что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена! Однако незнание — не оправдание. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в темной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей её русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции ещё в революционные 1918 — 20 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но голодом, тяжёлым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своём героическом экстазе готова не была и — чего уж от самой себя никак не ожидала — в гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уже раз, но теперь — вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами».

А затем беспощадно очерчен и соблазн, лишь немногих из дооктябрьской интеллигенции и ее детей миновавший:

«...понять Великую Закономерность, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать самим, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеи-ны общественных обвинителей, и не закиснуть в своей «интеллигентской гнилости», но утопить своё «я» в Закономерности, но заглотить горячего пролетарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Ещё бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И ещё долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как заправдашние стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины не было.) Кто-то шёл в это «догонянье» Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально, однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загнипнотизированно, охотно дав себя загнипнотизировать».

Набросав пунктирно, с предельной краткостью, но весьма точно историю перерождения и слоя и слова, Солженицын приходит к выводу, оскорбившему многих (сегодня — 1994 — эти же многие цинично и горько именуют себя и своих соотечественников совками):

«Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс, и само слово «интеллигенция» было заброшено, упоминалось почти исключительно как бранное. (Даже свободные профессии через «творческие союзы» были доведены до служебного состояния.) С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объеме, искаженном смысле и умаленном сознании. Когда же, с конца войны, слово «интеллигенция» восстановилось отчасти в правах, то уж теперь и с захватом многомиллионного мешанства служащих, выполняющих любую канцелярскую или полуумственную работу.

Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со «служащими» (они — «рабочими» оставались), ни тем более с какой-то прогнившей «интеллигенцией», они отчётливо отгораживались как «пролетарская» кость. Но после войны, а особенно в 50-е, ещё более в 60-е годы, когда увяла и «пролетарская» терминология, всё более изменяясь на «советскую», а с другой стороны, и ведущие деятели интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, по технологическим потребностям всех видов управления, — правящий класс тоже допустил называть себя «интеллигенцией» (это отражено в сегодняшнем определении интеллигенции в БСЭ), и «интеллигенция» послушно приняла и это расширение.

Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовётся интеллигентом партийный агитатор и политрук.

Так, никогда не получив чёткого определения интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нём. Под этим словом понимается в нашей стране теперь *весь образованный слой*, все, кто получил образование выше семи классов школы⁷.

По словарю Даля *образовать* в отличие от *просвещать* означает: придать лишь наружный лоск.

Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё то, что самозванно или опрометчиво зовётся сейчас «интеллигенцией», называть *образованщиной*

И как мы ни сопротивлялись (вслух и внутренне) этому публицистическому крещению, слово вросло в язык. Иногда, чтобы выделить из общей стихии «образованщины» *интеллигентного человека* (не интеллигента в веховском или в советском смысле слова, а *интеллигентного человека*), мы подчеркиваем: *настоящий интеллигент*. Ибо «Вехи» критиковали «интеллигентщину», а Солженицын портретировал «образованщину». И ни первые, ни второй не посягали на развенчание и принижение *интеллигентного человека*. Напротив: на него возлагались в обоих случаях спасительные надежды.

«Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберёмся. Народа — нет? <...> Но интеллигенции — тоже нет? Образованщина — древо мёртвое для развития?»

Подменены все классы — и как же развиваться?

Однако — кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве людям можно не жить дальше? Мы слышим их устало-тёплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо, слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда ещё очень свежей, видим их живые готовые лица и улыбки их, испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные, наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, — и как же им всем запретить будущее?

⁷ Я бы сказала — выше десяти классов школы.

Поспешен вывод, что больше нет народа <...>

Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твёрдо поднявшихся и над этой ложью, и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое *интеллигентное ядро* — нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности «привыкших и любящих думать, а не пахать землю», не по научности методологии, легко создающей «отраслевые подкультуры», не по отчуждённости от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре («всюду не совсем свои»). Но — по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности — во имя правды и прежде всего — для этой страны, где живёшь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступаясь удобствами жизни центральной образованщины. Мечтал Достоевский в 1877 году, чтобы появилась в России «молодёжь скромная и доблестная». Но *тогда* появлялись «бесы» — и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодёжь, — она и держала меня как невидимая плёнка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохраняют её завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом»

Интеллигенция в узком слое своем (многие ли тогда прочли «Из-под глыб»?) возлагаемых на нее Солженицыным надежд либо не разглядела, либо сочла их реакционными причудами вчерашнего своего кумира. Между тем наблюдения Солженицына были верны, но надвигалась другая опасность: не успеть.

«Народ», обособленный от интеллигенции, не создает новых социальных конструкций ни в теории, ни на практике. Тем более в том скоростном темпе, который мог бы предупредить катастрофу. У него специализация иная: он делает вещи. В политике и в истории он разбирается слабо. Поэтому он и стоит сейчас с красными флагами, кастрюлями, свастиками и хоругвями и грезит об убившем добрую треть его прошлом.

«Интеллигентное ядро»? В том и беда, что в России оно всегда себя смешивало и смешивает с политиками, а теперь и с чиновниками — с профессионалами государственного строительства и государственного управления. Между тем у интеллигенции должны быть свои, особые, профессиональные задачи и заботы.

Основная масса интеллигенции-образованщины накричалась в эпоху «гласности» и разошлась, изверилась, утомилась, умолкла, увидев, что ни рек молочных, ни берегов кисельных от освобожденного голошения не появилось. Отдельные фигуры из этого слоя удержались (или застряли) в кабинетах власти.

Более полувека «образованщина» не вырабатывала свободно идей государственного строительства. До этого (почти век) она разрабатывала в основном разрушительные и утопические, да еще к тому же заимствованные, на другой почве выросшие идеи. Мудрено ли, что в судьбоносный час возвращения речи она оказалась при своем извечном вопросе: что делать? **Ответы Чернышевского и Ленина провалились. Других у нее подготовлено не было.**

Солженицын (в еще более одиозных в ее глазах, чем «Образованщина», «Наших плюралистах» /1983/) заблаговременно обращался к ней с этими вопросами. Но тогда ей все было ясно как день. Вспомните, как допек Солженицын в «Наших плюралистах» еще «доперестроечных» своих оппонентов:

«Сколько среди них специалистов-гуманитаристов — но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? — да разумными давно бы нас убедили! Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: *какую* демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать «вообще как на Западе» — ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — все приноровлено к *данной* стране, а не «вообще». Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшинства мо-

гут «проглатываться» бесследно, либо, напротив, никогда не составится стабильное правительство.) Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) — нет? — ведь это совсем разное действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать «своё» правительство из одних партийных соображений — то это опять власть партии над народным мнением? А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии — и ни об одной из них мы ещё не слышали. *Ни одного* реального предложения, кроме «всеобщих прав человека»...

А в «Образованщине», в 1973 году, как ему видится путь российского возрождения? Я вынуждена цитировать обширно, ибо статья эта полузабыта:

«И слой, и народ, и масса, и образованщина — состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют своё будущее сами, и на любой точке искривлённого и ниспадного пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

<...> не в том ли заложена наша старая потеря, погубившая всех нас, — что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые ревтрибуналы, и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение «интеллигентного ядра» в 10-е годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность — да застукали пулемёты? И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, — оно не повторяет ли прерванного революцией, оно не есть ли по сути «младовеховское»? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев: «Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещённым и ясным пониманием культурных и исторических задач страны». И С. Булгаков: «Образованный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волею».

Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузвано: его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит — но жажда правды, но жажда очиститься душой и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и «неграмотные сектанты», и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещённый академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот — назад, в привычную багровую тьму этого полувека <...>

Обществу столь порочному, столь загрязнённому, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки — на одного. Проход в духовное будущее открыт только одиночно, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву.

Меняются времена — меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание. И по приженности запуганных характеров это не легче, действительно < . >

Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составится эта элита, кристаллизующая народ.

Станет фильтр для каждой следующей частицы всё просторней и легче — и всё больше частиц пойдёт через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный *народ* (это своё понимание народа я уж высказывал). Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений.

А другого пути я решительно не вижу для России <...>

И если написать крупными буквами, в чём состоит наш экзамен на человека:

НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ! НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это — жертва, смелый шаг? а не просто признак честного человека, не жулика?

Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает — это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у нас — не прихоть развратных натур, а форма существования, условие повседневного благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка её, миллиарды скрепляющих крючочков, на каждого приходится десяток не один.

Именно поэтому нам так гнетуще жить. Но именно поэтому нам так естественно и распрямиться! Когда давят безо лжи — для освобождения нужны меры политические. Когда же запустили в нас когти лжи — это уже не политика! это — вторжение в нравственный мир человека, и распрямление наше — *отказаться лгать* — тоже не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства».

Для 1974 года много тут было верного, много трезвых прозрений, но... Снова возникает ряд возражений, связующих «Из-под глыб» с двумя предыдущими сборниками условной трилогии.

Мы уже не раз говорили, что «с русской душой» (очень аморфное и разночтемое определение) неустранимо многонациональную и многокультурную в своих корнях Российскую Федерацию не обустроить. Подчеркивалось и другое: уже в 1909 — 1911 годах чистое философствование (в своем кругу) и духовное подвижничество без заботы об эффективном пропагандистском влиянии на широкую общественность, без активной поддержки организационно-политических усилий государства (а они были) угрожали не повлиять на события. Революционной взрывчатке радикалов никогда не противопоставлялась с такой же мощью и распространением либерально-конструктивная мысль. В 1918 году, в столпотворении взрыва и всеобщей ошеломленности, можно было уже разве что воевать (банально: оружием), а не размышлять за письменными столами. Размышляющих за выстрелами и грохотом уже никто не слышал. Да и типографии реквизировались победителями. Но и в 1973 году, когда осмысление происшедшего вырвалось «из-под глыб», только духовно-самосохранительные, только духовно-самосовершенствующие усилия не посевали за противоположно направленными процессами, духовно омертвляющими и вещественно разрушительными. Однако сопротивление этим процессам в его (сопротивления) традиционных для революционеров формах вызывало у складывающихся оппозиций (духовной и правозащитной) глубокое рефлекторное отвлечение. Пожалуй, это неприятие традиционных форм борьбы (пропаганда, организация, конспирация) было единственным, что объединяло обе силы (осмыслителей и правозащитников).

При современном разделении общественных обязанностей интеллигенция — профессиональный думатель и учитель (за все общество и всего общества). Это ее общественная роль. В этом смысле оппозиции были правы, ибо стремились к своим естественным функциям. Но обстоятельства не были естественными: они были уникальными. Слепая махина наращивала свою энтропию и катилась к гибели — не режима, а всего в ней сущего. В таких обстоятельствах фактор времени может самую блистательную работу души и разума «помножить потихонечку на нуль» (Ю Ким). И даже не «потихонечку»: скорость распада неотвратимо росла.

Что же делать (опять роковой вопрос) и, главное, как это делать, если только не махнуть окончательно рукой на посюстороннюю жизнь?

Все перечисленные Солженицыным в его «Образованщине» потери (и более того — вплоть до потери хлеба, воды и воздуха) надвигались и шли на весь народ, на все население, на сопротивляющееся малое меньшинство и ничему не сопротивляющееся большинство. В том числе и на персонафицированных носителей и защитников адских начал тоже. Уже в 1973 году не хватало времени на медленное «продавливание через фильтр»: пропаганда «жизни не по лжи» должна была со-

перничать в своем темпе с распадом. В 1994 году времени остается еще меньше. Четвертое измерение земного бытия — время — требовало уже тогда, в 1973 году, не убоимся этого слова, **прагматизации**, самой незамедлительной, всех пропагандистских, перестраивающих массовое сознание плодотворных процессов. Но многие ли это понимали? И кто бы это позволил в те времена?

Диктатура рушилась не стараниями интеллигенции или какой-то другой сознательной силы. Она развалилась под грузом собственной тяжести, собственной нерациональности и неработоспособности. Трагедия состояла в том, что (как и можно было в сфере такого гнета предвидеть) к моменту крушения диктатуры в СССР не было преемника, не было организации, **способной перенять власть**. Перенять так, чтобы уверенно, без политических помех строить из обреченного на развал монстра (где же взять другой материал?) нормальный государственный механизм. Солженицын в «Письме вождям» попытался подвигнуть на эту задачу верхушку партюкратии, но его не захотели услышать.

Ельцин и его единомышленники 1991 года пришли тогда, когда Горбачев исключил возможность авторитарной («тихой») трансформации нежизнеспособного монстра в жизнеспособное государство. Михаил Сергеевич долго силился подновить, омолодить безнадежный строй и добил своими попытками, своими метаниями то «влево», то «вправо» рушащегося Голема. Ельцин пришел достаточно поздно для того, чтобы его (подчеркну: **осознанная им**) задача: изменить, а не охранить строй, — оказалась титанически трудной. Но эта статья не о Ельцине и не о его отношениях с Солженицыным. Эта статья о трилогии «Вехи» — «Из глубины» — «Из-под глыб».

* * *

Авторы «Из глубины» находились в центре сокрушительного урагана и еще не успели осознать масштаба катастрофы.

Авторы «Из-под глыб» составляли свой сборник на грани того периода, когда еще можно было предупредить предстоящий удар радиоактивной махины о дно пропасти сознательными совместными усилиями власти и общества. Но власть оказалась невменяемой. А времени для медленных, внутренних, органично-духовных подвижек сознания миллионов людей неоставало уже и тогда.

После поражения революционной попытки 1905 года часть российской интеллигенции очнулась от страшного своего, столетнего уже, «недосыпа» (см. гениальную пародию Н. Коржавина на статью Ленина «Памяти Герцена»; Коржавин ее недооценивает, а зря). Авторы «Вех» высказали много глубоких мыслей, но к последним примешивалась немалая доля ретроактивного и перспективного утопизма. Большинство из них недостаточно отчетливо видело главную опасность (социализм, дефицит времени и, прошу прощения за банальность, пропасть между **своим языком и языком масс**). Никто из них не «опустился» (не поднялся) до того, чтобы увидеть союзника в Столыпине, в других государственных деятелях его типа. За исключением Кистьяковского, они пренебрегали вторичной, на их взгляд, категорией права. Они отвернулись от революционерской практики и возвратились в естественную область обитания осмыслителей всего сущего, бывшего и предстоящего — в сферу мысли. Но парадокс уже тогда состоял в недостатке времени для работы только в этой сфере. Уже тогда надо было защищать нормальный ход жизни **практически**, в союзе с тем, что они все еще именовали реакцией.

Надо было **реагировать** на нарастающую революцию **практически** и **общедоступно** — они рефлексировали интеллектуально и **рафинированно**. Это не обвинение, а констатация: **иначе и не могло быть**.

Вторично мыслящая часть общества очнулась уже не от «великого недосыпа», а от Иродова избиения, от полувекowego безжалостного затапывания всего мало-мальски независимого (а заодно и зависимого). Нельзя забывать, что чудовищная власть, осуществлявшая эти смертоубийства, выросла из общих для нее и для большинства веховцев корней, но изменилась до полной неузнаваемости. Авторы «Из-под глыб», восстанавливая преемственность русской мысли, обратились к «Вехам». По сравнению с официальной советской словесностью «Вехи» представлялись откровением. Они и открывали пласты мысли, советской образованщине неведомые. При первом знакомстве ускользало, что авторы «Вех» за восемь лет до роковой революции ничего не сумели ей противопоставить. В том, что идеи «Вех» исторически не сработали, целиком обвинялась не принявшая их среда, а не (частично хотя бы)

постановка самих идей. Это и естественно для неофитов, осваивающих запретные пространства мысли (запретное выступает синонимом истинного).

То, что и авторы «Вех» были болыны многими хворями своего родового слоя — российской интеллигенции, разгляделось не сразу. Статьи Солженицына в сборнике «Из-под глыб» несли уже в себе созревшие зерна его мыслей, того опыта, которого у веховцев не могло быть.

По сравнению с авторами первых двух сборников авторы «Из-под глыб» находились в совершенно особом положении. Они тоже принадлежали к интеллигенции. У них было высшее образование, а у некоторых — ученые степени. Но они постигали свою действительность и обретали опыт предшественников в совершенно непредставимых для отцов и дедов условиях. Они заново изобретали каждый велосипед.

Солженицын, нисколько не преувеличивая, писал в «На возврате дыхания и сознания» (повторю, дополнив):

«За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись (выделено мною. — Д. Ш.), не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедённо втолакиваемые через магнитные глётки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучёбы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповреждённых умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокость колодок, в которые загнаны были незрелыми, — а по нашей умственной разъединённости ни на ком не могут себя проверить.

Мы же, остальные, до того иссохли в десятилетиях лжи, до того изжаждались по дождевым капелькам правды, что как только упадут они нам на лицо, — мы трепещем от радости: «наконец-то!», мы прощаем и вихри пыли, овеявшие их, и тот лучевой распад, который в них ещё таится. Так радуемся мы каждому словечку правды, до последних лет раздавленному, что этим первым нашим выразителям прощаем и всю приблизительность, и всякую неточность, и долю заблуждения даже бо́льшую, чем доля истины, — только за то, что «хоть что-то сказано!», «хоть что-то наконец!»...»

Для поколений, сформировавшихся умственно после Октября и бо́льшую часть жизни (тем более всю жизнь) питавшихся казенной умственной пищей (ведь даже и классика и переводы селекционировались), было подвигом сохранить стремление к истине, научиться отличать ее от лжи. Мыслящим людям приходилось пробиваться сквозь тесную, с режущими уступами штольню. И сколько жизней повисло ключьями на ее стенах. А если не жизней, то изуродованных умов и поврежденных душ. Я не могу примириться с высокомерием тех (а они есть), кому либо обстановка и опыт семейные, либо собственная уникально ранняя проницательность уже в детстве и юности позволили не поддаваться лжи. Ими все было понято так рано, что они отказываются видеть трагедию в жизни тех, кто постигал сущее с трудом или вовсе его не понял. Сегодня на улицах Москвы и на страницах российских газет мы видим, кто преобладал в поколениях 20-х годов рождения: ранние прозорливы или слепые и обманутые.

Для Солженицына «Вехи» и «Из глубины», как и его собственные статьи в сборнике «Из-под глыб», явились лишь вехами осмыслительного пути. Не зная его публицистики и эссеистики, не обретя интереса к панораме «Красного Колеса», нельзя оценить того, что им сделано. Мыслители «Вех» и «Из глубины» обрели в нем продолжателя, но не эпигона. Он ничего не потерял из выполненной ими работы, но и не остановился на ими постигнутом. Вырваться из тюрьмы, осилить вколоченную в сознание ложь, вернуться к пройденному предтечами и наново, под другим углом зрения осмыслить, прошупать собственными руками множество нитей в узлах отечественной истории — много ли в истории мировой мысли таких примеров? Осталась самая малость: чтобы современники Солженицына его прочитали и поняли. Захотят ли? И успеют ли — вот в чем вопрос.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН



ПИСЬМА ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

В старые времена в Китае были в ходу многометровые картины — их писали на длинных свитках шелка, накрученных на два деревянных валика, и при разглядывании перематывали с одного на другой, как пленку в фотоаппарате.

Чаще всего такая картина представляла собой портрет того или иного города со скрупулезным изображением улиц, дворцов, торговых рядов и повседневной жизни, заполняющей его от ворот до ворот.

Старательная кисть запечатлевала купцов у лавок и окруженный свитой паланкин чиновника, водоноса и шествующего через мост монаха, толпу любопытных возле привязанного к пыточному столбу и ребятишек, любующихся представлением бродячих акробатов на базарной площади, а на дальнем плане — окрестные поля, холмы и прозрачное озеро с перепончатыми парусами джонок.

Картины эти сохранились в музеях. Рассматривать их — прелюбопытное занятие. И если я к чему стремился в своих письмах, то нарисовать такой вот длинный портрет Поднебесной, какой она разматывалась передо мной.

Эти письма, кроме последних, действительно были отосланы московскому адресату — моему давнему другу и собеседнице. Всего их набралось почти полтора десятка. Они не только о Китае, но и о себе самом, меняющемся по мере погружения в диковинный поднебесный мир.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

с беглым наброском города Пекина, описанием гостиничных куц и моих занятий

Любезный друг мой.

Пишу тебе из Поднебесной — жаркой, влажной и густо населенной улыбчивым желтолицым народом.

Столица китайцев велика и пока не охвачена взглядом.

Уцелевшие тут красные дворцы, ярусные башни и парки с прудами рассеяны в бетонных, припорошенных пыльной зеленью проспектах постройки новейшего «императора». Где-то в глубине прячутся старые кварталы. Иногда вдруг возникают и уносятся вверх, сверкая многоэтажным великолепием, стеклянные столпы современного бизнеса — зачастую в окружении заякоренных полосато-прозрачных воздушных шаров с узкими хвостами рекламных полотнищ, по которым весело карабкаются в небо красные и черные иероглифы. Но нам, больше торчащим на новостроенной окраине, эти диковины падают редко, и говорить о физиономии города рано.

Расположен он, по-видимому, в самом центре земного диска: отсюда, куда ни подумай, страшно далеко. Поэтому китайцы предпочитают не ходить пешком, а ездят на велосипедах. Целые стада парноколесных катят, звоня, по улицам или сбиваются в загоны у ворот учреждений.

В плане Пекин имеет вид вставленных один в другой квадратов по числу окружающих его прежде городских стен. В недавно прошедшую великую эпоху стены снесли и на их месте, сохранив лишь несколько башен-замков, разверстали широченные кольцевые автострады.

Меня поселили в левом верхнем углу внешнего, третьего по счету, квадрата — там, где его пересекла старинная дорога в летнюю императорскую резиденцию.

Город, видимо, не только рос, но и безлюдел. Во всяком случае, в 50-х, когда строилась гостиница, тут, говорят, были огороды. Теперь от них не осталось и следа. Кругом дома и какие-то фундаментальные учреждения, упрятанные в густую зелень. А вот солидный, с потугой на роскошь гостиничный стиль победных лет, завезенный из иной столицы, сохранился, хотя и на свой лад.

В сущности, я живу в громадном парке, прилежно ухоженном и окруженном вполне дворцовой стеной. С маленькими храмиками охраны по обе стороны от въезда. С парадными корпусами под зелеными трубчатыми крышами, подбитыми кровью и золотом. С корпусами попроще, объединенными в тенистые дворы. С магазинами в европейском стиле и с ресторанами в китайском (перед входами в которые, украшенными резьбой, позолотой, алыми шелковыми фонарями и прозрачными веерами козырьков, хочется пасть ниц, как перед алтарем, и помолиться какому-нибудь толстому китайскому богу). А также с бассейном, кортом и даже театром.

Неудивительно, что мы ведем скотский образ жизни.

За эти дни я был лишь раз отвезен на службу моими китайскими работодателями — для знакомства и светской беседы за фруктами. Следующий раз обещали потревожить через неделю. Тут, я заметил, не любят торопиться. Да и погода располагает к отдыху.

Мы старательно зажигаем и плещемся в бассейне. Обходим окрестные лавки, где покупаем чашки с драконами, бананы, ананасы и разные хозяйственные мелочи. Пару раз прокатились в машине по городу. Да еще провели полдня в Летнем императорском дворце, о котором в следующий раз. А больше прогуливаемся по гостиничному парку, открывая в нем все новые прелестные уголки.

По здешним меркам гостиница считается старой и потому претендует на респектабельность. Теперь ее украшают заново — что ни день, снимают то тут, то там заборы, выставляя на обозрение вновь оборудованные чудеса. При значительном стечении зрителей состоялся праздник по случаю открытия парадного входа — с почетными гостями, петардами, барабанами и маленьким цирковым представлением. Привлеченные шумом, мы тоже постояли в толпе.

В соседнем дворике соорудили «сад камней», или как там это зовется, с воздушными беседками и галерейками под черной черепицей, горбатыми мостиками и извилистыми прудами, как бы случайно заросшими кувшинками и живописной осокой. По берегам кривятся карликовые сосны, бушуют неведомые цветы и громоздятся отверстые камни, камни, камни, похожие на черепа динозавров. Есть и гора в миниатюре — скалистый бугор с беседкой на макушке. К ней ведут вырубленные в валунах ступени, а сбоку свисает умело подведенный водопад.

Минувшим вечером я провел там около часа. И мог бы написать тебе вместо письма небольшое стихотворение, озаглавленное на китайский манер: «В шестигранной беседке под вогнутой крышей любуюсь камнями и размышляю о далеком северном друге»...

Поднебесная, 6-й день.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

с видом Летнего императорского дворца, а еще о китайской торговле, о нашем жилье и путешествии в уездную Венецию

День за днем, мой несравненный друг, я отламываю по куску от золотого пирога впечатлений. Спешу поделиться им с тобой, пока он не зачерствел.

Итак, обещанное о Летнем дворце.

Мы отправились туда в один из первых дней и, вероятно, еще не раз бываем, благо живем как раз на полпути между зимней и летней резиденциями.

Дворец стоит того. Это целый праздничный мир, размерами превосходящий Версаль и Петергоф и, пожалуй, затмевающий их своим сложным великолепием.

Умение китайцев сооружать такие искусственные мирки с полным набором архитектуры и ландшафта даже на пяточке внутреннего дворика заслуживает удивления. А тут еще и размах.

Дворцовый комплекс с парками, чайными и церемониальными павильонами, кумирнями и собственно дворцами обернут черепичной улиткой вокруг высокого холма на берегу просторного озера. Вид этой местности — со сверкающей на солнце водой, клубящейся зеленью дальнего берега, картинной кручей холма и слоями уходящего в дымку горизонта — столь завершен, что наводит на мысль о рукотворности. Во всяком случае, длинный арочный мост, переполазающий на островок подобно каменной сороконожке, и вознесенный над ойкуменой многоярусный круглый храм выглядят прирожденными деталями декорации. Как и синеющие на отдаленных вершинах сторожевые башни.

Быть может, после я найду в себе силы описать внутреннее убранство и содержимое здешних павильонов. Всех этих бронзовых драконов и смахивающих на драконов львов, заводных павлинов с золочеными перьями, обитые желтым шелком драгоценные троны черного дерева, тончайшую посуду, формой и расцветкой напоминающую звук струнных инструментов... Но нет, не сейчас...

По берегу, чтоб удобнее любоваться видом воды со скользящими по ней лодками, растянулась чуть ли не километровая Длинная галерея, вся в резьбе и украшенная через каждые полсотни шагов маленькими панно с изображением пышных празднеств и петушиных рыцарских забав.

Последние императоры были не чужды прогресса. Об этом напоминает поставленный у парадной пристани колесный пароход. Он имеет вполне марктовский вид, только выполнен (с детской непосредственностью) из белого мрамора, в натуральную величину. Высокие ажурные окна палубной надстройки украшены витражами, внутри теперь торгуют сувенирами.

В летней резиденции богдыханов трудно отличить подлинную древность от выстроенного заново — как, впрочем, теряюсь я и среди отверзающих алые пасти зеленых пресмыкающихся на крышах моей гостиницы.

Зато торговая часть старого города, куда удалось наконец-то выбраться, не оставляет сомнений, в какой именно век страна силится заглянуть.

Обилие товаров, рекламы, витрин имеет вполне заморский вид — с поправкой на Восток и провинциальную отдаленность.

За зеркальными стеклами улицы Ванфудзинь манекены в манто, вечерних туалетах и смокингах непринужденно сошлись не то на светский раут, не то на фестиваль сорочек, брюк и лаковой или мягкой толстокожей обуви.

Право, на уехавшего из опустошенной Москвы здешние прилавки производят сильное впечатление.

Фарфор, яркие футболки, жемчуг, меха, спортивные костюмы, резные слоны, фотоаппараты, перегородчатая эмаль, магнитофоны, шелк, хлопок, кожа...

А еще бесстыдно розовая мякоть мяса, горы диковинных моллюсков, тонкой и тончайшей лапши, неведомых фруктов и приправ. Вавилоны сигарет и выпивки. Иконостасы каких-то райских харчей в броских упаковках.

Неудивительно, что северные дикари часто сходят с ума прямо на этой улице

Впрочем, изрядному большинству китайцев манто вряд ли по средствам. Их существование поддерживает сложная система доплат в виде разноцветных талончиков, которые продавцы берут, как и деньги, специальными щипчиками, чтобы не пачкать рук. По таким талонам за бесценок покупают рис, соевое масло, хлеб и что-то еще, даже ядовитого цвета и запаха жидкое мыло.

Все остальное дорого. Дешевый велосипед, без которого не обойтись, вылетает в месячную с лишком зарплату. Но если терпеливо экономить, рано или поздно настанет долгожданный день — и в воскресенье коробку с телевизором, собранным по японской лицензии где-то в свободной зоне, китаец, сопровождаемый домочадцами, торжественно волочит домой.

Шаг за шагом в жизнь приметно вкрапливают то, что дал XX век более удачливым народам. И вот золотые жуки иероглифов на гранитных фасадах уже отражают поток «тойот», «мерседесов», «фольксвагенов». Сиротками бегут среди них редкие «Волги». И самой толпе теплый климат вкупе с возможностью купить пару модных тряпок придал жизнерадостный, почти курортный вид — тут и на службу-то запросто ходят в шортах, что говорить об улице.

Постепенно торговый парадиз мельчает, разбивается на боковые пассажи, дробится на переулки со множеством маленьких харчевен. За тесно поставленными столиками обедают, таская палочками что-то пахучее из фарфоровых плосшек. Тучи велосипедов, одна-две трехколесные рикши с порыжелыми сиденьями. Толпы на остановках, поделенные железными поручнями на ручейки, осаждают автобусы.

Улица Ванфудзинь не весь Китай. Но и в других местах в соотношении 1:2, 1:5 или 1:10 — похожая картина. Изобилие магазинов и магазинчиков дополняется несметной саранчой лотков и лавок, осевших на каждом людном углу. И чего в них только нет, особенно из шмотья — от милых моему сердцу джинсовых залежей до президентских костюмов в полосочку.

Рассказывают, что после Тяньаньмэня дела, правда, пошли хуже. За год цены удвоились и утроились.

И все же вселяют надежду целые улицы частных сервисных фирм и компьютерных салонов по западному образцу. Закрывают их рано, забирая толстые стекла раздвижными железными решетками, у входов дремлют могучие каменные львы из лицензионной пластмассы. Однако в утренние и дневные часы кто-то покупает же содержимое этих лавок будущего?..

Хотя с будущим и прошлым в Поднебесной еще неразбериха.

Мне отвели в меру казенного вида квартирку, в каких обитают здесь нанятые на работу чужеземцы, и, едва переступив порог, я ощутил себя ребенком, уцепившимся за драповый отцовский рукав. Однажды он прихватил меня с собой в какое-то озаглавленное литыми буквами учреждение, и я едва не заблудился в тяжелых вертящихся дверях. Возможно, не поймай он меня тогда, я бы как раз тут и вынырнул.

Обстановка нашего жилища несет печать добротных 50-х. Двухтумбовый письменный стол с суконным зеленым верхом. Округлые шкафы и комоды. Необъятные кресла с гнутыми подлокотниками. Светлое канцелярское дерево. Чего стоят одни латунные шишечки дверных ручек!

В этих комнатах за ячеистыми китайскими окнами так и не окончилась та давняя эпоха, оставившая следы на обоях и желтизну в ванне. Только кнопочный телефон напоминает, который год в календаре. Впрочем, после перестановки мебели, оказавшейся вопреки фундаментальной внешности на удивление легкой, вышло даже уютно. И когда я откидываюсь в кресле на мягкую спинку в прохладном чехле и закрываю глаза, мне приятно щекочет ноздри дух времени, неистребимый, как и тараканы.

Нас все еще несет по течению. Для иноземцев была устроена двухдневная экскурсия в уезд, километров за сто к югу от Пекина.

Миновав поля и туманный канал, по которому два крестьянских харона, упираясь в дно бамбуковыми шестами, толкали от берега к берегу паромчик, мы погрузились в геологическую эру ласковых местных начальников в круглых очечках, бессловесных глазающих аборигенов, в чьи земли закатил автобус с диковинными визитерами, и бесчисленных тостов за парадными ужинами в двадцать — тридцать перемен.

Кухня, признаюсь, дивная. Лишь изредка выносят вовсе несъедобные блюда, но их с особым аппетитом поглощают здешние. Я наловчился управляться с палочками и легко вылавливаю желаемые куски.

Целый день нас таскали по фабрикам, зато второй мы провели на озере Баянлин.

Это бескрайняя водная страна, поросшая осокой, тростником и лотосами. В зарослях прорублены каналы, по которым озерные жители гонят из конца в конец квадратные лодки, похожие на большие полье пресс-папье. Они нагружены корзинами яблок и овощей, мешками с мукой, кипами тростника, сет-

ками с рыбой и улитками. В иных путешествуют целые семьи с детьми и старухами, с брошенным поперек лодки ржавым велосипедом.

На темных водяных полянах покачиваются белые четки поплавок, и рыбаки забрасывают и выбирают сети, промышленная рыбешку.

В зарослях шуршат сборщики водяных семян.

Спят на якорях лодки-шалаша с круглыми циновочными крышами. Призывно трепещут голубые, желтые, красные флажки на высоких бамбуковых шестах. Ими утыканы плавучие харчевни: плетеный навес, котел с дымящимся варевом, пара столов.

Жизнь на воде, поросшие осокой дороги озерной жизни. Гребут по ним, стоя на корме, — точно идут тяжелой, размеренной походкой. Ворочая непомерно длинными, скрещенными на уровне груди веслами в веревочных уключинах, гребец то почти ложится на них, показывая светлые ступни, то выпрямляется и на миг замирает перевести дух.

Соломенный конус шляпы на сторбленном водяном старике все качается маятником. Он толкает лодку вперед, а старуха на носу все вяжет и вяжет что-то разноцветное, и кажется, что плывут они из вечности в вечность, состарившись в бесконечной дороге, да так оно и есть.

Местами озерный шлях заводит в протоки меж островов, где лепятся друг к дружке лачуги нищей Венеции с гирляндами сохнувших рыболовных снастей и вытасенными на берег лодками.

На одиноком островке раскинулся крошечный базар, и оттуда продавцы черных крабов, угрей, креветок и черепах зазывают плывущих мимо. В котлах стыннут груды мелкой жареной рыбы. Кучками сложены на весах треугольные семена каких-то водяных растений. На ящиках разложены связки плодов лотоса, похожих на председательские колокольчики.

И опять заросшие озерные пути.

Плоская вода.

Бамбуковые вешки с флажками вдоль мелкого фарватера.

Одинокие раскачивающиеся фигурки гребцов в просторных рубахах.

Поднебесная, 13-й день.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ,

уводящее в провинцию Шаньдун: вверх по лестнице и наверху; Конфуций у себя дома; общежитие будд; что такое благоустроенный муравейник; два слова о китайских церемониях

На Тайшань, священную гору китайцев, следует восходить пешком.

Представь колеблющуюся по склону, сложенную из серых слоистых плит, бесконечную, как жизнь, лестницу. По ней, говорят, поднялись на вершину и провели там ночь семьдесят или восемьдесят императоров разных династий.

И теперь по ее окаменевшим клавишам терпеливо карабкаются на небо миллионы паломников. Их утомительный пеший труд вознагражден возможностью посетить рассеянные по сторонам храмы, обители и беседки с чудесными видами, прочесть выбитую на скале стихотворную строку или, присев у водопада, открыть коробочку с дорожным припасом. Наконец, просто слышать шорох своих ступающих по лестнице ног и постукивание посоха.

Мы всего этого были лишены: нас вознесла почти на самый верх новопостроенная канатка. В утешение я только смог купить за юань черную паломничью палку из гнутого бамбука.

Впрочем, и усыпанная храмами вершина с видом на четыре стороны света — достаточное вознаграждение.

Представь, она почти вся застроена, и на ней гуляет скорее ярмарочный, чем благочестивый дух. Могу вообразить изумление путника, в молчаливом упорстве взбиравшегося все дальше и дальше от умолкшей глубоко внизу суетной жизни — и вдруг попавшего на этот фестиваль.

У тайшанских монастырей вполне земной вид. Сушится на веревках белье. Поднимаются дымки кухонь. Одетые по-домашнему женщины помешивают еду в котлах под открытым небом. Целые улицы заволокли расписанные в

храмовом стиле пестрые ресторанчики и лавки с жевательной резинкой, пленкой «кодак», буддийскими амулетами и прочим туристическим товаром.

А в оседлавшем макушку храма утомленный паломник может хлебнуть пивка или кока-колы с вознесенного над облаками лотка.

Вдобавок мы угодили прямиком к кульминации спортивного мероприятия. Мокрые, бегущие от самого подножья энтузиасты один за другим, карабкаясь уже на четвереньках, достигали финиша под одобрительные возгласы в мегафон и аплодисменты.

Гремела музыка. Трепетали разноцветные флаги.

Толпы паломничающих туристов, беспрестанно фотографируясь, толклись навстречу друг другу по каменным лестницам.

Под прилепившимся к монастырской стене полотняным навесом какие-то полуголые рабочие хлебали, сидя на корточках, водянистую похлебку.

А вокруг сколько хватало глаз убегали безмолвные, поросшие лесом отроги священных гор с блестками водопадов, серыми скалами круч и синеющими на дне долины полями.

Места эти — родина почитаемого китайцами древнего мудреца Кун Цзы, в наших краях известного под именем Конфуция.

Как я понимаю, он был вполне эпикуреец, хотя и жил за тысячи ли и за пару веков до своего средиземноморского собрата.

Поскольку Китай уже и тогда был Китаем, мудрец, помимо прочего, дал ученикам трезвый совет: знать свой шесток.

Столь рассудительное замечание сыграло с учением славную шутку.

Метившие в императоры царьки, только строившие иерархию, а следом и императоры двумя руками ухватились за водворяющий порядок тезис. Он был поставлен во главу угла. Учение хорошенько отредактировали, переписали на бело и на долгие века возвели в ранг государственной идеологии. Сам же неудавшийся смотритель хлебных лавок подвергся официальному обожествлению. Повозка, в которой он странствовал, увековечена в бронзе и стала символом его родного городка Цюйфу, да и всего края. На месте беседки, где он имел обыкновение рассуждать с учениками за пахучим гаоляновым винцом, настоящим по собственному рецепту, отгрохали хранище. Множество их учили и по всей стране.

Каждый последующий император присочинял покойнику новый титул и почитал долгом навеститься на его славную родину. По сему случаю поперек дорожки к храму возводили очередные парадные врата в резьбе и позолоте, отпираемые лишь по прибитым высочайших особ и не иначе как под гром многократного салюта. В иные дни их просто обходят стороной, ибо стоят они сами по себе, вроде триумфальных арок.

Таких ворот набралось уже больше десятка. Они расставлены друг за дружкой по всему двору наподобие раскрашенных кулис, усиливая сходство с оперной сценой.

Вообще ворота — излюбленное китайское украшение. В великом множестве, переливаясь красками на солнце, они громоздятся в самых неожиданных местах. Не только перед дворцами и храмами, но и возле учреждений, на базарах, в парках культуры и отдыха, в гостиницах и детских садах и просто поперек улиц. Китай можно бы назвать Страной Тысячи Ворот, но это сильное преуменьшение.

Помимо таких украшений императоры привозили в подарок Конфуцию многотонные каменные стелы с изречениями, обычно начертанными собственной высочайшей рукой, а после выбитыми искусным гравером.

Даже одна из последних императриц, знавшая всего-то пару иероглифов — «шоу» (долголетие) и «фу» (счастье), — преподнесла камень с первым из них, исполненным в натуральный человеческий рост.

Частенько такие стелы стоят торчком на спинах симпатичных мраморных черепаха с львиными мордами и размером с легкий танк. Ради пушей сохранности над черепахой с ее поклажей возводят павильончик под черепичной крышей. Их тут, в два ряда, целая улица.

Благодатный поток щедро пролился и на потомков «учителя Куна», поучавшего за связку сушеного мяса в семестр. Все они один за другим получа-

ли высшие титулы и немислимые привилегии, вроде права верхом въезжать в императорский дворец.

Почти всякий «прямой потомок» очередной генерации строил себе и женам новые хоромы позади прежних, благодаря чему их родовое гнездо сделалось подобием лабиринта. Многие вещицы из обихода сохранились и составили чудесный музей. Особенно хороши посуда и мебель — предтеча стиля модерн, отсюда и украденного.

Счет потомкам ведется по сей день и достигает что-то около сотни поколений. Последние благоразумно обитают на Тайване. Отжив свое, они упокаивались на фамильном кладбище — самом обширном в мире, если верить «Книге рекордов Гиннеса». Часто его называют еще «лесом Конфуция», и это правда.

По мощеной дороге в тысячелетних жилистых кипарисах въезжаешь через пару горбатых мостиков в протяженную рощу, по которой можно кружить ча-сами.

За две тысячи лет она обрела на диво живописный вид. В любую сторону убегают нестройные черные стволы. Умело наброшена туманная дымка. Ровное исподнее крон как в зеркале удваивается в плоской зелени травы.

В этом просторно раскинувшемся мире совсем теряются натыканные по одиночке и семейными группами немудреные каменные надгробья — погуще вокруг могилы родоначальника, пореже к окраинам...

В рвении своем земляки порой перебарщивали. Храм вымахали вровень с конфуцианским святилищем в самом Пекине, чем вызвали по доносу доброжелателей праведный гнев Сына Неба. Пришлось укорачивать постройку на три кирпича.

А с обвивающими колонны храма каменными драконами вышло еще хуже: они оказались крупнее императорских. Тут уж ничем нельзя было помочь, и к приезду высочайших особ их попросту драпировали желтым шелком.

Храм, родовая усадьба и «лес Конфуция» составляют важные здешние достопримечательности и привлекают массу туристов и паломников.

Воодушевленная приобщением к благодати толпа катит по улицам городка в автобусах, рикшах с полотняным верхом и в запряженных парой лошадей веселых желтых вагончиках, расписанных лубочными сценками из жизни Учителя, его последователей и потомков.

Изречения великого старца украшают витрины, стены и спичечные коробки.

В ресторане можно заказать обед в конфуцианском стиле, где под тарелкой будет лежать вырезанный из алой бумаги иероглиф, а в крошечные рюмочки по ходу перемен подливают крепчайшее гаоляновое вино по-конфуциански, делающее честь изобретателю.

И повсюду — с репродукций старых картин, с грубых нефритовых печаток, с афиш и из алтарей, где он сидит двухметровой раскрашенной куклой, — глядит сам Конфуций с лицом доброго людоеда.

Оставив за спиной россыпь кумирен под рыжими фаянсовыми крышами и гостиницы в бамбуке, миновав остатки городских укреплений с серой пирамидой башни, у неприступного подножия которой желтела разложенная на просушку кукуруза, мы тронулись в обратный путь.

Потянулась череда полей, с которых уже убрали здешний «благоухающий» рис. Серые пятна сохнувшего по обочинам арахиса.

Кирпичные курятники разбогатевших деревушек.

Поросшие рваной зеленой овчиной холмы, на которых то тут, то там заметишь божественный островерхий силуэт беседки или нацеленный в небо суставчатый палец пагоды.

Нас еще ждал поворот к упрятанному в горах монастырю Тысячи Пыльных Будд — многометровые каменные ступки и пестики буддийского кладбища и сам храм, весь опоясанный изнутри скамьями, полками и полочками, точно вывернутая наизнанку большая этажерка. На них тесными рядами сидят в пыли, спорят, размышляют, сердятся, а самые мелкие и многочисленные

просто взирают золочеными личиками, сотни разнокалиберных воплощений Просветленного и его сподвижников.

Особый интерес представляет нижний ярус, где на скамейках расселись изваяния здешних монахов, лежащих ныне под каменными ступками. Фигуры в человеческий рост раскрашены и весьма красноречиво передают характеры своих прототипов, отговоривших, отпивших и отсозерцавших еще в династию Сун. Они очень выразительны и в чем-то схожи с европейской деревянной скульптурой того же времени. Только сделаны из глины и гораздо искусней, ибо снабжены, как сообщила гид, шелковыми сердцами, легкими, печенью и прочими необходимыми для загробного существования внутренностями.

...И дальше по шоссе.

С залитых косым солнцем полей возвращаются крестьяне с охалками сухих кукурузных стеблей за спиной.

За велосипедом бежит, перебирая ногами, привязанная к багажнику лошадка.

Автобус трубит.

В попадающихся деревнях закипают на улице котлы.

Торчат стоящие под отделкой двухэтажные здания будущих магазинов, заготовительных контор и отделений автомобильной компании.

Шиты с рекламой промышленных насосов загораживают кусочки неба.

Навстречу, из золотой закатной жижи с увязшими в ней пирамидальными тополями, парни в плоских соломенных конусах на головах катят с вечерних работ порожние тачки какой-то сложной конструкции, похожие на тяжелые деревянные велосипеды.

На четвертый день путешествия мы въехали в провинциальную столицу Цзинань, вот уже две тысячи шестьсот лет удобно стоящую на перекрестке сухопутных, с севера на юг, и водных, по Хуанхэ, путей. В свое время город побыв под колонизацией, оставившей в его облике заметный немецкий акцент. Вокзал с башенкой, уцелевшая кирха, островерхие дома с высокими трубами — закрыв один глаз, можешь полюбоваться Германией начала века. В эти милые декорации уместно вписываются новопостроенные билдинги, блистающие затемненным стеклом.

Еще побывавший тут Марко Поло дивился бойкости местных торговцев и ремесленников.

Нынче на дрожжах береговой свободной зоны экономика опять вспухает. Осчастливленные японцами и американцами заводы, новехонькие торговые улицы, отели, вознесенная над деловым центром реклама «Фольксвагена». Даже иные окрестные деревушки, вовлеченные в орбиту, чудовищно разбогатели и обзавелись многоэтажными стеклянными раковинами международных торговых центров с миллиардным оборотом...

Ты спросишь, откуда деньги? Очень простой секрет: они все без остатка в деле, а на руки перепадает юаней по сто в месяц.

Когда из высокой зеркальной витрины туристического автобуса заглядываешь в мутные окна жилых домов, берет оторопь. Слабая лампочка под потолком, тусклые голые стены, уют вокзального сортира. Вся мебель состоит из вбитых на уровне плеч гвоздей и каких-то ящиков, загромождающих подоконник. Пола не видно, но вряд ли там ковры.

Это в новых домах. А еще мышеловки узких, пропахших варевом улочек сплошь из серых слепых барakov, набитых стиркой, велосипедами и людьми.

Китайцы уверяют, что идут по пути «коллективного обогащения».

Склоняюсь к мысли, что это не словесная уловка и вполне в духе местных традиций. Дело тут не в режиме. Человек в этих местах никогда и не ощущал себя космосом, но только малой частицей более серьезного организма — семьи, войска, империи. И так не в одном Китае.

Возьми соседей из богатой Японии: они дышат в спину американцам! Но лишь все вместе, а не поодиночке.

Что имеет единичный японец кроме миниатюрной квартиры, набитой дешевой электроникой, и ежегодного четырехдневного отпуска? Пожизненную службу в компании.

Сравни его с веселым американцем. Его домом. Его большой машиной. Его отношением к жизни и работе. И удовлетворенной любовью к себе, бейсболу и путешествиям.

По таким меркам японцы бедней и европейцев.

Но это вопрос ценностей. Возможно, они способны непосредственно осязать общее богатство, как мы — личное. Во всяком случае, надо признать, что они — другие и не всегда страдают от этого.

То же и китайцы. Из своих тоскливых домов они при всяком удобном случае выходят на улицу. Именно туда проливаются и первые капли отпущенных материальных благ.

На месте прежних оборонительных рвов расплылась цепочка прудов и парков для гулянья.

Павильоны в асимметричных свисающих садах, зеленоватая вода взятых в мрамор источников, по поверхности которой плывут легкие алюминиевые монетки, пущенные на счастье. Причудливые камни, похожие на иероглифы.

Одетые в лучшее и единственное толпы шляют, глазуют, тянут за руку детей, сосут засахаренные фрукты на палочках, перекликаются и пьют коку из ярких, как елочные игрушки, банок.

Прогуливался в этих местах и Ду Фу двенадцать веков назад. Где-то поблизости большое озеро, на котором он жил в крытой камышом лодке, утешаясь вином.

Обычаи муравейника нерушимы. Даже управляющие здешним «коллективным богатством» ведут жизнь скромную и примерную. По части развлечений начальники больше налегают на групповые казенные уложения.

У нас что ни вечер — банкеты. Залы в парадных золотых иероглифах. Девы в шелковых шаферских лентах через плечо у высоких дверей. Китайские церемонии, палочки с инкрустацией. Суп из черепахи, лягушачьи лапки, ласточкино гнездо, хрустящие скорпионы фри... Черт возьми!

Поднебесная, 43-й день.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

о переменах пекинской погоды

Да, мой искренний друг, поговорим на сей раз о погоде.

Ничто так не освежает взгляд, как перемена обстановки. И если уж не можешь ехать дальше, не следует упускать естественной смены декораций.

Пока в Поднебесной еще тепло, лучше походить по улицам.

В толпе увидишь модников в ажурных носках. Девы в скользких рейтузиках. Старух, ковыляющих на игрушечных ступнях, исковерканных стародавней модой. Мелькнет обтянутая гладкими черными волосами головка красавицы с плоским затылком. Ну а пекинские старики в большинстве бодрятся: коротко стригут седые ежики, донашивают синие революционные кители и, отставленные от дел или получившие вольную, дисциплинированно играют в садиках в какие-то сложные шашки, слушают пение птичек в клетках, развешанных по ветвям, либо сами распевают стихи под скрипучую музыку.

Чтобы получше разглядеть физиономию этого неисчислимого города, надо бы стать уличным велосипедным мастером из тех, что у каждого угла раскладывают на тряпице или прямо на земле свои железки. Перед ним проходят все и вся, он занимает тут примерно то же положение, что парижский официант или московский парикмахер. Но, к сожалению, в отличие от последних вынужден смотреть не на людей, а на их ржавые поломавшиеся машины.

Избежав велосипедной судьбы, я стараюсь заглядывать в лица и сделал заметное открытие.

Похоже, человеческие типы заложены глубже расовых различий. В пекинской толпе встречаешь все без исключения разновидностей московских физиономий и даже прямых двойников, только перелицованных на китайский лад. Если согласиться, что внешность лепится личностью — а я склонен верить зрительным впечатлениям, — тут есть над чем поразмыслить. Выходит, человеческая порода играет немногими картами. Кстати, я это утверждал и раньше, правда примериваясь к древним. Не могу объяснить, но такое постоянство природы мне чем-то приятно.

Поднебесную столицу следует смотреть с утра до вечера, чтобы уловить ритм. С того раннего часа, когда короткие хвостики выстраиваются у смердящих на углах котлов: многие завтракают на ходу на улице. В одно и то же время на одном и том же перекрестке светило багровым сплюснутым пузырем всплывает из-за домов в пыльное пекинское небо. На тротуары выкатывают стеклянные алтарики сигарет и водок, возле которых я ни разу не заметил покупателя, хотя мимо потоком катит велосипедная толпа.

Где-то возле полудня она вдруг иссякает и весь город, перекусив из пластмассовых корбочек, заваливается спать.

Спят в раскладушках на улицах. В лавках на грудах товара. Опускают свои решетки компьютерные посадки, а под большой белой тарелкой космической связи дремлет горшечник над разложенными в соломе фаянсовыми мисками. Наверное, спят дома. И даже в учреждениях меж письменных столов стоят обширные деревянные кровати.

Ненадолго пустеют автобусы, и в эти полтора-два часа ты можешь беспрепятственно путешествовать по вымершей столице.

Затем наступает новый прилив и уже не спадает до поздней темноты, то тут, то там оглашаемой треском петард во дворах и закоулках.

Время и пространство тут плохо размешаны. Вокруг попадает масса забытых с детства вещей. Они переселились сюда в середине века, укоренились и дали обильное потомство, тогда как на исторической родине давно уже стали исчезающими видами.

Бодро урчат трехтонки, за кузова которых мы цеплялись когда-то. В согласии с лысенковской теорией в иной природной среде они обрели мимикрирующий признак — крупные выпуклые иероглифы на закругленных носах.

Дачные трубчатые трансформаторы гнездятся на столбах над городскими тротуарами.

А в провинции водятся еще стада черных, окутанных живым паром, вымерших на российских просторах паровозов.

Добавь к этому крики точильщика по утрам. Стайки голубей, гоняемые над пекинскими крышами. Старательно танцуемые, забытые у нас танцы 50-х.

И на улицах между разноцветными новенькими легковушками и микробусами еще семят высокие черные чиновничьи автомобильчики «шанхай», смахивающие на вышедшие из моды чаплинские котелки. Впрочем, их дни сочтены. Новая волна переселенцев накатила из иных краев, и горделивые шоферы ухаживают, обмахивая пыль опухшими из петушиных перьев, за сверкающими «тойотами» и «ниссанами»

В одночасье, как дымчатый занавес, опустилась пустотелая осень. С деревьев со звуком несмолкающих аплодисментов вдруг стала валиться отвердевшая, так и не переменевшая цвета листва. В полдня она покрыла асфальт гремящей зеленоватой чешуей, и опустошенным деревьям осталось лишь воздевать голые руки к небу.

Это было похоже на государственный переворот.

Высыпавшие на улицы китайцы собрали листву в мешки и увезли куда-то. Появились уборщицы в белых марлевых намордниках. с веревочными швабрами в руках. Улицы подмели и вымыли ступени.

С первыми холодами жители принялись делать запасы, на углах выросли высокие кучи овощей. Весь Пекин, как гигантский крольчатник, завален длинной китайской капустой.

Открылся базар пекинской снеди. Здесь фырчат маслом котлы, в берестяных ситечках доходят на пару пельмени. Лапша, суп из потрохов, пирожки с овощной начинкой. И выложенные на выбор рядками — сейчас на огонь — шашлычки: из куриных пупков и печенки, из пескарей и перепелиных яиц, из лягушачьих лапок и даже из алых ободранных воробьев, нанизанных на короткие палочки по четыре штуки зараз прямо с болтающимися головками.

Течение жизни замедляется.

За запотевшими витринами крошечных ресторанчиков пьют пиво едят вареные овощи и играют в карты

В маленьких парикмахерских, выстроившихся стайкой одна подле другой. не спеша моют головы мыльной пеной.

А мимо, не обращая внимания ни на что вокруг, катит, лениво проворачивая педали, грузовой рикша, за спиной которого до небес громоздятся плетеные короба с мандаринами. Положив локти на ржавый руль, он на ходу очищает от шкуры большой оранжевый плод, отправляя грязными пальцами в рот дольку за долькой.

В каком-то из прошлых писем я посулил тебе портрет столицы Поднебесной. Но я не в силах выполнить обещанное. Пекин, как истинно великий город, непостижим. Хотя и догадываюсь, где лежит разгадка.

Она в подступающих к стенам дворцов и храмов, разбегающихся от пестрых торговых улиц, упрятанных позади проспектов великого кормчего бесконечных и неистребимых переулках — хутонах, — в сером лабиринте безликих одноэтажных домишек с поросшими желтоватым овсом крышами и крошечными двориками, едва вмещающими велосипед.

Здесь, за бельмами похожих на форточки невымытых окон, шевелится его великая плоть.

В тесных проулках чернеют повсюду сложенные в штабеля кругляши прессованной угольной пыли и пахнет их едким дымком.

Стоят ларьки из бамбуковых дощечек, слышится квакающая крестьянская речь.

Женщина с замотанным в розовый газовый шарфик лицом несет пару продетых на веревочку, болтающих хвостами рыбин. И постаревший хунвейбин, приткнув к стене двухколесную тележку, продает горьковатые поморанцы.

А над морем бескрайней пепельной черепицы вздымается в самое небо увенчанная длиннорогими бычьими головами Колокольная башня, и со звуком то удаляющейся, то возвращающейся сирены, выдуваемым ветром в птичьих перьях и в привязанных к лапкам гудках, носится кругами голубиная стая.

Осень незаметно соскользнула куда-то вниз и сменилась ветреной пекинской зимой.

Гостиничная охрана надела длинные черные шинели.

Милиционеры стали примерзать к своим велосипедам.

Редкие нищенствующие кошки принялись мяукать, точно выпрашивая «мяо», как называются здешние бумажные гривенники — десятифыневые банкнотки.

Ну а собак в Пекине нет ни одной. Говорят, их извели и запретили специальным указом. Зато в хороших магазинах полно нарядных тяжелых собачьих шуб.

Впрочем, пекинцы предпочитают долгополые ватные не то пальто, не то шинели военного образца, с золотыми пуговицами. И многие даже зимой не расстаются с тряпичными туфлями-«шанхайками».

Это от небогатства. Но остается загадкой, почему за семь веков пребывания в здешнем климате северная столица не догадалась завести двойные стекла, плотно закрывающиеся двери и сколь-нибудь основательное отопление.

В офисах, ресторанах, театрах сидят, не снимая пальто.

Целый универмаг, утепленный лишь висящей в дверном проеме клеенкой, обогревает единственная «буржуйка» в центре зала с кипящим на ней чайником.

Храмы, дворцы, павильоны продуваются насквозь. Ледяные каменные полы, промерзшие мрамор и бронза. Жутко помыслить себе императора в растопыренных желтых одеждах, принимающего тут череду окоченевших придворных на многочасовых церемониях.

Та же картина в жилых павильонах, где высшее сословие музицировало, беседовало, интриговало, читало стихи и замерзало зиму напролет.

Вероятно, вносили жаровни. Но это как согреться спичкой в колоннаде Казанского собора.

В несильные пекинские холода пустеют парки и делаются особенно хороши для прогулок. Текучая зимняя вода ленточных прудов отражает рукастые деревья и склоны в седой прошлогодней траве.

Но лица не сдаются.

Прохожие кутаются в многослойные вязаные одежды. Темнолицые парни из окрестных деревень исправно привозят товар. Разложив неведомые овощи, похожие на большие грязные члены, прячут покрасневшие пальцы в рукава зеленых шинелей, разводят для сугрева огонь в железных бочонках и торгуют, торгуют, торгуют.

Поднебесная, 99-й день.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

с размышлениями о древности китайской нации, о белых островитянах, а также о том, мешает ли игра на флейте

Тебе будет интересно узнать, мой друг, что жители Поднебесной ощущают себя древними китайцами. Не потомками, а младшими братьями всех этих философов, императоров и каллиграфов, обратившихся в прах тысячелетия назад.

Они культивируют это чувство. Вся учеба, да и просто застольный разговор густо замешаны на местной античности. Постройка Великой стены — все еще свежая новость: газеты радуются ей так живо. И малышей в детском саду учат складывать из мозаик павильоны династии имярек. Лишь такт переводчиков, подозреваю, заставляет их выпускать оборот «у нас в Древнем Китае» из речей ораторов.

Величие прошлого тут прямо обращено в будущее, минуя сегодняшний день.

Китай не имеет аналогий в «нашем» мире.

Он не страна, он — ойкумена. Как если б два тысячелетия назад на западе, соединенные чьей-то силой, слились на веки вечные в одну цивилизации Средиземноморья.

В 221 году до нашей эры первый император Цинь Шихуан сделал то, чего не удалось ни Александру Македонскому, ни Риму. Объединил все царства и обитаемые земли раз и навсегда.

Ему помогли иероглиф, безразличный к устному разноязычию, и меньшее несходство культур. А еще, вероятно, то, что ровно посередине здешней замкнутой обширности вызрел сильный народ бассейна Хуанхэ, у нас же то место пусто — там море, из которого Господь вовремя убрал Платонову Атлантиду.

Единственная завершенная постройкой империя мира пережила все исторические эпохи, пишу тебе из нее.

Самодостаточность и монолитность придали ей такую живучесть. Но не они ли определили и вековой, если не тысячелетний, застой на лишенном многообразия пространстве?

Сколь не похожи Малая Азия и Балканы, Греция и Рим, даже Флоренция с Генуей, не говоря о северных народах! Их разноликость стала пружиной, сообщившей Старому Свету движение.

Великолепно устроенная китайская цивилизация очень рано достигла идеала и застыла.

Только ли невежество мешает мне отличить древний императорский стиль от нового фасада гостиницы?

Они ведь не имитируют старину, а работают по тем же рецептам. Столь же изысканно или столь же примитивно, но точь-в-точь как сто, триста, тысячу лет назад.

Ты только представь, мой пытливый друг, это совершеннейшее из государств.

Великая стена отгородила страну от северных кочевников. Великий канал соединил ее всю с севера до юга. Охраняющая покой подданных императорская машина приносила изумительные плоды.

Я сбился, коллекционируя китайские приоритеты. Бумага, шелк, порох, фарфор, десятичные дроби, чай, компас, бумажные деньги, наборный шрифт, воздушные змеи... А еще утонченный церемониал, каллиграфия, дивные сады,

ослепительная архитектура. Дороги и постоялые дворы, приспособленные для дальних путешествий так, как в Англии тысячелетием позже. Императорские экзамены для чиновников на знание трудов Конфуция и владение стихом. Настораживает только, что уже и тогда за учителей почитали исключительно древних.

Да, в Китае не было Возрождения — ибо так и не кончилась античность.

Зато какой блеск! Неудивительно, что Сыны Неба, которым формулы вежливости в посланиях европейских государей услужливо переводили как знаки верноподданничества, всерьез полагали себя владыками вселенной и долго пребывали в этом приятном заблуждении. Когда в конце XIX века французы с англичанами решили пощипать одряхлевшую империю, в императорском указе они были поименованы взбунтовавшимися варварами.

Слишком величественное прошлое не прошло бесследно. Унижения позднего времени лишь исугубили национальное чувство. На фоне упавшего в правление великого кормчего культурного уровня это особенно заметно.

Начавшееся теперь движение к Западу ничего общего с нашим западничеством не имеет.

И даже отъезды, особенно в Америку, вокруг которых все время вертятся разговоры молодежи, своеобразны. Едущие вовсе не собираются становиться американцами. Заветная их мечта — перейти в «соотечественники за рубежом».

Ну а мы положила руку на сердце, полезные и дружественные, но не владеющие ни искусством каллиграфии, ни конфуцианской мудростью «белые варвары», хуже тех древних южан с Янцзы, что жили в свайных домах и поклонялись Пятицветной собаке. Те все-таки были свои.

Не зря чужестранцы чувствуют себя тут островитянами. И обиталища их выглядят как острова.

Наша посольская резервация на территории бывшей русской миссии считается из лучших. Там и правда прекрасный парк с каналами, беседками и прудами.

Колониальная архитектура выдержана в здоровом стиле «Великой эпохи». Гулкий мраморный холл, обшитые светлым полированным деревом коридоры, да и сами обитатели холодноватых кабинетов за пахнущими лаком дверьми так знакомы, что, кажется, толкнешь одну из них — и выйдешь на четырнадцатом или двадцать первом этаже смоленской высоты.

Впрочем, посольства все и всюду такие.

Занятнее наша вольная белая деревня, куда заботливо собраны пристроенные к делу искатели экзотики. Встречаясь на пешеходных дорожках по пути в бассейн или лавку, они в соответствии с сельским этикетом неизменно раскланиваются, даже не будучи знакомы.

Похоже, где-то и впрямь потерпел крушение пароход, выбросивший на берег всех этих путешественников. Несерьезного, напевающего немца. Страшненькую молодую француженку, пытающую счастье уже во второй раз. Жизнерадостного итальянца, влюбленного в китайскую кухню. Каких-то американских старух, прибывших с гуманитарной миссией. Долговязого, с молодой яйцевидной лысиной, любознательного англичанина, не расставшегося с велосипедом. Живописных латиноамериканцев, поселившихся целыми гнездами в ожидании конца своих революций. Смешливого негра, занятого своей очаровательной смешливой женой и, кажется, не замечающего, куда их занесло. Толстого, не окончившего курса американца, который год кочующего по миру в поисках самого себя.

Что привело их сюда? Любопытство? Неустроенная личная судьба? Дешевизна жизни? Приверженность китайской философии? Неурядицы на родине? Кого что.

И вот живут. Растят детей, пишут книги, путешествуют, поднакопив денег, едят палочками, собираются попить пива и потанцевать, учатся играть на флейте, чинят во дворе велосипеды...

Внутри этого замкнутого мирка, наподобие известной китайской игрушки — один в другом, и мой собственный. С зеленоверхим столом, похожим на бильярд, по которому я катаю легкие шары слов.

Поначалу мне казалось, что моему кабинету недостает внутренней тишины. Позже понял, что ее избыток.

Теперь мне легче: откуда-то из глубин дома доносится звук флейты, разучивающей мелодию. Он появляется не всякий день, и я его жду, глядя в окно, куда углом заходит зеленый фарфоровый завиток соседней крыши.

В вазочке стоит одинокая продолговатая роза в оранжевых подпалинах, похожая на крупную «императорскую» креветку.

И я, уподобившись старым китайским поэтам, стираю кисти до лысины, переделывая по тыще раз эти письма, чтобы и ты услышала это беззвучие флейты.

Поднебесная, 123-й день.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ,

приглашающее полюбоваться драконом и кончающееся по лунному календарю

Искусство Китая, мой мудрый друг, напоминает большого праздничного дракона.

Кстати, в здешнем восприятии это вполне жизнелюбивое и заслуживающее восхищения животное, к тому же обремененное кучей диковинных детей. Не то что у нас.

Играющий киноварью и позолотой, пританцовывающий сотней пар ног, он слишком велик, чтобы охватить взглядом. Вдобавок время от времени проглатывает излишне любопытных — а легко ли описывать дракона, сидя внутри его!

Мои познания ничтожны. Вот хотя бы каллиграфия. Китайцы замирают, шевеля губами, у заботливо окантованных образчиков, вывешенных где можно на парадных местах. Или перед единственным похожим на квадратного паука иероглифом, выбитым на плоском валуне в глухом ущелье, — поглядеть на него специально взбираются в горы приехавшие издалека любители.

Красивую надпись на отменной бумаге шлют в подарок и потом хранят и передают по наследству.

А мне, от которого не только смысл, но и форма этих писем сокрыта, все они кажутся равно живыми и прекрасными. И я ловлю себя на том, что люблюсь выведенными толстым фломастером раскоряками простецкого объявления на столбе, быть может сзывающего на собрание ветеранов квартала.

Я дивлюсь интуиции Андерсена. Ну что китайское мог он видеть в датских музеях и домах? Вазы, ширмы и веера. Но своим «Соловьем» угодил в точку — это самое искусственное из искусств.

Однако главная черта его в ином: оно минует личность.

Зрительно воспринимаемое китайское искусство не совпадает с человеком по масштабу. Оно с размахом организует пышный антураж и дает в руки изящные вещицы. Место же посерединке оставляет пустым. В сущности, это восхитительный дизайн.

Оформленное столь искусно пространство может заполняться этикетом, философией, религией, политикой, которые тут слеплены в один ком, — чем угодно. В том числе и лирической поэзией, стоящей особняком.

Совершеннейшим образцом малого дизайна следует почитать павильон императора близ Храма Неба, где он день-другой приводил в порядок мысли, прежде чем предстать перед алтарем.

Загнутые сверху плавные края чайных столиков, черная посуда, ячеистые этажерки и квадратные кресла в истинном, первородном стиле модерн, похищенном, как я уже упоминал, из этих самых покоев. Без малейшего изъяна во вкусе, до последней тушечницы. Изысканно, просторно и просто.

Ну а бесспорный апофеоз жанра в целом — столичная императорская резиденция, Запретный город.

Как описать все великолепие этого футляра для образцовой, не подточенной течением времени власти над небом и землей?

Запретный город — громадная пурпурно-золотая раковина в сердце Поднебесной.

Вся жизнь императорского двора была грандиозной церемонией в просторных декорациях из красных стен, золоченых колонн, желтых крыш и белого резного мрамора.

Безупречные по стилю внутренние дворцы и бесчисленные апартаменты, где размещались члены необъятной императорской фамилии, главная и запасные жены, наложницы пяти рангов, евнухи и челядь, столь же замкнуты и завершены в себе: деревянные раковины внутри каменной. Плетение окон, резные перегородки, изумительное членение наполненного бесценными предметами и безделушками пространства для вечного праздника, подчиненного ритуалу.

Воздух тут насыщен духом каллиграфии, поэзии, церемонного жеста. Они рафинированны и лаконичны.

Нам повезло увидеть Запретный город пустым, безлюдным и зимним. Плотный вишневый круг солнца сползал в сизом, как московские голуби, пекинском небе за столпотворение желтых черепичных дворцовых крыш с бегущими по гребням четкими силуэтами извивающихся драконов.

В интимной глубине этого искусственного мира запрятался среди стен маленький императорский сад. Узловатые тысячелетние кипарисы, сплетающиеся арками; филигранные беседки; диковинной формы камни, свезенные со всей страны и установленные на мраморных постаментах с фигурной резьбой...

Двор увлекался красотой. Сам император расписывал веера в свободные минуты.

Станковой живописи, графики, скульптуры в нашем понимании у китайцев нет. Та, что есть, начисто лишена живого чувства. Это как цветы из бумаги и шелка, их тут изумительно делают.

Современная живопись в традиционном вкусе несет явные следы вырождения. Она выдохлась, как старые духи. Еще поражают искусностью родившиеся из нескольких мазков туши стебли бамбука, цветы, пучки осенней осоки. Но к ним слетаются по-ученически старательно выписанные стрекозы и птички, словно перепорхнувшие из букваря, со страниц на «с» и «п». И бесконечные горные вершины, однообразные, как верблюжьи горбы, навевают неодолимую скуку.

Однако и от свитков классических старых картин с маленькими красными лабиринтами императорских печатей веет тем же безжизненным холодом. Оставляемое ими странное впечатление удается определить: они бесполо.

Живопись эта смахивает на gobelены, предназначенные любоваться мастерством, а не заражаться чувством. По сути, тот же дизайн, лстящее глазу пространство.

И все то же убивающее в зародыше оригинальность бесконечное копирование предшественников, спускающееся по ступенькам династий в немислимую глубь времен, где, по мысли, и обитают истинные жюдевры, а на деле все теряется во мгле, как в параллельных зеркалах...

Заметно отличается буддийское искусство, когда оно не насквозь китаизировано. А может, в нем сказывается благословенный недостаток мастерства?

Меня потряс сюрреализм дунхуанских «пещерных» фресок, с которыми, правда, я знаком только по репродукциям. Совсем в другом духе — они бы пришлось по сердцу незабвенному Пиросмани — росписи буддийских часовен в западном пригороде Бадачу, где я побывал.

О, анилиновый буддийский ад со зверскими муками широкобедрых, грудастых грешниц и голубых от изнеможения грешников! О, лотосовый рай с приветливыми пышными тетками у входа! Их глиняные румяна, их зазывный вид, их губы бантиком — где я видел вас, хозяйки райских заведений?

А храм Пятиста Веселых Будд на Ароматных холмах, опять же под Пекином? Кого только не отыщешь среди них: будды-хвастуны и будды-пьяницы, будды-весельчаки и будды-недотепы. Есть даже будда Ильич с характерной бородкой и лысиной, позолота же только усиливает сходство: точно такой пылился в глубине сцены нашего школьного актового зала.

И вся эта заново вызолоченная братия в нормальный человеческий рост расселась плотными шеренгами, как в вагоне метро, по всему храму — входя ты находишь его уже заполненным и можешь присоединиться к компании...

Впрочем, шутки в сторону — я не готов к разговору о буддизме.

Я долго ломал голову над загадкой моего дракона.

Идя издалека, я добрался до вывода, что у искусства вообще две ипостаси — или даже что существуют два разных искусства.

Первое, в конце концов взявшее верх в Европе, — «искусство особи», личности.

Такова здесь — из известных мне — только старая лирическая поэзия с ее искренним чувством, простотой и гениальной чуткостью к деталям. Она поразительна, сколько ни читай.

Субъект другого, «соборного», искусства — та или иная человеческая общность, очерченная религией, государством или даже некой цивилизацией в целом. Оно выражает обобщенный дух социума и его восприятие мира.

Это «другое» искусство налицо и в западном мире. Не к нему ли отнести масс-культуру, промышленный дизайн и даже наш недавний отечественный культурный официоз? Но и не только эти презренные роды.

По необходимости «соборна» почти вся монументалистика. Таковым, вне сомнения, было искусство Древнего Египта, империи инков. Да и христианское церковное искусство, торжествовавшее все средневековье, пока окрепшая и почуявшая силу городской личность не вывернула его лицом к себе, с чего и началось Возрождение.

Первобытное же искусство, вероятно, было синкретично и в этом смысле. оба полюса сходились в личности, в те времена практически равной социуму.

В Китае, где государство столь рано и полно возвысилось над человеком, именно «другое» искусство тысячелетиями господствует в архитектуре и живописи, в ремесле и местной музыкальной драме — «опере». Единичный человек никогда не был его героем, это искусство муравейника. И неудивительно, что оно напрочь лишено чувственности — у муравейника нет пола.

Тем же можно объяснить и монотонность здешних творений: в форму искусства отливается модель восприятия мира, у нашего суммарного творца вполне сложившаяся. И застылость во времени — лишь люди знают смену поколений, а государство, тем паче такое, как Китай, практически бессмертно.

Не кажется ли тебе, мой друг, что, если принять эту гипотезу, многое проясняется и в истории средиземноморской, европейской, а затем и американской культуры? И в том, почему с таким трудом пробивается в искусство кинематограф. И даже в соцреализме, который как ни ругай, но был.

Я не обнаружил у китайцев особенно твердой веры, но искусство Китая насквозь религиозно. И божественный символ его — государство.

Любовь к Богу воплощается в этой стране прежде всего в благоустройстве территории.

Изумительный ландшафт Летнего дворца, умелым использованием которого я, помнится, восторгался, оказался-таки рукотворным. Дивный холм, по которому раскинулся ансамбль, насыпан из той самой земли, что вынули и перетаскали в корзилах, роя разлившееся перед ним просторное озеро.

Помимо прочего это в очередной раз стоило Китаю славы морской державы: возвысившаяся из наложниц вдовствующая императрица Цыси пустила на реконструкцию резиденции деньги, собранные для постройки военного флота. Но, может, красота и заслуживала жертвы.

Китайские дворцы павильоны и храмы более всего напоминают севших на склон бугорка, в траву, вздрагивающих крыльями насекомых. На красно-золотистых чешуекрылых.

У этой эстетики бабочек есть секрет.

Сама по себе китайская архитектура выглядит утомительно однообразной — если только вспышка ало-зеленого пламени способна утомлять.

В конфуцианском храме и в галерейке императорского «охотничьего домика» те же узоры, та же взлетающая волна черепиц, тот же пурпур с золотом.

Но в том-то и дело, что сами эти постройки играют роль архитектурных деталей. А целое произведение — их сочетание с озером либо крошечным прудом в лотосовых островках, с кипарисовым парком и холмом. С рельефом, рощей, с заботливо собранной коллекцией причудливых камней.

Павильоны, подобно завитушкам узора, схожи между собой и повторяются. Зато в пространстве и природном окружении ансамбли очень выразительны: парадно-праздничный Летний дворец, торжественно-величественный Храм Неба, поэтичный «охотничий домик» на Ароматных холмах...

В этом и загадка, почему разрушенные, сгоревшие и вновь восстановленные ансамбли не кажутся новоделом. Реставраторы заменили мертвую деталь, а живая оправа вся прежняя!

Словом, если заскучаешь по дому, поезжай в Летний императорский дворец и поброди по тамошнему парку. Осенью и зимой он прозрачен и беспроделен, как грусть.

Прислушайся к легкому звону колеблемых ветром колокольцев, свисающих по углам из-под карнизов пагод. Повспоминай стихи Ду Фу. И помечтай, отыскивая глазами разбросанные по холмам петли дворцовой стены, извивающейся среди ветвей темно-красным драконом с серой чешуей черепицы по хребту.

Занятый коллекционированием всех этих диковин, я и не заметил, как подоспел лунный Новый год.

Управляющий гостиницей прислал поздравление в виде отпечатанного на пурпурном фоне золотого иероглифа, похожего на пальму с длинной ногой и кудлатой верхушкой.

Повсюду открылась праздничная торговля новогодними картинками, хлопушками и разной мишурой. Толпа повеселела. И даже заточенные в мутном аквариуме у ресторана лангустины, напоминающие громадных муравьев, кажется, не так вяло шевелят длинными усами и перебирают лапками.

Во всех учреждениях устраивают новогодние столы и танцы. Пары перемещаются в сложных фигурах, терпеливо разученных в классе. И худошавый, седовласый, весь черношелковый китаец заморского вида, улыбаясь молоденькой партнерше, выбрасывает ноги в невероятном изысканном па.

Три дня и три ночи над городом стояла форменная пальба: казалось, Красная Армия с боем берет окрестные кварталы. Перед самой новогодней ночью она перешла в шквальный огонь, и я, не утерпев, оделся и вышел на улицу.

Синий пороховой дым слоями тянулся среди домов.

Повсюду вдоль плохо освещенных мостовых, во дворах, на перекрестках маячили взрослые и дети с целыми охапками разнообразной пиротехники и с тлеющими фитилями в руках. Они с озабоченным видом устанавливали и поджигали петарды, шутихи, фейерверки и любовались произведенным действием.

Стаи ракет со свистом взлетали в черную высь и лопались там, рассыпая разноцветные брызги. Били с земли высокие фонтанчики желтого и белого огня. Оглушительно трещали, разбрасывая картонные опилки, многозарядные хлопушки, похожие на связки красного перца. Ребристые крыши маленьких домов озарялись цветными сполохами, а все окна и балконные двери многоэтажных — были распахнуты в зимнее небо, и оттуда длинными дугами вылетали праздничные огни. Тротуары сплошь покрыл толстый слой стреляных патронов, обгоревших петард, ошметков белого и красного картона.

Говорят, такой треск хорошо отгоняет вредных духов. В 1902 году, когда императорская обсерватория предупредила о предстоящем затмении, высочайший указ предписал подданным выйти с гонгами и хлопушками на улицы, дабы шумом отвести беду, угрожающую светилу...

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

о нескольких уголках Пекина, увиденных краешком глаза

Я уже признавался, мой любознательный друг, что у этой северной столицы множество выражений лица. В зависимости от выбранного маршрута ты увидишь три-четыре совершенно разных города.

Одно из лучших мест, любой тебе скажет, — Храм Неба.

Он окружен пространной священной рощей, веками клубящейся кипарисами. Такие я видел только в старых прованских аббатствах, где любил писать этюды Ван Гог. Как жаль, что в Китае не было и нет импрессионистов.

Впервые я попал сюда в поздний послеполуденный час. Солнце пронизывало священный лес, но уже наполняло его желтизной и золотило лицо инвалида, катившего по дорожке в своей коляске. И прорисовывало серые морщины крученых необхватных стволов, за которыми тут и там прячутся и шарят друг у дружки под одеждой измученные теснотой жилья и варварским законом о браке парочки.

Внутри этой рощи запрятан тот императорский павильон, что я упоминал в прошлом письме. Но главное — два круглых, вонзенных в небо храма, разведенных длинной и широкой каменной эспланадой, и еще трехъярусный беломраморный алтарь, величиной и видом наводящий на мысль о римских аренах.

Особенно праздничен северный храм в виде ступенчатого шатра, снизу доверху сверкающего золотой росписью. Южный поменьше ростом, зато окружен важной здешней достопримечательностью — Стеною Эха. Эта высокая каменная подкова хорошо отражает звук. И если стать внутри ее по разные стороны от храма, можно, не видя друг друга, переговариваться негромким голосом: слова полукругом обегают препятствие. Впрочем, китайцы так орут, что спокойно могли бы обойтись безо всякой стены, их слышно даже снаружи. А особенно любознательные, выйдя из храма, обычно пытаются повторить эксперимент еще и с внешней, выпуклой, стороной.

Легко вообразить, сколь блестящее и торжественное зрелище являло шествие императора с многотысячной свитой, под рокот барабанов и мерные всплески гонгов катившее разноцветной шелковой волной по эспланаде от храма к храму. Мысленно я проделал с ними весь путь и даже облачил себя в какие-то атласные перья. Но потом оказался в более подобающей по чину, сдерживаемой стражниками толпе принаряженных писцов неизвестного мне ранга...

Видно, на это ушло порядочно времени. Когда я огляделся вокруг, уже и туристов почти не стало. Только два-три старика бродили по опустевшим каменным плитам с вертушками воздушных змеев в руках и неотрывно глядели в покрасневшее небо. Там, на немислимой высоте, медленно кружили их мастерски сделанные игрушки в виде громадных шелковых бабочек и плоских оперенных ястребов, вселяющих ужас в сердца пичуг, притихших в потемневших кронах.

В Китае торгуют в храмах. Брелоками, безбожно дорогими открытками, всерами, кока-колой и пивом, нефритовыми статуэтками грубой работы, булочками, майками с изображениями Великой стены. А за воротами Храма Неба, прилепившись переходящими один в другой зарешеченными лабазами к окаймляющей священные уголья серой стене, протянулся знаменитый Жемчужный рынок.

Внутри это узкая крытая галерея, где по обе стороны от прохода теснится несметная череда крошечных лавочек чудес. По правую руку — антикварные, набитые драгоценными старыми вазами, чайными сервизами, серебряными браслетами, фаянсовыми подголовниками, кальяничками, крошечными шелковыми туфельками былых красавиц, фигурками из яшмы, дерева и нефрита. По левую — все то же самое за бесценок, только что привезенное с фабрик или из маленьких мастерских. Удивительно, что по ночам, когда со скрежетом опускаются железные шторы и гаснет свет, вторые не переползают через проход в аристократическое общество первых. Подозреваю, это случается.

Название рынку дали завершающие пассаж длиннейшие прилавки, сплошь завешанные бородами седого, желтоватого, розового жемчуга. Лица сидящих позадн продавцов целиком скрывает эта переливающаяся занавесь, и они вынуждены раздвигать ее, зыкая проходящих.

Этот деревенский жемчуг, неровный и мелкий, и правда хорош, если думать не о вечерних приемах, куда нас все равно не зовут, а о том, чтобы порадовать подружку простым и древним, как Янцзы, украшением, хранящим живое прикосновение выросшего его в теплой речной воде моллюска. И торговля идет бойко.

Занятно, что многие пекинцы даже не знают об этом рынке. Здесь больше в ходу польская, английская, русская речь. Еще недавно поляки скупали жемчуг на вес и увозили рюкзаками. Теперь все чаще видишь наших родных корейников и торговки наметанным глазом выхватывают тебя из толпы и окликают на ломаном, день ото дня лучшающем русском.

Я тоже купил там несколько жемчужных ниток, ты получила одну из них. А еще толстопузого деревянного Будду Будущего из тех, что, потрясая щеками, хохочут во все горло над нашим прошлым и настоящим...

Рынок чудес закрывается рано, да и темнеет на глазах. И в этот зыбкий час поднимается занавес, обнажая частную жизнь поднебесного города. Он наконец-то занимается самим собой.

Женщина стирает в тазу прямо на тротуаре, выплескивая мыльную воду под ноги прохожим.

Плотный бритоголовый китаец, сидя на табурете, чистит ножом извивающуюся окровавленную рыбу.

Уличный цирюльник складывает свой стул и простыню и собирает инструменты в корзинку.

А продавец блинов в третий раз за день выкатывает застекленную тележку-кухоньку с котлом кипящего масла и раскаленной плитой.

И рикши с полосатыми тентами, устав сзывать седоков, причаливают к тротуару перекусить.

Компания мастеровых, устроившись на чурбаках вокруг уставленного площадками низкого столика, закусывает перед своей мастерской чем-то горячим, жидким, коричневым. Толпа обтекает их, они болтают о своих делах и чувствуют себя на диво уютно. Если хочешь узнать национальный характер, посмотри на людей за едой.

Глазастая ночная жизнь растекается вдоль улиц.

На ступеньках харчевен и ресторанчиков пускают искры приплюснутые медные самовары. По ту сторону распахнутых створок за столиками едят, макая палочками ломтики баранины в приправленный специями кипяток, и пьют пиво из высоких бутылок.

Трое в дальнем углу, по виду государственные служащие (один с ужимками обезьяньего царя, но в жилетке и при галстук; другой — узколиций, с воткнутой в ядовитую улыбку сигареткой; и третий — еле шевелящий толстыми, как пельмени, веками), играют в какую-то долгую карточную игру.

Толпы позванивающих велосипедов катят мимо расцветенных огоньками витрин, уличных столов, заполненных едоками, и маленьких ресторанов с потрепанными шелковыми фонарями над дверьми.

Старик с костлявым лицом недвижно сидит, накиннув на худые плечи пальто, в вынесенном за ворота плетеном кресле и молча разглядывает набегающий из мрака, посверкивающий ободами поток.

Под уличным фонарем молодая пара беззаботно стучает в бадминтон через головы идущих.

По длинному коридору улицы несет пестрым мусором смех, звон стекла, запах мяса и горелого масла, обрывки кружащей скачками мелодии пекинской оперы.

Но все это ненадолго.

Уж веломастер, притулившийся у стены, доклеивает при свете переносной лампы последнюю за вечер камеру и клиент нетерпеливо покуливает в ожидании.

Все меньше покупателей у освещенных изнутри лотков с овощами, фруктами дешевой водкой, галантереей и опять с овощами.

Расползаются в темноту безлюдные узкие переулки с кучками угля, прикрытого рогожками.

Тускло блестят, сгрудившись в своих кошарах, оставленные хозяевами велосипеды.

Откуда-то тянет сладким запахом не то курящихся благовоний, не то тлеющей свалки.

На опустевших перекрестках еще маячат ночные продавцы сигарет с яркими деревянными витринками, похожими на мольберты.

Держась за руки, катят посередине асфальта на тугих шинах запоздалые парочки.

И какой-то мужчина с фонариком в руке роется в мусорных баках.

У этой великой столицы, гордящейся своим прошлым, есть мечта. Ее выдают распластавшиеся и рвущиеся ввысь в пыльном ночном тумане прозрачные, дымчатые, бетонные дворцы гостиниц. Пустые и темные до самого верха. Лишь на уровне тротуара они сверкают массивными парадными входами и золотыми огнями мраморных холлов. В полированном камне со всех сторон отражаются многоярусные люстры, скучающие за стойками служащие и молодые привратники в алых камзолах, дежурящие у стеклянных дверей. И дремлет где-то на этажах прислуга, дни напролет прибирающая и чистящая нетронутые номера.

Целый город в ожидании гостей, которые могут и не приехать...

Поднебесная, 198-й день.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

о происхождении времени, весны и воздушных змеев

Ты можешь быть уверена, мой друг, что часы изобрели не в Китае. В этом инструменте тут нет надобности.

Зато китайцы придумали машину времени. Хотя я тщетно искал ее в музее между античной повозкой для залпового огня пороховыми стрелами и колесным кораблем, кажется, Цзиньской эпохи, приводившимся в действие живой силой (добавь гребное колесо к перечню китайских приоритетов), она несомненно была построена. Сложенная из дерева и бронзы, расписанная золотом, инкрустированная нефритом с искусной резьбой в виде летящих драконов и фениксов. Почти уверен, что знаю имя изобретателя: все тот же Конфуций.

Ныне он опять превознесен. Разрушенные было храмы восстановлены. Труды «учителя из Цюйфу» распространяют специально созданные фонды, изучают на созываемых тут и там конференциях. Кучу денег тратят на конфуцианские фестивали, куда старательно заманивают иностранцев дармовой кормежкой и показухой. Ожидается, что именно он выведет страну в будущее.

Но это ошибка. Построенная им модель годится для движения во времени не больше, чем мраморный пароход в Летнем дворце — для путешествий в пространстве. Да такая и не нужна: по времени тут можно перемещаться пешком. Достаточно свернуть вбок с проспекта, чтобы позади многоэтажных декораций оказаться в средневековой деревне с ручейками нечистот либо в тесных коридорах феодального города, да еще упереться в маленький древний храм, при рассмотрении, правда, оказывающийся ресторанчиком.

Машина Конфуция остановила время. Он объявил идеалом прошлое и навсегда посадил страну на этот бронзовый якорь.

Потомки буквально восприняли указанный ориентир и приложили массу сил, чтобы не слишком от него удаляться. Едва очередная эпоха уходила со сцены, ее принимались мумифицировать и утрамбовывать в уже слежавшийся археологический пласт, дабы снова начать с прежней точки отсчета. Работа эта зашла столь далеко, что чуть не вся история Китая оказалась в первом томе, к тому же еще не до конца дописанном.

Иногда мне кажется, что в сознании своем многие китайцы живут в условном мире пекинской оперы с ее полосатолицыми злодеями и комиками, помеченными на переносице белым пятном. Этот симбиоз музыки, пения, акробатики, драмы и пышных костюмов — потрясающее зрелище! Сюжеты таких опер, восходящие к деяниям немыслимой древности, воспринимаются тут не аллегорически, а, как древние греки, верно, смотрели трагедии Еврипида, по свежим следам. И мой китайский приятель, поминутно поправляя на носу очки, с жаром повествует мне обо всех этих кровавых убийствах, подлых предательствах и благородных поступках, точно они случились вчера и он узнал о них из вечерних новостей по телевизору.

Искусственно замкнутый в пространстве, Китай все же нуждался в соседях, хотя бы для сравнения. И он отыскал их, как и все остальное, в своей собственной истории. Даже моды заимствовали отсюда, как русские у французов в пушкинские времена. В книге про одного старинного каллиграфа я прочел, что в артистическом кругу принято было в одежде и манерах казаться старомодным: за образец брали IV век. А шел всего лишь XI. И простое ли совпадение, что в китайском языке у глаголов нет времен?

Культ старины возведен тут в символ веры. Принцип «чем древней, тем лучше», преобладающий в нашей части света у археологов и коллекционеров, безраздельно господствует в умах. Это длится более двух тысячелетий, и античный балласт, придающий цивилизации устойчивость на ходу, в Китае, я уже говорил, обратился в якорь.

Поняв все это, я иными глазами взглянул на историю западного мира.

Мне всегда было чертовски жаль Древний Египет, Крит, Афины и домонгольский Киев. Я страдал, обнаружив, что пол-Европы лежит на мраморных руинах Рима с его водопроводами, арочными мостами, театрами — великого организма, поглощенного варварами, не сумевшими даже его целиком переварить.

Еще страшнее подумать, что и дивная европейская цивилизация в какой-то момент устанет эволюционировать и уступит место иной, исчезнет под ней со всем своим пышным реквизитом.

Но, вероятно, даже сохранение той или иной культуры не может быть самоцелью. Рождение нового неизбежно связано со смертью старого, как вдох и выдох. И не бывает одного без другого.

Удивительно, что в этом остановившемся мире еще происходит смена времен года. Но это так.

Омерзительно скучная зима слегла наконец от сухого кашля. Тонкие тени ветвей сделались резче, обозначив приближение весны. И обсаженный тополями бывший загородный тракт — Дорога Белокаменного Моста, куда ты мне пишешь, — по утрам стал наполняться светом. А прямые одноэтажные улочки в старом городе похорошели, залитые холодным и прозрачным, как вода, воздухом.

В день, когда расцвели яблони, впервые повалил так и не выпавший зимою мокрый снег. Повиснув на черных зонтах деревьев, он неожиданно напомнил Прибалтику. Здешние крыши и без того графичны, а выбеленные снегом волны черепиц обратили весь город в гравюру из музея. Или в стадо каменных зебр, сбившихся в загоны кварталов.

То была мимолетная заставка.

Снег растаял. В гостиничном парке вспыхнули магнолии в язычках розового пламени. Проспект на месте прежней железнодорожной ветки стал сиреневым от цветущего восточного платана. А вся остальная Поднебесная красовалась в веселеньких желтых цветочках.

Потом по пустым мостовым прокатили в разноцветных непромокаемых пелеринках ночные дожди на мокрых велосипедных шинах. После них боковые аллеи заполнились теплым туманом, зеленым и влажным. Ко мне в окно стали биться жуки величиной с небольшую птицу. И вот уже появились стридали газонов со своими громадными ножницами.

С установлением ровных весенних ветров приходит золотая пора любителей воздушных змеев. У нас это детская забава, а тут ей предаются люди серьезные и пожилые. Ремесло их доведено до степени искусства.

Возможно, китайские летописи не врут, что эту игрушку придумали еще в IV веке до нашей эры. Одному из императоров так нравилось их запускать, что он даже составил руководство по их изготовлению. Теперь есть целые деревни и пара городков, живущих исключительно этим промыслом. Миллионы штук продают по всему Китаю и за его пределами. Принадлежность к искусству подтверждается и тем, что иные змеи вовсе не умеют летать. Их участь — висеть на стене, украшая комнату.

Но я не о профессионалах, а об истинных любителях, чья страсть сродни увлечению садовода или голубятника. Это они, едва солнце начинает пригревать, выползают из своих пропахших клеем и красками клетушек на площадь Тяньаньмэнь с запасом смастеренных за зиму новых змеев. И с озабоченным видом, ликуя в сердце, пускают свои детища в синюю вышину, откуда в черненький горох сливается россыпь задравших головы зевак и кажутся мизерными нелепая коробка Дома национальных собраний, и золотые шкатулки дворцов в Запретном городе, и цвета запекшейся крови громада надвратной башни Тяньаньмэнь с портретом великого кормчего...

По доброй китайской традиции, предписывающей по всякому поводу устраивать праздник, в городке под боком у столицы провели фестиваль воздушных змеев.

Были пешие и велосипедные толпы, стекавшиеся по всем дорогам к месту развлечения. Трубили, пробираясь среди них, кондиционированные автобусы, подвизившие интуристов. На стадионе гремел оркестр.

Дети с бумажными цветами и веерами в руках составляли на вытоптанном футбольном поле живые картины. Толстые юные музыканты в красных и белых ливреях били в огромные барабаны. Четыре взвода гитаристов с алой повязкой на лбу и с гитарой наперевес выполняли ритмичные военные упражнения. По боковым дорожкам бегали, посверкивая золотыми мегафончиками, распорядители, дирижируя всей этой массой.

Туристы пили пиво, фотографировали и загорались от солнца ладошками.

И было чудное светлое небо, исчерканное десятками змеев в виде шелковых птиц и бабочек, иероглифов и стрекоз, а поверх всего перекинули свои громадные многочленистые хвосты два длиннющих летающих дракона — желтый и трехцветный.

Поднебесная, 233-й день.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ,

написанное в рыбацком городке Шидао. В нем пахнет рыбой и дешевыми желтенькими сигаретами и звучат большие барабаны. А еще я гляжу по сторонам

В 1421 году, как ты знаешь, Китай отвернулся от моря, переместив столицу в сухопутный Пекин. Он обратился лицом к северным кочевникам, откуда исходила опасность. Но при этом безвозвратно упустил неплохо, хотя и запоздало, начатую партию общения с миром. Все форточки захлопнулись.

Теперь здесь пытаются проделать обратный маневр. Реформы, оживление и «западная зараза» идут от побережья. Витрина его — на благодатном юге. Я же отправился много северней, в едва просыпающееся захолустье на Желтом море.

Красноватые вспаханные поля перемежались зелеными, кирпичные дома сменялись глиняными. Время от времени за окном появлялись то ли развалины древних городских стен, то ли недостроенные заводы будущего. Наконец безотрадные фабричные задворки, поля и корабли на свинцовой полоске воды возвестили о приближении Циндао.

Мы проскочили к морю в час отлива. Из лохматых серых туч сыпала мерзкая водяная пыль. По обнаженному глинистому дну бродили в поисках добычи чайки и одинокие горожане с кошелками.

Историческая родина водки-циндавки входит в тройку крупнейших портов Китая. В колониальную эпоху тут хозяйничали немцы. Недаром местный напиток, популярный у заброшенных на чужбину русских, по вкусу напоминает неважнецкий шнапс.

Приморские кварталы некогда добротных бургерских домов, теперь порядком обшарпанных, сбегают по холмам к благоустроенной для прогулок набережной с парком. Дальше по берегу ветшающие островерхие коттеджи, от каменных стен которых веет трогательной неметчиной, соседствуют с новыми курортными домиками из тонкого бетона.

Старый Циндао выглядит европейским городом, в котором невеста когда победила китайская революция и только теперь подумывают, не разгрести ли разруху. Палисадники за чугунными решетками заставлены ломаными велосипедами. Балконы забиты тазами, пустыми цветочными горшками, банками. Но тут и там уже высятся кучи разрытого песка, горы бетонных плит и железные остовы будущих офисов и отелей. И выросли первые стеклянные призмы свежесозданных компаний.

От берега шоссе свернуло в серые кварталы безвременья, где среди мрачных мутноглазых корпусов единственным чудным видением мелькнуло розовое облачко цветущей сливы. Но дальше через низкорослый жилой хлам, презрительно топчя его опорами, перекинулся новехонький виадук, и просторная и прямая, как взлетная полоса, скоростная автострада побежала через весь полуостров.

Природное трудолюбие китайцев часто преувеличивают. Пекинский служащий на зарплате еще ленивей своего далекого русского собрата. Но в сельской местности свой клочок земли плюс обилие рук дают поразительный результат.

Час за часом по обе стороны шоссе медленно поворачивались безукоризненные газоны полей, пробегали виноградники и грушевые сады, уже пустившие из своих толстых кривых ветвей желтоватые листочки.

Тут и там проступают первые следы ожидаемого благополучия. Ровные и прибранные, как военные городки, краснокирпичные деревни. Скосы дорог, выложенные тесаным камнем, горбатые мостики через ручьи. И хотя в домах затаился почти прежний нищенский быт, трудно не поддаться внешнему впечатлению.

Я влюбился в эту выпестованную землю с узкими террасами взбирающихся на холмы полей, с шеренгами юных садов и светлой меружкой теплиц. С плотинами, квадратными прудами, с аккуратными маленькими мечетями деревенских кирпичных заводиков. Это отсюда наполняются городские рынки, почти накормившие Китай.

В конце пути мы еще завернули в недавно отстроенный буддийский монастырь в горной деревушке. В давние времена тут не то гостил, не то прятался некий японский негодяй, известный у себя на родине как путешественник. Чтобы было что показывать его соплеменникам, местные власти решили на голом месте восстановить обитель. Туда ведет вертящаяся среди круч дорога, к которой местные жители выносят свою маленькую торговлю.

В храме, пока нет туристов, пусто. Девушка за прилавком сувенирной лавки скучает среди безделушек и вееров. Перед золоченым, как повсюду, Буддой курится ароматная палочка и расставлены блюдечки с угощением — несколько яблок, три мандарина, банан.

По каменной дорожке прогуливается бритоголовая монахиня в просторной розовато-коричневой рясе. У нее приветливое, еще молодое лицо и умные глаза. Состиранные, очень чистые пальцы привычно перебирают длинные четки, свисающие с шеи. В глухой этот уголок, где прямо из камней растут яблоны и женщины полощут белье в ручье, ее прислали три месяца назад из Пекина. Чем-то она запала мне в душу, какой-то чудесной, но вполне земной нездешностью: будто тысячелетний стоячий воздух Поднебесной ветерком провистел мимо нее.

Мы уже собрались уходить, когда уединение разрушила привезенная снизу, от моря, школьная экскурсия. Храмовый двор мгновенно заполнился гомоном и запахом сырой рыбы. Через два дня от моей одежды пахло точно так же.

Водянистый вечер совсем стусился, когда мы спустились с горных вершин. Небо красноватым неровным ущельем извивалось в обступивших дорогу темных кронах.

В рыбацкий городок въехали уже черной морозящей ночью. И оказались первыми постояльцами нетопленной гулко-пустой гостиницы, ожидающей под свои аляповатые потолки гостей на праздник рыбаков. Теплую воду дают всего два часа в день, и мы их уже прозевали.

Городок Шидао сидит в камнях на самой восточной оконечности Шаньдунского полуострова, где тот дальше всего уходит в Желтое море. В переводе его имя означает «каменный остров», хотя на деле он окружен водой лишь с трех сторон. С четвертой залег караван горбатых гор. Да и с остальных отлив каждое утро обнажает россыпь морщинистых, облепленных ракушками красноватых скал.

Трудно вообразить себе что-либо более каменное, чем эта маленькая рыбацкая столица. Здешнего гранита достанет на пару-тройку приличных европейских городов со всеми их мэриями, банками и оперными театрами. В Шидао из него сложены даже отхожие места, не говоря о домах, мостах через вонючие речушки, заборах и ступенях перебегающих по склонам лестниц. Причина проста: ни леса, ни глины в окрестностях нет, а камень под ногами. Но впечатление он производит фундаментальное. И я как зачарованный брожу среди этих гранитных хижин, изваянных на века из могучих тесаных блоков и крытых черной, не боящейся гниения морской травой.

Рыбацкую профессию городка легко угадать с закрытыми глазами. Тут сам воздух пропах рыбой. Вдоль улицы расположились со своим нехитрым станком плетельщики канатов. Маленькие черные суда стайкой выбегают из гавани. В рыбном порту зеленеют горы сетей с дремлющими на них рыбаками. Мерно колеблется березовая роща мачт, покачиваются ржавые борта, деревянные надстройки. Если заглянешь с пирса в крошечную рубку, увидишь вытертый до блеска деревянный штурвал, пару пустых пивных бутылок, заплеванной пол с рассыпавшимися по нему игральными картами.

В прежние годы, говорят, рыбы было пропасть, ловили на куриное перышко вместо наживки. Теперь не то. В поисках добычи малосильные суденышки уходят через море до самой Кореи либо спускаются вдоль берега далеко на юг. В дурную погоду, когда креветка подымается со дна, ее промышляют с тяжелых деревянных лодок. Но больше теперь занимаются марикультуры, перенятой у японцев. Куда ни глянь, плантации поплавков, под которыми в несколько этажей висят садки. Растят морскую капусту, трепангов, тех же креветок и всяких экзотических моллюсков вроде морского уха — эти жутковатого вида раковины с кулак величиной в Японии, Гонконге и за океаном идут по сорок долларов за кило. По всему побережью, с тех пор как его открыли для иностранцев, вертятся десятки и сотни южнокорейцев, японцев, тайванцев, основывая одно за другим маленькие, но очень прибыльные совместные предприятия.

Денег и правда стало больше. Похожий на подросткового карлика заместитель уездного мандарина толковал мне про сотни миллионов юаней и миллионы долларов. Подозреваю, львиную долю забирает государство. Остальное уходит на строительство небольших цехов, питомников, где разводят изумрудно-голубую ракушечью молодежь, и на всякое благоустройство с целью привлечь еще больше заморских капиталов — нынче в Китае на этом просто помещались.

Прежние коммуны давным-давно разогнали. Вместо них учредили коллективные компании, что-то вроде наших колхозов, и велели богатеть. Но с умом, то есть поглядывая наверх. И с обратного конца — не с людей, а с новых офисов, гостиниц для всякой заезжей шушеры, с общественных мест на крайний случай.

Жидкая денежная струйка, как и в других местах, проливается на прибрежных жителей подобно дождю — сразу на всех и сверху. То введут доплату за учебу детей (а школы в Китае платные), то проложат волостную дорогу Я

проехал по одной из них. Широкою и ровною, ее устилал свежий желтый песок. Ехать было мягко, удивляло только отсутствие автомобильных следов. Но и это объяснилось: примерно через каждый километр вдоль всего тракта стояло по человеку с деревянным скребком. И стоило пробежать машине, как он выходил и ровнял потревоженную колесами поверхность.

Заработки тоже растут, но медленно. Голодных уже нет, но в домах те же грязь, и теснота, и готовка на угольных плитах. Одеты рыбаки неважно. И по-прежнему курят грошовой сигареты в желтой сладковатой бумаге, правда чертовски вкусные.

Все-таки почти повсеместно завелись телевизоры — гордость и радость китаец. Начальство и кое-кто из капитанов построили себе первые двухэтажные коттеджи, хотя пока и пустоватые внутри. На пестром волостном базаре, заполняющем улицу всякий пятый день по лунному календарю, нарасхват идут яркие газовые платки, постельное белье, рубашки, нанизанные на палочки сладости. А в самом Шидао на горластой торговой площади, раздавшейся в переулки, можно полюбоваться, как лихо пробивается, приподнимая тяжелые гранитные плиты, дозволенная теперь частная предприимчивость. Под брезентами на бамбуковых шестах радостно светятся груды зеленых, желтых, красных овощей. В крошечном магазинчике приветливо улыбается молодой приказчик в малиновой жилетке, белоснежной сорочке и при бабочке. Стучат разноцветные шары на установленных прямо на площади бильярдах. И благоухают десятки узких, как пенал для веера, парикмахерских, открытых приезжими шанхайцами и гуандунцами.

Веками не ослабевающая отеческая забота властей внесла в китайский характер что-то детское. Я уже писал про их любовь к разнообразным праздничным действиям. И как на утреннике в детском саду не совсем очевидно, ради кого же клеили цветные гирлянды, разучивали стихи и хороводы — для самих ли ребятишек или для приглашенных родителей, — так и праздник рыбака, на который меня привезли, показался затеянным скорее для журналистов и нескольких десятков раздобытых по случаю заморских гостей. Впрочем, полюбоваться им со всей округи толпами валили и охочие до зрелищ местные жители, иной раз целыми деревнями.

Устроители потрудились на славу. Весь город увешали разноцветными флажками. На берегу сколотили помост в виде древнего парусника. Сотни собранных по уезду артистов отрепетировали представление в традиционном духе. Даже восстановили и заново разукрасили храм покровительницы рыбаков богини Мацзу.

С утра прямо у воды была совершена церемония жертвоприношения дракону моря, которую власти полагали театрализованной. Потом состоялись лодочные гонки и состязание сетевязов, победители которых получили, кажется, по термосу. Рокотали большие красные барабаны. Опять трещали петарды. Пропахшие морем парни в робах прогуливались, лакомились из газетных кулчков мелкими витыми ракушками, что едят сырыми. Высокими голосами кричала ярмарка. А с наступлением сумерек на причале зажглась вереница праздничных фонарей с изображениями реальных и мифических обитателей моря и персонажей китайских легенд. Тут-то под вспышки фейерверка и началось самое гулянье, на которое, впрочем, рыбаков не пускали, разве что по специальным приглашениям.

Для гостей местные правители закатили банкет. Боже, сколько раковин я там съел, отплевываясь жемчужинами! Даже не понаторевшие в китайской кухне новички бодро работали палочками, время от времени выбрасывая из тарелок всякие сомнительные включения, в которых часто и состояла главная ценность блюда. Впрочем, конец я плохо помню. Каждый из восьмидесяти моих сотрапезников посчитал долгом выпить с бледнолицым гостем до дна, и я с запозданием уразумел, что у многих вместо водки в рюмках плескалась вода. Так что когда чуть не в полночь за мной явились в номер и принялись расталкивать на еще какое-то фольклорное игрище, я с полным правом повторил великолепную фразу Ли Бо, какую двенадцать с половиной веков назад он отослал императорских гонцов, разыскивавших его в винной лавке. В ту ночь я впервые всерьез затосковал по дому.

На другое утро, чтобы освежить голову и впечатления, я попросил снова отвезти меня к рыбацким причалам. Широкая площадь, где накануне в неистовстве барабанов и гонгов кружился, взметая тучи пыли, шелковый дракон, была безлюдна. Мусор, оставленный многотысячной толпой, вымели, скамейки убрали, и на расстеленных по земле полотнищах вялилась выложенная из края в край убористыми строчками неисчислимая рыба. Двое рабочих возились с досками, разбирая сцену-парусник. Причал опустел, и лодки точками виднелись то тут, то там вдоль всего берега.

Как мне сказали, праздник обошелся в пять миллионов юаней. Но это официальная цифра, действительных расходов никто не считал

Поднебесная, 258-й день.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ,

ленивое из-за жары. Главным образом о пекинских садах и ночных базарах

В Поднебесной тепло. Теперь тебе не удалось бы найти утешения ни в тени, ни в прохладном шелке. Тени сделались душными, а шелк сразу намокает на теле.

В полдень цикады и кузнечики свиряют с таким остервенением, словно взялись перепилить гостиничный парк.

Маленькие стеклянные офисы через дорогу, наполненные искусственной прохладой, запотели снаружи, как бутылки из морозильника.

И даже нищие возле ограды, где туристы подают милостыню валютой, стали какие-то вялые. А самый страшный из них, краснолицый и волосатый, высокомерно обмахивается зажатым в грязном кулаке веером с изображением изумрудной птицы.

Разок я проехался в автобусе в обнимку со всем китайским народом, так мне показалось, затиснутый в его пышущее нутро одним из дядек с красными повязками, поставленных для этой цели на остановках. Но то было испытание не по силам. Очень скоро появилось ощущение, что на мне плавают пуговицы. Я выкарабкался наружу и отправился пешком, купив за юань банановый веер.

Работать лень. Однако летнее безделье тоже дарит впечатления.

Прошел арбузный фестиваль, на котором я познакомился с художником диковинного жанра — резчиком по овощам и фруктам. До того мне как-то не приходило в голову, что при ресторанах должен быть специальный человек, вырезающий все эти бесчисленные узоры на яблочной, арбузной, дынной кожуре, а в межсезонье хоть на огурцах, без чего украшение парадного стола считается несовершенным. Надо ли говорить, что на сезон дешевых арбузов у этих мастеров приходится пик творчества. В заведении моего знакомца резцу подлежали не только арбузы, обреченные на съедение, но и те, из которых тут выдолблены на потеху гостям тарелки, и компотные миски, и даже круглые абажуры со сквозными прорезями в виде иероглифов.

Еще приехал бродячий цирк. Самый настоящий, о таких ты только в книжках читала. С пестрыми латаными шатрами для актеров, с огороженной полотнищами маленькой ареной, с гремящей из охрипшего репродуктора музыкой. И с трогательными, старыми как мир номерами — жонглированием шариками, протыканием саблей девушки, накрытой платком, разрыванием цепей. Апофеоз представления явился в образе рослой, разодетой в блестящие женщины, запустившей себе в ноздрю маленькую ядовитую змейку. Извивающийся хвост толчками втягивался с поднесенной к лицу узкой ладони, и обеспокоенные судьбой рептилии зрители восторженно ахнули, когда черная головка с раздвоенным язычком, отыскав путь, появилась из накрашенного рта исполнительницы.

Шаркающие толпы заполнили аллеи парков.

Вероятно, христианский рай похож на выметенные, затейливо спланированные китайские сады и в нем разлита такая же утонченная скука. Только в Поднебесной наслаждаться ею могут и грешники. Воскресные прогулки заменяют множеству горожан все другие развлечения. Они входят в благословен-

ные общественные кущи, как праведники в иную жизнь. И чувствуют себя столь же счастливыми.

Похожее чувство испытал и я, погуляв в изысканно-праздничном императорском парке вокруг озера Бэйхай. Это наиболее полное воплощение райской мечты в россыпи павильонов, беседок, храмов.

Всего прелестней здешний остров с высоким насыпным холмом, куда завиваются сложенные из неровных плит лестницы. От воды и до темечка он застроен прихотливо перебегающим с уровня на уровень ансамблем, больше всего напоминающим пушкинский остров Буян, каким его рисовал Билибин, только в китайском варианте. К сожалению, самый верх увенчан круглой пагодой, составляющей гордость пекинцев и похожей на перевернутую ножку отвратительно толстого белого роля.

Стало еще жарче. Рабочий день в учреждениях сократили на час. На улицах появились продавцы цикад, увешанные гроздьями звенящих на разные голоса плетеных коробочек с пленными насекомыми.

Я даже пытался искать спасения в прохладном беломраморном оазисе отеля «Шангрила», где в баре вышколенные японцами гейши в серебряных платьях терпеливой струйкой наливают пиво из маленьких бутылочек, а к нему подают солоноватый хрустящий картофель «от заведения». Но выходить потом в банную пекинскую духоту и плестись к автобусной остановке оказалось еще хуже.

И я обосновался на кафельном берегу бассейна, где учитель плавания длинной бамбуковой палкой гоняет, бегая вдоль бортика, стайку китайчат с привязанными к спинам, как у черепах, пробковыми поплавками.

Там, окунувшись и положив рядом книгу, я подолгу любовался тонкими, будто вырезанными из бумаги китайками, любящими сидеть ногами в воде с маленькими приемниками в руках, ловя на удочки антенн пискливые мелодии. И двойковыпуклыми мулатками в ярких купальных юбочках, с визгом сигающими с вышки. Или разглядывая повадившихся вдруг новых китайских богачей в тяжелых желтых цепях: обычно они приезжают в сверкающих «тойотах» и «ниссанах» с кондишеном, аккуратно складывают на пластмассовый стул свои черные галстучные костюмы и прихлебывают пиво, подставив солнцу могучие прыщавые плечи, разрисованные синими тиграми и драконами.

Но потом вода сделалась совсем теплой и перестала освежать. Ряды бледнолицых поредели, и только неутомимая американка в длинном белобрюхом купальнике осталась все так же плавать туда-сюда поперек бассейна.

Зато повсюду пооткрывались ночные базары. Торгуют на них едой: целые улицы превращаются в харчевни под открытым небом, и это один из самых дивных здешних обычаев.

Едва солнце закатывается за обуглившиеся крыши, город начинает готовиться к вечерней жизни. На велосипедах подвозят пышущие искрами жаровни, расставляют табуретки, кладут на козлы длинные столы и ставят на огонь закопченные котлы с водой и маслом.

Гирлянды электрических лампочек и ночная прохлада выманивают наружу обитателей душных домов, и дети, как мотыльки, кружат вокруг прилавков с пампушками.

По всей Поднебесной в эти часы раскатывают, и рубят, и заворачивают, варят и парят и тут же едят, примостившись в тесноте стола или стоя с фаянсовыми мисками в руках. Мигание цветных огоньков, чад мангалов, шкворчанье масла, чавканье, смех.

Особняком разместились продавцы зеленоватых улиток.

Хозяин заведения в южнокитайском стиле выносит на тротуар набитую змеями круглую металлическую сетку и поливает своих пленниц из шланга, чтобы придать им бодрости и товарный вид.

Но теперь не его выход. Змеи — дорогое блюдо, а тут торгуют пахучей, острой и дешевой стряпней, доступной всем и каждому. Тут пирует девушка из сберкассы, подметальщик улицы, милиционер, студент. И мне даже показалось, что как раз тут я видел истинное, простиупающее из-под оперной конфуцианской маски лицо Китая.

А когда улица опять пустеет и при свете бензиновых ламп уже последние гуляки допивают теплое пиво, часу во втором ночи, хозяева окрестных харчевен и крошечных ночных лавок сами подсаживаются за дощатые столы к остаткам яств — пропустить по рюмочке и поболтать под мелкими звездами, облепившими запыленное небо. Толпы едоков схлынули, обнажив нищету и грязь. Но тренькают снабженные вечным заводом цикады, течет беседа, шипит догорающая жаровня и вызывает уважение неистребимая живучесть жизни.

Поднебесная, 321-й день.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ,

в котором анатомируется дракон. Содержит также субъективные замечания о грамматических формах времени

Пожалуй, этот образ становится навязчивым. Но китайцы сами считают дракона своим родоначальником.

Великолепное чудовище с головой из папье-маше и многометровым матерчатым туловищем, внутрь которого забираются люди — либо поднимают его на бамбуковых палках над головой, — очень напоминает эту страну. Снаружи — золото и сурик. Внутри — бедно одетые исполнители.

Приезжим поначалу бросается в глаза расписная оболочка. Иные с тем и уезжают, прикупив по дешевке модных шелковых тряпок, сшитых по итальянским или французским лекалам и выбракованных заказчиком, а в антикварной лавке — какую-нибудь диковину старинной работы, чаще всего поддельную.

Поднебесная трудна для понимания. Декорации так перемешались с реальной жизнью, что стали частью ее. Я долго нанизывал четки впечатлений — и только проведя тут год с лишком, утвердился в кое-каких догадках.

Сейчас китайского дракона подновляют. К традиционным материалам добавляют дымчатое стекло, дюраль, нитролак. Среди вывесочных иероглифов засеменили мелкие английские букочки. Один за другим появляются невиданные прежде товары — то ван-гутеновский шоколад, то калифорнийское мороженое, правда по цене здешнего трехдневного заработка. А в нищем переулке, где из подворотен несет запахами отсутствующей канализации и бабки с красными повязками шпыняют пеструю детвору, увидишь вдруг застывшую посреди мостовой современно одетую девицу, болтающую с невидимым собеседником по гонконгскому радиотелефону, вынутому из сумочки.

Но все это — золотые мазки чешуи, натянутой на бамбуковый каркас.

Даже тяжеловесный, вбирающий полстраны Пекин, по сути, иллюзорный город. За ширмами бетонных многоэтажек, обступивших парадные проспекты, спрятан нескончаемый глиняный клубок хутонов, мало отличающихся от деревни, разве что без коз и кур. А впрочем, по утрам оттуда доносится пение петухов.

Изобилие и многолюдье торговых улиц обманчивы. Простой подсчет показывает, что покупать там изо дня в день мало кому по карману. Добрая половина этой толпы — приезжие, выбравшиеся раз в год или в жизни из дальних мест. Мне рассказали, что как-то на праздник власти закрыли въезд в столицу. И город опустел — улицы, автобусы, магазины.

И уж совсем несправадничен Китай вдаль от императорских декораций — в тысячах немощеных городков, в бесчисленных деревнях, обведенных кирпичной стеной словно для того, чтобы не расплескать свою бедность, а еще на мутных реках в крытых пальмовыми листьями лодках, обитатели которых не пересчитывают своих детей.

Поднебесная за пределами дворцов всегда была нищей. Я даже подозреваю, что восхитительное многообразие здешней кухни родилось из неутолимого желания съесть несъедобное. Приходится только удивляться, что при таких условиях жизни благодатью почитали долготлетие.

Последние десять лет явили приметные улучшения. Мне попало несколько газетных заметок, сообщавших, что в том или ином уезде почти не

стало детей, выгоняющих из дома, чтобы не кормить, престарелых родителей. Зная здешний культ стариков, я радуюсь за Поднебесную.

В Поднебесной за последние годы стало чутко посытней, но нищета дракона все равно ужасна.

Половина пекинцев понапихана в одноэтажных домах без намека на водопровод и канализацию. Еще четверть — в общежитиях по трое в комнате. Но и счастливые обладатели квартир наслаждаются обычно лишь скудной роскошью цементных полов, единственной люминисцентной трубкой под потолком и не имеют ни горячей воды, ни лифта. Душ принимают на работе.

Некоторую иллюзию благополучия создает городская молодежь, в общем одетая по моде. Но это нетрудный фокус, учитывая, что помимо натянутых на них джинсов, кроссовок и спортивной курточки вся собственность взрослых парней и девушек состоит из содержимого тумбочки в общежитии и велосипеда. Да иногда еще дешевого транзистора.

Бедность Китая — генетическая, ибо государственная машина с незапамятных времен давила копошащуюся жизнь.

Вот и теперь: экономика вспухает, но больше сама в себе. Ее секрет выбалтывает реклама. С щитов на улицах глядят станки, электромоторы, сверла и автомобили, предназначенные тут отнюдь не в личное владение. Очень редко — какой-нибудь фотоаппарат. Все равно тощие кошельки много не проглотят. Прожорлив дракон, и он заботится об улучшении своего аппетита.

Зато на всех углах, в учреждениях, магазинах красуются плакаты с изображением тщедушного солдата в красноармейском треухе. Я долго полагал их чем-то вроде призыва к единению армии и народа. Но нет. Это Лэй Фэн, ныне провозглашенный национальным героем. Кажется, лет тридцать назад беднягу придавило столбом при строительстве какой-то железнодорожной ветки. Подвиг же его заключался в том, что он готов был делать любую работу и ничего не требовал.

Тут самое время снова коснуться старой темы — китайской манеры богатеть. Помнится, я писал, что они предпочитают делать это всем миром, а не порознь. Приглядевшись, я усомнился в добровольности такого предпочтения.

Увы, я не думаю теперь, что китайцы от рождения столь не похожи на остальных людей либо столь дальновидны, чтобы с легким сердцем отдавать все в общий котел, довольствуясь крохами. Напротив. Предоставленные самим себе, например за пределами Поднебесной, они любой ценой стараются разбогатеть и частенько в том преуспевают. И даже тут, под недреманным драконовым оком, заводят, чуть что, одежду подороже, золотую цепку потяжелей, электрический душ и далее по мере возможностей. Удивляет скорее, что в массе им это еще не удалось. Ведь китайцы на диво бойкая нация. Марко Поло еще вон когда чуть не про каждый город твердил: «Народ тут торговый и ремесленный».

Удивляться, однако, нечему: дракон не любит выскочек и любое шевеление подданных воспринимает как неприятное урчание в животе.

Жаль, Гегель не был знаком с Поднебесной. Здесь, в Стране победившего дракона, а не в жалкой Пруссии идеально воплотилась абсолютная государственная идея.

Прибрав в когтистые лапы все, из чего складывается цивилизация — экономику, идеологию, культуру, традицию, — дракон не сидел без дела. Он обеспечил внешнюю безопасность и внутренний покой, обваловал известные дурным характером реки, наладил на дорогах почтовую и скороходную связь, даже смягчил непостоянство природы, скупая в урожайные годы по дешевке хлеб и раздавая его в голодные. Правда, двигавшие им мотивы бывали порой экзотическими. Утверждают, например, что Великий канал, перекоивший всю экономическую географию страны, был прорыт императором Янди — своеобразным Нероном китайского средневековья — ради беспрепятственной доставки в столицу южных нефритов, диковинных птиц и зверей, а главное, красавиц наложниц. Не знаю, так ли, но факт, что этот канал установил для своего времени мировой рекорд массовых перевозок риса и леса из южных провинций в северные области.

Беда только, что искусственное кровообращение не заменяет натурального.

Ремесленный, купеческий, мореходный Китай так и остался в зародыше. Ему просто не позволили разбогатеть и осмелеть довольно, чтобы затеять серьезное дело, рискнуть, вдохнуть новый ветер в паруса империи. Высунуть нос значило жить в страхе лишиться всего, и как бы не вместе с жизнью. На то и конфуцианская мораль, почитающая чрезмерное богатство безнравственностью. Полагаю, не справедливости ради, а на пользу государства, которое одно вправе богатеть. Но государством управляет чиновник, а он от природы ленив и не расположен к рискованным нововведениям: традиция превыше всего.

Отсутствие мочиона и свежего воздуха дурно сказалось на здоровье дракона — он принялся стремительно дряхлеть.

А тем, кто внутри, его жизнедеятельность обошла исчезнувшей ценностью человека, старательно разверстанной бедностью и культом невежества, обернутого в парчовые лохмотья традиции.

Прискорбно, мой друг, но с умственной пищей тут еще хуже, чем с телесной.

Бытующее у любителей восточной экзотики представление о Поднебесной, где на каждом углу сидит по философу и поэту, а по крайности — по учителю сокровенного боевого искусства, мягко говоря, преувеличено. Вспоминая их речи, я хохочу, прикрываясь веером.

Разумеется, это великая цивилизация. Достаточно перемножить покрываемые ею пространство, население и время, чтоб получился вызывающий уважение результат. А теперь попробуй проделать обратную операцию — раздели. И ты поймешь, как одинок был мой друг Ду Фу в этой пустыне.

Уровень мышления, да и простой обученности, в Поднебесной плачевно невысок. Сколько раз я испытывал неловкость, сталкиваясь с наивностью суждений, неприличной для взрослого человека, с узостью кругозора, недопустимой даже у школьника. Прибавь к этому крайнее нелюбопытство, питаемое иллюзией поднебесного величия, и ты получишь среднего китайца из образованного круга.

Не стану говорить, что это этническая черта. Легко убедиться в обратном, взглянув на китайских математиков за океаном и на умные лица маленьких детей.

Здесьних людей искалечил дракон. Это он переставил им глаза на затылок, обратив взгляды в прошлое, где подвиги его выглядят внушительней. Свел школу к зубрежке. Отнял чувство юмора, несовместимое с иерархией отношений. Культивировал цементирующее страну проклятие иероглифа, превратившегося в почти геологический фактор и физически не оставляющего времени на учебу. Сделал единственной добродетелью ума память. А чего стоит конфуцианский совет «не сомневаться»... А двуличие ритуала, обрывающее спор с авторитетом...

Дело тут вовсе не в теперешнем режиме, как полагают многие. Он пришел на готовенькое.

Даже Россию, едва начавшую просыпаться от азиатчины, силой пришлось загонять во всеобщую упряжь. А тут ничего не требовалось менять. Мандарины от веку управляли всяким движением, мыслью, дыханием, и культурная традиция закрепляла положение вещей. Новый хозяин поступил точь-в-точь как прежние «завоеватели» — занял, выкинув предшественника, место в голове дракона, оставив анатомию его почти в первозданном виде. Разве что вопрос о престолонаследии в нынешнюю династию решается не в алькове главной императорской жены, а в кабинетах со множеством телефонов.

Мне кажется, я понимаю китайцев. Уплатив за внешнее великопение своего нищего внутри дракона такую непомерную цену, оказавшись в итоге обладателями почти единственно этой поблекшей, но еще играющей красками оболочки, они не имеют сил расстаться с нею. И потому их усилия опять уходят в песок.

Продолжая параллель с Россией, напомним, что окно в будущее, как к ним ни относился, прорубили петровские реформы. Не потому, что Петр понастроил железодельных заводов и флот, а потому, что, разворошив допотопщину Московского государства, поставил ее под сомнение и тем заставил заново искать путь.

В Китае не было Петра. Духовно, пользуясь языком английской грамматики, Поднебесная пребывает в Past Continuous, «длящемся прошлым». И теперешние попытки подновить дракона не более чем поиски Future in the Past — будущего в прошедшем.

Есть одно европейское изобретение, имеющее для меня абсолютную ценность и вдобавок помогшее Старому Свету, а потом и Америке выиграть мировую партию. Это вера в единичного человека, антропоцентризм.

К сожалению, как раз эта плодоносящая ветвь худо прививается к старому китайскому корню.

На днях в оснащенный электронными писсуарами, журчащем водой и тихой музыкой гостиничном туалете я натолкнулся на молодого китайца в одном белье. Склонившись над раковиной, он заканчивал умываться и уже плескался водой на подмышки. На крючке висели его футболка и шорты, а на зацепленных за светильник плечиках — шелковая сорочка, бант в крапинку и отутюженный фрак. Я узнал его. Это скрипач-солист из нашего бара, он переодевался к вечернему выступлению. Я слышал его игру: парень одарен, и у него хорошая школа. Но чашечка кофе в том же баре дороже его дневного заработка. Хотя не в этом дело.

Полагаю, поднебесного дракона ждут трудные времена.

Окаменевшая за два тысячелетия традиция, включая ее новейшую ипостась, непременно столкнется, уже сталкивается, с искусственно пробуждаемой экономикой. За ней, по идее, последуют наука, культура, человеческие отношения. И либо ворота вновь захлопнутся и Поднебесная отложит пробуждение на неопределенный срок, либо ей придется расставаться с привычным обликом. Линька будет мучительна. Но из нее выйдет иная страна, помолодевшая на два тысячелетия.

Сегодняшний классический Китай давно превратился в собственное пыльное надгробие.

Поднебесная, 392-й день.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

от человека из 42-го номера. Об одиночестве, велосипедной езде и трудностях превращения в китайца

Поднебесная — идеальное место для одиночества.

Это, в сущности, громадный музей.

Бронзовые иероглифы. Прохладные красноватые утробы храмов, где тучные Будды восседают, поджав младенческие, не трогавшие земли ступни. Нескончаемый раздел фольклора и народного быта бассейна Хуанхэ.

А что может быть полней одиночества человека, оказавшегося запертым в музее?

Я отправился на балет. Местная труппа давала «Лебединое озеро», но ты никогда не видала такой трактовки. Фокус заключался в том, что Принц не питал ни малейших чувств ни к Одетте, ни к Одилии, а те к нему. Танец напоминал серию гимнастических упражнений.

Китайцы в зале похихатывали и шумно прочищали нос. Сосед слева от меня, по виду чиновник из министерства культуры, поочередно то выпячивал, то поджимал нижнюю губу, точно перекладывал заспанную подушку. Я бежал после первого акта.

Откроюсь тебе: мне жутко не хватает русских букв на афишах и вывесках.

Чтобы развлечься, я заново обследовал наш «белый остров» и обнаружил появление новых лиц. Похожего на гнома канадского французика без жены, не вытерпевшей и месяца поднебесной скуки. Вечно серьезного индийца, ступающего мелкими шажками в своей белой юбке. Юного американца-очкарика, прилипшего к тягучим глазам своей мулатки, тоже почти девочки. И еще индийскую черепашку с оксфордским дипломом, американским паспортом и космополитическим любопытством ко всему на свете — мы стали почти приятелями.

Других перемен не оказалось. Островитяне изнывали от безделья, устраивали домашние выставки местных художников и посиделки с пивом, время от времени женились на китаянках и вообще жили нереальной жизнью.

Я даже сходил в гостиничный клуб на дискотеку. Там подавали апельсиновый сок с орешками, сложный механический осьминог под потолком шевелил разноцветными прожекторами и зеркальцами, и я танцевал с негритянкой, оставившей на моих руках аромат каких-то пахучих притираний.

Вернувшись домой, я с ужасом поймал себя на мысли, что европейцы стали казаться мне на одно лицо.

Я уставился в обезображенный гостиничным тавром пластмассовый бок телевизора — их тут, как лошадей, клеймят раскаленным железом. И ощутил себя безродным «жильцом из 42-го номера», кем и был в глазах прислуги.

Тогда я принялся развезжать по Пекину на взятом взаймы скрипучем велосипеде.

Иногда я катался вокруг протянувшихся к северу от императорского дворца Задних прудов, где прежде селилась знать и сохранилась масса пришедших в ветхость домов с резными камнями у входа и почерневшими досками ворот. Или заглядывал на маленькие рынки с зелеными россыпями арбузов, возле которых дремлют продавцы в неведомо откуда взявшихся ободранных кожаных креслах. Но чаще, оставив велосипед на стоянке, где вместо номерка дают бамбуковую дощечку с расплывшимися чернильными цифрами, отправлялся бродить по кишашим торговлей улочкам, то вдыхая одуряющий запах кожи, то шараясь от штабелей тушенки «Великая стена», то любясь средневековым городским ущельем, до второго и третьего этажа завешанным, как флагами, сомнительного качества разноцветным тряпьем по баснословно низким ценам.

Так я вышел однажды к восточной стене Запретного города с наружной, непарадной ее стороны. И увидал еще один Пекин.

Скромные седые лачуги вереницей цеплялись друг за дружку на полоске земли меж уходящим в небо серокирпичным массивом и туманной зацветшей водой обводного канала. К осыпающемуся подножью стены жались крошечные цветники. Мощенный квадратными плитами узкий проход казался только что выметенным к моему появлению. Здесь было безлюдно и тихо. Только тощий бритоголовый старик отдыхал на вынесенном из дома стуле. Да подальше забавлялся с маленькой обезьянкой мужчина в майке и домашних шлепанцах, а двое мальчишек у его ног, не обращая на зверька внимания, прямо на земле играли в карты. Еще встретилась средних лет женщина с суровым лицом и со шваброй в руках. И все.

Черета домишек справа казалась столь же глухой и непроницаемой, как стена слева. И только журчание льющейся в таз воды и звон посуды из внутренних двориков выдавали присутствие жизни. Трудно было поверить в такое безмолвие и одиночество посреди этого сутолочного, крикливого города. В какой-то миг мне почудилось, что проход никогда не кончится или выведет в незнакомом месте, даже и не в Поднебесной уже.

Но он вдруг оборвался, и я, свернув, очутился у северной стены не так далеко от выхода. По мостику валила выкатившаяся из дворца толпа и растекалась по противоположному берегу канала, пестрому от ларьков под полосатыми тентами. Они напомнили мне парижскую набережную букинистов — только тут торговали не книгами, а всякой горячей и холодной снедью, сладостями и сувенирной дребеденью.

Я почувствовал неодолимое желание присоединиться к этому празднику жизни, был вынесен потоком прямо к ларькам, обернулся — и был вознагражден.

Отсюда, с внешней стороны канала, окружающая дворец стена казалась слоистой горной грядой позади дымящихся над водою ив. И в углу этого каменистого угрюмого массива как внезапно постигшее город озарение взметался, громоздился тяжелыми желтыми крыльями налетающих друг на друга крыш, и обрывался в небе острым пиком терем такой причудливой, неуловимой формы, точно это не он сам, а его отражение в подернутом рябью канале.

Я знаю, что буду скучать по Поднебесной.

В конце концов я дал уговорить себя на еще одно отрететированное путешествие — в верховья Хуанхэ.

Поезд тянулся мимо скучных, плохо возделанных полей, даже и не похожих на Китай. Но арбузы дешевели на каждой станции, а на месте, в Иньчуане, ими нас кормили даром. Жаль, тут маршрут обрывался — дальше, вероятно, приплачивали бы едокам.

Изображая иноземных гостей, наша компания выполнила все положенные ритуалы. Прошла через коридор наряженных в розовые и желтые платица детей, как заведенные махавших веерами и букетами. Выдержала атаку волосатых, с черными бородками молодых художников, похожих на мушкетеров. Высидела концерт, из которого мне запомнился певец с невероятно пронзительным голосом и до того ясным взором, что наводил на мысль о слабоумии. И принялась осматривать город.

Он оказался захудалой провинциальной столицей. С маленькой красной башенкой, в миниатюре копирующей пекинскую Тяньаньмэнь, — и с таким же портретом кормчего на главной площади. С базаром, на который из окрестных городков съезжаются автобусы, навьюченные привязанными к крыше огромными тюками и картонными ящиками. С брезентовыми тентами, под которыми торгуют заваренным в разнокалиберных баночках жидким чаем. Со старым мороженщиком в соломенной шляпке и с длинной серебряной бородой — ни дать ни взять старик Хоттабыч. С милиционерами в белых несвежих кителях.

Но зато я увидел в музее то, чего уже не рассчитывал отыскать.

Обычные на первый взгляд поднебесные фигурки и барельефы точно проснулись. На лицах появилось выражение. Животные обрели подвижность. Разносчик овощей качнул корзинами на коромысле. Мельник крутанул мельницу. Девушка захотела прикосновения руки...

Я искал объяснений чуду и получил его после долгих выпытываний. Это не поднебесное искусство. Оно относится к культуре Западной Ся до того, как та была проглочена и омертвлена Срединной империей.

И я понял, что не переживу превращения в китайца.

Поднебесная, 444-й день.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

длиной восемнадцать тысяч ли, писанное на тюке с товаром. С точкой на Ярославском вокзале

Отъезд русского поезда — еженедельное событие, потрясающее пекинский вокзал.

Это и правда поезд из поездов.

За час до отхода стекаются к оцеплению китайцы с кипами бракованных кожаных курток, футболок в английских надписях с орфографическими ошибками, резиновых кроссовок. Поляки с грузовиками тряпья. Турки с джинсами, румыны с шелком, русские мешочники, прозванные «утюгами», монголы, какие-то русскоговорящие негры...

Места первого класса раскуплены дипломатами, скопившими за годы поднебесного сидения такую уйму ваз, шуб, холодильников, телевизоров, сервизов и двуспальных кроватей, что спать дорогой им предстоит в специальных разборных гробиках, что мастерит из фанеры посольский умелец.

Все тронулись в путь.

Меня подмывает сравнить отправление этого эшелона с выступлением торгового каравана. Но то, вне сомнения, было величественным зрелищем, исторгавшим слезы у остающихся близких.

Тут тоже плачут.

По законам не объявленной вслух железнодорожной войны между двумя столицами, ворота на перрон раздвигают в последний момент, и толпы отягощенных поклажей путешественников начинают брать вагоны штурмом. Сум-

ки, ящики, тюки заталкивают в двери и окна прямо по головам провожающих. И все равно, когда состав трогается, платформа усеяна забытыми навсегда коробками.

Страсти же переместились внутрь начавшего пританцовывать на стыках вагона. Вещей куда больше, чем мыслимо распихать. А «утюги» оказались и вовсе без мест. В Москве они брали билеты в два конца, но не смогли отметить их в Пекине, где промысел этот в лапах уйгурской мафии. Настал звездный час проводников.

Они обходят свои владения, как Игорь с дружиной обходил древлян, наметанным глазом оценивая пирамиды чемоданов и свертков, заламывая цены, торгуясь и твердя вечную молитву мытарей: доллары, доллары, доллары! — а после хвастая друг перед дружкой собранной данью.

Пассажиры разбираются меж собой. Скучную кубатуру делят, как буханку хлеба в голодный год.

Молодому турку, посягнувшему на багажную полку, китайцы расквасили круглое лицо. Он сбежал в соседний вагон за земляками. Но, учитывая численное и территориальное превосходство противника, от действий решили воздержаться. И только щуплый вежливый турецкий старичок, председательствовавший на военном совете, всю ночь простоял перед раскрытым окном, прикуривая сигарету от сигареты и сожалея, видимо, об оставленных дома ятаганах.

В конце концов все как-то утряслись. Из любопытства я заглянул в соседнее купе. Оно имело вид мягкой пещеры, сложенной из тучных, как боровы, сумок. Окно заложили, сверху нависал тяжелый свод, пол приподнялся до уровня колен. На брошенном поверх тюков одеяле молодая китайка в спущенных чулках уже хлебала из кружки заваренную кипятком лапшу. Недостаало только костра.

Безбилетные «утюги» устроились на своих мешках в коридорах и тамбурах.

А мне повезло перебраться в купе к таким же, как я, безлошадным соотечественникам, с единственным улыбчивым китайцем. Он вез всего одиннадцать чемоданов, взгромоздил их на верхнюю полку в несколько слоев и улегся под самым потолком, для верности пристегнув себя ремнем к какой-то никелированной загогулине.

Еще много-много часов Поднебесная длилась за окнами. Постепенно она скудела и теряла краски. Города все больше походили на деревни. Проплыли изрытые дырами пещер глиняные холмы. И уже слепящее глаза желтое монгольское солнце побежало над низкими полями.

Мой сокровенный друг, возвращение в страну плохо укладывается в прозу.

Мне захотелось расцеловать здоровенного прыщавого пограничника, первым прогромыхавшего в своих сапожищах по коридору.

Уползающий назад столб с тремя апокалиптическими шестерками оставшихся до дому километров загнилостизировал меня: 666.

Унылый, как городская свалка, Забайкальск показался полон сокровенного родного духа.

Пока составу переставляли колеса, я с умилением наблюдал за устроенным на привокзальном пустыре торжищем, где маньчжурские китайцы приценивались к голубым русским грузовикам, заглядывая им под капот на манер ярмарочных барышников.

А после, когда поезд часто застучал по широким рельсам, глаз не мог оторвать от черных деревень, лошадей на водопое, каких-то речек с заросшими, точно кабаньи хребты, сухой осокой узкими островками, от встающей из-за сопок оранжевой, полосатой, как Юпитер, луны...

В седьмом часу утра меня разбудили визгливые монотонные выкрики: «Четыле-ноля-ноля! Четыле-ноля-ноля!..» Поезд стоял. И до меня дошел смысл любознательности соседа-китайца, накануне все выпытывавшего и заносившего в блокнотик произношение русских цифр.

Не помню, рассказывал ли тебе. На парижском вокзале Сен-Лазар есть дивный обелиск: отлитый из чугуна штабель чемоданов, баулов, сумок в нату-

ральную величину. Я бы установил по такому же на концах Транссибирского пути. И нарек — памятник Неизвестному мешочнику. Вернувшиеся из путешествий могли бы возлагать цветы.

Ни в чем так не выпирает человеческая суть, как в этой народной торговле.

Студент, заслуженный тренер по дзюдо с любимым учеником, незадавшийся инженеришка, бывший экскурсовод, расторопный работяга. Семейные и холостые, нахрапистые и рохли, бывалые и зеленые — все они снялись с мест.

Переплачивают за билеты, трясутся в бесконечных поездах, питаются консервированной дрянью, ночуют в омерзительных гостиницах, спят на мешках, умасливают проводников и таможенников — и возят, возят туда-сюда барахло.

Их гонит та примитивная сила, на которой всякий раз спотыкаются социальные утопии и которая заодно не дает человечеству вымереть: желание по-лучше накормить себя и семью.

«Четыле-ноля-ноля! Адин-два-ноля-ноля! Ру-ба-сы-ка! Сы-та-ны!»

Китайцы стараются побольше распродать до Москвы, где их уже поджидают с поборами. Торгуют на каждой остановке в двери, в окна, ночью и днем.

Аборигены толпами сходятся к нашей лавке на чугунных колесах, тянут руки, щупают товар, возвращают, передают деньги. Один вернул вместо новой куртки драную. Прошлой ночью китаец в соседнем купе долго бил вышшую на весь вагон жену, обсчитавшуюся на пару тысяч. Но торговля идет. Одни продают товар, другие кричат и призывно размахивают им, перегнувшись в окна. Игрушечный нананикюренный китаец управляет целой бригадой, прохаживаясь меж тюков.

На больших станциях появляются толстые ревизорши и бесцеремонно роются в тряпках, отбирая получше. Заскакивают милиционеры. Один, при дубинке и кобуре, все торговался да и выпрыгнул, не расплатившись, на ходу с кожаными куртками под мышкой.

«Утюги» в проходе обсуждают тамошние и здешние цены, пьют чай, травят анекдоты.

Тощий молодой мешочник из Запорожья, правнук писаря с репинского «Письма турецкому султану», хлопнулся в обморок. Ему разжали зубы, влили воды, оживили и посадили подышать к выдавленному еще в Иркутске окну.

Китайцы считают убытки и деньги.

Каждый день я засыпаю и просыпаюсь под шуршание купюр.

Чемоданы соседа с верхней полки заметно похудели. Нынче он долго перекладывал их с места на место, шелестел толстой пачкой сторублевков, что-то мараковал на калькуляторе и, сведя дебет с кредитом, аж запел от удовлетворения: «Ха-ла-со!»

О долларовой, рублевой, юаневой мешочный мир! О Великий шелковый поезд! О набитый сокровищами караван, мчащийся среди сибирских пространств!

На станции Зима местные подростки приготовили ему встречу. Едва состав причалил, вооруженная чугунными тормозными колодками орда человек в сто бросилась выбивать вагонные стекла и вытаскивать в проемы добычу.

Китайцы отбивались отчаянно. В ход пошли бутылки, банки, огнетушители. Юные мародеры с изрезанными руками обливались кровью, но упрямо продолжали тянуть тюки.

Последовала летучая вылазка осажденных. Но расвирепевшие мужики тштно пытались изловить вертких разбойников.

Единственный шустрый милиционер казахского вида бегал по платформе, паля в воздух из пистолетика. Волна подростков откатывалась и накатывала вновь. Звенело, разлетаясь, стекло, визжали женщины.

В соседнем вагоне выколотили шесть окон из девяти, в нашем — четыре.

Но и в эти леденящие душу минуты с противоположной стороны поезда из коридора не прекращалась обычная ярмарка: «Четыле-ноля-ноля!»

Наконец, через целую вечность, поезд тронулся.

Станционные постройки с сожалением отъехали назад. Последний одинокий налетчик без шапки, все безавший за составом навстречу снежной крупе, отстал и пропал из виду.

Пошли обычные буераки.

Кое-где в них валялись приметные издали оранжевые детали тракторов, а может, бульдозеров, точно некий исполин ел тут громадных раков, разбрасывая пустые панцири и высосанные клешни.

Потом и они пропали в сгустившейся мгле. И только с запорошенного белым поля угрожающе глядели на уползающую добычу какие-то не то фары, не то глаза.

В ожидании страшного Нижнеудинска сосед мой, несчастный профессор физики из Петербурга, лег спать не раздеваясь, с раскрытым перочинным ножиком под подушкой.

Но лишь безразличная луна медленно отражалась в черных болотах.

Что там ни говори, а ничто, как дорога, не унимает душевной сумятицы. Мы въехали в край бесконечных березняков. Опустошенные белые колоннады уходят до горизонта.

Звякает подстаканник. Синеватые тени мостов пробегают по развернутой странице.

Глядя в окно, я принялся думать о том, что природа довольно медленно меняется при движении с востока на запад. В общем, она единообразна, а вслед за ней и хозяйство похоже, и быт. И потому вытянувшаяся в этом направлении страна способна сохранить устойчивость. Не то что при путешествии на юг, где, что ни день, неузнаваемый пейзаж, и уклад, и человеческий тип.

За Омском характер торговли изменился. Пошла мена на меха, как при Ермаке Тимофеевиче. Но без особого размаха: товарно-денежные отношения победили и тут.

Тихая Чусовая недолго попетляла за поездом и отошла в сторонку.

Города попадались все чаще.

Последние коробейники, путешествующие с поездами от станции до станции, добирали по вагонам остатки китайских товаров. Но и те уже наторговались и неохотно распечатывали мешки: готовились к Москве.

И мне на ум все чаще приходили мысли о беседах под вечными абажурами московских кухонь. О задних огоньках машин, алыми пятнами озаряющих снежное месиво на перекрестках. О зеленых теремах летящего встречь из пелены Ярославского вокзала.

Поднебесная отпускала меня.

Транссибирский путь, 1-й — 6-й дни.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ,

написанное по привычке. Об одном чайном доме, монетах с дыркой, пыльной буре, термосах и прочем, что встречается в тех местах. В нем я прощаюсь с Поднебесной и соглашаюсь с вечностью

Не так-то легко, мой друг, избавиться от привычки к этим письмам. И если тебе, как и мне, охота еще поговорить о Поднебесной, у меня имеется повод.

Я болею. Москва-река за окном замерзла и стала белой, но мороз нарисовал на стекле бамбук, словно на прозрачных ширмах. И мне легко вообразить себя в островерхой беседке у маленького гостиничного пруда, откуда на зиму спускают воду, и только узкие желтые листочки шуршат по дну, точно сухие тени рыб, обитавших тут летом. Иногда я приходил сюда вечером полистать дневные впечатления и сочинить письмо тебе.

Так получилось, что почти все время я провел в Пекине, в самой невыразительной части страны.

Мне не довелось побывать в южных провинциях, послушать тамошнюю мелодичную речь. Или хотя бы в Ханчжоу, где, если верить служаке Марко Поло, женщины столь прелестны и искусны в любви, что отведавшие их чувостранцы навеки теряют покой.

Может, оно и к лучшему, а то б ты не дождалась меня.

Но и там, где я жил, нескончаемо путешествие по иному миру: он открывается за каждой мелочью как за дверцей.

О многом так и не случилось тебе порассказать.

Вот хотя бы о «чайном доме Лао Шэ», где он, говорят, любил когда-то сидеть.

В сущности, это китайская разновидность кабаре — с несколькими рядами столиков, носатыми самоварами, «императорскими» желтыми чашечками и узкой сценой, затянутой в малиновый бархат.

Перед гостями, облаченными кто в вечернее платье, кто в синий маоцзэ-дуновский китель, а кто в белоснежный тренировочный костюм для парадных выходов, ставят по блюдечку незатейливых сластей. Из латунных чайников разливают кипяток. И показывают представление.

Под пронзительную, но не лишённую рисунка музыку звучат энергичные дуэты из пекинских опер — немного визгливые на европейский слух, с мужскими голосами выше женских и все же цепляющие слушателей за какую-то там натянутую струну. Фокусник извлекает длинной удочкой живых рыбок из карманов зрителей. Старик комик с раскрашенным мелом лицом, потешавший публику еще в гоминьдановское время, бодро сыплет прибаутками. А на громадной фотографии, глядя куда-то в сторону, молча покуривает ироничный классик, давший имя заведению.

Или вот о минских гробницах в долине смерти, протянувшейся между лесистых холмов: расставленные по ней багровые башни под желтыми крышами и правда наводят смутную тревогу. А мрачный подземный дворец усопших императоров напоминает станцию московского метро постройки первой очереди — что-то вроде «Охотного ряда». Я еще купил там у храмового проходимца позеленевшую монету с квадратной дыркой, правда подозрительно легкую.

Да, и о пыльных бурях. Когда ветер с Лессового плато приносит в пекинское небо тысячи тонн каменной муки прямо с жерновов времени, оно меняет цвет и концы улиц пропадают в желто-красном тумане. Прохожие, автомобили, разложенный на лотках товар покрываются слоем тончайшей пудры. Деревья гибнут и трещат под напором потяжелевшего воздуха. Люди отворачивают лица и отбрасывают на землю слабые красноватые тени. И голубой глаз солнца, пробиваясь через глиняные одеяла облаков, грозно взирает на ничтожный город.

А еще про пекинский зоопарк, где носороги прогуливаются в складчатой, слишком просторной одежде, жирафы по-детски поджимают нижнюю губу, нелепые кенгуру похожи на расставленные по лужайке складные стулья, крокодил широк, как диван в чиновничьем кабинете, и глядит ненавидящим желтым оком, а мудрое человекообразное с крестьянской вдумчивостью поедает кусок вареного мяса, устроившись на виду, чтоб любоваться паясничавшей за стеклом толпой.

И еще о том, как тысячи велосипедов по утрам пережевывают пекинские улицы.

И об обуви великого кормчего с новехонькими подметками, будто он парил над коврами.

О фотографии мальчика Пу И, последнего из богдыханов, попавшейся мне в книге про старый Китай. Как страшно быть императором в четыре года.

Об императорском супе с мандаринами, каким угощали меня по случаю праздника.

О термосе как элементе великой китайской культуры...

В один из тоскливых, застрявших между летом и осенью дней накануне отъезда я выбрался в главный ламаистский храм поднебесной столицы — Ламасерию.

У входа пестро раскрашенные деревянные гиганты со зверскими лицами, с мечами и лютнями в руках, как обычно, охраняли покой золотоликих Будд, наводя ужас на грешников.

Восемнадцать апостолов — алоханей, — сидевших двумя шеренгами вдоль стен, были молоды, розоволицы, черноусы и чем-то напоминали заговорщиков.

Но павильон за павильоном мне открывались великолепные миры. Так путешествующий в горах за каждым следующим перевалом обнаруживает очередную райскую долину еще чудесней предыдущей.

Члененное свисающими с небес драпировками ало-сине-золотое пространство легко вбирало входящего. Световой люк в потолке струил почти лунный свет на увенчанную тиарой многометровую фигуру Одинокого Будды. Коричневые монахи тенями скользили по своим делам. Только самую главную высотную статую я не смог разглядеть: реставраторы забрали ее от щиколоток многоэтажными лесами. Но мне хватило и запылившихся квадратных ступней, вдоль которых я походил с трепетом в сердце.

Вне главных святилищ там еще целая россыпь каких-то кумирен и павильончиков, набитых большими и малыми пагодами, стелами, гобеленами, уварью и изваяниями, делающими честь воображению и искусству мастеров.

В чем-то вроде часовни я обнаружил буддийскую «троицу», четвертым членом которой казался сторож-монах, не то молившийся, не то дремавший в деревянном кресле. Лишь неподвижный огонек масляного светильника озарял их каменные лица, опутанные, как паутиной, тонкими прядями дымка, разматывавшегося с воткнутых в золу курительных палочек.

В другом павильоне паломника поджидает пара громадных чернолаковых львиц, а может, пантер, каждая величиной с автомобиль-микролитражку. Их приоткрытые оскаленные пасти и даже ноздри забиты мелкими бумажными купюрами и алюминиевыми монетками, которыми заботливые верующие кормят священных животных.

Был там еще какой-то буддийский Дон Кихот с медным тазиком на голове и верхом на своей карикатурной кляче. Понятия не имею, что за персонаж, но Пикассо от него не отрекся бы...

Устав удивляться, восторгаться, трепетать, я вышел посидеть на скамейке под деревцем с резной листвой.

Среди павильонов, скрывающих улыбчивых и молчаливых Будд, между все повидавших, старых, как вера в Бога, деревьев порхали, присаживались, вздрагивая коричневыми крылышками, на морщинистые стволы, занимались любовью бабочки. И, глядя на их игру, я примирился с нескончаемостью Китая...

Пекин — Москва, 1990 — 1993.



Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

МАРИНА НОВИКОВА



СИМВОЛЫ*

Несколько лет назад мой коллега, американский профессор, долго и утешительно убеждал меня, что с «перестройкой» все о'кей и скоро «у вас» будет так же, как «у нас».

— А знаете, чем наше пространство отличается от вашего прежде всего? — спросила я. — Мы — народ символический...

Когда «перестройка» была юной и необходимо было расколыхать общественное сознание, нам говорили: политика решает все. И все заделались политиками — творческая интеллигенция впереди всех. М. Шатров, Г. Бакланов, Е. Евтушенко (далее по списку) стали интересны не тем, что они создают, а тем, кого они отстаивают. В Харькове избиратели ломались по откосу в парк на заблокированную милицией встречу с кандидатом в депутаты В. Коротичем. Из которого львиная доля ломящихся не прочла ни строчки — ни стихов, ни антиимпериалистических американских путевых очерков.

Затем нам объяснили, что политика — дело профессионалов. Да и в принципе-то ничего она не решает, а все решает экономика. Писатели к той поре стали присутствовать «наверху» большей частью в каких-то непонятных конгломератах (типа президентских советов и сборносоляночных «инициатив» и фондов). Или в диалогах о столь же непонятной «духовности вообще», объем которых на ТВ и в прессе зримо сокращался. Экономика тем паче, как выяснилось, дело профессионалов; прочим откровенно рекомендовали уйти в обыватели — в замечательную и единственно приличествующую нормальному человеку частную жизнь. Это возьмем на заметку. «Частной жизнью» заканчивала оттепель; сегодняшние пропагандисты «частной жизни» еще физически не успели про то позабыть.

С национальными проблемами сдвиг произошел тот же самый. Сперва — поощряемый и санкционируемый рост национального самосознания «на местах», когда Москва была «левее» местной номенклатуры. (Кую, впрочем, сама же и посадила в кресла.) Когда в Киеве ли, в Праге ли — я тому очевидец — Горбачева ожидали словно воина-освободителя. И кто же исчислит, сколько писателей, артистов, режиссеров в тогдашних республиках СССР пошли в новые партии и парламенты, чтобы спасти и возродить национальную культуру? Национальный менталитет?

А потом снова как-то эдак в России повернулось, что и тут вопрос решает экономика, что забота это профессиональная, литературе же и искусству пристойней заняться — чем? Угадали. Своей собственной жизнью. Ну пусть не частной, а «внутренней», опять же «духовной»: вежливые выражения всегда можно подобрать.

Года не миновало с октября 1993-го, как не понимать даже — чуют ли самые дальновидные или хотя бы самые честные: что-то неладно. Авитаминоз какой-то образовался. Авитаминоз не голод: сразу не заметишь, а медленно точит и грызет.

* Продолжение цикла, начатого Мариной Новиковой в № 1 «Нового мира» за 1994 год (статья «Маргиналы»).

С весны — лета 1994-го «тоска по символам» стала приобретать в России формы явные, повсеместные и, что называется, социально активные.

Кто же этот знакомый незнакомец — символы? И почему смехотворное на первый взгляд объяснение многих наших бед через «смерть символов» или «бунт символов» нимало не смехотворно, а совершенно серьезно?

Человечеству свойственно если и не «предсказывать назад» (Б. Пастернак), то «назад» себя проецировать. Современные установки кажутся ему «естественными» и вечными; результаты оно принимает за истоки. Так, нам сдается самоочевидным (да и вытвержено со школьной скамьи), что чем дальше в глубь веков, в архаику, в первобытность, тем меньше у человека времени и возможностей заниматься «культурой», а тем паче «духовностью», тем человек прагматичней, утилитарней и «материалистичней», в крайней ретроспективе сливаясь с утилитарностью зверя.

Зверя оставим в покое. Иначе придется долго рассказывать, сколько не-утилитарного, символического открывают в его повадках новейшие ученые-этологи. Резюмировать стоит, пожалуй, главное: уже у зверя в самых решающих жизненных ситуациях (брачное поведение, охрана своей территории, встреча с противником и т. д.) символическая реакция, символический отклик становятся особенно характерными. То есть чем ситуация драматичней, тем она символичней.

Но и человеческое «самостроительство», первобытное можно уложить в ту же формулу чем значительней, тем символичней. Едва ли не первый памятник «искусственного» поведения палеолитического человека — медвежьи пещеры гигантские скопления медвежьих голов и лап, сложенных в определенном месте и определенным образом (похожим, между прочим, на нынешний остерегающий знак-символ — череп с перекрещенными костями). Что это значило и для чего служило? Разгадка далась трудно именно потому, что была нематериалистической. (А уж где, казалось бы, искать материалистов, как не в верхнем палеолите!)

А. Д. Столяр показал: перед нами один из начальных «предсимволов» — реальное, осязательное доказательство «протосимволического» освоения мира перволюдьями. Кости были «знаком» целого медведя, а целый медведь — «сгустком», «представителем», «заместителем», то есть символом всего множества медведей, которых надо было сберечь, чтобы обеспечить будущие охоты¹

Вся многотысячелетняя и многотернистая история человечества пошла по этому пути и воспользовалась этим языком — языком символов. Осваивалось окружающее пространство — освоение метилось и закреплялось пространственной символикой: право, лево, верх, низ, центр, граница². Выделялись сознанием наиболее «влиятельные» приметы ландшафта — они тут же переводились в символику гор и камня, воды (рек, озер, морей, источников), деревьев и знаков. Звери-тотемы, мифические предки — покровители рода выбирались только из числа уже символизированных животных, рыб, птиц. Человек учился считать по символике числа, культурологически различать цвет — по цветовой символике, исчислять время — по символике солнечной (суточной и годичной) и лунарной (месячной и недельной).

Итак, символика уходит корнями в недра дочеловеческого. Однако «только для человека символические формы поведения могут приобретать более высокий статус, чем естественные («натуральные») формы поведения. Лишь на человеческом уровне знак важнее и насущнее, то есть «реальнее», того, что он обозначает. Создание таких знаков и целых их систем.. может толковаться

¹ Столяр А. Д., «О генезисе изобразительной деятельности и ее роли в становлении сознания (К постановке проблемы)» (в кн.: «Ранние формы искусства». М. 1972, стр. 42 — 45).

² О символике центра и границы и ее роли для мировой культуры см в статье «Маргиналы»

как преодоление в человеке биологического, вещественно-материального, эгоистически-выгодного и важнейший шаг в сложении ноосферы»³.

Три вещи призваны мы при этом не упускать из виду. Первая: сама протяженность «символической» эпохи мировосприятия. А она ни в какое сравнение не идет с длительностью эпохи «научной», технологической и прагматической. Последней от силы лет четыреста (начиная с ренессансного «времени купцов» и «времени мануфактур», с «неинтересного» и «пустого», по меткой дразнилке В. Н. Топорова, пространства Ньютона). Предыдущая же эпоха охватывает самое меньшее десятки тысяч (!) лет до нашей эры плюс полтора тысячелетия эры нашей. Она вошла не просто в менталитет — в подсознание человека, в его генофонд. И, таким образом, по сути, она и не кончилась — она продолжается поныне и будет жить, пока жив человек. Мы доселе — «люди символические».

Вторая особенность: символы всегда эмоциональны. И не просто эмоциональны, а необычайно, неотразимо, глубинно. Они детища не голого инстинкта и не сухого разума, но могучего духовно-психологического переживания. Причем (это ясно из их возраста) переживания обязательно коллективного. «Символы и отношения между ними» суть «не только ряд познавательных классификаций для упорядочения вселенной... Они также — и это, пожалуй, важно не меньше — ряд запоминающих устройств для пробуждения, направления и обуздания сильнейших эмоций — таких, как ненависть, страх, любовь и горе»⁴.

Десятки (если не сотни) тысяч лет люди не «сочиняли», а проживали символику, вживались в нее сообща, всем родом, племенем, народом. Оттого символика не нуждается в том, чтобы ее санкционировало индивидуальное сознание: она сама захватывает его — императивно, ибо *надындивидуально*. (Топорней, но правильной было бы сказать: *поддындивидуально*.) Слом или дефицит символических систем в «образе мира» (человека ли, человеческих ли общностей) ведет на личностном уровне к депрессиям и патологиям, на уровне социальном — к кризисам и бунтам, беспощадным именно потому, что бессмысленным, а бессмысленным потому, что без символов человеческое общество, человеческая культура буквально остаются без смысла. Смысл бытия нельзя рационально декларировать; он «извлекается» из всей действительности через систему ценностей, а ценности доносятся до нас опять-таки языком символов.

Такова третья особенность символики: символы всегда ценностны. Символами человечество записывало в книгу культуры, «книгу бытия» лишь то, что затрагивало самые первоосновы и первосмыслы этого бытия. Объекты особого обожания и особого ужаса; источники всепроникающей тревоги или глубочайшего успокоения; образы мирового хаоса или гармонии, «космической» пользы или вреда. Сам по себе «холодный» физический предмет (вариант: действие, качество) становился символом, заряжаясь чувствами и смыслами тысячелетий. «Память культуры» (М. Бахтин) превращает его в копилку ценностей.

Дело в том, что иерархия ценностей любой культуры, любой традиции вершиной своей упирается в священное. Для исходной традиции всякого народа (еще раз напомяно: счет здесь идет не на века — на тысячелетия) священное не есть «специальное» религиозное понятие в нашем модернизированном толковании. Священное — суть мира, его неповрежденная основа, его «момент истины»: залог подлинного, «космического» (а не буднично-житейского) существования. Священное в каком-то смысле старше всех религий и бесспорно древней каких бы то ни было этик и идеологий.

Форм же, через которые человек «улавливал» священное (верующий скажет — через которые оно являло себя человеку), было две: откровение и ритуал.

³ Топоров В. Н., «О ритуале. Введение в проблематику» (в кн.: «Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках». М. 1988, стр. 54, прим. 62).

⁴ Turner U. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Harmondsworth. 1974, p. 38.

Откровение давало прямой и личный контакт со священным, но тем самым и усложняло ситуацию. Во-первых, надо было как-то подтвердить истинность откровения. Вопрос о мнимом и действительном общении с иномирием, о «различении духов» встал отнюдь не только перед христианством и задолго до него⁵. То, что подчас «бес нас водит и кружит по сторонам», знали верования и культуры от седых времен, хотя их «бесы» могли именоваться иначе.

Во-вторых же, полученное откровение о высших ценностях и путях к ним нужно было сделать общим, передать всем остальным и закрепить. Так рядом с откровением, но и относительно автономно от него, развивался ритуал. Он как раз и служил «переводчиком» священного на общедоступный язык цветов и запахов, объемов и движений, звуков и вещей. Ритуал втягивал в себя все стороны человеческой деятельности, все «просто предметы», «просто свойства», преобразуя их в символы⁶.

В обиходе (при образованщине нашей кособокой) мы полагаем, что ритуал — это храм, мечеть, синагога или, на худой конец, капище с жертвенником. Было и так, но не только и не столько так. Ритуалом (лишь в большей или меньшей степени) была еда и работа, строительство дома и вспашка нового поля, вздувание огня в очаге и мытье в бане. Ритуальны были рождение, любовь, смерть⁷. Все обретало абсолютную подлинность, то есть ценность, лишь приобщаясь через ритуал к священному и само при этом прикосновении делаясь символическим.

Потому-то символы не обитают в какой-то тесной выгородке — они разлиты повсюду, они воздух культуры и всего человеческого общежития. Мы можем отречься от них, ниспровергать их — все едино они нас не покинут, ибо они в нас. Ломая их, мы ломаем себя.

Так мы подошли к самой, быть может, сильной, грозной и самой игнорируемой нами особенности символов. Они — больше или меньше — автономны. Самовластны. Самовнушительны и самопроизводимы. Почему это так, поговорим ниже. А пока удостоверимся в том, как «самовластие символов» приводит к одинаково устрашающим результатам: к гиперсимволизму и антисимволизму. Как, выставленные за дверь их нормального местопребывания в культуре, нормального местоположения: выше буднично-профанного, но ниже, непременно ниже священного, — символы вламываются в окно и перепрыгивают через «иерархию предметов».

Иначе: как символы становятся демонами.

Поздний сталинизм в его культурной кажущейся повседневности (своеобразный «сталинский ампир») был уже не то что символичен, а символичен снизу доверху, сплошь, насковзь. Известная книга Е. Добренко о литературе 20 — 50-х⁸, равно как и увесистая «анатомия тоталитаризма», изданная в Лондоне⁹, страдают, по мне, одним недостатком. Они рассуждают о культур-политике, об идеологических мифах тоталитаризма. Но политика и идеология мифов не создают, они их только «приручают», деформируют, тиражируют. И не отдельные мифы определяли «сталинский ампир», а символотворчество, всеохватывающая и всепроникающая. Это была лишь в малой степени и на поверхности идеология; в толще, в глуби это была ритуалистика, а от нее — символическое мироощущение и поведение.

⁵ Характерно: первые личности, выделившиеся из родового сообщества, были и первыми «избранниками духов» (В. Басилов): шаманами, кудесниками, позже пророками, аскетами, священнослужителями. А они, все без изъятия, должны были пройти через жесточайшую проверку своего избранничества: через обряды испытания и посвящения.

⁶ В. Н. Топоров выразительно называет ритуал парадом всех знаковых систем.

⁷ Всеобъемлющая символичность «частной» семейной жизни на протяжении веков показана, например, в книге В. И. Ереминой «Ритуал и фольклор» (Л. 1991), посвященной родильным, брачным и погребально-поминальным ритуалам. Работам по трудовой обрядности несть числа.

⁸ Евгений Добренко. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München. Verl. Otto Sagner. 1993.

⁹ См.: «The Culture of the Stalin Period». L., Mcmillan, 1990.

Гиперсимволизм выступал как «религия без религии» — заместительная религия. Одни историки находят в ней псевдохристианские, другие — неоязыческие мотивы. Противоречия нет. Ритуал, лишенный святынь, но притязающий на обладание ими, всеяден. Он заглатывал и вывороченные наизнанку христианские символические сюжеты, и вызванные из архаичнейшего «пра-праища» (Ю. Тувим) символы язычества.

Один из самых модельных жанров тогдашнего официального искусства — торжественный концерт. Такие концерты стоило бы повторно демонстрировать по ТВ в видах не развлекательных, а поучительных. Наивно обличать эти концерты в фальши и (или) бездарности. Бездарны они были отнюдь не все — в любом случае не чаще, чем нынешние шоу. А фальшь — разъяснение слишком успокоительно-элементарное для того, чтобы быть верным. То была не фальшь — то была модель мира, квинтэссенция символики и ритуалистики.

Обитатель ампирического царства (свидетельствую по воспоминаниям детства) шел на такой концерт или слушал его трансляцию, не только не ожидая чего-то нового, но заведомо, гордо и радостно зная, что, наоборот, все будет знакомо, узнаваемо и чаемо наперед. (Еще один неопровержимый показатель: концерт был не произведением искусства, но актом ритуала.) Раздвигается тяжелый занавес, точно храмовая завеса, — и стоит на сцене «жреческий» хор, и переливаются на заднике радиальные лучи от красной звезды на Спасской башне. (Вот он, священный центр мироздания, въяве!) И поет хор кантату. Потом самый народный или самый заслуженный из артистов читает громоподобно (и правильно, что громоподобно: в священнодействии архиерейский бас более чем к месту) оду. Ода предпочтительно принадлежала Маяковскому как певцу всего, что хорошо, но вариативно могла принадлежать и поэтам меньшего калибра. Далее следовал ансамбль Советской Армии (воинский ритуал язычества). После него, если концерт был воистину «большим», шли образцы песен и танцев народов СССР, тоже заранее, ритуально предписанные и предвкушаемые. Я, например (и едва ли я была исключением), свято веровала, что в Грузии поют только про Сулико, а в Молдавии только про лист зеленый груши спелой или про смуглянку-молдаванку в партизанском отряде. Прибалтика долго танцевала без слов и лишь к оттепели получила мандат на одну песню — про невесту, которая уходит к другому, и неизвестно, кому повезло, — с припевом «рула-ти-рула». (Признаюсь: так и не ведаю, чья же это была песня: латышская? литовская? эстонская?) Евреев очень многие очень простодушно народом не считали как раз по этой причине: в национальном костюме на торжественных концертах от «них» никто не выступал, а стало быть, «их» не было в символической модели нашего мира, и, следовательно, «их» как народа в высшем, полном смысле не существовало.

Всему в этом «мироустроительном» концерте находилось место. Была профильтрованная классика; был спорт (пирамиды!); были лирические песни; был цирк (необыкновенно любимый, ибо он тоже, как и мы, сказку делал билью, преодолевал пространство и простор). А в финале опять плыл занавес и на сцене стояли все участники концерта — заметьте, все: снова необходимое условие ритуала, без которого теряется его действенность, его магическая сила. И все пели или по меньшей мере хлопали в такт песне: и белорусы, и узбеки, и армяне, и иллюзионисты, и танцоры, и декламаторы, и зал, и президиум в ложе...

Ритуал завершался. Прочность мира утверждалась и повторно восстанавливалась. Каждый соучаствовал в этом мироустроительстве. Чем освящал и подтверждал — обратным порядком — смысл и значительность своего собственного, личного существования.

А ведь были еще демонстрации — обезбоженный синтез языческого шествия и христианского крестного хода. Были собрания и слеты. Были вахта почета и похороны выдающихся деятелей. Были приезды-сошествия «верхних» людей на землю, в колхоз или на фабрику, — и были вознесения «нижних», земных людей на небеса правительственных приемов и съездов. И все это, вместе взятое, образовывало плотную цепь празднеств и праздничных

«служб», ритуальных молебствий и благодарений, выкраивая из дольнего, «мирского», бытового времени и пространства новые и новые территории символического.

Если что поистине смешно, так это монументальные разоблачения таких фильмов, как, скажем, «Весна» или «Кубанские казаки», прокатившиеся в прессе начала «перестройки». За дураков, что ли, держали наших людей, взалхлеб те фильмы смотревших? Будто зритель сличал фильмовую жизнь с послевоенными трудоднями и трудоночами тетки Дарьи А. Твардовского или с бытом и воздухом больших и малых шарашек и арзамасов-16, где разрабатывались атомные проекты. Ю: Любимов рассказывал на одной из встреч: во время съемок «Казачков» подошла к нему, юнцу, старушка, спросила: «Сынок, это из какой жизни фильм?..» Будущий маэстро запомнил свой стыд на всю дальнейшую жизнь. А мог бы, если бы догадался, сказать, не кривя душой: это из друго й жизни. Той, которая больше чем жизнь: сплошная символическая модель-утопия жизни, какой та должна быть.

Постановщики подобных фильмов поступали по той же «символо-логике», что и устроители праздников в раннеренессансных итальянских городах. Города ведь тоже преобразались: одевались специальными декорациями, озарялись изысканной иллюминацией. Творился некий идеаль ный город — отдаленное отражение своего мифологического двойника и прашура, «райского города»¹⁰. С одной маленькой разницей: в древних культурах город рассматривался как модель великого космоса¹¹; в христианстве родился образ «Града Божия» (Евр., 12, 22; Бл. Августин), Ренессанс же положил начало претензиям на рай «земной» и космос «управляемый». А от них уж рукой подать и до городов «будущего как настоящего», каковые реализовали архитекторы ВДНХ и немножко не успели реализовать авторы проекта реконструкции Москвы¹².

Такова черная магия гиперсимволизма, с успехом заместившая одну жизнь другой, а главное, придавшая символам как бы самоценность, самосушность, самосвятость.

Раннее Возрождение, рубеж не только двух эпох, но и двух противоположных ценностных систем, приведено здесь не для простого примера. Оно же помогает прояснить, к чему приводит второй вариант разлома сознания: антисимволизм, — что также небезразлично для нашего распавшегося времени.

Возрождение мы привыкли связывать с культом разума и веры в человека. Однако именно Возрождение, принявшись взрывать изнутри средневековой «образ мира», средневековую ценностную ориентацию на Бога и человека как богочеловека (вместе с соответствующей символикой), вызвало символы на бунт.

Спросим среднеобразованного человека: когда начались в Западной Европе процессы над ведьмами? когда вспыхнула тотальная ведьмобоязнь? Ответ, уверена, будет: в средневековье. Ответ ошибочен, но ошибка не случайна. Не хотелось «массовому» нашему образованию, регулировавшемуся «прогрессивистской» исторической наукой, признавать: не в средневековье все это началось — в эпоху раннего Ренессанса (а развернулось — в позднем). И не сверху была инспирирована охота за ведьмами (не инквизицией в том числе). Сверху лишь подхватили и использовали «голос масс». На следствие и расправу с «ведьмами» судей приглашали деревенские общины, из своего кармана оплачивая судебные расходы. Но панические слухи о ведьмовских кознях (как и в ту же пору сформировавшаяся символика «шабаша ведьм») — это заключительный акт мировоззренческой трагедии Западной Европы. Начиналась же она со слухов, что питьевые колодцы отравляют прокаженные. Затем «образ врага» с прокаженных переместился на еретиков-катаров; еретиков сменили

¹⁰ Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М. 1970, стр. 41 — 45.

¹¹ См.. Долгий В. М., Левинсон А. Г., «Архаическая культура и город» («Вопросы философии», 1971, № 7).

¹² Есть зловещая ухмылка символики в том, что за воплощением московского проекта лично и прилежно наблюдал товарищ Л. П. Берия (см. «Сегодня», 23.11.93).

иноверцы-евреи; наконец, мечущееся низовое сознание обратилось на «своих чужих»: деревенских знахарей и знахарок, — и Западная Европа озарилась багровым пламенем костров.

В символике шабаша химерически смешалось все. Позднеиудейские кабалистические представления и образы ночных демонов и демониц (инкубов и суккубов), соблазняющих людей. Языческие верования в сон-транс, во время которого «посвященные» летают верхом на магических животных. (Верования эти были распространены в альпийских районах, поблизости от основных мест возникновения ереси катаров.) Поверье о шествии мертвых по воздуху — мотив германской «дикой охоты», отозвавшейся в сюжете белоруса В. Короткевича, нашего современника, «Дикая охота короля Стаха». Идеи катаров о двух равных «господах мироздания», Добре и Зле, — и о злой, демонической природе материи и человеческой плоти. (Сами эти идеи явились эхом манихейской ереси начала нашей эры.) Тут и вправду смешались в кучу кони, люди: символика разных веков, наций, религий, обезумевшая, взбесившаяся, доподлинно учинившая всеевропейский шабаш.

Примечательно: все это было сначала «выдуманно» в воспаленном мозгу — патриархальных ли крестьян, у которых ренессансная «перестройка» отнимала не только старый уклад, но и старую веру; судей ли или монахов, этой средневековой интеллигенции, которая теряла опору извне и изнутри. Но «выдуманное» ведьмовство не осталось в фантазмагорических протоколах допросов или в «Молоте ведьм», энциклопедии тогдашней демономании. (Переизданный совсем недавно репринтом с дореволюционного издания, черный этот бред мигом исчез с наших книжных прилавков — к чему бы это?) Вопреки материализму оно, выдуманное, воплотилось и стало практикой. Сценарии «шабашей» и «черных месс» взяли на вооружение позднейшие тайные общества, закрытые ордены, светские салоны, но также и сельские ведуны. Демонослужение, получившее символическую подпитку, подпольными ходами поползло в рационалистический век Просвещения, в прагматический и позитивистский «железный» XIX век, вышло на поверхность в век модерна, на стыке прошлого и нашего столетий, — и половодьем разлилось в неомифах и неоритуалах фашизма и современных экстремистских партий, групп, сект.

Когда пытаемся убить символы, они начинают убивать сами.

На чем же основан механизм этого загадочного самовоспроизводства и «самоуправления» символов? Что питает их внутреннюю энергию, разряжающуюся при социальных авариях духовными черноты?

«Озвучивая», опредмечивая высшие религиозные, национальные, социальные ценности, пребывая (веками!) в непосредственной связи со святынями данного народа, символы от них набираются энергетической мощи. Этот заряд не покидает их окончательно уже никогда.

Пока существуют в культуре человечества площади, они неизменно будут помнить свое исконное ритуально-символическое предназначение: быть священным центром селения, местом сбора всех жителей при важнейших, судьбоносных (как любил говаривать М. С. Горбачев) событиях. Когда храм на площади заменило здание ЦК или правительства, когда кумир превратился в памятник вождям или соратникам, это означало только одно: символика уцелела, ее лишь «перевели» с языка религии на язык идеологии. (Впрочем, это значило и другое — что новая идеология заговорила языком старой религии.) Когда же демонстрации на Красной площади отменили вовсе, а от многих памятников остались постаменты, это также нечто означает. И позволяет нечто прогнозировать — почти безошибочно. А именно: свято место пусто не бывает. Его займут. Займут силы, которые несут с собой символы, отвечающие злобе дня, но которые подхватят еще и «вечную» символику площади как места встречи с судьбой всего рода и народа, места встречи, которое изменить и впрямь нельзя. Только транспортной развязкой, или подмостками для подгрупп, или торжищем площадь в окончательной перспективе стать не сможет. Тем более — в нашем отечественном повышенно символическом пространстве.

А если все-таки сможет? Тогда мы получим разницу между августом 1991-го и октябрем 1993-го. Я не трогаю политики — я веду речь о символике.

В августе 1991-го символично стало все. «Лебединое озеро» в эфире, этот новый гимн Советского Союза согласно шуткам тогдашних остряков. Ельцин на танке — Георгий Победоносец на коне: символическая ассоциация вспыхнула моментально и затмила собственно речь стоявшего. (Проверьте себя: никто не помнит, что он тогда говорил, — все помнят, на чем он стоял.) Кольцо вокруг Белого дома: символика оберегающего круга и живой общеродовой цепи; ее несут любые национальные танцы-хороводы, любые обходы вокруг жертвенника или «качания», взявшись за руки. Трое погибших — ровно трое, ни больше, ни меньше. (Кто это знает в точности?) Символизирующему сознанию отвечало именно число «три» — «необходимое и достаточное» число в мифах, сказках, преданиях, легендах. При похоронах, когда всех троих приготовились отпевать по православному обряду (хотя — кто из них был православным? но символика уже взяла бразды правления в свои руки), один из мальчиков оказался евреем — и его погребали по обряду иудейскому (хотя — был ли он верующим?). Однако — что поразительно! — и этот сбой вписался в символику. Так и положено быть по общемировой фольклорно-символической трактовке числа «три» и всякой «троицы», «триады», будь то богов или земных героев: два одинаковых и один особый, «отмеченный»...

Раскладку можно продолжать до бесконечности; вывод будет тот же. Символизация работала безотказно по обе стороны политических баррикад, поверх конкретных лозунгов и маневров. И пускай раскладка эта не покажется читателю кощунством. Наоборот. Именно символичность сделала август 1991-го трагическим. Зато именно ее отсутствие превратило октябрь 1993-го в трагифарс.

Помнящие хоть что-нибудь помнят главное. Основное потрясение от тогдашней телехроники — толпы любопытствующих вокруг Белого дома. Но и те, кто ужасался им «слева», и те, кто ужасался «справа», вряд ли отдавали себе отчет в том, что же стряслось с нашим народом. А ничего неожиданного не стряслось. Просто всеми враждующими сторонами, партиями, движениями, лидерами, всеми печатными изданиями и ТВ-программами в их совокупности была за протекший интервал с успехом истреблена всякая политическая символика. Ни единый символ не «жег сердца людей». Тогда-то и обнаружилось: социальное действие без символики есть лишь политико-военно-милиейская акция. А для неучастников — просто зрелище.

Филологи и политологи будущего еще напишут об этом «возмездии символов». Для наглядной иллюстрации — хотя бы о судьбе самого названия Белый дом. Оно было явно скалькировано прессой с американского символа в период «весны перестройки» и отразило моду на «европеизм» и «атлантизм». Но славянская символическая почва распорядилась импортированным символом по-своему. Она оживила в нем древнее мифозначение белого как цвета священного, «запредельного», светоносного. Тем временем «перестроечная» эйфория перешла в будни; Белому дому присвоили деловую, практичную аббревиатуру — БД. Символ убили. Убийство совершила пресса в октябре 1993-го (кажется, первой была «Независимая газета»). БД весьма остроумно расшифровывали как «БиДе». Остроумие — вещь похвальная; но вот здание передано теперь правительству России; кто же, позволивительно спросить, заседает нынче в «БиДе»? Нет ответа? И ехидная расшифровка с «демократических» страниц как-то неприметно исчезла.

А возмездие осталось. Кто же пойдет умирать за биде? И за людей, там сидящих? И кого обвинять в нехватке патриотизма: тех, кто символы уничтожал, их осмеивая, заставляя забывать их, — или тех, кто эту «смерть символам» накрепко запомнил?

Подытожить все сказанное можно так. Символы и ритуалы не зря призываются на помощь обществами (прежде всего архаическими, но также и традиционалистскими или имеющими сильные и давние навыки традиционализма) в кризисные моменты. Арнольд ван Геннеп, введший в оборот само поня-

тие «обряды перехода»¹³, выделил три стадии в переходном состоянии любого общества: разделение — пограничность (лиминальность) — воссоединение. Наиболее опасна вторая стадия, «пограничье», когда у культуры общества уже почти нет свойств ее прошлого, еще нет — ее будущего. Духовный мир людей зависит в пустоте. Тогда столь вождельным становится «обретение коллективом... сознания своей целостности и своего единства во время ритуала... Особенно показательные формы это явление приобретает в условиях далеко зашедшего вырождения... старой традиции, когда... бывшее единство (или сознание его) восстанавливается только во время ритуала...»¹⁴.

Однако именно кризисное, пороговое, лиминальное состояние духовности и культуры лишает символы безусловного «верха» — незыблемых ценностей и святынь. Без него символы вырываются на волю, обретают призрачную (но отнюдь не безобидную) самостоятельность и, как исчадие Франкенштейна, начинают свой триумфальный демонический марш.

Есть у каждого поколения болезнь величия, торжествующего или страдальческого. Выражается она в убеждении: «такого, как сейчас», никогда еще не бывало. Как правило, «такое» бывало, и не раз (о чем шла речь выше). К тому же наше культурное «сейчас» — не столько «постперестройка», сколько за вершиной оттепели. Символический ракурс демонстрирует это вполне.

Острые оттепельной литературы, оттепельного искусства было направлено (что и естественно) на разрушение прежних мифов и символов. Магистральных направлений прорисовалось три. Одно — знакомый антисимволизм, доведенный до предела. Постепенно переходя от патетики к сатире, от сатиры «реалистической» к сатире гротескной, эта линия логично вышла на «советский постмодернизм». На поверку, однако, «наш» постмодернизм к «их», западному, касательства практически не имеет. «Их» постмодернизм вскормлен изошренным в рефлексии, резко индивидуальным и индивидуалистическим жизнеощущением. Поэтому символику — если таковую и брали — «их» писатели предпочитали дальнюю: либо древнюю, либо «экзотическую», от восточной до африканской. (Так же как перед этим работали с кельтской символикой С. Беккет, с буддийской — Дж. Сэлинджер.) Своя символика выглядела для «них» слишком социализированной.

Как раз это и устраивало «наш» послеоттепельный постмодернизм: смесь соц-арта с поп-артом. Он и поныне питается символикой ближней: «тоталитарной» и «советской». Вновь и вновь она монтируется с изнанкой и профанной прозой реальной жизни — или сгущается, нагнетается до навязчивого кошмара.

Многие из таких «кошмаристов» очутились в эмиграции (старшие — чаще вынужденно, младшие — чаще добровольно). Дистанцированный, отстраненный взгляд с того берега плюс необходимость свою биографию оправдать «онтологически», в больших житийных масштабах, усиливали и расширяли антисимволистскую атаку. Были предприняты попытки штурмовать уже символику не только «тоталитарную», не только «советскую», но и все «патриархальное» восточноевропейское (даром что от Бреста до Курил) символическое мышление как таковое.

И тут очень быстро очертились пределы, ихже не преjdeши. Во-первых, символика национальная. Разрушить ее уксусной эссенцией соц-поп-арта и не получилось, и не позволили. В бывших республиках СССР это видно особенно четко. Достаточно было одному украинскому дерзателю покуситься на Шевченко, сердцевину украинского «символикона», как Б. Олейник припечатал его приговором: у каждого народа есть святыни, и пачкать их — значит подрывать национальный менталитет. Выступил вдогонку Б. Олейнику украинец из диаспоры, из США; пробовал сослаться на вольное обхождение амери-

¹³ См.: Genep van, A. Rites de passage. P. 1909.

¹⁴ Топоров В. Н., «О ритуале...», стр. 48, прим. 22. См. аналогичную мысль: Тэрнер В. Символ и ритуал. М. 1983, стр. 112 и др.

канцев со своим писателем-символом, Уитменом. И графоманом-де того обзывают, и про гомосексуализм не стесняются писать... Успеха эта аргументация не имела.

Аналогичный (хотя менее прочный) барьер вырос перед книгой А. Синявского «Прогулки с Пушкиным». Подозреваю, что и В. Войнович своим Чонкиным не реализовал сверхцели. Барабанную пропаганду и плоские военные агитки он повалил артистически. Но на дальнем-то прицеле у него стоял все-таки не агитпроп, а Василий Теркин. Вот Теркина-то Чонкину вытеснить и заместить не удалось.

Не слышать, чтобы библейские антисимволы получили большой вес и хождение в культуре Израиля. Не слышно, чтобы в Беларуси постмодернизм сумел перекроить символику Я. Купалы, в Армении — А. Исаакяна, в Грузии — Н. Бараташвили. Даже о попытках такого рода не слышать. И не потому, что опасно, а потому, что нельзя. «Целить не можно», пушкински говоря¹⁵.

Во-вторых, пределом стало творчество самих «антисимволистов». Пародии актуальны, пока актуален оригинал. Боюсь, никто не был заинтересован в «тоталитаризме» и «советизме» больше, чем его разоблачители — его же настойчивые воскрешатели. Ведь жить им культурологически ровно столько, сколько будут живы в сознании символы, которые те «обвивают» (Л. Аннинский). Нечего стало обвивать на родине (или на бывшей родине) — поиск объекта пародий переместился в сторону тамошних «свобод» или эмигрантского быта. «Антисимволисты» начали кормиться самими собой¹⁶.

И — все громче зазвучала ностальгическая нота. За усмешкой, за смехом, за осклабом. «Ибо детство бывает только одно». «Было исцеляющее Единство, а теперь нету». «Мое отечество — не Россия, а СССР».

Цитаты взяты из романа А. Мелихова «Изгнание из Эдема». В подзаголовке его значится: «Исповедь еврея». Неверно значится. Израильский еврей за исповедь это не примет и навряд ли высоко оценит вообще. Для него терзания героя будут отдавать местечковым духом, нефигурально беспочвенным, потерявшим иудейскую почву и память, а потому юродствующим надрывом. Надрыв и впрямь есть. Но не по Израилю — по символическому, патетическому, отрезанному советскому прошлому. Потому что без него нет двух третей собственной жизни, нет и оправдания антисимволизму. И уже не дистанцированно высмеивает автор символы этого прошлого — сквозь многослойную иронию и автоиронию порывается хоть как-то их закрепить в памяти. Удержать.

Вот и киевский режиссер Христофор Груша задумал недавно поставить «постмодернистский» спектакль по «Малой земле» Л. И. Брежнева. Потом пригляделся: зачем Брежнев? — есть же Корнейчук! И сделал микс из «всего Корнейчука»: с председателями и секретарями, генералами и «простыми людьми». Как он собственноусто признается постфактум, ставился абсурд. И половина зала, в согласии с режиссерским замыслом, приходит обхохотаться. Но половина. Вторая, замысел опрокинув, валит на ностальгию. Ностальгия явно не по «лично Леониду Ильичу», — тогда по чему же и по ком же? Да по биографии своей. Вписанной во время и записанной его символами. Возможно, незадачливой, но единственной и невозвратной.

Так завершается первая линия оттепели, «антисимволистская»; бросим теперь взгляд на второе направление — «альтернативное».

¹⁵ Такое ощущение «священного предела» — вопрос духа, культуры, а не почтового адреса; Н. Коржавин скажет то же «с того берега», но по-иному: «...никогда не принимал разговоров: «Русская литература, вся эта духовность, соборность ваши уходят. Нет возрождения». Есть и такие разговоры: «Россия? А России уже не будет». Человек запросто оперирует ценностями, внутри которых сам находится, и не берет это во внимание. Как бы ни было, но литературы из этого не выйдет» («Мы не расходились с русской литературой». Беседа с Н. Коржавиным. — «Литературное обозрение», 1993, № 5, стр. 18, 19).

¹⁶ Об этом сдвиге см. нашу рецензию «В поисках утраченной боли» («Новый мир», 1994, № 7).

Альтернативу оттепельники выстраивали кто из чего мог, однако не без общего знаменателя. Знаменателем оказалась та самая уже упоминавшаяся «частная жизнь». Которая скоро сделалась чем более частной, тем более символической.

Что символизировалось — сегодня уже очевидно и можно просто перечислить. Символической оппозицией залу заседаний стала кухня (куда и откочевал символ центра — стол в своем новом, интимно-приятельском воплощении). Оппозицией парку культуры и отдыха обернулись дворики, скверики, подъезды и подворотни, плавно перетекшие в задворки, подвалы и увенчавшиеся свалками. Торжественным концертам были противопоставлены барды, менестрели, джазовые сешнз, тоже уплывшие затем в сторону дискотек и тусовок. Турпоходы противостояли шествиям, гитары — трубам и барабанам, жаргон — канцеляриту, свитера — двубортным костюмам, некрасивые лица с особинкой — плакатным красавцам. Ядерные физики, журналисты и геологи теснили секретарей райкомов и новаторов производства, но тем самым занимали и их место в символическом строю. «Свои» книги становились паролем, «свои» спектакли — опознавательной приметой. Паузы и подтекст были таким же маркером «своего» разговора, как богатырские рукопожатия, решительные интонации и сочный смех у «предков».

«Частная жизнь», отвоевывая пространство у официоза, не столько сломала символику прежнюю, сколько выстроила параллельно ей, в уголках и закоулках ее, символику зеркальную. То есть и противоположную своему антиподу, и неотрывную от него.

Уже на излете «перестройки» Л. Аннинский дал оттепельному мироощущению краткую эпитафию: «безоппорная духовность». Формула — локально — диагностически безупречная, и зря я с ней тогда спорила¹⁷. Сегодня видится иное: формула эта была бы исчерпывающей, если бы — сущностно — не была невозможной.

Да, классическая оттепель осталась явлением городским, интеллигентским, вненациональным (в России прежде всего; в других республиках было иначе), внерелигиозным, внетрадиционалистским. Но без опоры ни возникнуть, ни встать в рост ни одно духовное движение не может. Если была у оттепели своя духовность (скажем осторожней: свой духовный климат), то была и какая-то опора. Она и была: опора-отталкивание, опора-отвержение. Оттепель духовно кристаллизовала себя как антитезу — и духовно рассыпалась, когда рассыпалась антитеза и вылез на божий свет непредвиденный синтез. Когда пришла эра «новых функционеров», «вторых секретарей», задавших тон второй половине застоя и первый толчок «перестройке». Они-то без лишнего напруга объединили свитерки и парадные костюмы. Анекдоты и лозунги. Иронию на кухне и тотальные концепции на трибуне. «Левые» любовные романы в стиле Ремарка и попечительство о нравственности общества. Вояжи на Запад и разоблачения Запада. «Безоппорная духовность» стала предметом потребления и элементом бомонда. Символика мальчигов 50 — 60-х была вычленена из хрупкого, воздушного контекста и благополучно всосана новорожденным типом: «румяным» ли «комсомольским вождем» (Е. Евтушенко), карьерным ли «победителем» (Р. Киреев) или «амбивалентным героем».

Роман «Картина» Д. Гранина еще слабо пробовал спасти этого «нового», «предперестроечного» победителя-функционара, обратив его к ценностям вечным и символам нетленным (чистая речная заводь, старый храм, дивная картина..). Фильм «ЧП районного масштаба» с подобными иллюзиями под злой смех прощался. Самому же Р. Кирееву выпала особая доля: тихо оплакать выпотрошенную утопию «частной жизни», подвести черту под ее миражным символизмом и — как бы потерять язык.

Покуда «перестройка» запутывалась в зигзагах неудачи, покамест все наглядней вырисовывалась правота С. Ломинадзе, на обсуждении памятного фильма «Покаяние» сказавшего: «Никто не услышал, о чем этот фильм, а он о том, что никакого покаяния не произошло!..» — Р. Киреев сменил героя,

¹⁷ «Когда огонь соединяется с огнем» («Вопросы литературы», 1988, № 1).

жанр и тембр. И жанр и тембр новые определил он сам: «поздняя проза». Новый герой — «литератор К-ов» (предел исповедальности, какой позволил себе «застегнутый», не склонный к душевному стриптизу Киреев). А единственный сквозной сюжет этих странных, внефабульных, подчеркнуто «бедных» по стилю текстов — именно покаяние. Именно — в безопорности.

Умирает товарищ по перу... Одни дневники-тетрадки остаются от соученика... Давит бессонница, а в аптеках хамят, и лекарств не достать... И ежедневно, ежечасно крошатся, корежатся прежние оценки и самооценки героя. Любая вещь или ситуация наливается символикой, ибо уличает в отсутствии опоры. И в то же время прочные, жизнеспасительные символы недостижимы, ибо «поздний» Киреев опытом, а не умом постиг, какой высокой ценой они обеспечиваются.

Посреди бесстыдной моды на свечконошение и поклонение целомудренная тоска звучит в ответе Киреева на вопрос журналистов о «тоненьких свечках под золочеными куполами» — о «религиозной теме» в его прозе последних лет: «...есть неверующий, к сожалению, человек — Руслан Киреев, для которого путь в этот мир закрыт. Но он знает, что такой мир есть... завидует тем, кто там находится, и пытается осмыслить отношения неверующего человека с Богом. С Богом, в которого не верит. Ему это не дано». (Внимание: сейчас появится фраза-ключ.) «Или, может быть, он испугался цены, которую за эту веру надо заплатить»¹⁸.

А цена так на так заплачена. Только что не за наличие, а за отсутствие. Об этом — угрюмые нынешние эссе В. Маканина, страшноватые «Песни восточных славян» Л. Петрушевской. Об этом же кричат персонажи крутого, отнюдь не сентиментального драматурга В. Арро, его «трагики и комедианты». Судьбы России, земля-кормилица, заутреня, свечи, счастье, стыд, честь — выхрипываются в этой пьесе слова-символы. Чтобы удариться об пол словами-пустышками. И нет трагедии: трагики срываются в комедианты. И нет комедии: трагически за нее платят. Не жизнью даже, а отсутствием полноценной жизни.

Третье направление, разбуженное оттепелью, но с самого начала высвободившееся из-под ее опеки, — реставрационное. Или, уместней сказать, реанимационное. Речь о русском возрождении и о возрождении русской символики.

Симптоматично: первый колышек здесь застолбила проза «деревенщиков», явившихся при конце оттепели и сильно запоздавших в своем «открытии России» по сравнению с аналогичными «открытиями» в других республиках СССР. Второе: русские «деревенщики» продвигались от быта и социологии к «космосу» и символике гораздо медленней своих инациональных собратьев. Показательна здесь и проза (сравните хотя бы В. Распутина с Г. Матвеевым или Ч. Айтматовым), но в особенности поэзия. Для И. Драча, даже еще оттепельного, хата была Парфеноном, женщины, ее белившие-расписывавшие, — Ван Гогами: это было мерой и акцентом. Для А. Рязанова через белорусские «корнословья» оживали индоевропейские параллели и ассоциации: это задавало масштаб видения белорусского мира.

Космологичности и «всесимволичности», сопоставимых с армянской, украинской, грузинской, латышской, белорусской и т. д. оттепелями, русская оттепель так и не обрела. Потому что она и не сложилась как русская. Сегодня, на расстоянии, плюс сквозь «символический» опыт других республик, этого нельзя не увидеть.

Не случайно в России «деревенщики» были — в республиках их не было. В России они были прикреплены критикой (но и собственным писательским самоощущением) к «особой нише» (П. Басинский) в духовном и литературном процессе; в республиках — немедленно разгаданы как носители идеи не деревенской, а национальной. (Что, конечно, жизнь им не облегчило.) Да и сама заря вечерняя социал-либерализма и социал-утопизма догорала если не над Россией, так над Москвой и Питером куда дольше. В республиках «осо-

¹⁸ Крючков Павел, «Руслан Киреев. Переход на кольцевую линию» («Независимая газета», 8.12.92; разрядка автора. — М. Н.).

бых ниш» не отводилось никому, ни в эмигранты, ни в амбиваленты никого не отпускали, а за слово сызначала платили по-крупному. Там-то символику и ее грозную силу безошибочно разгадывали все: и читательская аудитория, и идеологические отделы.

Коротко говоря: в России оттепель была в первую голову социальной, в республиках — национальной.

Что и не диво. Именно в республиках уже тогда (но и много раньше, чем тогда) вплотную стояли вопросы: быть или не быть твоему народу как народу? сохранен или бесповоротно, насильственно растворен национальный менталитет? есть ли шанс у твоей культуры вписаться в контекст культуры мировой, не потеряв особого лица? можно ли построить «свой дом», в котором отыщется место всему национальному наследству: и фольклорному, и книжному, и языческому, и христианскому, и князьям, и демократам? Знакомые вопросы. Теперь их ставит и решает Россия. Теперь ее испытание, ее срок, ее черед. Она теперь стремится вернуть в обиход свои символы.

Литература еще не поспевает отреагировать на эти подземные толчки. Поэтому стоит прислушаться к ним на почве публицистической. Идеально бы — на публицистике исторической, притом честной и не плоской. Таков, например, журнал «Родина»: его уже заслуженно отметили не просто за историчность, но за историсофичность.

Возьмем безорочно один из его номеров (1994, № 8). Вот результат: весь он непреднамеренно (в том-то и ценность) посвящен символам. Кружит вокруг них — символов политических, исторических, этнографических, фольклорных, литературных. Внутренний сюжет выпуска — рождение, смерть и небываемость символов.

Смерть символов. Из статьи Н. Лебиной мы узнаем, как в послереволюционные годы попиралась вековая ритуальность и символика погребения, перехода в мир иной. Петроградский крематорий начал строиться в 1919 году из соображений вроде бы сугубо утилитарных (голод, эпидемии, нехватка гробов). Но утилитарность немедленно обернулась «войной против символов». Погребение отняли у церкви, объявили каждому гражданину «право на сожжение» (!) и принялись сооружать крематорий на земле Александро-Невской лавры. Когда же на замысел не хватило денег (ах, гримаса символика!), сжигать покойников стали на другой территории — в старой бане. К. Чуковский записывал в дневнике 1921 года: «Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивают места сожжения. Революция отняла прежние обряды... и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах».

Возражу от себя: нет, обряд как раз был — только *анти*обряд, *антисим*вол. Баня издревле считалась на усадьбе нечистым местом, обиталищем темных сил; там (как и в хлеву) не вешали икон. Получается, что темные силы обрели наконец легализацию и власть над «последним сроком» человека. Вдобавок же публичное сожжение — архаический погребальный ритуал язычества. Чем лишний раз доказывается: атеистичный и антисимволический послереволюционный быт с таинственно-неумолимой неуклонностью проваливался в махровую неоязыческую ритуалистику.

Спор с символами. В рамках того же выпуска «Родины» Н. Петрухинцев опровергает однозначную символизацию Петра как царя-реформатора — западника или, наоборот, зачинателя «командно-административной системы». Трезвая раскладка документов показывает нам Петра-консерватора, но консерватора, использующего отдельные западные модели, экономические, военные, социальные... Или малолетний император Иоанн Антонович. При ближайшем документальном рассмотрении у Н. Павленко он оказывается не столько импозантной русской «железной маской», сколько несчастным, плюющимся и кривляющимся юношей, помешанным от полной изоляции. А заговорщик В. Я. Миревич — не столько благородный спаситель законного наследника, сколько обойденный карьерой племянник гетмана Мазелы, лично обиженный Екатериной: «ловец фортуны» в духе XVIII века.

Самая, пожалуй, впечатляющая попытка проверить символ анализом, прощупать его фактическую основу содержится в статье В. Софронова о Ерма-

ке — «покорителе Сибири». Каких только ударов не получает в ней «символ Ермака»! И имя Ермак — не имя, а прозвище. (Имя — Василий Тимофеевич Аленин.) И никогда Иван Грозный завоевывать Сибирь его не послал. (Напротив: требовал вернуться для охраны оседлых городков.) И — удар решающий — вероятнее всего, был Ермак крещеным, но местным «сибирцем», одним из родственников сибирских князей, тогда как хан Кучум — пришелец из Бухары; поход Ермака имел целью восстановление «своей» сибирской династии Тайбугинов и изгнание династии бухарского завоевателя, Шейбанитов. Что и совершилось уже после гибели Ермака.

Однако, перефразируя М. Булгакова, символы не горят. Автор статьи о Ермаке понимает это сполна, почему и завершает свое исследование так: «...и хан Кучум оказался татарин (хотя никогда таковым не был), и Ермак с его тюркским, по сути, прозвищем-кличкой зачислен в былинные герои земли русской». Символизация «притушила, стерла саму суть сибирского похода...». Но — «народ уже сказал свое слово и брать его назад не собирается... Вряд ли мы с вами сегодня сможем ответить, кто был на самом деле атаман Ермак», — осталась фигура «сказочного героя-богатыря наподобие Ильи Муромца...»¹⁹.

Это капитуляция. Но капитуляция особого рода. Истории — перед фольклором, факта — перед «вымыслом», который, однако (и ученый это знает лучше других), сам по себе есть тоже культурный и духовный факт. Та «неправда», что выдает правду о законах коллективного сознания, о превращении истории событий в историю символов.

Судьба еще одного исторического символа, крейсера «Варяг» (и канонерки «Кореец»), в военном отношении тоже неоднозначна. Выход из нейтрального корейского порта в открытое море, под огонь японской эскадры не мог быть (как романтически писал Новиков-Прибой) «задачей прорваться сквозь вражеское кольцо и уйти». Старый, тихоходный «Кореец» такую задачу выполнить заведомо не был в состоянии; «...выходить из порта значило идти на верную гибель. Они могли бы оставаться в порту. Здесь, среди иностранных кораблей, враг не посмел бы напасть на них. Но наши герои не привыкли прятаться за других — они вышли и вступили в бой» — тут Новиков-Прибой верен истине.

Случилось это 9 февраля 1904 года. А уже 25 февраля появилось стихотворение «Памяти „Варяга“» — оно и станет песней «Наверх вы, товарищи! Все по местам!». Только написано было стихотворение по-немецки, Р. Грейнцем. И напечатал его немецкий журнал. (Подумать! — всего за десять лет до первой мировой войны, где России предстоит сражаться с Германией.) А перевела эти стихи не фольклористка и не «народница», а сугубая интеллигентка-«книжница», жена профессора-германиста Петербургского университета Е. М. Студенская.

Все эти факты заботливо собрал Ю. Бирюков. И все-таки — его комментариям предпослано письмо военного моряка наших дней. Не верит он ни в немецкого поэта, ни в русскую «книжную» поэтессу. А верит в то, что слова и музыка «Варяга» народные.

Воздадим должное комментатору именно за это письмо. И за цитаты из Новикова-Прибои. Благодаря им мы получили двойное свидетельство: историю рождения песни — и историю рождения символа. Причем соотношение знакомое: символика снова собирает факт и снова перекраивает факт, подчиняя его собственным «миростроительным» установкам. А установкам эти — ценностные, сакрализующие. В соответствии с ними гибель «своих» не может быть бесполезной. Да и вообще она допускается в ряд символов лишь как внешнее поражение — внутренняя победа. И не сугубо русская это черта: старофранцузская «Песнь о Роланде», или древнегерманская «Песнь о Нибелунгах», или болгарский «Хаджи Димитр» Х. Ботева шли тем же путем.

Но всем составом своим журнал свидетельствует и о большем. В современном культурно-мыслении страны просыпается тоска по символам. Начинается

¹⁹ Софронов Вячеслав, «Кто же ты, Ермак Аленин?» («Родина», 1994, № 8, стр. 38).

поиск их по всем запасникам. Противоречия этого поиска видны специалистам со стороны, при взгляде снаружи. Внутри же «символоискательство» их не замечает.

С горечью возражает «коренной великоросс», «верующий православный», «русский патриот» С. Семанов (это его самоаттестации) — Ф. Достоевскому. По поводу «народа-богоносца». Где русские-богоносцы у самого писателя? Ни Раскольников, ни Мармеладовы, ни князь Мышкин, ни положительные герои «Бесов» под эту формулировку не подводятся. Ни даже Алеша Карамазов, кого автор предполагал провести к покаянию через попытку цареубийства. Вывод: «...для Достоевского «народ-богоносец» был все же некой идеальной теорией...»²⁰. Мы бы сказали: символом.

Горечи у дискусанта прибавилось бы, прочти он в том же номере журнала материалы о народных праздниках и обычаях. Все в этих материалах этнографически верно. Яростен и страшен «народный» Илья-пророк, бдительно подстерегает он крестьян за нарушение табу, палит поля, жжет дома. А чего стоят ильинские трапезы-братчины, когда кровью жертвенного быка мазали детей и взрослых? А вера в нечисть, оборотнями прячущуюся в этот день? Купающуюся в реках и ручьях, отчего после Ильи в них не следовало купаться...

Демонологическая эта метеосимволика давно проинтерпретирована славистами. Из-под Ильина дня высвечивает языческий «громовой» праздник, а сам Илья заступил в славянских народных святцах Перуна-Громовника. Однако для нашей темы принципиально иное: «не замечаемая» в народе противоречивость символа. Она прямо связана с его, символа, живучестью, многозначностью, «самовоспроизводимостью». Богоносец ли народ, вылепивший из ветхозаветного пророка и языческого громовника такого святого, сказать трудно. Символоносец — это неопровержимо.

Вот и на обложке номера помещена фотография памятного камня у истока Волги, на фоне церкви. Камень поставлен в 1988 году; текст на камне гласит: «Здесь зарождается чистота и величие земли русской. Здесь истоки души народной». Как сказала по другому поводу И. Сураг, хочется плакать, но что-то мешает.

Мешает прежде всего топонимика. Величие земли русской, убейте, не может зарождаться у истоков реки, носящей неславянское название²¹ и увидевшей впервые на своих берегах никак не русских, а северо-восточную ветвь восточных славян (вятичей и прочих), а еще раньше — другие, не славянские племена.

Еще сильнее мешает церковь. Никакой «народной души» христианство не ведаёт: душа, по христианскому учению, даруется только человеку, каждому лично и отдельно. Истоки ее отнюдь не в какой бы то ни было реке, а исключительно в Боге. Всякое иное представление есть непереваренное язычество. И осенять себя христианским символом, церковь, оно способно или из кощунства, или по неразумению.

Так оно и есть. Журнал прав, вынеся на обложку эту христианско-языческую «химеру» (взаимоисключающее соединение элементов, по классификации Л. Гумилева). Ведь не журнал ее придумал. Он лишь сигнализирует о «символической путанице» в наших умах.

Кровь была изначально символом жизни, жизненной силы, «телесной души». Отсюда архаический критерий общности — родство по крови; отсюда и бессмертие рода-племени мыслилось переходящим от поколения к поколению буквально через кровь.

То же и с первообразом родины — племенной землей. Она ограничивалась естественными водоразделами и привязывалась к главным рекам. Даже славяне, по новейшей гипотезе, получили свое имя от Словуты, древнего названия Днепра.

Река, земля, родник-исток, «душа по крови» — классический перечень языческих символов, причем вовсе не специально русских. Сама «чистота»

²⁰ Семанов Сергей, «Народ-богоносец?» («Родина», 1994, № 8, стр. 18).

²¹ См.: Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. М. 1978, стр. 47

здесь — не христианская чистота духа, а чистота родниковая как языческая священность и отмеченность. О «величии» и распространяться незачем. Христианское величие проявляется в самоотречении и самоуничижении. Язычество, языческая традиция внутри фольклорного мировосприятия «не хочет видеть» подобного величия²².

То есть символы взаимно побивают друг друга? В том-то и загвоздка, что не совсем оно так. Несовместимы, на разном духовном и историческом фундаменте возведены христианство и язычество. Символы — парадоксально совмещаются. Здесь, но не только здесь. Сейчас, но не только сейчас. Ибо культуры, эпохи, даже религии передают символику из рук в руки. В этой эстафете символов старые значения уходят в подспудье, но не исчезают; последующие «налипают» на предыдущие; все вместе спрессовываются — и все ждут востребования и пробуждения. И когда символ призывает под знамена очередного духовного или социального движения, в нем, символе, просыпаются порой далеко не только те смыслы, те ассоциации, те энергии, которых ожидали и на которые рассчитывали. Нередко взрыв символичности вызывает непредусмотренную лавину. Будит «темное подземное полесье» (Ю. Тувим) вроде бы давно избытых и забытых архетипов.

Символы всегда сила. Но сила (как и положено архаике) амбивалентная. И еще: пребывая в непосредственной близости к священному (по меньшей мере при своем зарождении), переводя это священное в зримые, слышимые, явленные формы, символы склонны вести себя, как вице-президенты: при всяком удобном (чаще всего кризисном) случае захватывать власть. Для широкого круга людей символы проще, наглядней, заданней, а потому «сподручней» святынь. И когда святыни уже расшатались или еще не утвердились, символы норовят взять на себя роль «исполняющих обязанности» святынь.

Святыни взыскуются человеком. Обретение их, даже в архаическом мире, шло (и должно было идти) через крайнее напряжение всего человеческого существа. Святыни человека преобразуют — первоначально преобразование это мыслилось больше как физическое, потом как духовное. Пока обряд подводит к откровению и завершается им, в сердцевине его таится святыня, а исполнение его есть «смерть для новой жизни». Такое преобразование, умирание-возрождение, станет в истории человечества ядром не только всякого творчества как поиска высшей истины и высшей ценности — оно будет неукоснительным условием для царя и мудреца, новобрачного и новообращенного: всех, кто входит в круг святынь.

Символы не преобразуют, они лишь показывают. Символы человеком не взыскуются, они наследуются. Они — его культурное приданое, доставшееся от прошлого. Они — «язык», а не «текст», не «благая весть». И подобно тому как обчный человек, владеющий каким-нибудь языком, убежден, что уж тексты-то на нем он сложит без труда, такая же подсознательная иллюзия существует и относительно символов. Владея символами, люди полагают, что тем самым овладели святынями.

Христианство на восточнославянских землях уже не единожды переживало этот драматический конфликт — между откровением и обрядом, «благой вестью» и ее земным воплощением. Знаменательно, что приходились эти конфликты как раз на эпохи разломов и потрясения.

Кому допетровская Русь видится беспримесно «святой», тем полезно полистать дореволюционное исследование Н. Я. Новомбергского о «народной магии», колдовстве, переполнявших быт Московской Руси XVI — XVII столетий²³.

²² Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М. 1991, стр. 103. Подчеркнем, что Г. Федотов не упрощал русской народной веры: «Народ не хочет видеть кенозиса (самоуничижения). — М. Н.) Христова, народ отвращает взоры от страданий распятого Господа, — но лишь для того, чтобы искать этого кенозиса и этих страданий» в житиях наиболее любимых святых (там же).

²³ См.: Новомбергский Н. Материалы по истории медицины в России. Прил. к иссл. «Врачебное строение в допетровской Руси». СПб. 1906, т. 3, ч. 1 («Колдовство в Московской Руси XVII-го столетия»).

Теневая, ночная языческая символика и обрядовость имели зеркальное отражение в христианском обрядославии той же поры.

Вот как рисует «допетровского» набожного человека цитированный уже Г. Федотов: «Русская церковь раскололась между служителями царства Божия и строителями Московского царства. Победили осифляне и опричники». После этого типичный подданный «принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос...» Христианство превращается все более «в религию икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей...»²⁴. И тут же в закутках и запечьях обитает религия (магия!) наговоренных иглоков, нашептанных зелий, ворожейных «наоборотных» молитв. Весьма и весьма сомневаешься поэтому, читая заключительные слова Г. Федотова: «Это ритуализм, но ритуализм... морально эффективный. В своем обряде... москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий»²⁵.

Для конденсации — да; социальных энергий — еще бы; а вот насчет моральности и жертвенности — более чем проблематично. Грядущая Смута, петровские катаклизмы, сопутствующие им низовые русские мятежи скоро эти упования на моральность ритуала и символа как такового опрокинут. Затопчут. Зальют Кровью.

«...сличение форм с духом Традиции помогает отличить Традицию от привычек... Сейчас много говорится о возрождении духовных традиций русского народа. Но эти традиции — не иконописание и не пение, не колядки и не освящение куличей», — утверждает современный богослов²⁶. Я бы не рискнула говорить столь категорично. Традиции и это. Но (и тут нельзя с автором не согласиться) при наличии основной, магистральной традиции — служения духовной сверхзадаче. Без этого, без духовной системы и духовной иерархии ценностей, всегда есть риск бунта: бунта символов, возомнивших себя самостоятельными.

К нам возвращаются символы. Анархисты и монархисты, «белые братья» и «черные полковники», устроители России и ее разваливатели — все пытаются их завербовать и перевербовать. Так всегда бывает на крутых поворотах национальных историй. И ежели завербовать святых и немислимо, то символы пустить на потребу дня возможно. Пьета, «Родина-мать зовет!», материцина используют один и тот же символ матери — каждый по-своему. Оттого-то на закате взбурлившей символики выпевали все религиозные, национальные, общественные подъемы: символы давали им «вещий язык». И оттого же на том же закате, если только он делался духовно неуправляемым, рождались массовые психозы и коллективные преступления.

«Клянусь вам! это была шутка!» — восклицает старуха графиня в «Пиковой даме» Пушкина, когда Германн напоминает ей историю (насквозь символическую) трех карт. «Этим нечего шутить», — отвечает он. Ответ верный — более верный, чем Германн мог предполагать. Этим оказалось нельзя шутить ни легкомысленной атеистке века XVIII, ни мрачному демоньяку века XIX. Но «этим» же шутить вышло накладно и в веке XX.

Символы бродят по Европе — Восточной по меньшей мере. Куда они придут и приведут нас — покажет будущее. Однако зависит оно и от того, как лично мы и непосредственно сегодня будем обращаться с этим «старым, но грозным оружием».

Симферополь.

²⁴ Федотов Г. П. Новый град. Сборник статей. Нью-Йорк. 1952, стр. 147, 150 — 151.

²⁵ Там же, стр. 151.

²⁶ Кураев А., «Традиция. Церковь. Человек» («Православие и культура», 1994, № 1, стр. 21).

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ

*

ТАК ЧЕМ ЖЕ ВСЕ ЭТО КОНЧИЛОСЬ?

Заметки о букеровских финалистах

Это-то и есть единственный и самый главный вопрос: чем все это кончится?.. Ничем — так ничем...

Юрий Буйда, «Дон Домино».

Меня нет... Это не страшно, меня ведь и раньше никогда не было.

Михаил Левитин, «Сплошное неприличие».

Сбежать? Но куда убежишь в этой стране? Затаяться?..

Игорь Доляняк, «Мир третий».

Он умел замирать и ждал... он понять не мог, не хотел и знать, где находится и зачем.

Петр Алешковский, «Жизнеописание Хорька»

Ему хотелось лечь, чтобы его засыпало сугробом вместе с волкозайцем.

Алексей Слаповский, «Первое второе пришествие»

Откуда люди могут знать, как нужно жить?

Булат Окуджава, «Упраздненный театр»

Почему эти?

Потому что процедура Букеровского конкурса — игровая и предполагает неожиданности. «Хеппенинг». По-русски говоря, кому выпадет. Раз уж судьба сподобила меня раз в жизни председательствовать в жюри — выдам тайну: мы так и не смогли взвесить многократно и всесторонне кандидатуру достойнейшего (хотя «общество», судя по газетам, было уверено, что шайка шестидесятников, укрывшись от взоров, скрупулезно делит английские деньги). Нет, господа. Мы говорили не о деньгах. И даже не спорили скрупулезно о литературных достоинствах. Мы просто сопоставляли свои предпочтения.

Что до «литературных достоинств», то отсеяв графоманов, как мы считали, произошел на стадии номинации. На то и номинаторы — уважаемые критики. Выдвинули — значит, в круг литературы. Иначе никогда не договориться.

Труднее был отбор по жанру: где роман, где не роман, а что-то около того. Тут-то кровь и хлестала. Но когда в результате осталось названий двадцать, это был уже практически равнодостоинный круг: по таланту (езде бесспорному), по мастерству (езде небесспорному). Фаворитов явных не было в романистике 1993 года. И, стало быть, отбор шести «финалистов» оказался игрой случая и игралищем вкуса.

Передо мной в жюри сидели четверо: двое с «Запада» и двое «наших». Моя задача была — найти консенсус и при необходимости успокоить страсти. Доводы возникали самые неожиданные. Например: текст должен понравиться западным

переводчикам и издателям. Для меня такой подход — нонсенс и даже унижение: хотеть кому-то понравиться. Но приходилось принимать как довод. Так или иначе, шестерых согласовали. Слаповский, Алешковский-младший, Буйда, Левитин, Долиняк, Окуджава. Я бы, впрочем, одобрил и другую шестерку. Например, такую: Быков, Юрьенен, Битов, Кураев, Рубина, Курчаткин. Но не настаивал. Во-первых, потому, что на этом уровне можно считать, что премии в принципе достойны все; во-вторых, от чрепалосья вкусовых пристрастий и деловых доводов выбор стал поистине подобен закону случайных чисел; и в-третьих, кто получает, в конце концов, премию — не самое важное. Я сейчас, когда пишу, не знаю кто. Читатель, когда прочтет, уже забудет.

Так что интересно? Интересно, как отразилось наше духовное бытие в шести «финальных» текстах, выбранных по закону случайных чисел. Вот уж точно отразилось, и именно потому, что выбор — полуслепой.

Как именно отразилось? Об этом и речь.

Человекобог как волкозаяц

В областном волжском городе на центральной площади, прямо около государственного, можно сказать, пьедестала, появляется здоровенный мужик, из десантников, и объявляет прохожим, что он Христос. Народ тупо смотрит и слушает. Идут мимо американские туристы. Переводчица-гид, сообразив ситуацию, объясняет им, что раньше такого агитатора отправили бы в КГБ, а теперь в России свобода. Американцы говорят: о'кей! Мимо идет беллетрист Алексей Слаповский, шныряя умом и взглядами в поисках сюжетов и нелепостей. Останавливается, не подходя близко. Смотрит, слушает. И — идет сочинять роман под названием «Первое второе пришествие».

Роман такой.

Если в семье пьяницы-кочегара рождается младенец, а весь город знает, что кочегар по причине беспробудности жену свою уместить не может, то это, стало быть, есть непорочное зачатие.

Если инвалид детства, повредившийся от шока, когда при крещении его отец в драке убил деда, ждет со дня на день конца света, то есть второго пришествия, то это новый Иоанн Предтеча.

Дальше наблюдается свершение судеб. Псих, которого подсаживают в камеру к инвалиду, усекает тому главу с помощью куска оконного стекла. А новоявленного Христа (он же Петя Салабонов) распинает на стенке вагона пьяная шпана. А перед тем дюжина местных гуляк: бывший поп, бывший дьякон, пара пьяниц-работяг, вор, тоже пьяница... впрочем, пьяницы там все и все кучкуются, — так это будут апостолы.

Ну пожалуйста. Вообразить себя можно хоть Саваофом. Вопрос в другом: кто ж в это поверит?

Жанр, возрождаемый беллетристом Слаповским, отнюдь не механическое перенесение под наши осины допотопного фэбля, но странная помесь начала гомерического с началом гомеровским, гибрид волка и зайца, интонация Войновича в «Чонкине», сквозь которую вдруг подается «приказ начать радоваться», отданный «в силу окружающего социализма»; и, таким образом, Андрей Платонов, подключенный к анекдоту, стилистически сигнализирует вам, что вас не только развлекают, но — заряжают.

Последний термин я употребляю в значении, привычном для пациентов доктора Кашпировского: антураж повести того и требует — тут современнейший медико-мифологический психоз, «лохнесский динозавр, летающие тарелки и полтергейсты», а надо всем — опять-таки говоря словами беллетриста Слаповского — «экстрасенц, мать его ети!».

Анекдот-то анекдот. Но рассказанный не во всеоружии смеха, поднимающего вас над ситуацией, а как бы изнутри ситуации, при полном и артистичном растворении рассказчика в ситуации и при полном эффекте того, что вы, читатель, оказавшись среди анекдотических типов, разделяете психологическое состояние задействованных в сюжете полудурков. В числе коих оказываются вообще все, кто к этому действию прикосновенен. Ибо легко объяснить, почему упившиеся герои анекдота воображают себя героями Евангелия, но труднее объяснить, почему окружающие их трезвые граждане с этим соглашаются. Хотя иные из них имеют за плечами высшее образование, а некоторые даже опыт идеологической работы. Верят!

Каким образом?

А таким, что любой из них, глядя на верзилу, одержимого идеями непротивления и всепрощения, на всякий случай спрашивает себя: «А вдруг?»

Против этого доводов нет.

И здесь я должен сказать, что фантазмагория Слаповского, сквозь которую я продирался с нервическим нетерпением и желанием отсмеяться поскорее, вдруг поворачивается леденяще-серьезной стороной. Такая страшная, безнадежная пустота обнаруживается за этим «а вдруг?». Пустота реальная, не анекдотическая. Пустота, обнажающая даже не дно души, а какой-то безымянный провал на том месте, где раньше торчали обрезки марксистской поллитрамой фантазии; тут довольно точно спущена на наш уровень высокая символика: волкозаяц — это то инобытие богочеловека, которое у нас реализуется.

Христианское милосердие плохо лепится к этому проваливающемуся месту; в лучшем случае оно натывается на лукавого, хитрого зверя. Гибрид волка и зайца, шныряющий по страницам «Первого второго пришествия», только на беглый взгляд кажется произведением дурного вкуса и неконтролируемой фантазии; тут довольно точно спущена на наш уровень высокая символика: волкозаяц — это то инобытие богочеловека, которое у нас реализуется.

Всем чужой: от волков бегают, а зайцы от него бегают. Всем чужой — потому что вообразил, будто всем свой: вылез с утешениями, пообещал спасти, выставился. А как поверили («вдруг»), так надо спасаться: бежать.

Исчезнуть! Сменить имя! Был Салабонов — стал, по жене, Кудерьянов.

— А я — Алла Пугачева, — находчиво подхватывает очередная жена.

А вдруг?

Можно как угодно относиться к стилистике «новой прозы» у Алексея Слаповского, Петра Алешковского или Юрия Буйды, но что они пытаются понять новый психологический тип, с которым не имел дела ни социалистический реализм, ни его либеральные оппоненты, — это факт, и факт ценный.

В пустоте анекдота затаилась истина.

Что делать существу, рожденному из такой пены?

Замереть и ждать

Точнее сказать, существо рождается из пены пивной. И из водочной блевотины. Это как бы за скобками: алкоголь потоком идет через все сюжеты. Упившийся отец Сергей говорит упившемуся диакону: «Зови меня просто Серегой». Умирающий от водянки выпивоха думает, что из него сочится спирт, и радуется дармовому опохмелу. Анекдоты от Слаповского подкреплены тяжелой рок-металлической стилистикой Буйды, герой которого, стальной строитель социализма по прозвищу Дон Домино, продирая «баб с чугунными сиськами, с заклепками вместо пупка и стальной втулкой в причинном месте», разве ж одной стопкой обойдется? Буйда — авангардист, а что уж говорить о реалисте-шестидесятнике Игоре Долянке — у того уголовники, замазывающие героя-малолетка, принимают его, естественно, в грязной пивной за столиком, залитым пивом. Но и герой трезвейшего Булата Окуджавы, сызмальства намерзшийся на тагильских ветрах, вспоминает тбилисский рай, благоухающий солнечными винами, и этот хмель, кажется, прямо входит в кровь его родственников, веселых революционеров-большевиков.

Но это — давно. Новая же реальность переводит алкоголь в разряд прямо-таки антропологических факторов. Это уже не кулинарная, не медицинская и даже не нравственная проблема. Это способ жизни: человек пьет, чтобы знать, что он человек. Иначе он гибнет. Это новый генетический тип.

Петр Алешковский, похоже, убежден, что его герой, по кличке Хорек, рождается таким, каким он рождается, именно потому, что его мать, продавщица, в свои восемнадцать лет пьет вровень с мужиками и чуть ли не в роддоме блюет.

Рождается звереныш. Хорек. Хитрый, коварный, умеющий затаиться и выждать. Не способный в школе запомнить строчку Лермонтова, но умеющий зрительно-осознательно запомнить тысячи деталей, нужных в практической жизни.

Эта практическая жизнь протекает словно в пустом, выкачанном пространстве. Перечни вещей, примет, предметов заполняют вокруг героя вакуум; в этом хаосе надо выжидать, выбирать момент и вовремя смываться.

Уходить надо в лес, к зверью. Но главы, где Хорек скитается в тайге и прячется по чужим зимовьям, наименее интересные у Петра Алешковского. Это явно из

другой оперы: смесь «Робинзона Крузо» Дефо и скалоновских «Живых денег». Впрочем, как пособие по каменному веку прочитывается в качестве знака: вот что нас ждет. Причина же того, что нас «все это» ждет, — там, откуда Хорек бежит и куда возвращается.

Там — вакуум ценностей. Как отпал от социума — ни одной свежей краски; вернулся в социум — опять бесцветные тени, этнография пьяни. Нет «коммунизма», нет «партии», нет «идеологии», и в эту полость расслабленно вваливается православная церковь («зови меня просто Серегой»), а на роль грешника, прежде исполнявшую роль меньшевиком, взят католик. Его вдохновенные речи про «Рим — истинный центр христианства» пролетают мимо Хорьковых ушей так же бесследно, как пролетали стихи Лермонтова, и не вполне понятно, зачем Алешковский столь подробно эти речи цитирует. Ощущение такое, что он никак не найдет тона... Я думаю, что некоторый налет авторской щегольской осведомленности («способ Цовьянова», «Иосаф в чалме с аграфом», «флейшевые кисти», «мездрение шкур» и т. д.) — знак именно стилистической и информационной неприкаянности автора, никак не умеющего приладиться к открытому им герою.

Этот герой создан не для тайги и не для церковных стен, куда его время от времени спроваживает автор. Его среда — «подворотни, подъезды, скверы, лавочки-скамеечки, афишные тумбы, кусты, пустые сараи, гаражи, кабины и кузова грузовиков, скользкие обочины...». Его жизнь — потайная. Серой, неприметной мышкой держаться в тени, в сторонке, а потом, тихо подкравшись сзади, ударить в спину и мгновенно слиться. Слиться с землей. Даже короткие ноги Хорька — не случайны: так к земле ближе.

Это существо не разумное — инстинктивное. Чуткое, остро слышащее потаенные сигналы. «Какая-то сила» гонит его, и остерегает, и уводит, и приводит — о, эту не поддающуюся осознанию силу мы еще почуем у прозаиков совершенно иного плана, и Долиняк, шестидесятник, даже попытается назвать, определить ее...

Автор «Жизнеописания Хорька» не определяет. Он работает музыкально: лейтмотивами. Появляются «получеловеки-полусобаки», которые то ли снятся, то ли не снятся Хорьку, и вам не важно их происхождение — важно присутствие мотива. Или такая музыка: Зойка-продащица, сидя утром на постели, готовится опохмелиться, и тут из-под одеяла высовывается жилистая рука, вырывает бутылку, утаскивает под одеяло и там «усасывает»... Эта же рука может потащить под одеяло саму Зойку — парень, все это наблюдающий, не знает ни имени очередного сожителя матери, ни того, надолго ли тот в доме, — Хорек, как зверь, слышит мелодию запахов.

Имен нет — клички. Имени своего Даниил Хорев сроду не слышал: Хорек и Хорек. Помните, у Слаповского: был Салабонов — стал Кудерьянов. Сменить кличку — звериный маневр.

«Жизнеописание Хорька» кончается так: побрел на север, затормозился в деревне, привалился к разведенной бабенке, обвенчался, взял ее фамилию. Был Хорев, стал Анастасьев, а еще точнее — Сонечкин, по имени присвоившей его бабы.

Артисты!

Неупраздненный театр

Картинка-угадайка:

«Какой-то бугор лежал под одеялом, когда Эмилия вошла в комнату, где он отдыхал между репетициями в Красном театре... накрывшийся колючим шерстяным одеялом с головой... привычка безработного, привычка зека, обреченного носить на себе собственный дом, строить укрытие из чего ни попадя, где придется. И хотя она, худенькая, двигалась бесшумно... его рука стремительно выскочила и воссала Эмилию под одеяло...»

Некоторое время прихожу в себя. Не потому, что сцена постельная, — это-то как раз теперь привычно. Но переселение душ! И эта рука, затаскивающая бабу под одеяло, «высасывающая» ее, как опохмел, и вся сцена стремительного бессловесного зверушечьего совокупления! И все это — не у Зойки в койке, где она принимает очередного «залетного кавалера», а в романе Михаила Левитина, повествующего о жизни и любви блистательного левого режиссера. Правда, предусмотрительный автор называет свой роман «Сплошное неприличие», но это упреждение лишь усиливает эффект. Престижный квартал на Манхэттене, уроки пения в Париже, Палестина, где можно научиться танцу Саломей, а также сверкающие под-

мости Питера и Москвы — это вам не заблеванная окраина Сарайска. Одно дело — слушать раеи доморощенного католика, заливающего Хорьку про Рим, и совсем другое дело, как вскользь роняет Левитин, «провести ночь в закрытом фонде библиотеки Ватикана». Здесь вам не чернуха; здесь работают по изысканным правилам постмодернистского баланса, сопрягая мотивы, почерпнутые из авангарда 20-х, а также из предшествующей эпохи головорезов, самоубийц и желтых кофт и даже из невменяемых 30-х, когда приговаривают к смерти, однако не убивают, — такое кружево абсурда вроде бы ничего общего не имеет с проломным юмором «новой прозы».

А между тем мотивы — те же.

«Принцип был толкнуть и отбежать в сторону, любуясь последствиями толчка». Это не Хорек, подкрадывающийся на крыше к бандиту Сохатому и сталкивающий его вниз, это — режиссер Игорь Терентьев, «левейший из левых» (лицо реальное). И это не инстинкт зверя, это — «принцип».

Даже короткие ноги перебежали к Левитину чуть не от Алешковского. «Тебе не нравятся мои ноги? — спрашивала она Игоря. — Тебе нужны километры? Мои слишком коротки для тебя, да?» Я понимаю: эпатаж, вызов, подначка, провокация, демонстративный отказ от классических канонов, ответ Александринке, разбойничий свист... А все-таки поразительное совпадение с коротконогостью Хорька, которого в младенчестве уронили по пьянке на пол, — с тех пор колченогий.

У Левитина на сцене элита. Луначарский, Введенский, Мейерхольд, Хармс... сам Маяковский. Не документально, а именно — в художественном флере. «Все свои: Лилечка, Третьяков, Крученых...» На втором плане — Филонов, Малевич, Судейкин, Скрыбин...

Но сцена-то, вдвинутая вроде бы в далекие 20-е годы, воздвигнута — сейчас. И написано все это — сегодня. И мотивы — сегодняшние, теперешние, сиюсекундные, как у новейших чернушников, не забывающих сказать, что Петя Салабонов, объявивший себя Христом, и Хорек, крадущийся с шилом в кармане к златоусту католику, действуют именно в постперестроечную эпоху. Да, от эпохи не уйдешь. Левитин пишет вроде бы о героях полувековой и еще более глубокой давности. Но:

Эмилия — зверек, зверушка, застрявшая на всю жизнь в пятилетнем возрасте. (Хорек, как мы помним, застрял в трехлетнем, а Петя все никак не мог продвигнуться к роковому рубежу тридцати трех.)

Конечно, у Левитина — артисты. Но: они «пахли, как звери, звериный запах мешался со сладким запахом духов, и в этом облаке хотелось и жить и умереть».

Заметьте этот мотив: смешение запахов; нам еще доведется «жить и умирать» в смешанном аромате.

«Если без метафор, — идет на откровенность автор «Сплошного неприличия», — то настоящего в жизни совсем мало: два-три ощущения, пять-шесть запахов и один ровный звук твоей души, ровно столько, чтобы успеть вспомнить перед смертью...»

Заметьте и этот неслышный «звук души» — это же то самое «что-то», что вслепую вело Хорька: нам еще придется в это «что-то» вслушиваться.

«А рамы никакой нет (имеется в виду «рама замысла». — Л. А.), есть сама жизнь, направление которой неизвестно ей самой, смыслы подхватываются, как люди, ураганом и уносятся в неизвестном направлении».

Хорек тоже не знал и не хотел знать, где он и зачем. И Буйда скажет: станция направления неизвестна, станция назначения — тайна. И Салабонов у Слаповского не оттого ли спектакли разыгрывал, что тупая бессмыслица существования до ручки довела?

То, что Эмилия левитинская берет себе псевдоним «Эмилия Инк», среди актеров дело обычное. Но в контексте смены кликух и опьянения мнимыми ролями это уже тоже «принцип». Изысканное выражение того, что тупо и глухо ворочалось в пьяных головах людей «чернухи».

И правда смело сказано:

«Они... предлагают увлекательный мир, которого никогда не будет в реальности. Или: «Не задумывайся. Пользуйся тем, что у тебя под рукой. А под рукой — все». Или: «Надо иметь, что врать, тогда жизнь будет в полном порядке...»

А все-таки в Михаиле Левитине реалист побеждает сюрреалиста. В финале его романа павлиний спектр сжимается до одной серой линии. Вместо Парижа, Нью-Йорка и Палестины достается героине киргизская ссылка. И стоит она, маленькая,

серая, как мышка, перед толпой и готовится юркнуть в толпу, пробиться, прибиться, отдав толпе все, что имеет, «весь мой гардероб», — только бы выпустили.

А некто, наблюдающий эту сцену со стороны и символизирующий все то «вранье», которое должно было заменить реальную жизнь (у этого соглядатая красиво закинута нога на ногу, в руках тросточка, но цилиндр на лысине уже несколько сбит набок), спокойно признается:

— Меня нет... Это не страшно, меня ведь и раньше никогда не было.

Намечается упразднение театра?

Железный занавес

Самый крутой из «новых», Юрий Буйда решаете понять причину той свинцовой болезни, что засела в людях. Понять, но не простить, а — исторгнуть, выжечь, выбить из жизни эту заразу.

Но как?

Людей съела система. Созданного (покоренного) ею человека не вылечить, не исправить, он изменился органически, «вместо глаз у него цветы, вместо рук плавники, а вместо сердца подшипник».

В этом химерическом натюрморте главная деталь — подшипник.

Болезнь, свинцом осевшая в костях людей, — тоталитаризм. Буйда создает острую стилистическую вариацию на темы, откованные и обкатанные когда-то соцреалистами; это сплав из Тихонова («гвозди бы делать из этих людей»), Серафимовича («Железный поток») и массовой песни про паровоз, который вперед летит, про стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Только адреса перевернуты. Раньше летели — все выше и выше, и Локомотив Истории летел в светлое будущее, а теперь все летит в тартарары, и паровоз летит под откос, то есть в беспросветное прошлое.

Как и другие авторы, осмысляющие «конец света», Буйда помещает источник драмы вне человеческой личности. Но то, что у других авторов действовало невятно — «что-то», неведомая сила, тайный звук, воспринимаемый душой и телом, — то у Буйды материализуется в тяжелую, проломную метафору: жизнь — стальной поезд, стальное чудовище, идущее по шпалам, по судьбам, стальной Молох, пожирающий людей либо делающий и их стальными.

В этом ключе инструментованы у Буйды не только «литые кулачищи» главного героя, но и его кличка, давшая название повести: в кличке, которую бывший детдомовец Ваня Ардабьев получил за свою страсть к игре, звучат вовсе не испанские ноты и даже не стук костяшек по столу, но звон металла о металл, погребальный колокол, лязг деталей грубо свинченного механизма: Дон Домино.

Буйда в стилистике изошрен даже более своих собратьев по цеху; у него следшь не столько за сюжетом, сколько за переливами «основной метафоры». Если Левитин предлагал нам шипучий коктейль, то Буйда — убойную «политуру» на крепчайшем спирту. У него даже запахи ложатся, как краска на металл: слой на слой. От всех баб поселка разит капустой. В зависимости от сорта духов, выливаемых на себя после варки капусты, бабы пахнут то капустой «Красная Москва», то капустой «Кармен», то капустой «Пиковая дама». Непробиваемы! И красавицы сложены из того же материала, но — навыворот. Если «плечевые» бабы (то есть работающие на том или ином «плече» путевого участка) сделаны из втулок и заклепок, то женщина Ваниной мечты — из чего-то упругого и вибрирующего. Если у тех прически незаметны за несущественностью (при «свинцовых грудях»), то у этой вся прелесть — в пышных волосах, выкованных, однако, из той же вороненой стали. В довершение необычности женщина Ваниной мечты записана еврейкой. Но в имени ее — Фира — все-таки сохраняется привкус феррума. И — несбыточности. У всех кликухи «капустные»: Кузя, Стояхалка, Могила, а у этой имя — звездное: Эсфирь. Наконец (вершина метафорического «буйдословия»), те, свинцовые, непрозрачные, а эта: «Солнце из окна просвечивало ее насквозь, и он ясно различил по-птичьи бьющееся ее сердце, дымную массу печени, прозрачный серебряный колокол мочевого пузыря, голубые косточки, плившие в розовом мармеладе ее плоти, — «Ваня?!» — вот тогда он понял, что ему надо бежать. И бежал».

Поразительна в этом пассаже не только смелая пластика, поразителен экзистенциальный нюх, чутье на общую ситуацию: человек настолько прозрачен, что должен таиться, прятаться, бежать, — какой бросок к Хорьку, юркнувшему в лес, к Пете Салабанову, жаждавшему завалиться в «пустыню»!

У Слаповского Локомотив Истории, загнанный в заросший травой мусорный тупик, обрастал, как травой, людьми, поселившимися в старых вагонах, воруящими, пьющими, дерущимися, гуляющими, размножающимися. Мир Слаповского — развесист и непредсказуем.

Мир Буйды — обточен и выверен. Локомотив сохраняет сокрушительную чистоту. Исчезает только номер: состав — «нулевой». Исчезает содержание: никто не знает, что везут в вагонах, проносащихся в точно назначенный час мимо застывшего поселка. Исчезает смысл: станция отправления неизвестна, станция назначения — тайна.

Пробравшись к взрывчатке, заложенной когда-то подо все это хозяйство (на случай прихода врагов), Ваня Ардабьев — он же Дон Домино, гвоздь и винтик проклятой машины, — взрывает и машину, и самого себя. «Нулевой» превращается в кучу лома. Ноль исхода — ноль финала. Распад мира, перешедший в распад плоти, оставляет на месте «жизни» пустое место.

Так «все это» кончается у Юрия Буйды, писателя, который родился в послевоенные годы и застал поезд уже перевалившим роковой рубеж и катящимся к откосу.

Родившиеся раньше — застали иное. И по-иному сопротивляются.

Вздох шестидесятника

В отличие от крутых отпрысков посттоталитарной эпохи, люди, родившиеся в 30-е годы и заставшие не сломленную еще войной советскую реальность, помнят о ней кое-что помимо железных метафор. В простодушном изложении это: пикирующие на врагов наши самолеты (детский рисунок), идущие в бой красноармейцы (плакат), взмах руки в пионерском салюте (реальность) и, в конце концов, «боготворимый вождь» (тоже реальность, но уже слегка тонированная позднейшими «иконописными» красками).

Это — в простодушном исполнении: малый джентльменский набор. Есть набор и побольше, и поглубже: в фундамент убеждений советского подростка закладываются также Вальтер Скотт, Гюго, Майн Рид — вся романтическая шеренга героев, «от д'Артаньяна до Тимура» (гайдаровского). То есть: мировой опыт, выковавшийся гордого человека, не склоняющегося перед злом, несущего в самом себе истину и берущего на себя ответственность.

Крутые идеологи эпохи пепси, для которых тоталитаризм — это перековка человека в гвоздь и стачивание до лагерной пыли, — вряд ли станут ломать голову над тем, как соединить две эти реальности: великую гуманистическую традицию и лагерный режим. Однако непостижимым (на теперешний взгляд) образом в истории одно вырастает из другого. Освобожденная личность — цель и коммунизма, и марксизма, и большевизма. Правда, личность освобождается без Бога и от Бога, но именно потому, что Бог оказывается эмблемой порабощения. Теперь «все это» видится просто дьявольской ловушкой.

Игорь Долиняк ищет из ловушки выход. «Как соединялись во мне две начинки — экзальтированного дореволюционного подростка (воспитанного на началах «подзабытой» сегодня «человечности». — Л. А.) и мальчишки времен знаменитых сталинских ударов?»

Да очень просто: эти «половинки» и не разделялись — они были изначально едины. Разлом шел по совершенно другой линии: «обожаящий вождя» юный пионер, воспитанный на Майне Риде и Гайдаре, противостоял тьме невежества и животного существования. Драма была вовсе не в «тоталитаризме», который гнул личность, — личность тогда и слова-то такого не знала, слово это позднее закрепилось за смертельным врагом нашим — гитлеризмом и только два поколения спустя проникло в пределы созданной «обожаемым вождем» державы.

Проблема была в другом: как примирить Аркадия Гайдара со «зверинными инстинктами»? Не с «тоталитаризмом», повторяю, а с обступающей идеалиста «низкой реальностью», которая звалась обывательщиной. С очередями, с подлостью коммуналок, с крысиной злобой улицы, со скользким насилием школьных коридоров, с групповыми анонимными избиваниями «гордых» и оплеухами, мимоходом отвечаемыми тем, кто слаб и безответен.

Я воспроизвожу «пейзаж» повести Долиняка, герой которого из мира Купера и Майна Рида попадает в школу 1946 года.

И всего-то от «гордого» требуется: не замечать хамства. Серой мышкой юркнуть в крысиную жизнь — загнаться. Вот Хорек знал бы, что делать, а этот никак не может согнуться. Не может снизойти до «сопливой суеты». Не может подлаться. Гайдар его, видите ли, отравил.

Суть драмы, описанной у Долиняка, состоит в том, как медленно, мучительно и обреченно сдается будущий шестидесятник этой неуловимой силе. Как горько выискивает в реальности 40-х годов то, что разовьется в реальности 90-х в массовый хорьковый комплекс. Как упорно ищет и мя той силе, которая его обступает, вяжет, замазывает.

Прирожденный реалист, Долиняк воспринимает эту силу в четких социальных контурах: это дворовые и уличные хулиганы, квартирные воры, бандиты, отбросы послевоенной разрухи. То есть те самые «исключения» из правильного человечества, «помехи» на пути к его преобразованию, «препятствия», которые надо преодолеть и о которые — не запачкаться.

Изначальный опыт шестидесятника начинается при этом необратимо подкашиваться. «Исключения», «помехи» и «препятствия» оказываются на самом деле сутью, страшным, неискоренимым базисом мира. Вернее, это свой мир, непобедимый и неуловимый, и он, «третий мир», уже не путается между двумя главными (наш — и вражеский, на который пикируют наши самолеты), а знает свою тайную и тотальную власть.

Невидимая «сила», «что-то», смутно ощущаемое писателями «новой волны», облекается у шестидесятника Долиняка в социально-детерминированный костюм: в «тельник» эпохи «Черной кошки» и послевоенной поножовщины. Чтобы ощутить силу этого типа, необязательно оказаться «в городском саду», где «играет духовой оркестр»: негласная власть «третьего мира» всеобща и повязаны им все. Сначала тебя задирает обезьяньего вида двоечник, и это надо стерпеть, проглотить, а если не проглотить — из-за его спины явится шайка корешей, подстержет и отметелит, и надо покориться, а не покоришься — начнут мордовать регулярно и неотступно, и придется уже откупаться всерьез: потребуют наводки на богатую генеральскую квартиру, куда ходишь в гости, — и вот ты уже сам наколот — и не отвертишься, а попробуешь уклониться — нож.

Форма простодушного повествования, избранная Долиняком, кажется довольно бесхитростной на фоне евангельских кульбитов Слаповского и раскаленных парафразисов Буйды, не говоря уже о левитинских сюжетных переглядах через границы стран и эпох, но в настоящей прозе бесхитростных повествований не бывает. Автор «Третьего мира», в сущности, строит железный сюжет, конусом сходящийся к финалу, выводящий действие на смертное острие. И развязка у Долиняка — соответствующая.

Как ни странно, в духе «новой прозы»: удар по затылку заточенной железкой. Герой повествования, загнанный уголовниками в угол, подстерегает своего главного мучителя, крутого бандита, в темном подъезде. Ну конечно, подкрадывается к нему сзади, как Хорек...

Развязка, я думаю, деланная. Жигу нашли утром в луже крови — и сразу: «...бандиты исчезли... шпана и блатари словно бы растворились в бредущих по улицам толпах».

Так я и поверил! А милиция? А следствие? А аресты по цепочке знакомств? А допросы, очные ставки, признания? А месть дружков? Ах, это — «другая опера»? Занавес, господа, занавес!

Не хочу судить Долиняка слишком строго за театрализованный финал. Тем более что из шести прозаиков, о которых я тут пишу, он ближе всех мне по нравственному опыту (прошу не толковать «опыт» буквально). Просто замешательство перед реальностью, в которой «третья сила» оказывается п е р в о й, очень мне знакомо. Вздох шестидесятника.

У «бесхитростного повествования», между прочим, имеется хорошо высчитанный пролог — тоже эпизод с убийством. Камертон мотивов. В общежитии находят мужика с раскроенным черепом. Кто убил, ясно: обиженный им хилак, мозляк, которого, кстати, обижали все — оскорбляли походя, лупили мимоходом. Идем вглубь: почему лупили? Потому что безответный: один оказался против всех. Дальше идем: почему один оказался? Потому что по ночам не давал никому спать, орал дурным голосом, спрятавшись под одеялом, думал, не найдут. Почему орал: что-нибудь серьезное мучило? Нет — дурью мучился: ремонтировал у начальства

водопровод, начальство расплачивалось спиртом, от общих работ освободило; днем отсыпался, а ночью, насосавшись под одеялом из бутылки (о, сквозные мотивы нашей многообразной прозы!), орал всем назло. Потому что не спалось.

Базис наших высокоумных и судьбоносных проблем — бесконечная и безначальная дурь, невменяемость, уходящая в бездну, «порча» жизни, неотделимая от самой жизни.

Каким железом перекрывать это болото? На каких котурнах прыгать по этой скользкой сцене? Какой «театр» пробовать в кулисах этой реальности? Какой конец света разыгрывать?

Отложенный конец света

Названием своего романа Булат Окуджава сразу ставит под вопрос, под знак иронии повествование о родителях, дедушках и бабушках, признавая, что все это — «упраздненный театр»: представление, наваждение, в свое время выдуманное, а затем отмененное жизнью.

В свете этого странным кажется библейский ритм зачина: «И родились у них дети... Владимир, Михаил, Александр, Николай, Ольга, Мария, Шалва и Василий...» Странное ощущение наращивается по ходу чтения: театр-то ложный и пьеса абсурдная, а вот актеры, в ней задействованные, истинны, реальны и обаятельны. Независимо от ролей. Ткань повествования наращивается неспешно и тщательно; на пересечении родословных колен вычерчиваются фигуры: вот дядя, который был троцкистом, вот дядя, который был денikinским офицером, а потом стал бухгалтером, вот дядя... то есть муж тети, который был, кажется, нэпманом, а вот тетя, муж которой — поэт... А вот и родители, «внезапные большевики», пыльные, со взрывами благородных чувств, с непоколебимой верой в партию. А вот и молодой чекист, Лаврентий, с бокалом кахетинского в руке отпускающий комплименты дамам...

Повествование словно бы вышито бисером. Недосмотры — тоже бисерные. Впрочем, иногда, оглядываясь на все полотно, видишь, как оно мягко провисает, блоковски выражаясь, «на остриях». Но «острия» его все-таки держат: натягивают по силовым линиям, уводя нити куда-то за пределы рамп и как бы подтверждая заложенное в названии предчувствие: ах, зря все это, впустую все это — упразднится театр.

Наименее убедительны у Окуджавы ссылки на некую неназываемую силу, как бы предопределение, или рок; об этом автор время от времени мягко предупреждает читателя, погрузившегося в жизнеописание маленького героя.

«Он спал, сладко выпятив губы, но в воздухе империи что-то происходило, что-то совершалось уже многие годы, неостановимое и непредсказуемое...»

Царская ли империя, советская ли, а «что-то» остается. «...что-то за всем этим было, что-то было...»

Что — не ясно. «...тревога... Впрочем, не столько тревога, сколько неясное ощущение вины...»

До некоторой степени подобные ссылки на неведомую силу («звук души»?) помогают автору нащупать общий ритм («рама замысла»?) в повествовании, где тонко смешиваются «людские судьбы и разноплеменная кровь». Иногда автор как бы хочет прямо подготовить читателя к трагической развязке, которая «произойдет через пять лет, всего лишь через пять». Прибавив к 1932 году указанный срок, вы можете себе представить, что произойдет в 1937-м с партийными работниками Шалвой и Ашхен Окуджава, но вряд ли такие прямые намеки нужны: недоброе предчувствие создается в романе общим рисунком, мельчайшими подробностями, прямо ни о чем не говорящими.

Выйдя на трибуну собрания, посвященного разоблачению врагов народа, папа «вдруг закричал». Он закричал то же самое, что писалось тогда в газетах, но этот внезапный крик парторга нижнетагильского вагонстроя выявляет «что-то» в ситуации. Как эстетически выявляют это и его «узкие запястья», и его южная импульсивность на фоне мрачной и довольно равнодушной толпы уральских рабочих.

А в «незабываемом девятнадцатом» шестнадцатилетняя Ашхен в родительском доме, наклонившись над тарелкой и глотая слезы, слушает, как отец мягко говорит ей: «Вот я рабочий человек, да? Я трудящийся, да? Я свою работу выполняю?.. Какая мне нужна свобода? Скажи мне, моя радость, какая?»

Она кивает и прячет слезы, и вы всем своим знанием истории и современности уже знаете горький финал этой юной большевички, как знаете и другое она все равно пойдет по своему пути.

Майн Рид. Вальтер Скотт Гайдар

Девочка пытается не разрыдаться над тарелкой «в тифлисском мраке» девятнадцатого года, в отчем доме, а в углу дома стоит «шкаф с аистами», который мастерит по вечерам ее отец.

Шкаф с аистами... и, наверное, шесть слоников на нем? Катастрофа дышит из мирных углов. Вот и дружище Лаврентий с шуточками помогает втиснуться в поезд, который увезет молодых партийцев учиться в далекую Москву. И на старом Арбате их ждет уютная комната в коммуналке.

Тихие русские деревенские бабушки в одной квартире с темпераментными южными коммунистами. Рассказчик время от времени отмечает с сокрушением, что тихие люди «из народа» первыми и доносят куда следует на своих интеллигентных соседей. Но музыка действует в романе сильнее социологии: контрапунктная мелодия смешений. Раскулаченная деваха в тагильском цеху низко кланяется парторгу: «Спасибочки!», и в этом блоковском мотиве («Спасибо, барин, за науку») слышится мелодический сдвиг, тонкий сбой ритма, который говорит о реальности больше любых намеков и предупреждений.

Смешиваются запахи. Даже и сгущать не надо. Сгущал «все это» Буйда, осаждал до фельетонной густоты, издевался над капустой «Красная Москва» Автор «Упраздненного театра» говорит: в кухне «благоухание щей и запах духов. перемешивались» — и вы чувствуете, как от несовпадения эфиров накрывается мироздание.

Когда оно срывается в штопор, герои кричат: за что это нам?!

Ни за что. За все. За то, что плакали над тарелкой о несовершенстве мира.

За Майна Рида это вам, за Вальтера Скотта. За Гайдара.

Надо бы смириться, юркнуть в толпу. А Ашхен идет наводить справки об исчезнувшем муже, записывается на прием к старому знакомцу Лаврентию, который, по счастью, только что сменил в Москве вредителя Ежова. Тбилисский земляк бросается навстречу:

— Ва, Ашхен! Куда ты пропала?! Сколько лет!.. Слушай, куда ты пряталась? Генацвале, генацвале!..

Обещает разобраться.

«Ночью ее забрали . » — кончает книгу Булат Окуджава.

За что же они погибли, молодые идеалисты, преобразователи мира, «внезапные большевики»?

Ответ неясно реет в воздухе.

Слишком громко кричали Слишком пламенно спасали этот непонятливый мир Слишком счастливы были, ослепительная дружба Хотели правду выяснить, а надо было затаиться Подсказал же Берия, прямо так и сказал пропасть надо, спрятаться надо.

Не смогли.

Сын родителей не судит — он их понимает Он знает, что они не смогли бы иначе И что другие тоже не смогут. Так пусть будут готовы ко всему

«Спасибочки»

Кто написал лучше всех?

Не знаю Одарены все шестеро, безупречно не сработал ни один У кого премия Букера, не знаю. Я думаю не о том, кто лучше, а о том, что с нами происходит.

И вот еще что: расположив шесть книг 1993 года в произвольной вроде бы последовательности — от Слаповского до Окуджавы, — я, как сейчас понимаю, подсознательно расположил их по нарастанию внутренней симпатии.

Можно упразднить исторические декорации, но конца света не будет. «Все это», к счастью, никогда не кончится.

Но и легче не станет.



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

И НА НАШЕГО МУДРЕЦА ПРОСТОТЫ ХВАТИЛО

«**V** годила в прицел» Иванова Наталья: и впрямь все российские последние литновости связаны не с тем или иным художественным текстом, не с зигзагами и сюрпризами литпроцесса (литпроцесс, как уверяют компетентные наблюдатели, вообще исчез), а с выдвиганием «в первый ряд литературного быта» и, следовательно, с «тотальным переходом на личности», когда «в дело идет все: происхождение, личная жизнь, родственные контакты, внешность, дружеские или приятельские отношения» («Сладкая парочка» — «Знамя», 1994, № 5, стр. 186 — 187).

Еще одно подтверждение сего прискорбного факта — писанная Сергеем Николаевичем Есиным история его вскарабкивания на трон-кресло ректора Литинститута («Отступление от романа, или В сезон засолки огурцов» — «Наш современник», 1994, № 7 и 8). Событие это ныне уже позабылось, но года три назад оно, помнится, наделало шуму — в узких околотитературных кругах, разумеется. И не потому, что вся Москва так уж обеспокоилась судьбой легендарного учебного заведения — дни его славы давно миновали, — а потому что никто как-то не ожидал, что на диво слаженный Е. Сидоровым педагогический коллектив, выбирая между Вл. Ив. Новиковым (проректором) и Русланом Киреевым, крепким прозаиком и одним из старейших (по стажу) руководителей творческого семинара, предпочтет им, известным всем людям, Сергея Есина — человека в Литинституте новенького, ни энергией, ни административным талантом не прославившегося, к тому же, твердила «людская молвь», порченного-траченного долгосрочной службой в системе застойного Госрадио.

Впрочем, поохав да посудачив, скорехонько и успокоились, сойдясь на том, что, видимо, Есин — «великий эконоом», не в пример теоретику Новикову, и, поскольку Литинститут уцелел (преподаватели перестали искать работу, студенты — приработок), к этому вопросу больше не возвращались. И не возвращались бы, кабы... в очередной сезон засолки огурцов — маломерных, пупырчатых, готовых прыгнуть, спружинившись, в фаянсовые кадушечки для солений, — г-н Ректор не встал за стремянку. Это вы, безграмотные, ничего не понимающие ни в технике, ни в гигиене умственного труда стародумы, «творите» за письменным столом. Есин же сочиняет стоя, и не за антикварной конторкой, как некоторые писцы прошлого века, а за стремянкой, каковую сладил для знатного дачника «замечательный умелец». Чудо, а не стремянка! Из дерева, на шипах, с любовно обструганными ступеньками и верхней площадкой! И ростом вровень — аккурат по пояс. А работается за ней как! «Накляю ровно две фразы, отойду, как петух, искоса посмотрю чего-нибудь на террасе — я обычно пристраиваюсь на террасе, где у меня инструменты и в цветочных горшках растут мелкие, шпалерные, похожие на рябину помидоры, — поправлю, переложу стамески, опять напишу две фразы, подвяжу ветку и снова к тексту». И так изо дня в день в течение всего огуречного сезона: «Приезжаешь на дачу, ставишь машину, как во сне что-то стругаешь себе на салат, откручиваешь кран, чтобы вода из шланга текла под яблоню, жаришь яичницу, пьешь чай и скорее, скорее на террасу, к стремяночке и пишущей машинке...»

Тише едешь — дальше будешь: по зернышку, по фразочке — и наклевал наш бойцовый петух под видом свободного отступления от так и не написанного

свободного романа (кому они, романы, нынче нужны?) групповой портрет вверившегося ему литинститутского сообщества. Точнее, размножил с помощью верной стремянки и преданной — без лесты — пишущей машинки содержимое заведенных в период предвыборной кампании пространных досье (на всех действующих лиц выборной комедии), педантично разложив папочки на две стопки: в одной — злодеи-супротивники, люди проректора и экс-ректора, в другой — враги потенциальные, то есть нейтралы, равнодушные и колеблющиеся.

Нейтралы, за немногими исключениями, очерчены белто, так сказать анкетно, колеблющиеся — с аналитическим уклоном, равнодушные — раздраженно. Вот два наброска: первый — с И. Вишневецкой, второй — с Олеси Николаевой.

И. Вишневецкая: «О эта представительная дама в своих бесконечных шубах, старинных, еще от бабушек, камнях, браслетах и кольцах, с ее роскошными сумками, набитыми рукописями, пакетами с сахаром, которые она вечно перетаскивает из одной среды обитания в другую...»

О. Николаева: «пришла, вернее, приехала в институт на машине — провела семинар, укатила. Мать троих детей. Христианка».

Самой пухлой, как и следовало ожидать, оказалась папка Главного Конкурента — глядящего в ректоры проректора и «гордец»-то он, и «многопытный советский интриган», и прохвост (проиграв выборы, целых пять месяцев «проотдыхался на институтском коште»), справки из поликлиники Литфонда, конечно, представил, но что такое литфондовские справки? Всем известная липа. И лишь «уболевший властью», то бишь закончив в срочном порядке докторскую диссертацию, подал — наконец-то! — «заявление об уходе». Досталось, естественно, и экс-ректору. И мил вроде, и обаятелен, и демократичен, но по хорошо проверенным слухам, во-первых, сжигаем «неуемной страстью к загранке», а во-вторых, уходя на повышение, тоже интриганил — все сделал, дабы усадить на ректорское место своего человека (Новикова, естественно), ибо «со своим человеком уходили в «срок давности» и все хозяйственные... дела». Тонко выражается Есин, за дымовой завесой прячет ухмылку: Сидоров все-таки не Новиков, Новиков пока без Опасного Места, а «Женя» вон куда залетел — аж в министры культуры. Но и сквозь напущенный для блезиру туман понятно, на что намекает: нечист, нечист на руку милый и демократичный Евгений Юрьевич! По всем приметам — нечист!

Никто не забыт и ничто не забыто, даже мимолетная небрежность Сидорова, за много лет до рокового часа с надлежащей горячностью не отреагировавшего на просьбу Есина иметь его в виду, ежели Литинституту потребуется дельный руководитель творческого семинара. Ведь он, Есин, в душе прирожденный педагог. Об этом ему, еще в начале 60-х, теща напела, разрыла прикопанный в землю талант, уже тогда в добровольном репетиторе непутевого племянника угадала преподавательский дар! Как жаль, что не дожила до 1992-го — вот бы подивилась своей дальновзоркости!

Но то теща, «незабвенная Алевтина Дмитриевна», а Сидоров, тот уклонился, не дал даже обещания, что «в подходящий момент» на Есина в Литинституте обратят внимание. И хотя все-таки, как видим, обратили, правда с подачи и по настоянию В. Крупина, вздумавшего слинять в разгар учебного года, ни обиды, ни проволочки (дорого яичко к Христову дню) «Сереза» «Жене» не простил, все сплетни в отместку по сусекам подмел!..

Приглядист первозбранный Ректор, ох и приглядист! Не глаз у него, а сексот! Явилась, скажем, Мариэтта Омаровна Чудакова на одно из торжественных институтских мероприятий в сногшибательном одеянии — вся от носка и до виска в лиловом, — и это заметил, запомнил, отрефлексовал: «...как кардинал», уж не католичка ли тайная? А этого уклона наш застарелый член КПСС страсть как не любит: Россия — для православных, на этом стоим, на этом умрем. В этом плане ему даже Игорь Иванович Виноградов подозрителен: это ж как понимать? будучи в Риме, был принят папой Иоанном Павлом II??? А уж когда выяснилось при личной встрече в «рамках телепередачи „Книжный двор“», что взгляд на христианскую духовность у главного редактора нового «Континента» более широкий и либеральный, чем у нового хозяина Литинститута, лютым сделался: не смей расширяться во взглядах! не смей думать-мыслить иначе, чем С. Есин со товарищи. А С. Есин мыслит так: «Величие своих территорий (так у автора. — А. М.) и величие

своих литератур (так у автора. — А. М.) Россия обрела под хоругвями православия».

Постойте, может спросить щепетильный читатель, а как же быть с партбилетом, какой-то господин-товарищ ректор в отличие от ренегатов-демократов не сжег, не сдал, бережет как реликвию? А никак, потому как верует Есин, истинно верует: компартия и церковь — близнецы-сестры, и в период «насильственного введения атеизма» и с падением в связи с этим «моральных норм» именно КПСС была ее, России, «сдерживающей религией и судом», а также «государственной структурой», а также «строительными лесами», а также ее, России, стержнем.

Не правда ли — есинское «досье» что-то знакомое-презнакомое напоминает? С той лишь разницей, что обмишулившийся Глумов и наедине со своим «журналом» в нудизм не впал, а пожилой наш мудрец до того оголился, такую об себе правду поведал, что оторопь берет: уж не дурачит ли он нас?

Ну как может ректор единственного учебного заведения, занятого воспитанием писателей, со страниц весьма одиозного, но все же официально разрешенного печатного органа объявлять во весь голос, что лично он ни в «Новый мир», ни в «Знамя», ни в «Октябрь», ни в «Литгазету» ни одно из своих сочинений не отдаст — из отвращения к антинародному, антипатриотическому, антикоммунистическому направлению этих изданий? Коллеги столь явное неприличие, может, и проглотят: чего не извинишь чиновной персоне, ежели персона клянется, что при любых обстоятельствах обеспечит стабильность преподавательского состава.

Ну а студенты? Они-то спят и видят, чтобы именно в этих противных их душе надзирателю и духоводцу издания опубликоваться! Допускаю: на сегодняшний день питомцы Есина согласно программе, Есиным же при восхождении в ректорский чин сфабрикованной, хотя и участвуют в управлении институтом, но как бы теоретически, де-юре, и посему на ход вещей, для ректора благоприятный, особого влияния оказать не могут. Так то ж до поры, все так быстро меняется в наше текучее время — время неотвердевших законов. А ну как взбунтуются и потребуют перевыборов? С чем в таком разе останется? На творческие шиши не то что новый «жигуленок» — и новую (привычных секретарских кондиций) шапку не купишь.. Можно, конечно, последовать примеру «простого русского народа», которому, как утверждает Есин, «выкрикнуть правду важнее, чем жить». Но дело-то в том, что, судя по тексту «Отступления...», сам народолобец жить не только любит, но и умеет — со вкусом и смаком, чтоб и при автомашине, и при шапке по Сеньке, и при огурцах-яблонях. Впрочем, не будем уподобляться автору огуречного сезона, то бишь «переходить на личности», переместимся из «пространства чрева» — в «пространство духа», сосредоточившись на таком вот занятном зигзаге его якобы простодушного повествования.

Как явствует из текста «засола», экономом новый ректор оказался аховым. Не помогли ни великие учителя (а учиться капитализму периода накопления первичного капитала С. Есин вздумал у Бальзака и Драйзера), ни преуспевший в новомодных аферах голубоглазый, как молодой бог, племянник Коля, ни проходимцы из «Феникса», ни зрок с иностранных студентов — а как старался удержать-утвердить хоть бы этот, казалось бы, верный источник дохода, даже машину (по льготной цене) выхлопотал, чтобы возить из аэропорта и в аэропорт чемоданы валютных плательщиков!.. Не «мерседес», правда, «семерку», но все же... Что делать? Думал-думал и придумал: надо немедленно «перейти в бюджет». Одна завыка: бюджет (дело-то происходит в 1992-м) в руках у «новой администрации», то есть у «демократов». Демократов же новоизбранный ректор и ненавидит и боится, потому и август 1991-го пересидел на даче (по совету жены), исходя гневом за свою «собственную испорченную судьбу» и не включая ни радио, ни телевизор: ждал «интернирования в Сибирь», уверенный, что у новых хозяев страны, начиная с А. Н. Яковлева, одна, но пламенная забота — «перемолоть» Сергея Николаевича Есина «на своих жерновах». А когда явился к 1 сентября в свой институт и узнал, что М. О. Чудакова не только «горячая демократка» и не менее горячая «антикоммунистка», а вдобавок еще и «поклонница новой администрации», отшатнулся в

ужасе, хотя, пока всего этого не знал, дама в лиловом была ему скорее «симпатична».

Пересилил, однако, отвращение, поступился принципом и принялся сочинять образцовое Бюрократическое Письмо. И вот уж где талант господина Есина развернулся во всю прыть — ах, Гоголь, где ты, Салтыков-Щедрин? Островскому одному уже не справиться, мудреная простота есинского сорта — за пределами его изумления! Право же, такого на Руси еще не было, всякое бывало: и подличали, и сплетничали, и подхалимничали перед сильными мира сего господа литераторы, но чтобы вот так — простодушно, от первого лица продекламировать оду бюрократическому стилю? Цитирую: «Писать бюрократические письма — это серьезная и кропотливая работа, требующая внимания, усидчивости и даже вдохновенья... серьезной духовной отдачи... особой интонации, ритма первой и последней фразы, движения чувства, а если надо — демагогической начинки».

Со стремянкой или без, в дачном или городском кабинете — создал-таки С. Есин приличный случаю бюрократический шедевр. Взвесил, сообразовал со смыслом каждую фразу. Отшлифовал до запятой, постарался, как не старался в прежних своих сочинениях. И с характером адресата сообразовал: дать или не дать ход Письму, напоминаю, в ту пору зависело от Егора Гайдара, супротивника всяческого бюрократизма. Но Есин и это психологическое препятствие преодолел, нежно намекнув второму лицу России, что Литинститут — прямое продолжение аэропортовских улиц, то есть филиал того самого государства в государстве, чьим подданным Егор Тимурович является по наследственному праву... Короче, пролез «тихой сапой, ласковым телятей, не пугая ни правых, ни левых», к бюджетному хоть и не слишком жирному, но все же корытцу, теперь можно и разгуляться. И разгулялся! И правительству досталось (за то, что разделалось с партией — сломало стержень), и коллегам по ремеслу — «литературным вертухаям», тем только и озабоченным, чтобы с «настойчивостью провокаторов» смущать гражданский покой и вызывать «некие национальные волнения».

В спецраздел выделены авторы «Письма 42» («...упавшего... как некое немислимое откровение сатанинства и злобы»), а также участники памятной встречи с президентом, то есть те, кто «разжигал» (по Есину) в Ельцине «жестокость и бескомпромиссность». Педантично обозначены «особо приглашенные» (от Льва Разгона до Николая Панченко).

Есин уверяет, что написал эти «два списочка» хотя и «не даром», но для личной надобности и не попавшие в печать реплики гостей президента воспроизвел со стенографической точностью лишь из верности «богу деталей».

Но так ли это?

Нет, нет, я, конечно же, почти допускаю, что задней, вернее, опережающей, далеко вперед заглядывающей мысли у первого выборного головы Литинститута не было. Почти даже верю, что, вздумав рубить сук, подпирающий доходное место, он всего лишь опростоволосился, поддался мстительному желанию подгадать демократам, а заодно и расплатиться за страх, пережитый в том памятном августе. Однако составленные им «списочки» слишком уж напоминают проскрипционные. Так сильно напоминают, что волей-неволей, а задашься вопросом: так ли уж прост и недалновиден Сергей-не-Есенин?



ПУТЬ К СЕБЕ, или ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ ЮКИО МИСИМЫ

Юкио Мисима. Золотой Храм. Роман, новеллы, пьесы. Перевод с японского Г. Чхартишвили. СПб. «Северо-Запад». 1993. 479 стр.

Есть писатели, которым было бы в пору стать собственными персонажами. Речь, однако, вовсе не о том, что героям достаются авторские мысли, чувства, опыт и прочая, речь даже не об автобиографических отражениях. Такие осколки реальности — обычное в литературе дело; я же имею в виду явление достаточно редкое: когда личность художника полностью сопряжена и конгенитальна его художественным образам и вся его жизнь, от начала и до конца, выглядит как еще один лишь по случайности не написанный им текст. Так романтическая судьба и трижды романтический облик Байрона складываются в романтичнейшую из его поэм. Так острый птичий профиль Гоголя, его трагическая и фантастичная фигура, кажется, порождены гоголевской прозой. Так мужественный Хемингуэй уверенно вписывается в придуманный им мир настоящих мужчин...

Японец Юкио Мисима тоже годится на роль собственного героя. Тем более что роль эта выстраивалась осознанно и продуманно — явно как художественный образ. Не стану, впрочем, утверждать, будто Мисима изначально лепил себя пандак к текстам, — скорее ранние тексты и их герои создавались по авторскому образу и подобию. Именно автобиографический роман «Исповедь маски» (1949) и принес двадцатичетырехлетнему писателю известность.

Название звучит парадоксом: ведь смысл исповеди — в откровенном самораскрытии, то есть отказе от маски. Но эта парадоксальность отвечает парадоксальной натуре автора, который становился самим собой, только переставая быть собой — надевая очередную маску. «Все говорят, что жизнь — сцена. Но для большинства людей это не становится навязчивой идеей... Когда кончилось мое детство, я уже был твердо убежден в непреложности этой истины и намеревался сыграть отведенную мне роль...» Оставалось решить, какая же роль отведена болезненному и одинокому мечтателю, который «мог вообразить себя кем угодно. Последним восприимчивым традиционной японской культуры. Декадентом из декадентов. Даже летчиком-камикадзе из эскадрильи Прекрасного!»

Мисима избежал трудностей выбора, сыграв — все. Вос-создание себя явилось как бы прелюдией к созданию — созиданию — себя. Он стал и патриотом, и декадентом, и националистом, и космополитом, и эстетом, и командиром боевиков. Писателем, сочинившим свою жизнь, режиссером, поставившим ее, и актером; сыгравшим основные роли... Даже внешний облик он пересоздал, упорными тренировками превратив свою хилую плоть в образец мускулистой мужественности. «Наиболее совершенным произведением.. Мисимы стал он сам», — писал известный американский японовед Дональд Кин. Правда, нечто похожее можно сказать и о других современных художниках, озабоченных созданием имиджа чуть ли не больше, чем собственно творчеством. Но имидж, как правило, что-то внешнее, игра с публикой и на публику. А Мисима, хоть и был лицедеем, играл — до «полной гибели всерьез»

Впрочем, гибель-то его и манила. Наделенный поистине неправдоподобной энергией, которой хватило бы на десять жизней, он тем не менее (или тем более?) остро ощущал иллюзорность жизни, которую сводит на нет всевластие смерти. И не мог отвести взгляда от этой бездны, которой свойственна единственно безусловная достоверность абсолютная, исчерпывающая подлинность и полнота Вечности. А значит, все человеческие ценности лишаются цены — вернее, обретают ее, лишь причастившись гибели, и, значит, именно смерть является единственной настоящей сутью жизни, единственной не иллюзорной ее целью — и единственной точной мерой для ее измерения. В «Исповеди маски» герой признается, что только

грёзы о смерти дают ему чувство реальности. «Увидев, как струйка крови сбегает по его коже, Осаму впервые со всей полнотой ощутил, что он действительно живёт» — сказано в романе «Дом Киюко» о герое, добровольно с жизнью расстающемся.

Мисима многократно репетировал самоубийство — в книгах, на сцене и на экране. И последнюю свою роль уверенно довел до конца — роль командира националистического «Общества щита», самурая, гибнущего ради долга, чести и славы Японии... Во вступительной статье Г. Чхартишвили пишет, что Мисиме необходимо было стать крайним националистом, чтобы получить убедительное право на харакири — самую мучительную и в силу этого самую достоверную из смертей. Но возможен и обратный ход: продуманная жестокость самурайского самоубийственного обряда, даруя смерти исчерпывающую полноту, в то же время служила кровавой маскировкой — сообщала гибели «истинно японский дух» и поднимала извращённый жест до значимости политического события. Как бы то ни было, смерть, являвшаяся главной темой творчества, смыслом, целью, идеей фикс, стала и тщательно подготовленной кульминацией жизни, высшей точкой пути — той последней, торжествующей точкой, которую ставит художник, дойдя до давно задуманного финала своего главного произведения. Это случилось 25 ноября 1970 года. Юкио Мисиме было тогда сорок пять лет.

Спустя почти четверть века в России вышла его книга. Из громадного наследия (40 романов, 18 пьес, несчетное число рассказов и эссе) выбрано пять вещей. Не имея возможности прочесть другие, я, подобно любому читателю, свое представление о пере Мисимы получаю как бы из рук составителя (к сожалению, не указанного, но, полагаю, это опять-таки Г. Чхартишвили, которому принадлежит и блестящий перевод, и интереснейшее предисловие). Являются ли данные произведения наиболее подходящими для первого знакомства, не мне судить, могу лишь говорить о внутреннем соотношении между частями книги.

Они тоже своего рода маски, легко сменяемые писателем-лицедеем. Разнообразны способы письма, демонстрирующие и холодновато-изохренный психологизм, и напряженность страстного излияния, и игровой, интеллектуальный эстетизм. Разнообразны и облики автора. Роман «Золотой Храм» — его традиционалистская ипостась. Изысканная красота древнего Киото, обрядовый быт, таинственное совершенство Кинкакудзи (прославленного храма, являемого для медитативных любований во всех мимолетных видах его прелести — в золоте солнца или в трепетном лунном серебре, в чистой белизне снега или в зеркальных водах пруда) — все эти картины, полные тонкого очарования японской живописи, составляют не просто фон, не просто обстоятельства места, но «образ действия», обусловленный образом жизни в культуре... Пьесы показывают Мисиму-европейца: это отличный образец чисто западного, интеллектуально-разговорного театра. Новелла «Патриотизм» написана Мисимой-националистом и призвана восславить «истинно японский» самурайский дух... Наконец, «Смерть в середине лета» — вещь космополитичная в лучшем смысле слова, то есть общечеловеческая. То, что действие происходит в Японии, значения не имеет: эту простую историю можно легко вписать хоть в европейский, хоть в австралийский пейзаж.

Молодая женщина, счастливая жена и мать, отдыхает с тремя малышами у моря, когда на нее обрушивается страшный удар — гибель двоих детей. Этим событием начинается новелла, и, собственно, им и ограничивается действие. Остальное — подробнейший, тщательный, исключительный по психологической точности анализ «составляющих отчаяния». Первый шок; острая, душераздирающая боль, упоение скорбью; привыкание к потере; медленное успокоение — и раскаяние оттого, что горе так недолговечно, и чувство вины перед детьми, которых Томоко словно бы предала, смирившись со смертью... И — забвение, которое «просачивалось в их души... невидимым глазу микробом проникало в ткани, вело кропотливую и добросовестную работу». Как ни противится Томоко, к ней возвращается покой; и только тревожное недоумение ложится «осадком на сердце»: как же так? «Случилось такое ужасное происшествие — и почти никакого следа... Никто не сошел с ума, никто не покончил с собой. Никто даже не заболел...»

Новелла написана внешне бесстрастно, почти протокольно; автор не выражает никаких чувств, он лишь наблюдает и с редким мастерством фиксирует оттенки переживания. Но из этой «лабораторной» точности постепенно и как

бы само собой прорастает пронзительно-горькое ощущение тщеты земного удела и безнадежной мимолетности человеческой жизни, истаявшей, как дыхание на стекле...

«Смерть в середине лета» — самая ранняя (1952) из представленных в сборнике вещей. И — если можно прибегнуть к такому определению — самая «нормальная». Она напрочь лишена обычно свойственных Мисиме изломов, садомазохистских экстазов, тяги к крови и разрушению. Но тема возвращает эту тихую и чистую новеллу в общий круг. Ведь писатель стремился изучить все «многообразные маски» смерти — включая и ту, под которой она приходит к обычным людям, не склонным ни к рефлексии, ни к причудливым изгибам фантазий. Исследование их устойчивого мира показало: смерть там — «всего лишь один из эпизодов жизни». «Нежная душа» Томоко в конце концов перестает сопротивляться этой истине; но автор признавать ее не намерен. Потому, что убежден в противоположном. И потому, что борьба его души со смертью покамест не кончена и не все маски сорваны с ее лика...

Страстный, мучительный роман «Золотой Храм» (1956) показывает еще одну — обманную — маску Вечности. Он основан на реальном факте: в 1950 году буддийский послушник сжег Кинкакудзи. Это событие, ошеломившее Японию, должно было иметь особый смысл для Юкио Мисимы, издавна замороженного не только темной красотой Смерти, но — еще томительней и сокровеннее — смертью Красоты. Гибель Золотого Храма, являвшего собой символ вечного и совершенно прекрасного, вписывалась в его художественную систему так точно и полно, как если бы он сам ее выдумал; соответственно, подлинность сюжетного основания не ограничивала пространства вымысла. И, соответственно, не имеет значения, похож ли герой Мисимы на реального поджигателя: сам поджигатель принадлежит миру Мисимы.

Угрюмый и замкнутый, отделенный от окружающих барьером заикания, обращенный внутрь себя, он имеет в действительности только одну привязанность: это безумная и безудержная любовь к Золотому Храму. Однако Храм сам отторгает действительную жизнь: вечное и совершенное держит жалкую повседневность на дистанции... Принятый в обитель, допущенный постоянно созерцать эту красоту, Мидзогути жаждет постичь ее суть и смысл. «Полюби меня, Золотой Храм... — молит он. — Открой мне свою тайну... скажи мне, почему ты так прекрасен?» Но Кинкакудзи молчит, своим надменным безразличием озлобляя душу, и так изломанную одиночеством и унижением, и так склонную к темным порывам.

Внимательно и точно прослеживает Мисима подробности отношений послушника с Храмом, фиксирует повороты чувства: от робкого поклонения — к требовательной страсти, жаждущей обладания, и дальше — к иступленной ненависти-любви... Идет к концу война, американцы бомбят Токио, в Киото тоже ждут бомбежек. И Мидзогути находит «посредника» между собою и Прекрасным — это возможность общей гибели. «Золотой Храм, как и мы, был на том же пороге, поэтому он смотрел нам в глаза и говорил с нами... Мы сравнялись, ибо нас ждала одна участь — сгореть в пламени зажигательных бомб». Роковой перелом происходит в день окончания войны. Лишь только опасность миновала, Кинкакудзи «избавился от всех нош» и снова взмыл в Вечность, прекрасный как никогда, неизблемый, равнодушный, отвергающий «все и всяческие резоны». А поклонник его красоты — остался в повседневности, погруженный в «пучину отчаяния»: «Наша связь оборвалась. Все будет как прежде, только еще безнадежнее. Я — здесь, а Прекрасное — где-то там». Решение сжечь Золотой Храм вызревает из этого отчаяния — из невозможности существовать в осязатом присутствии Вечности, которая обесценивает все земное, и недостижимости Прекрасного.

Роман нередко воспринимают как апологию разрушения, как апофеоз извращенной души, источающей тьму. Действительно, Юкио Мисима не пытается опровергать беспросветную картину мира, нарисованную героем; и верно, что «я» повествователя как бы сливается с авторским. Но уничтожение Храма тоже не дает желанного соединения с Вечностью — и это писатель показывает. Уже запалив гибельный огонь, Мидзогути устремляется в башню с символическим названием Вершина Прекрасного, чтобы там умереть. Однако башня закрыта и ветхая дверь не поддается напору: «золотой чертог» — Вершина Прекрасного —

«отказывается принять» поджигателя. Храм разрушен напрасно: недостижимое — недостижимо.

Этот вывод писатель проверяет снова и снова. Очередная проверка — пьеса «Маркиза де Сад», блестящая и изощренная. Фантазию Мисимы всегда волновала фигура любителя кровавых экстазов, давшего свое имя одному из обликов зла. Однако пьесу он строит, не воплощаясь в персонаж, а, напротив, устанавливая двойную дистанцию. Сам маркиз на сцене не появляется — он в тюрьме; основное действующее лицо — его жена. Почему эта добродетельная женщина жаждет освобождения преступного мужа — вопрос, при ответе на который уясняется образ отсутствующего и все же главного героя. Как и в «Золотом Храме», сюжетная ситуация взята из реальности; как и там, реальность значима лишь постольку, поскольку дает основание для концепции. Свои святотатства и жестокости де Сад у Мисимы совершает все из той же жажды невозможного: бросает вызов Богу, чтобы найти Его. Так видится Рене, для которой в свой черед «лестницей к недостижимому» становится ее «дьявол-муж», чьи черты хранят в себе отсвет небес — родины павших ангелов.

Златокудрая ангелоподобность маркиза подчеркивается в пьесе тем настойчивей, что именно утрата красоты знаменует в финале и тщету обольщений Рене, и поражение самого де Сада. Воздвигнув в собственном сердце и в книгах «Храм Порока», он разрушил блистающий храм своей плоти: «...лицо бледное, опухшее, сам весь жирный, еле одежда на нем сходится... Глазки бегают, подбородок трясется... зубов-то почти не осталось», — описывает служанка стоящего у дверей «старика нищего». Мерзость облика вступила в согласие с душевной мерзостью. Путь зла опять привел к отторжению от Прекрасного.

Не смею утверждать категорически, но, по-моему, тут слышится призыв морализаторства. Весьма своеобразного, конечно: на протяжении всего текста (пьесы, романа ли) возводить оболстительную конструкцию из кощунств, разрушительных идей и преступных деяний, чтобы одним финальным ударом разбить ее вдребезги, — опасная игра, явно отдающая той же горечью, которая отравляет и Мидзогути, и Рене. Но «человек, думающий только о Прекрасном, не может не погрузиться в бездну горчайших раздумий». Так говорит о себе герой «Золотого Храма»; так мог бы сказать и его автор... Горечь присутствует даже в том, что им самим названо «рассказом о счастье», — правда, на сей раз речь идет о «сладкой горечи Великого Смысла».

«Патриотизм» (1961) написан с не свойственной Мисиме моралистической определенностью и имеет программный, декларативный характер. Сюжет его тоже связан с реальным историческим эпизодом — офицерским проимператорским мятежом; но содержание рассказанной в нем истории — любовь и смерть. Молодая прекрасная чета совершает самоубийство: муж-офицер делает характеры по велению чести и верности, а жена следует за ним. Однако «патриотическое» обоснование этой смерти воспринимается как маскировка, должная скрыть — и не скрывающая — настоящую суть: любовь к смерти. По-видимому, Мисима хотел придать высокую значимость этой своей «единственной... подлинно захватывающей, подлинно эротической концепции» — и одновременно найти некую положительную идеологию, которую можно было бы противопоставить разрушительным обольщениям зла. Такой идеологией и стал для него самурайский этический кодекс, защищающий тех, кто ему служит, «прочной броней Истины и Красоты».

Но — вымысел имеет свои законы. Писатель может лгать словами и мыслями — лгать образами он не может и создать из ложных конструкций художественную правду не может тоже. Какими бы возвышенными ни были цели, если самообман подменяет искренность, если идеи надуманны, то материал сопротивляется и выдает автора с головой. Недаром даже Гоголю не удалось оживить «мертвые души». Не удалось подобное безнадежное предприятие и Юкио Мисиме. Счастье и страдание смерти описаны в рассказе с мучительной и захватывающей силой, но все высокие слова о «несокрушимой Нравственности» напыщенны, а безупречные чувства фальшивы и самый стиль, по утверждению переводчика, отдает дурным вкусом. Язык умеет мстить за ложь. Даже если это ложь во спасение.

И еще одно тому свидетельство — последняя речь Мисимы. Он, умевший писать так изысканно, так упоительно, он, владевший такой завораживающей ма-

гией, что самые черные мысли обретали красоту, не нашел достойных прощальных слов. Только затертые формулы, убогие штампы. «Я считал «силы самообороны» последней надеждой Японии, последней твердой японской души. Но .. сегодня японцы думают о деньгах, только о деньгах. Где же наш национальный дух?»

И получилось, что вопреки воле Юкио Мисимы его обольщения сами обнаружили свою несостоятельность. Разительным образом с автором случилось то же, что по его воле происходило с его персонажами. Выступая по отношению к ним в роли создателя, он демонстрировал нам хрупкость конструкции, возведенной на ложном основании: Мидзогути отвергнут Вершиной Прекрасного, де Сад безнадежно унижен своим уродством. Юкио Мисима в последний момент оказался отвергнут. Словом — роль собственного персонажа, доигранная до логического конца, обернулась проигрышем. Не потому ли, что у каждого творца тоже есть Творец и он финальным ударом разбивает вдребезги продуманную постройку из заблуждений?..

Алена ЗЛОБИНА.

✱

СВЯТОЙ? КОМЕДИАНТ? МУЧЕНИК?

Жан Жене. Богоматерь цветов. Перевод с французского Е. Гришиной, С. Табашкина. М. «Эргон». «Азель». 1993. 314 стр.

Жан Жене. Дневник вора. Перевод с французского Н. Паниной. М. «Текст». 1994. 254 стр.

Любой писатель, попадая вместе со своими произведениями в руки переводчика, не только может обрести в будущем новых, ранее недостижимых для него читателей. Ему предстоит так или иначе стать еще и писателем другого языка, другой культуры. Причем в иной культуре он может начать новую жизнь и писателем почти что культовым (с писателями, вошедшими в русский язык, примеров тому масса), писателем-классиком для чуждого ему прежде мира — и писателем-поденщиком, производителем чтива (примеров и тут немало: на каждом лотке лежат красочно изданные книги тех, чьи опусы, будучи переведенными, всего лишь заполняют пустующую нишу, которую не в силах заполнить отечественные «бестселлермейкеры»).

Жану Жене никогда не стать таким же русским культовым писателем, каким стал на долгие годы Эрнест Хемингуэй. Его литературный стиль не будут копировать, как копировали стиль Хемингуэя подражатели и эпигоны, его портреты не будут вешать на стены. Да и на саму жизнь (как Хемингуэй — на жизнь практически целого поколения, с легкостью воспринявшего и внешние атрибуты: трубка, свитер, «что будешь пить?», — и, как это поколение полагало, атрибуты внутренние: отношение к самому себе, женщинам, жизни, долгу) Жан Жене влияния скорей всего не окажет.

Дело не в разном калибре этих писателей-классиков (ведь и у классиков калибр разнится). Не в том, что один — американец (к американскому мы восприимчивы почему-то более прочего), а другой — француз (французское и вообще европейское, европейское рафинированное, в нынешние времена прививается у нас болезненно, скорее — отторгается). Не в том, что один (по фактам биографии) — герой, человек действия, поступка, застегнутый на пуговицы позы ранимый борец, другой — вор, бродяга, человек дна, со дна вознесшийся на литературный Олимп, но (тут знатоки творчества и жизни Жана Жене могут закричать «ату!») сути своей не изменивший. Даже не в том, что переводы Хемингуэя начали издавать массовыми тиражами тогда, когда в железном занавесе стали возникать первые прорехи (что в значительной мере и определило его популярность), а Жене переведен и издан в наши дни, когда уже никого ничто не удивляет, когда уникальные явления мировой культуры, будучи брошенными на русскую почву, в лучшем случае замечаются небольшим, очень странным сообществом людей, теми, кто сохранил способность не просто читать, а еще и задумываться над прочитанным.

Пожалуй, дело в том, что Хемингуэй (если уж мы выбрали его для сравнения), при всем его кажущемся новаторстве, при якобы им открытом принципе «айсбер-

га», так и остался в рамках традиции, традиции высокой, но — жесткой. Традиции, даже если сформировались они в иной стране, языке, культуре, поддаются транслированию. Вспомним некоторые рассказы раннего Василия Аксенова и других из круга «молодежной прозы»: хемингуэевский стиль, фраза, образ, хемингуэевский дух чужеродными не воспринимаются.

А Жан Жене никогда не был в традиции, в каноне (второе «ату!» знатоков...). С первым же своим романом «Богоматерь цветов» он попал (с легкой руки Жана Кокто) в один ряд с теми, кто изменил облик французской прозы XX века, в один ряд с Прустом и Селином. И первый и последующие романы, его пьесы (Жене — признанный классик драматургии абсурда вместе с Ионеско и Беккетом), даже его публицистика — все творчество этого странного человека оказалось прорывом или, если умерить восторженный пыл, попыткой прорыва, в незнание, в не изведенное ранее. В иные пределы. В прежде неизвестных, ранее глубоко чуждых читающей публике и театральным зрителям образах, с другими, принципиально новыми, вызывающими иногда активное неприятие героями. Мир воров, убийц, мужчин-проституток, трансвертитов, сутенеров — мир дна воссоздавался и раньше, и другими писателями. Но взгляд их был сторонним, обличительным, они указывали перстом, бичевали, вскрывали язвы. Жене не любит этот мир, не возносит его, не оправдывает. Главное — сам он и есть этот мир. «Его жизнь — подземное небо, населенное барменами, сутенерами, педерастами, ночными красавицами, пиковыми дамами, но жизнь его — Небо» — так характеризует автор одного из своих героев, героя наряду со всеми прочими вымышленного, рожденного автором в камере тюрьмы Френ, где был начат роман, и несущего в себе частицу самого Жене.

Крайне любопытным представляется то, почему этот человек вдруг, словно зараженный каким-то вирусом, отбывая очередной срок заключения (три месяца и один день), решил написать роман. И написал. Жене — а бродяжничая, он успел посидеть во многих тюрьмах не только Франции, но и других стран Европы — попал в тюрьму за кражу книги (книги он воровал с особенной страстью: после окончания «Богоматери цветов» и после отсидки, сей роман «породившей», в мае 1943 года Жене попадает с украденным томиком «Галантных празднеств» Поля Верлена; выступавший на суде Кокто назвал Жене наиболее значительным писателем современной эпохи — не помогло: «значительный» получил свои три месяца...). Годом же раньше Жене украл книгу писателя, ему совершенно незнакомо-го, — Марселя Пруста, «Под сенью девушек в цвету».

В том, что Жене украл из книжного магазина именно Пруста, была некая мистическая предопределенность: уже в тюрьме, в тюремной библиотеке, ему вновь попались те самые «Девушки в цвету». Жене почему-то решил, что чтение будет «невыносимо скучным». Однако другие книги были разобраны прочими обитателями тюрьмы. Пришлось смириться. «Я прочитал первую фразу, ту, в которой описан месье Норпуа на обеде у отца и матери Пруста... — вспоминал впоследствии Жене. — И эта фраза очень длинная. И когда я ее закончил читать, я закрыл книгу и сказал сам себе: «Теперь я спокоен. Я знаю, что дальше будет все прекрасней и прекрасней». Первая фраза была так густа, так чудесна... это стало тем огнем, который предвещал огромный костер. Почти целый день после этого я приходил в себя. Вновь я открыл книгу лишь вечером, и в самом деле, потом было лишь прекрасней и прекрасней».

Проше было бы сказать, что Жене был «беремен» книгой. Тюрьма оказалась повивальной бабкой. Но допустить, что основным движущим моментом было только авторское тщеславие (без наличия которого писатель состояться не может), очень и очень трудно. Собственно, Жене писал не роман — многие критики и исследователи его творчества утверждают, что «Богоматерь цветов» не поддается жанровой идентификации, — а вел долгий и напряженный полилог с самим собой, допустившим в себя всех героев романа («Мои любимые герои — из тех, кого бы вы назвали: низкосортные подонки»), появившихся в его камере как кошмар из закопченных тюремных стен почти что наяву. Полилог о том, к чему множество писателей приближаться или просто бояться, или приближаются постепенно, мелкими, подчас незаметными шажками: о Боге, о смерти, о смысле (да-да!) жизни.

«И чудо произошло. Чуда не было. Бог оказался пустым. Просто дырка, а вокруг не важно что. Красивая форма, как гипсовая голова Марии Антуанетты, как

солдатики, которые были дыркой с тонким слоем олова вокруг. Так я и жил среди бесконечного множества дыр в форме людей». Жене — пусть специалисты спорят о жанровой определенности его романа — написал произведение глубоко религиозное Религиозное не в апологетическом смысле, а религиозное в смысле поиска Бога, поиска откровенного, богоискательства. Вот Эрнестина — мать главного героя Лу Кюлафруа, ставшего через несколько лет уже Дивиной, Божественной, — выстраивает цепь умозаключений: «...ведь над святым, которое, увы, называют духовным, не принято шутить или смеяться: оно исполнено грусти. Если это имеет отношение к Богу, значит, и Бог грустен. Значит, Бог — это понятие, связанное с мукой. Значит, Бог есть Зло?»

В мире убийства (Богоматерь цветов, Нотр-Дам-де-Флёр, — это кличка мальчишки-убийцы, хладнокровного и циничного), в мире, где нет места ни верности, ни подлинной любви, Жене тем не менее ищет Бога. Гипертрофированный эгоцентризм его самого и его героев («...а еще бывает, когда не в силах сдержать эмоции, захочешь проглотить себя самого, вывернув свой непомерно разинутый рот на голову, захватив все свое тело, а вместе с ним и весь мир; и превратиться в шар из того, что проглочено, в шар, который понемногу тает и исчезает: таким я представляю себе конец света...») соседствует с наивной, почти языческой верой в то, что до конца Бог пропасть не даст.

Возможно, что Дивину, этого мужчину-женщину, похороненного автором против всех «правил» практической на первых страницах, и встретят добрые ангелы. Что же до прочих героев романа, «котов» и сутенеров, убийц и воров, то здесь вопрос остается открытым. Жене с удивительным мастерством строит роман таким образом, что жизнь и смерть главного героя, Дивины, становится как бы фоном для жизней и смертей других героев. Все они копошатся на дне, выскакивая на поверхность лишь потому, что каким-то, зачастую случайным, образом попадают в жизненное пространство Дивины. И весь кошмар в том, что и к Дивине, и к «фрерам», и к своим жертвам эти люди применяют удивительно простой критерий, для того чтобы определить, могут ли потенциальные или реальные жертвы продолжать свое земное существование. «Старик был обречен, — отвечает на вопрос председателя суда убийца Нотр-Дам — У него уже ни на кого не всталал» И Нотр-Дам отправляется на эшафот ответить иначе — значит изменить своему миру, миру с «подземным небом» и непонятными, странными для непосвященных ритуалами

Если «Богоматерь цветов» еще сохраняет признаки романа, то другое вышедшее на русском языке в 1994 году произведение Жене, «Дневник вора», можно определить как «романизированный дневник» (третье «ату!»). «Главные темы этой книги — предательство, воровство и гомосексуализм, — без экивоков признается автор. — Они связаны между собой единой, не всегда очевидной нитью; по крайней мере, мне кажется, что я распознаю некий кровобмен между моей тягой к предательству, воровству и моими страстями». В «Дневнике...» без прикрас, без жалости к читателю (жалости к самому себе автор вроде бы не испытывал никогда.) изложен извилистый путь человека, выпавшего за грань обыденной жизни, отлученного от мира, пребывающего в «нетленном одиночестве» С «Богоматерью цветов» «Дневник...» переключается и некоторыми общими персонажами, и общим построением, закрученным наподобие спирали или змеи, кускающей свой хвост.

Змеи ядовитой. Как и «Богоматерь цветов», «Дневник...» — нелегкое чтение. Сказать, что «Дневник...» заставляет содрогаться, — значит ничего не сказать. Он требует вживания, проникновения такого напряжения и силы, что иногда ради инстинкта самосохранения лучше чтение прервать. Не спасают даже авторские ремарки, призванные хоть как-то «окультурить» то поле, что в «общепризнанных» рамках подобной операции практически не поддается: «...я отрекаюсь от жизни ради любой другой цели, нежели та, в которой таилась моя первая боль, а именно, ради того, что моя жизнь призвана стать легендой, то есть должна быть прочитана, и это чтение породит некое новое чувство, которое я называю поэзией Я — лишь повод для этого, вот и все, что я собой представляю»

Более того. Временами создается устойчивое впечатление, что автор ломает комедию (недаром статья Сартра о Жене, выросшая в целую книгу, называется

«Святой Жене, комедиант и мученик!»), что вот сейчас он, словно новый Крысолов, выведет на своей дудочке какую-то незнакомую мелодию и уведет к совершенно иным пределам. Комедию не в смысле фарса и буффонады. Таковую комедию, когда за случайно слетевшей улыбающейся маской открывается жуткий оскал смерти, а только что державшая цветы изящная рука оказывается рукой скелета с косой.

Перефразируя слова Сартра о Жене, можно сказать, что, как и в случае с «Богоматерью цветов», Жене — автор «Дневника...», находясь в мире образов и обрядов, притягивает к ним реальные события и истории, реальных, живых людей, с которыми судьба сталкивала его во время бродяжничества по Европе — от Испании до Польши и от Сербии до Бельгии. Что ведет его — «миф внутренний» или «миф внешний», — остается неясным. Скорее тонкая грань, отделяющая эти мифы друг от друга. Проходя сквозь и через нее, Жене дает читателю возможность узнать истину, «а она ужасна».

«Говорить о моем писательском ремесле — то же самое, что впасть в тавтологию. Томясь от скуки в заточении, я был вынужден искать убежище в своей прежней бродячей и убогой жизни. Впоследствии, уже на свободе, я писал ради денег», — признается в «Дневнике...» Жене. «Приукрашивая презируемое вами, — продолжает он через несколько строк, — мой разум, уставший от игры, которая заключается в надлении престижными именами того, что потрясло мою душу, отвергает любые эпитеты. Не смешивая людей с вещами, он приметит их в одинаковой наготе». И заключает претенциозно и искренне: «Я уповаю на грохот пушек, на фанфары судьбы, чтобы пускать беспрестанно, один за другим, пузыри тишины. Я заглушу эти звуки бесчисленными, все более плотными пеленками моих былых приключений, жеваными-пережеванными, загаженными, намотанными на меня, как шелковый кокон. Я буду упорно постигать свое одиночество и бессмертие, жить ими, если только дурацкая жажда самопожертвования не заставит меня их покинуть».

Жене издал «Дневник...», когда слава его, нарастая подобно снежному кому, гремела уже и в тех странах, откуда совсем недавно его, босого, вшивого, голодного, высылали под конвоем. Издательство «Галлимар» уже готовило его полное собрание сочинений. Со времени «Богоматери цветов» прошло всего шесть лет.

Кто знает, удалось ли Жану Жене действительно постигнуть свое одиночество и бессмертие. И был ли он действительно тем человеком, чей образ вырисовывается при прочтении двух его книг, впервые переведенных на русский...

Дмитрий СТАХОВ.

Не от редакции. Изящная рецензия Дмитрия Стахова на первые русские издания книг Жана Жене представляется мне образцовым в своем роде примером того, какое поистине магическое действие может оказывать и оказывает на наше восприятие эта самая мировая слава. Мы только раскрываем книгу, а уже знаем, что нам предстоит приобщиться к сочинениям знаменитого прозаика и драматурга, оказавшего влияние на французских, и не только французских, писателей. Да разве могут такие книги быть дурны? Нет, никогда! Даже намекнуть на это — значит расписаться в своей не то что непросвещенности, но просто в профнепригодности. Разве можно заявить, что яркий сатириконовский спектакль «Служанки» (постановка Р. Виктюка) имел и имеет успех вопреки убогому тексту Ж. Жене? Разве можно вслух сказать, что «Богоматерь цветов» — книга дурного вкуса? И не там, где автор циничен, а именно там, где он возвышен или воображает себя таковым. Свойство ли это русского перевода или самого русского языка, но непристойности Жана Жене читать еще можно, а вот сентиментальные пристойности — ну никак. Разве можно вслух сказать, что «Дневник вора» — книга, против ожиданий, примитивная? Однообразная до зевоты именно в своей порочности (воровство, мужская проституция и проч.). Зло скучно. Перефразируя Бодлера: *l'ennui du mal*. А так все верно: знаменитый, оказавший влияние.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



ИСТОРИЯ С БИОГРАФИЕЙ

Чель Юханссон. Лицо Гоголя. Перевод с шведского А. А. Афиногеновой. Предисловие Ларса Клеберга. М. «Художественная литература». 1993. 222 стр.

Да, вот так, сразу в нескольких смыслах странным образом приходят к нам книги в нынешнюю пору («кризисную», «переломную», «судьбоносную» — нужное подчеркнуть). Автор — известный шведский писатель среднего поколения, в России, впрочем, неизвестный вовсе. Герой — Николай Васильевич Гоголь собственной персоной. Монтируется ли эта минимальная информация во что-либо цельное? Ответ — в лучшем случае неопределенный. Предисловие, написанное профессором-славистом, ныне советником по культуре посольства Швеции в России, ни одной из загадок, возникающих уже при беглом перелистывании книги, не отменяет. Слишком уж в неожиданный контекст помещена биография русского классика. Оказывается, «Лицо Гоголя» (1989) — роман, завершающий трилогию Ч. Юханссона о людях, живущих под властью отчаяния и страха. В первой ее части («Рассказ испуганного человека», 1984) речь шла о писателе-неудачнике, тщетно желающем вдохнуть новую жизнь в шведскую «рабочую прозу», во второй («Цветок папоротника», 1986) в центре внимания была девушка, изнемогающая в стандартизованном мире автоответчиков, телевизионных приемников и клишированных идеалов. И вот...

Сколько уж было подступов к биографии Гоголя: документальных, сдержанно-нейтральных либо пристрастных, тенденциозных. Беллетризованных и академичных. Сергей Аксаков и П. Кулиш, В. Шенрок и В. Вересаев, Марк Харитонов, Абрам Терц, наконец! И вот — переводной роман; что ж, может быть, этого-то и недоставало? Перечень романизированных жизнеописаний людей искусства, созданных в нашем столетии, весьма пространен: от книг С. Цвейга, Булгакова, Тынянова, Мозма до биографических бестселлеров Стоуна и Моруа, а к стати — до неординарных попыток Ларса Клеберга письменно зафиксировать воображаемые диалоги Эйзенштейна, Брехта, Бахтина...¹

Ох, нелегкая это работа — писать роман о Гоголе от имени самого Николая Васильевича! Что, неужели прямо вот так: «Я, Гоголь Николай Васильевич...»? Да, и более того, у Юханссона вот этак-то: «Смерть Пушкина — огромная потеря для России. Есть лишь единственный писатель, способный занять его место. Я, Николай Гоголь». Впрочем, если поразмыслить, самый загадочный из русских классиков вполне способен был на подобные — лобовые в неотвратимой своей однозначности — словесные вердикты. Произносил их даже чаще, чем это может показаться на первый взгляд. — не только в «Выбранных местах...» или «Авторской исповеди». Одна из сотен возможных цитат (1836 год, письмо Жуковскому): «Каких высоких, каких торжественных ощущений, невидимых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не сделает обыкновенный человек»². Напряженные, болезненные раздумья о собственном предназначении составляют немалую толику в корпусе гоголевских писем³. Значит, роман о Гоголе, написанный от первого лица, вовсе не экстравагантность? По образцу того, что сохранилось в книгах и письмах, «подслушать» сокровенные мысли прозаика-пророка, запечатлеть страдальческие его думы, самоуничижительные сомнения, бесконечные метания от слез к смеху и обратно...

Но тогда — из огня да в полымя — замысел романа покажется едва ли не тривиальным. Ведь в фокус авторского внимания попадут вещи известнейшие: гоголевский комплекс вины, придиричиво-двойственное отношение к художественному слову, страх смерти. Попытки по-новому истолковать знакомые по многочислен-

¹ См.: Клеберг Л., «Пепельная среда» (в кн.: «Бахтинский сборник». Вып. 2. М. 1991, стр. 221 — 242).

² Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. М. «Художественная литература». 1986, т. 7, стр. 132.

³ Ср.: «Чище горного снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» (там же, т. 7, стр. 207).

ным источникам факты и события, разгадать будоражащие воображение тайны «жизни и творчества» Гоголя у Юханссона почти вовсе отсутствуют. Одним словом, «жизнь и творчество» — и ничего более. Нелегко с разбегу решить, чуткость ли это и деликатность в обращении с материалом иной культуры или, быть может, беспомощная фактография.

По русскому переводу трудно судить и о верности стилистического тона, принятого биографом Гоголя. Не покидает ощущение парадокса — помните, как Мюллер да Шелленберг в советском телесериале пересыпали псевдонемецкую речь неподдельными среднерусскими присловьями? Домашнее имя Гоголя Никоша — плод изысканий автора? переводчика? редактора? Вопросам нет конца. Склонность Гоголя к формулированию собственного творческого кредо, к моральным сентенциям уже упоминалась. И все же фактура многих фраз, вложенных в уста главного героя романа, напоминает своею клишированностью цитаты из не самых лучших пособий и руководств по русской словесности. «Гоголь — поэт жизни действительной, — сказал он (Белинский. — Д. Б.). — А я хочу быть поэтом возможностей. Белинский хвалит «социальную направленность» моего творчества. Нет там никакой социальной направленности и никогда не было». Или еще: «...меня рвали на части. Какое литературное течение вы... представляете, Николай Васильевич? Вы романтик? Романтический реалист? (? — Д. Б.) Реалистический романтик? (?? — Д. Б.) Сатирический реалист? Реалистический сатирик? Гротескный реалист?..»

Осведомленность, больше того — компетентность Юханссона в проблемах русской культуры прошлого века бесспорна. Писателем скрупулезно воссоздан круг ближайших друзей, знакомых и собратьев по перу, сопутствовавших Гоголю в разные периоды жизни. Наряду с Пушкиным, Белинским, Аксаковыми, Александром Ивановым упоминаются А. Данилевский, Максимович, Виельгорские, граф А. П. Толстой, о. Матвей (Константиновский) и многие другие. Мало того, рассказ о жизненных обстоятельствах Гоголя то и дело перебивается обильными (порой несколько нарочитыми) реминисценциями из его книг. Вот, например: «Коляска споро неслась в украинской ночи <...> Летит в ночи коляска <...> Путешествие не имеет конца» (сиропообразная контаминация мотивов «Майской ночи», «Мертвых душ» и чуть ли не «Коляски»).

Обстоятельные и достоверные описания чередуются у Юханссона со сценами вполне фантазмагорическими. Сменяют друг друга отрывки навязчивых детских снов Гоголя, чудесные знамения и фатальные предсказания, сопровождавшие русского гения на всем протяжении его непростого жизненного пути. В этих-то рефренах, видимо, и следует искать ключ к авторскому замыслу: показать сокровенные моменты зарождения творческих порывов, нащупать невидимые миру сходства потаенных мыслей Гоголя и закономерностей творимого им художественного мира. Творческий акт как результат разрешения (вытеснения?) интимнейших психологических коллизий? И снова осведомленность в предмете сопровождает взгляд, далекий, мягко говоря, от новизны и оригинальности.

Предполагаемые побудительные мотивы гоголевского творчества, сформулированные уже на первых страницах книги, в дальнейшем никак не развиваются, а только лишь снова и снова подтверждаются прямолинейными суждениями героя-рассказчика и разнообразными биографическими подробностями. Да, Гоголь считал себя «поэтом возможного» (идеального, не-действительного), остро ощущал свою призванность к преобразованию судеб страны и ее народа, пытался посредством художественного (и не только художественного) слова в буквальном смысле переменить, излечить мир — все это описано не единожды и вряд ли нуждается в столь обстоятельных доказательствах.

Задаваться вопросом о соотношении реальности и вымысла в романе Юханссона — занятие почти бесполезное. «Коэффициент преломления» действительных событий, смысл и направление многочисленных искажений их контуров остаются непроясненными — в отличие от произведений самого Гоголя, атмосферой которых Юханссон, вне всякого сомнения, воспользовался в своем романе. Гоголевский гротеск животворен, несводим к каким бы то ни было декларациям и формулам, оснащен многочисленными ироническими пассажами, оберегающими художественный мир от плоского истолкования (финал «Носа»: «...непонятнее всего... как авторы могут брать подобные сюжеты...» — и т. д.). У биографического жанра своя специ-

фика, здесь рассказ по определению оказывается замкнутым между датами рождения и смерти героя. Итоговая, вполне протокольная фраза романа Юханссона («Утром 21 февраля 1852 года Гоголя не стало») только подчеркивает неорганичность, случайность, а зачастую заданность сочетания факта и вымысла, нейтрального повествования и притчи. Слишком уж предсказуемо и одномерно разрешаются в романе те самые коллизии, которые в жизни и книгах Гоголя непостижимым образом совмещали несовместимое, привносили смысл в видимый событийный хаос. Как получалось, что, описывая происшествия мельчайшие, творец «Мертвых душ» приходил к эпическим обобщениям, напоминая о грандиозном здании гомеровских поэм? Каким образом удавалось изобразителю малороссийского (позднее — петербургского) быта вплотную приближаться к устоям всего российского бытия? Юханссон этими вопросами и не задается, наполняя страницы своей книги бесплотными призраками, наделенными до боли знакомыми именами.

Впрочем, по предположению Л. Клеберга, «писатель не ставит перед собой задачу создавать глубокие психологические портреты». Дело, оказывается, в том, что «в нашем столетии шведская модель общественного строительства... отрицала наличие метафизических проблем». Отсюда «„вытеснение” болезненного человеческого опыта в коллективное шведское подсознание», отсюда поэтика фильмов Бергмана и т. п. Что ж, может быть, дело именно таким образом и обстоит, однако это уже, как говорится, совсем другая история. Пусть Бергман (бесконечно нами ценимый и понятный без толмача) остается самим собою, а загадки Гоголя пусть дожидаются новых гипотез и решений.

Дмитрий БАК.

Р. S. Отметим, кстати, что фрагмент из романа «Лицо Гоголя» был опубликован также в пятом номере журнала «Золотой век» в специальном разделе «Гоголиада». Здесь же помещен еще один «биографический» текст, Томазо Ландольфи, озаглавленный «Жена Гоголя». Некий оживший «маленький человек» по имени Фома Паскалович (?!), от лица которого ведется рассказ, заявляет, что «даже малая крупница правды о таком великом гении бесценна». А главная-то правда, по его мнению, состоит в том, что «жена Гоголя была манекеном, сделанным из тонкой резины». Причем писатель «мог надувать супругу больше или меньше, менять парики и лоскутки волос на теле, раскрашивать его по своему вкусу и изменять пропорции — одним словом, делать все необходимое, чтобы создать тот тип женщины, который бы устраивал великого гения в данный момент». Комментировать все эти пассажи довольно рискованно. «Абсурдизм», «постмодернизм» (не к ночи будь упомянут) — остается глубокомысленно заключить вслед за авторами редакционного вреза и тихо порадоваться, что в романе Юханссона прозрения, подобные только что процитированным, благополучно отсутствуют.

Д. БАК.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЕОНИД АРОНЗОН. Стихотворения. Составление и подготовка текста Вл. Эрля. Л. 1990. 80 стр.

ЛЕОНИД АРОНЗОН. Избранное. Составление и послесловие Е. Шварц. СПб. «Камера хранения». 1994. 103 стр.

Легендарный ленинградский поэт 60-х годов Леонид Аронзон не дожил даже до «классических» тридцати семи лет. Он погиб в 1970 году, когда ему исполнился всего тридцать один. Выстрелом из охотничьего ружья в горах под Ташкентом поэт написал последнюю строчку, к которой со страшной неизбежностью шел всю свою короткую творческую жизнь.

Одержимость смертью — первое, что бросается в глаза при знакомстве со стихами Л. Аронзона. «Когда я, милый твой, умру...»; «Хочу я рано умереть...», «Когда бы умер я еще вчера, сегодня был бы счастлив и печален...». И стихи, которыми составитель «Избранного» Е. Шварц завершает поэтический раздел книги¹.

Как бы скоро я ни умер,
все ж умру я с опозданием.
Я прикован к этой думе
зря текущими годами.
Я прикован к этой думе.
Все другие — свита знати.
Целый день лежу в кровати,
чтобы стать одной из мумий.

(1968 ?)

Да, Л. Аронзон был «прикован к этой думе».

Но другой эмоциональный полюс его поэзии — столь же неистовая, как одержимость смертью, одержимость красотой окружающего мира, непрерывно ощущаемое и почти невыносимое физически блаженство бытия, от которого, как от смерти, тоже некуда деться

Боже мой, как все красиво!
Всякий раз как никогда.
Нет в прекрасном перерыва,
отвернуться б, но куда?

Это, что называется, смертельная красота — слишком абсолютная для жизни. Смерть и красота в поэтическом мире Л. Аронзона интимно связаны.

То, что открылось взору поэта, не принадлежит только земному миру. Он смотрит на земные пейзажи, а видит отраженные в них пейзажи небесные. Отсюда постоянное смещение земного и небесного планов: «Я знаю, мы внутри небес, / но те же неба в нас». Для Л. Аронзона это не риторика — небесное он ощущает абсолютно конкретно, почти материально. Он именно «внутри» небес, он «гуляет» по небу, как по городской улице. И небесные обитатели ведут себя очень по-земному:

На небесах безлюдье и мороз,
на глубину ушло число бессмертных,
но караульный ангел стужу терпит,
невысоко петляя между звезд.

Для того чтобы увидеть лицо любимой, поэт смотрит в небо («От тех небес, не отрывая глаз, / любуюсь ими, я смотрел на вас!»). Бабочки, регулярно появляющиеся в стихах Л. Аронзона, — это «неба легкие кусочки», что высшая для них похвала. Преобладающая форма движения в пространстве — разумеется, полет, воспринимаемый как самое естественное для человека состояние: «Полулежу. Полулечу. / Кто там полетит навстречу?»; «Соберем большие стаи, / В тихом небе летаем». Полет для Л. Аронзона — это еще и созерцание.

Верно и обратное: созерцание — это прежде всего полет, и этим полетом, внутренним движением пронизаны все стихи поэта, даже когда описывается именно покой. И все возвращается к небесам, все ими поверяется

Еще одним синонимом красоты становится для поэта его возлюбленная — дева, женщина, жена: «Красавица, богиня, ангел мой, / исток и устье всех

¹ В книгу включены и небольшие прозаические фрагменты

моих раздумий...» В ней воплощена вся женственность мира: «Люблю тебя, мою жену, / Лауру, Хлою, Маргариту, / вмещенных в женщину одну...» Ее красота столь же абсолютна, как и красота мира, — и столь же не выразима словами. Хвала ей может быть только заклинанием, звуком: так появляются «Два одинаковых сонета» — один и тот же сонет («Любовь моя, спи, золотко мое...»), повторенный на бумаге дважды. Не слова повторяются, а звук, заклинание — любая хвала такой красоте недостаточна. По сути, конечно, красота тут все та же — красота окружающего мира, извечно горькая сладость бытия: «Сидишь в счастливой красоте, / сидишь, как в те века, / когда свободная от тел / была твоя тоска. / ...И ты была растворена / в пространстве мировом, / еще не пеннлась волна, / и ты была кругом. /

И видно, с тех еще времен, / еще с печали той, / в тебе остался некий стон / и тело с красотой.

Красота, увиденная поэтом, конечно, от Бога: «И мне случалось видеть блеск — / сиянье Божьих глаз...» Но отношения поэта с Творцом далеко не просты. Бывают минуты восторженной молитвы:

Благодарю Тебя за снег,
за солнце на Твоем снегу,
за то, что весь мне данный век
благодарить Тебя могу.

Передо мной не куст, а храм,
Храм Твоего КУСТА В СНЕГУ,
и в нем, припав к Твоим ногам,
я быть счастливей не могу.

Но не избавиться и от сомнений: «Не надо мне Твоих утех: / ни эту жизнь и ни другую — / прости мне, Господи, мой грех, / что я в миру Твоем тоскую. / Мы — люди, мы — Твои мишени, / не избежит Твоих ударов. / Страхусь одной небесной кары, / что ты принудишь к воскрешенью». Поэт смотрит на Божий мир и не находит достаточно убедительных оправданий для продолжения своей жизни. Ему открылась истинная красота, и остальное, в том числе жизнь, уже не имеет значения. Будущее — «дикая пустыня», никакого будущего не нужно: «Я б жить хотел не завтра, а вчера...»

В сущности, в поэтическом мире Л. Аронзона неразличимы не только земля и небо, но и жизнь со смертью. Эти столь фундаментальные оппозиции снимаются, растворяются в красоте. В смертельной красоте жизни. Или в не-

бесной красоте земли. Сама по себе жизнь, вне ее смертельной красоты, просто не существовала для поэта. Жить, думать о будущем — это из другого мира, в котором поэт всегда чувствовал себя чужаком:

В рай допущенный заочно,
я летал в него во сне,
но проснулся среди ночи.
жизнь дана, что делать с ней?

Очень точно о Леониде Аронзоне сказала вдова поэта, та самая возлюбленная, ставшая частью его поэзии (и теперь уже частью поэзии вообще): «Родом он был из рая, который находился где-то поблизости от смерти».

Составитель сборника 1990 года Владимир Эрль, друг поэта и автор исследования его творчества (опубликованного в «Вестнике новой литературы», 1991, № 3), среди любимых поэтов Л. Аронзона называет В. Хлебникова, Н. Заболоцкого, С. Красовицкого. Начинал Л. Аронзон как вполне традиционный лирик, ориентированный на строгий стих (см., например, стихотворение 1961 года «Павловск») Потом его поэтика переживает резкий перелом в сторону языкового гротеска обэриутского типа (хотя обэриутов, кроме Заболоцкого, Л. Аронзон, по свидетельству того же Вл. Эрля, не знал). Очевидна и сознательная переключка с Хлебниковым, но влияние Заболоцкого, его образительности более принципиально: та же антропоморфность живой (и архитектурность неживой) природы, та же материальность, примитивистски-гротескная конкретность описания. Однако внешне похожие образы природы возникают совсем на другой, отнюдь не натурфилософской основе, о чем и говорилось выше.

С поэзией Станислава Красовицкого, старшего современника Л. Аронзона, связь совсем другого рода. Внешне элементы поэтики С. Красовицкого и Л. Аронзона совершенно противоположны: у Л. Аронзона — «красота», у С. Красовицкого — «распад», и дальше: рай — ад, пейзаж, живая природа — «натюрморт», природа мертвая. Но «красота» Л. Аронзона точно так же предполагает распад, как «распад» С. Красовицкого чреват красотой. То же самое можно сказать об их рае и аде: не случайно рай Л. Аронзона так близок к смерти. Ну и, конечно, крайне важна общность навязчивых суицидальных мотивов. Перед нами два зеркальных варианта одного и того же

универсума. И у Л. Аронсона и у С. Красовицкого речь, в сущности, идет об одном — о возможности духовного выживания человека в современном мире (не стоит забывать, что это был послевоенный, раздираемый глобальной конфронтацией, к тому же советский мир 50 — 60-х годов). Объединяет этих двух пэсов в первую очередь абсолютная бескомпромиссность художественной постановки вопроса — абсолютность, право на которую получают, видимо, только на пути духовного самосожжения.

Текстов Л. Аронзон оставил немного, и они, на мой взгляд, заметно неровные (что вполне объяснимо для самиздатского автора в его невольной изоляции). Да и вся эстетика Л. Аронсона не предполагает никакой шлифовки. Однако неровные, с провалами стихи Л. Аронсона мне гораздо дороже огромного большинства стихов ровных и отшлифованных. Тут произошло подлинное событие, тут вздохнула поэзия.

В. Кулаков.

✱

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ. История болезни. Стихи. М. «Има-Пресс». 1993. 88 стр.

Судьба московского поэта Владимира Губайловского подобна, пожалуй, судьбе каждого, чье становление в искусстве ли, в светском ли московском кругу приходилось на первую половину 80-х. Общажные, мехматовские, интеллигентские и неприкаянные, богемное прозябание в компании «бардья» (не туристского — высоколобного, группировавшегося вокруг МГУ), умеренное — не до демонстраций — диссидентство, зимние дачи, забегаловки, названия которых до сих пор в памяти... И конечно же — обожествление культуры, в первую очередь словесной. Культуры, которая изучается на просвет, до мельчайшей детали, чтобы надежнее возводить из ее вещества стену, отгораживающую от чрезмерного убожества бытия внешнего. Все, казалось бы, известно, все десятки раз уже повторено и пережевано. Из необщего — разве что интерес к классической (именно) философии и еще настоящая, живая любовь к античности. В общем, материал не самый яркий, чтобы заявлять себя сегодня, на него опираясь. Если не помнить — талант проверяется на банальностях. Мнимых.

Вопрос о влиянии бардовской и рок-поэзии на «бумажное» стихотворство нынешних тридцатилетних еще ждет своего исследователя. Но, несомненно, доля такого влияния есть и в том, что среди авторов этого поколения почти не встретишь представителей благородного и, как показал печальный опыт творческих поисков последних лет, сохранившего наибольшие перспективы «мейнстрима». Тридцатилетние предпочитают баловать (или пичкать) читателя либо набившим оскомину радикальным авангардом, либо жанрами «низовыми» — в духе иронистов или маньеристов, — застряв корнями в далеком даже не позавчера. Губайловский, ни к чему не оставаясь глух, все же изначально выбирал себе собственные пути. Самостоятельность эта дорого обошлась — он оставался вне тех поэтических группировок, причастные к которым поэты были без разбора вынесены перестроечной волной из грязи в князи. Поэтому книгу пришлось ждать долго: первые стихи в ней датированы 1984 годом. Но тем и знаменательнее факт ее появления сейчас — вопреки всем трудностям, связанным с новой, коммерческой, цензурой.

Эта книга чем-то напоминает атлас. Не большой, мира, а вроде карты-двухкилометровки, удобной для ориентирования на местности. Своеобразие ее поэтики — в потребности автора ориентировать и биографию свою, и переживания, и мысль относительно значимого для него культурного фона. Вполне оправданным выглядит потому обилие философских аллюзий, превращение «пространства» и «времени», «хаоса» и стихии» в слова-указатели, узким путем ведущие читателя в тщательно выстроенный поэтический мир со своими определенными законами.

Между тем на ум приходят не любомудры, а «младость» — «сладость» романтической поры. Губайловскому нравится протаскивать под личиной многдумности лирику, вечную в своей обыкновенности. Так и общее название книги, намекающее вроде бы слишком грубо и слишком на многое, оборачивается грустной и простой поэмой о человеке в одиночестве, на далекой даче зимой заболевшем гриппом. Так, пройдя сквозь призму частых отсылок в области, внеположные ситуации текста, отстраненность — поднадоевший экзистенциальный стереотип российского безвременья — оборачивается глубокой горечью и подлинной любовью.

Важно, что все это не схема, но метод, подчиненный замыслу. И важно, что в нужный момент поэт способен от него отказать. Так возникают «демократические» «Рассказ водителя» или «21-й год» — стихотворение в духе советских стихов «с действием»; наконец, «Кафе „Турист“» — небольшая поэма, одна из лучших в сборнике. Кажется, Губайловский первый и единственный отдает дань памяти этой «стекляшке», некогда известной на всю Москву. Милая сердцу ностальгия и раздумчивая скорбь сочетаются здесь с чуть ироничным тоном, с игрой примитивными, почти лубочными рифмами вроде «скреб — лоб», «прост — хвост» (а то и с каламбурчиком «Она им, видно, слух ласкала / как знатоку вокал „Ла Скала“»), в череде которых вдруг появляются пары долгих дактилических, как бы намекая, что инструмент имеет и иной строй: стоит то ли пальцы чуть сдвинуть исполнителю, то ли слушателю приноровить ухо. Интонация знакома. Можно вспомнить (при желании) «школьный цикл» раннего Бродского. Можно не вспоминать. Узнаваемость здесь — узнаваемость чересчур затянувшейся эпохи.

Хронологический порядок стихотворений следует, пожалуй, отнести к недостаткам книги. Более продуманная композиция, вероятно, позволила бы и второму, подводному слою возникающей здесь проблематики проявиться с большей очевидностью. В существующем же варианте стихи, для поэта очевидно программные, представлены как равнозначные в ряду прочих, внимание на них никак не акцентируется. Вот одно из таких значимых стихотворений (дата написания помещает его в книгу на необязательную четвертую позицию):

Переправляешь, правишь, но,
пока ты слово подбираешь,
рациональное зерно
неволью в пыль перетираешь.
И точность выверенных слов
приобретает сухость схемы,
лишенную живых основ,
столь искренних в наброске темы.

Губайловский остро чувствует современную выхолощенность слова как такового, тотальное пленение его контекстом. Но в отличие от многих своих поэтических сверстников, уютно уживающихся с такой ситуацией, Губайловский несомненно тоскует по временам, когда язык был молод. Отсюда внимание к смысловой и фонетической весо-

мости строки, порой несколько гремящая звукопись (чаще всего на «с», «д», «т» и «р»), отсюда пастернаковское стремление к соединению слов по максимуму достижимых уровней, к высеканию некоей искры именно на их сопряжении, в промежутке между словами. Интересно отметить, что каждая из важных для поэта тем — тем, к которым он обращается не раз и не два, — обязательно выливается однажды в стихотворение, по форме абсолютно классическое. Таковы «Античные строфы», «Чаадаев — Хомякову», «21-й год», «Яузские ворота». Казалось бы, и стоит опереться на эти мастерские стихи, записаться (пользуясь компьютерным термином) на их уровне. Рискну предположить, что Губайловский не делает этого в силу ясного понимания: именно здесь, где слова обретают место как бы в точно подготовленных для них ячейках отшлифованной традицией структуры, они и закрепощены в наибольшей степени; традиция жестко диктует свои условия любому поэтическому высказыванию, слишком много от удельного веса слова забирает на себя, взамен направляя речь по руслу хоть и глубокому, но проторенному давно, многое определяющему заранее. И — явно в противовес такому давлению — следом (вот здесь за хронологией следить любопытно) появляются не монтирующиеся с предшествующим, нарочито непоэтичные даже и не верлибры — скорее фрагменты разбитой на строки прозы. В них есть отчаяние. Кроткое отчаяние художника, осознавшего, что путь для него — не следование языку, но его преодоление ради цели, которая никогда не может быть достигнута в полной мере. Недаром автор признается здесь («Искусство поэзии») в своей зачарованности примитивизмом текстов Виктора Цоя с их отмытием смыслов, с их простым черным и несоставным белым. Эти прозаизмы — переломный момент книги, ее отрицательная кульминация. За ними («После метели», «Автостоп») — некоторое изменение манеры письма, угла зрения, образности; освоение заново уже открытой земли, еще одно колебание весов, на одной чашке которых — уверенность в огромной мощи, заключенной в традиции, на другой — ощущение непомерной ее инерции. Трудно предугадать, каким здесь будет баланс и возможен ли он вообще. Да поэзия, впрочем, и не нуждается в равновесии.

М. Бутов.



СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ. Стихи. СПб. Ассоциация «Новая литература». 1993. 128 стр.

Надо ли говорить, что судьба поэта, ступившего на словесное поприще в 60-е годы — без задней мысли адаптироваться в советской литературе, — имела свои ловушки. Оставляя стихотворца экзистенциально свободным, она лишала его возможности видеть типографское отчуждение творческого продукта; написанное не объективировалось, а с годами начинало давить бесформенным грузом, сбивая ориентиры творческого развития. Постепенно самиздатчики превратились в своего рода секту под неусыпным оком госбезопасности — секту нищих, но духом богатых, со своим «уставом», даже со своими... «радениями». Муза, как известно, капризна, многие, дабы служить ей беспрепятственно, пошли в истопники, сторожа, да так ими и остались, ею покинутые. Выморочное существование с интесивной подтравкой алкоголем и никотином расшатывало и нервы и интеллект. Выжить было непросто.

Сергей Стратановский выжил. И создал свою поэтику, свое творческое пространство, неэклетично сконденсировав там глубокую историко-культурную проблематику. Изначально принадлежа скорее культурному, чем богемному полюсу ленинградского неконформистского общества, Стратановский оригинально совместил авангардистско-обэриутские традиции с религиозно-веховским мироощущением, деформацию — с неподдельной гармонией, гротеск — с лиризмом, сарказм — с теплом. Этот изощренный ученик Вагинова вдруг напоминает нам о Рубцове:

Смерть как глину месили
Стлали мертвыми гать
Божья мысль о России
Как ее угадать?

Мнится, что обращенные к Арсению Рогинскому «Строки к историку» Стратановский адресует и себе тоже: «Шарить в углах беспамятства и находить свидетельства / Жизни давно утраченной, списанной на утиль, / Шарить в стране беспамятства — вот ремесло историка. / Дело разведчика Божьего, праведный шпионаж».

Стратановский счастливо умеет то приблизить, освежить, актуализировать

историческую фигуру, явление, найдя им афористическое определение и давая разном и глубокою и остроумною разработку, то искусно дистанцироваться от злободневного фельетонного факта, который другого и вообще бы не вдохновил; штришок, мета времени приобретают у него эпическое звучание. Сознание его лирического героя расколото и целокупно одновременно: мир дробится и собирается на глазах. Оригинальность поэтического метода дорастает до лирической непринужденности, непринужденность опосредуется культурой.

Но что замечательно выделяет Стратановского в мутноватом постмодернистском потоке, так это органичное отсутствие релятивизма по отношению к мирозданию. До какого б абсурда ни доходило у поэта повествование, как бы ни деформировалась речевая гармония — чувствуется внутренний иерархический ценностный стержень, поэт замкнут не на себе — на мире. Новейшие стихотворцы, как правило, ничего не боятся, видя в таком бесстрашии чуть ли не основную доблесть. У Стратановского по-другому. Продолжая пушкинское «Не дай мне, Бог, сойти с ума», он пишет:

С болью наедине
С Богом наедине
Страшно остаться мне —
Зверю Его охот,
Рыбе Его тенет.

В этой миниатюре закодирована, может статься, доминанта лирического сознания Стратановского.

Сама судьба его — судьба-служение, судьба-послушание, послушание дару, слову. Когда поэту под пятьдесят, когда он три уже десятилетия пишет, но только теперь издал наконец первую книжечку с густо запрессованным текстом, это свидетельствует о многом. Разумеется, о неконформизме при тоталитарном режиме. Но и о неконформизме сегодняшнем. У соратников Стратановского по самиздату вышло — и слава Богу — в последние годы по нескольку ярких книг; после затяжной полуподпольной диеты они теперь с лихвой наверстывают упущенное на богатых тусовках и в зарубежных гастролях. Стратановский же как был, так и остался скромным библиотечным работником — на поверхности, сосредоточенным мастером слова — на глубине, кровно связанным с почвою и родимой культурой.

Нынче девы безумные — Злость и Обида
Хмуро бредут по твоим дорогам

Спросят: а где же отмеченность Богом
Хлебный экспорт, соборность, купечество?
Я не отвечу. Я тебя не умею судить
Отечество.

Юрий Кублановский.

*

ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН. Покров.
М. Информационно-издательское агент-
ство «Русский мир». 1993. 86 стр.

Говорить о том, что сравнение как прием устарело, бесполезно, такое, строго говоря, невозможно, потому что сравнение не прием, а нечто большее — способ образного видения. Но восприниматься сравнения могут по-разному: как банальные, или, скажем, нарочитые, или вполне органические. И виды сравнений бывают разные: сравнения, усложняясь, могут становиться метафорами, перифразами и т. п. Поэт может, фигурально говоря, откусить ломтик ароматного солнца, а может просто сказать: яблоко как солнце. В первом варианте тоже сообщается, что яблоко похоже на солнце, но с некоторой претензией на изысканность; второй вариант попроще, хотя — теоретически — это не значит, что он хуже. Один прекрасный поэт получил когда-то высокую премию за поэму, которая началась словами: «Лес, точно терем расписной...» (хотя это не концепт и не метабола). Сравнения по принципу сходства-несходства тоже могут передавать экзистенциальное ощущение полноты жизни. Или, как у Дмитрия Веденяпина, — ощущение тоски, одиночества и... некоторого мужского самодовольства: «В углу, как девочка нагая, / Белеет брошенный пиджак... Все важно всегда некстати! / Безумье рассуждать в тоске / О незастеленной кровати, / Осиротевшем светляке, / Самоубийце-пиджаке, / Бесстрастье, страстности, расплате».

Книга Д. Веденяпина «Покров» — коллекция сравнений разной степени изысканности («...тишина пустая / его, как плоть, хлестнула по щеке») и изношенности («жизнь, как сон»). И это все в порядке вещей, если бы не ощущение изнурительности в этом сравнении всего со всем:

Из плоских стен, сквозь серый потолок
Снег сыплется на стол, кровать, иконы;
В окне трещит бумага, как звонок
Спеленутого скотчем телефона.

Как пузырьки в боржоми, колкий страх
Стоит у двери, прислонившись к раме,
На улице машины спят в чехлах,
Как полые тела под простынями.

Вертялая, колочая крупа
За стеклами прессуется, как вата, —
Так шариков сшибается толпа
В стеклянном пузырьке гомеопата,

И выгнувшись, топорщатся вразброс
Сухие паруса перегоролок,
По-волчьи воеет лоджия

А теперь почувствуйте разницу между этими сравнениями и приведенным выше сравнением брошенного пиджака с нагой девочкой. Там (стихотворение «Светляки и призрак») была некая — пусть курортная — драма, а здесь просто рутинная. Ведь и так уж снег назван крупой, но крупа еще сравнивается с ватой, вата — с шариками гомеопата. Боюсь, что это монотонно и однообразно. Понятно, что «недописанный» текст, полторы строки точек — тоже такой прием, незавершенность что-то означает (наверное, минус прием, минус рифма «взасос»?), но кажется, что автору просто надоело нанизывать сравнения-метафоры-перифразы. Или он тут из собственной описательности не может выпутаться? Кстати, примечательно датировка стихов — начиная с 1981 года. Расцветшая тогда описательность, вызванная кризисом лиризма, еще мало изучена.

Что касается религиозного сознания, которое как бы заведомо должно присутствовать в книге под названием «Покров», то оно тоже (как и поэтика) имеет отчасти вид каталога. Реминисценции, а зачастую прямые ссылки с указанием на «цитируемые» места в Священном Писании изобилуют в книге. Например, стихотворение «Голубь» («Тот, кто, порхнув (смотри 9-й стих 8-й главы) в отверстие ковчега, / Кружился долго в поисках ночлега, / Но не обрел покой для ног своих» (курсивом я выделил почти дословное воспроизведение сакрального текста). Что ж, это характерно для нашей современной книжной, вычитанной, неопитской религиозности. Требование врожденной, органичной, глубинной веры было бы чаще всего чрезмерным для нашего брата. Есть только ностальгия по целостному сознанию, в чем не так просто сознаться, о чем невозможно сказать впрямую, как видно из стихотворения «Тост» и его характерного подзаголовка «Произносится слегка заплетающимся языком»: «Пью за всех и каждого в отдель-

ности, / Кто стремится к ясности и
цельности... / Для кого Священное Пи-
сание / Не простое словосочетание». И
все же не зря тратятся усилия, направ-
ленные на поиски веры: «Луна, сияя,
тихо серебрит / Семи громад возвы-
шенные шпили, / У магазина в комьях
мягкой пыли / Рабочий парень на ас-
фальте спит. / Кто виноват? Царь
Петр? Демокрит? / Жан Жак Руссо?
Иосиф Джугашвили? / И вдруг чуть
слышно: их уже судили. / Что дальше?
дальше? . . . но святой молчит; / А мы
кричим.. И нам сам черт не брат, / Мы
властно обличаем всех подряд, / Не
ради славы — горькой правды ради... /
Так суетятся стайки бесенят, / Так во-
домерки по озерной глади / Туда-сюда
без усталости скользят» (курсив мой. —
Вл. С.).

О, к такому серьезному, глубоко
нравственному мироотношению путь
непрост. И не каждому он под силу.
Стихи, между прочим, восемьдесят
третьего года, а очень современные!

Вл. Славецкий.

*

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Послание к
юноше. Стихотворения, поэмы, баллады.
М. РИФ «РОЙ». 1994. 160 стр.

Дмитрий Быков. Много пишущий
критик, публицист. Сотрудник «Столи-
цы». Автор «Общей» и прочих газет.
Прозаик. «Кургуазный маньерист».
Непременный участник телевизионного
«Пресс-клуба». Много всего набегает.
И все-таки странное ощущение: нет
веса. Как-то легко. Но интересен.

Тут не могу удержаться, чтобы не
привести большую часть авторского
предуведомления к сборнику. Вот оно:

«Рецензирование этой книги, а так-
же любые упоминания о ней в негатив-
ном, позитивном или нейтральном
контексте категорически запрещаются:

— литературным критикам Борису
Кузьминскому, Вячеславу Курицыну,
Андрею Немзеру, Павлу Басинскому,
Феликсу Икшину;

— Аделаиде Метелкиной, Кроку
Адилову, Глебу Жеглову;

— газетам «Сегодня» и «Завтра».
Иначе будет что-то ужасное. <...>

Я счастлив засвидетельствовать свою
любовь ко всем остальным моим чита-
телям»

Что тут скажешь? Во-первых, сразу
манит подписаться: Деля Икшина из
газеты «Вчера» Во-вторых, тревожит
судьба не упомянутого Володи Шара-

пова — ему-то можно или тоже нельзя?
В-третьих, ну очень хочется ужасного!

Поскольку я не значусь в черном
списке (и не знаю, хорошо это или
плохо), то, получив уверения в любви
автора ко мне как к остальному читате-
лю, скажу несколько слов.

Чего не стану говорить? Что Бы-
ков — поэт. Не знаю, поэт он или нет.
Я не ишу у него именно поэзии. Я ишу
в его сборнике стихи — живые, со-
временные, местами остроумные, мес-
тами трогательные, зачастую крепкие, а
если и не очень крепкие, то и пусть.
Дмитрий Быков — живой современный
стихотворец, как бы ни было дис-
кредитировано это совершенно нейт-
ральное определение (как «литератор»).

Парефразируя его же строки, нераз-
бериху, хаос, кутерьму он втискивает в
ямбы и хорей. При этом все время
кого-то напоминая. Спектр ассоциаций
тут весьма широк — от Тимура Кибир-
ова до Юлия Кима. Может быть, по-
этому лирика его в моей памяти не за-
стреивает (за исключением «Старуха-
мать с ребенком-идиотом...»). Даже на-
звания иногда помнятся и про что, а
сами стихи не задерживаются. Чего не-
льзя сказать о его поэме «Версия», про-
читанной некогда в перестроенном
«Огоньке»

Представим, что не вышло. Питер взят
Корниловым (возможен и Юденич)
История развернута назад.

«Версия» — поэма о том, что могло
бы быть. Уточню: якобы могло. Одна
из нынешних историософских игр. По-
этому любые претензии по существу
дела тут неуместны. Так что бы было?
То же самое, считает автор, но иначе.
Есенин и Маяковский покончили бы с
собой в России. Революцию устроил бы
Ленин в Швейцарии. Пастернак все
равно написал бы «Доктора Живаго».
Цензура все равно бы запретила. Напе-
чатал бы все равно Фельтринелли. Я
нарочно пересказываю прозой. Потому
что все это можно изложить и в не-
большом рассказе, и в пухлом романе.
И читалось бы. Но в стихах лучше —
короче, изящнее:

И что с того, что эту память он
В себе носить не будет, как занозу,
Что будет жить в Отчизне, где рожден,
И сочинить посредственную прозу —
Не более, что чудный дар тоски
Не расцветет в изгнании постылом,
Что он растратит жизнь на пустяки
И не найдет занятия по силам..
В сравнении с кровавою рекой,
С лавиной казней и тюремных сроков —
Что значит он, хотя бы и такой!
Что значит он! Подумаешь, Набоков.

Я бы на месте автора сделал Набокова знаменитым российским ученым-энтологом. Но и то сказать, не моя поэма. Хозяин — барин.

Отклик мой поверхностен и чем-то родствен самой книге. Это не та поэзия, генезис которой можно всерьез обсуждать. Это книжечка не для откликов. Зато для чтения. Даже и в метро.

Вот и славно. Вот и хорошо.

Андрей Василевский.

*

ЖОЗЕ-МАРИЯ ДЕ ЭРЕДИА. Трофеи. Сонеты в переводах В. Портнова. СПб. Издательство журнала «Звезда». 1993. 128 стр.

Отличительная особенность сегодняшнего издания «Трофеев» — единство перевода и как результат единство стилевое и концептуальное. Академическое издание 1973 года, бесспорно, имеет свои достоинства, но оно включает работы более двадцати переводчиков, так что именно перевод Владимира Портнова дает возможность цельного восприятия поэтического мира Эредиа. В советском литературоведении сложилось мнение, что поэты-парнасцы, к которым принадлежал Эредиа, декларировали «уход... в мир бесстрастной поэзии, холодных прекрасных форм», но, как известно, стихотворная практика не всегда совпадает с декларациями. От потомка испанских конкистадоров трудно ожидать бесстрастности, и красота в его представлении — это, пожалуй, не столько прекрасное, сколько величественное, вызывающее одновременно чувство восторга и страха. «Я понял, что восторг и вещей страх едины», — говорит Эредиа, и не случайно в его грезах об античности «робкую красу» сторожат драконы, а художнику он советует украсить девичью грудь «горгоной золотой» (чтобы «краса влекла»).

При открытии памятника другому парнасцу — Леконту де Лилю — Эредиа сказал: «Античная Греция стала воплощением его мечты о красоте». Во многом он мог бы отнести это и к самому себе, однако нужно помнить, что поэт видит идеал не в искусстве античности с его чувством меры и стремлением к гармонии, но в живом мире античной мифологии — с дикими и похотливыми кентаврами, ревнивыми и мстительными богами, с героями, которых неукротимая страсть и мощь ведут как к подвигу, так и к преступлению.

Преследователем грез называет себя автор «Трофеев» в одном из сонетов, и здесь В. Портнов дает не просто другую словесную формулу (по сравнению с переводом В. Лейкиной — «ловец гармонии»), но, в сущности, другую концепцию: гармония — лишь одна из «грез», в основном же «странные сны», «сонные грезы», «причудливые виденья», «миражи» и «мечты» Эредиа и героев его сонетов от гармонии весьма далеки, зато насыщены красками, звуками, ароматами и особенно влагой.

«На родине богов» весь космос пронизан горячими потоками, они омывают чувственную красоту материального мира, питают ее, и основная составляющая этих потоков — кровь. «Кровь Земли» и виноградной лозы, кровь людей и богов, чудищ и героев. Ее жаркий цвет отражается в «алом соке» ягод и «пурпуре... вина», ее соленый вкус чувствуется в слезах и морской «белопенной влаге»; одно перетекает в другое, и все одинаково опьяняет: кентавры мчатся, «убийством пьяные, от крови ошалев», плакальщицы хмелеют «от причитаний, слез и пенья», а поэт пьянят «пространство, ветер, море». По всем капиллярам того мира, который создает Жозе-Мария де Эредиа, «багряными каплями» просачивается эта влага. Она многолика. Жертвенная — залог будущего плодородия и долголетия. Пролитая в бою — отличительный знак героя. Колдовская — «пятно проклятья» и «гибельные чары». Родовая — дающая жизнь, а нередко и судьбу, связующая с предками. И наконец, «кровавая извесь» скрепляет стены воплощенной мечты — города, основанного конкистадором Педро де Эредиа, далеким предком поэта.

Гибельное и животворящее начала трудно разделить в едином багровом потоке: из тела убитой Медузы рождается Пегас; небеса расцветают «алой розой, которой в высоте Адонис отдал кровь»; как последний всплеск лавы, «крови Земли», на кромке кратера «огнистых кактусов взрываются цветы». И даже преступно пролитая, она становится плодотворящей: кровь осконченного Урана росой изливается в Океан и превращается в «пену пламенную», из которой восстает прекрасная Афродита.

Несмотря на огромную порождающую энергию этой влаги жизни, сила языческого мира иссякает, и в других разделах книги («Рим и варвары», «Средневековье и Возрождение») поэт с грустью следит, как жизненное пространство мифа постепенно сужается. Сначала это античный Космос; затем поле и сад, где деревянный Приап —

«пугало» для сорванцов; позже — дом, семейный очаг, где еще почитаются пенаты и лары; и в конце концов остается только память, хранителями которой стали вещи, а точнее, произведения искусства: картина и скульптура, витраж и эмаль, переплет и кувшин, меч и шпага и, конечно, стихи.

Искусство и становится подлинным эликсиром бессмертия (взамен мнимой вечности олимпийцев). «Рожица Приапа смеется» на клинке меча, «надменные рыцари... и скромные горожане» навсегда застыли «на хрупких витражах в свинцовой прочной раме», а гордые красавицы избежали «забвения и глена» благодаря «бессмертной руке» Ронсара.

Искусство — та «золотая клеть», в которую возможно замкнуть и воспоминание, и мечту, и прекрасное виденье. Как художник «в зеркале песка замкнул закат кровавый», так «тот мир причудливый, что сгинул без остатка», Эредиа заключил в рамки сонета, и мир

этот живет вопреки беспощадному времени.

Книга в целом тоже имеет свою «раму»: сонеты первый и последний В первом («Забвение») — заброшенные развалины и море, оплакивающее «сирен исчезнувших» Завершаются же «Трофеи» (именно в переводе В. Портнова) воскрешением античного бога: «И там, где движутся и дышат старый лес, / И тени странные, и полусвет неясный, / В руине мраморной античный бог воскрес». Подобная концовка закономерна: на виноградном листе и мраморных руинах все те же древние жаркие цвета — золото и пурпур, в полумраке языческого леса «разбитый мрамор» хранит память о богах и героях, а воображение и мастерство способны оживить их и явить миру в оправе сонета.

О. Филатова.

Иваново.

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

Наложенным платежом журнал не высылается.

«НМ».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



MICHAEL MAKIN. Marina Tsvetaeva: Poetics of Appropriation. Oxford. Clarendon Press. 1993. 355 p.

МАЙКЛ МЕЙКИН. Марина Цветаева. Поэтика присвоения.

Монография американского слависта, преподавателя Мичиганского университета, вышедшая в минувшем году (хотя помеченная годом 1993 — там тоже бывает такое), освещает творчество Цветаевой под оригинальным углом зрения. Если зарубежные исследователи¹ чаще всего заняты поисками биографического ключа к поэзии Цветаевой, М. Мейкин ищет этот ключ в ее интенсивном обращении к разнообразным литературным источникам и в их лирической, мирозерцательной и стилистической переработке. Отсюда несколько неожиданный подзаголовок книги, впрочем отвечающий истине: Цветаева никогда не растворялась в чужом, а властно приобщила его к ядру своей личности, изменяя радикально (подход, во многом противоположный пушкинскому «протеизму», добавим от себя).

Автор весьма убедительно показывает, что особая насыщенность литературными сюжетами и аллюзиями совпадает в творчестве Цветаевой с пиками вдохновения и поэтической продуктивности и что эта черта ее музыки находится в прямой связи с чрезвычайно высоким удельным весом повествовательного, фабульного элемента в ее поэзии.

Источники, занимавшие Цветаеву, во-первых, крайне пестры (русский и европейский фольклор, Библия и античность, мемуары XVIII века и стихи символистов), во-вторых, прихотливо выборочны (русская классическая проза почти не нашла отклика в ее стихах) и, в-третьих, откровенно общедоступны (чуть ли не библиотека для юношества), так что в цветаевской «книжности» нет ничего похожего на «элитарную эрудированность» (Ж. Нива) символистов — Валерия Брюсова или Вяч. Иванова. Но именно тут, по мысли автора, нашла отражение напряженнейшая коллизия всего цветаевского творчества: столкновение между «публичным», открытым для всех, и «приватным», глубоко интимным. Широко известные, даже тривиальные мотивы решительно «переписываются» и как бы взрываются изнутри под влиянием новой акцентуации; Мейкин называет это «сокрушением унаследованного текста» и находит здесь то взаимодействие «архаичности» и «новаторства», традиционности и бунта, которое так характерно для цветаевского художественного мира. Примеры приведения источников в соответствие с собственным мироощущением поэта разбросаны по многим страницам книги. Так, в поэме «Молодец», фабула которой навеяна записанным у Афанасьева фольклорным сюжетом о женихе-упыре, поведение героини и ее судьба мотивируются страстной, экстатической любовью к вампиру, чего, конечно, нет и не может быть в народной сказке. Так, в лирическом цикле о дочери Иaira (переделка евангельского эпизода) героиня, не желая возвращаться в здешний мир, отвергает намерение Иисуса ее воскресить. Так, в стихотворении «Необычайная она! Сверх сил!» вывернута наизнанку (с эротическим подтекстом) мизансцена Благовещения: в смятении и смущении находится вестник — Архангел, а не Та, к которой обращены его слова. А в поздних трагедиях на античные темы («Ариадна», «Федра») Цветаева, напротив, минуя позднейшие обработки и наиболее знакомые ей популярные пересказы мифов, сознательно или инстинктивно возвращается к эллинским первоисточникам.

Книга Мейкина не замахивается на охват всего творчества Цветаевой или хотя бы всей ее поэзии. Произведения без выраженного элемента «присвоения», будь то даже столь значительные вещи, как «Поэма Горы» или «Поэма Конца», не попада-

¹ Упомянем две монографии С. Карлинского: Karlinsky S. Marina Cvetaeva: His Life and Art. Berkley. Los Angeles. 1965; Karlinsky S. Marina Tsvetaeva: The Woman, her World and Poetry. Berkley — Los Angeles — London. 1985

ют в поле внимания исследователя. Но в целом канва монографии следует канве творческой жизни Цветаевой глава за главой: «*Ранняя лирика и повествовательная поэзия*» (от «Вечернего альбома» до «Верст», «Лебединого стана», «Психеи»); «*Ранние пьесы*» («Метель», «Приключение», «Конец Казановы», «Феникс» и др.; выделяется разбор «Фортуны», внимательное сопоставление пьесы с ее источником — мемуарами герцога де Лозена); «*Поэмы-сказки*» («Царь-Девница», «Егорошка», «Молодец» — своеобразная трактовка русского фольклора на вершине интереса к нему); книга стихов «*Ремесло*» как взлет цветаевской лирики и момент ее наибольшего насыщения литературными мотивами (любопытен анализ цикла «Марина» с его лирической трактовкой образа Марины Мнишек); «*После России*» — лирика перехода от русских к европейским источникам (в их числе — Шекспир) и к большей классической уравновешенности; «*Крысолов*» — исследование сюжетной первоосновы и стилистики этой поэмы относится, на наш взгляд, к лучшим страницам монографии; «*Классические пьесы*» (удачен разбор «Федры»); наконец, «*Поздняя поэзия*».

В книге Мейкина не только сюжетика, но и стилистика Цветаевой ставится в связь с основной концепцией автора (ее поэтический синтаксис, отказ от глаголов, эллипсисы — как средство все того же «сокрушения» связанных и знакомых сюжетов); поднимается важный вопрос о самораскрытии поэта через ролевую лирику — всегда косвенном, проблематичном, загадочном.

Ясная по манере изложения, обстоятельная и толковая книга снабжена достаточно обширной библиографией.

И. Р.



«Новый мир» — 70 лет издания.

«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.

«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Уважаемые читатели! Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу: Малый Путиковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d
Fax (089) 54-218-218

КНИЖНАЯ ПОЛКА



В. А. Гиляровский. Сочинения. В 2-х томах. Калуга. «Золотая аллея». 1994. 45 000 экз. Том 1 — 544 стр. Том 2 — 590 стр.

Ксенофонт. Анабасис. Перевод, статья, примечания М. И. Максимовой под редакцией И. И. Толстого. Репринтное издание. М. «Ладомир». 1994. 300 стр. 3000 экз.

Юрий Кувалдин. Так говорил Заратустра. Роман. М. «Книжный сад». 1994. 368 стр. 5000 экз.

Действие романа отнесено в недавнее прошлое — 60-е, 70-е, начало 80-х годов. Тематика же произведения остросовременная. Перед нами попытка (во многом спорная, но несомненно интересная и заслуживающая внимания) художественного осмысления нового социально-психологического типа: «новых русских» — бизнесменов, вышедших из партийного истеблишмента.

В. Куприянов. Стихи. М. «Зеркало». 1994. 64 стр. 1000 экз.

М. Метерлинк. Сокровище смиренных. Мудрость и судьба. Перевод с французского Н. Минского, Л. Вилькиной. Предисловие В. Розанова. Томск. «Водолей». 1994. 256 стр. 1500 экз.

«Мы жили тогда на планете другой...». Антология поэзии русского зарубежья. 1920 — 1990. В 4-х книгах. Книга 2-я. Составитель Е. В. Витковский. Биографические справки, комментарии Г. И. Мосешвили. М. «Московский рабочий». 1994. 462 стр. 10 000 экз.

Алишер Навои. Язык птиц. Перевод С. Иванова. Издание подготовили С. Н. Иванов, А. Н. Малехов. СПб. «Наука». 1993. 384 стр.

Г. Панджакидзе. Спираль. Роман-фантазмагория. Перевод с грузинского А. Федорова-Циклаури. М. «Художественная литература». 1994. 398 стр. 50 000 экз.



М. О. Гершензон. Тройственный образ совершенства. Томск. «Водолей» 1994. 64 стр. 1500 экз.

А. К. Жолковский. «Блуждающие сны» и другие работы. М. «Наука». «Восточная литература». 1994. 428 стр. 4000 экз.

Анатолий Зверев. Альбом. Автор-составитель С. Ямшиков. М. «Галарт». 1994. 167 стр. 7000 экз.

Д. К. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901 — 1913 гг. Вступительная статья Н. И. Толстого. Составление А. Л. Топоркова. Подготовка текста, составление указателя Т. А. Агапкиной. М. «Индрик». 1994. 398 стр. 5000 экз.

Григорий Козинцев. «Черное, лихое время...» Из рабочих тетрадей. Подготовка текста, примечания В. Козинцевой. М. «Артист Режиссер. Театр». Профессиональный фонд «Русский театр». 1994. 240 стр. 5000 экз.

Тит Ливий. Карфаген против Рима (Из истории Пунических войн). Пересказал с латинского С. Маркиш. СПб. «Браск». 1994. 310 стр. 10 000 экз.

К. С. Льюис. Просто христианство. Бог под судом. Перевод с английского. Составитель Н. Л. Трауберг. М. «Гендальф». 1994. 272 стр. 26 000 экз.

Народы России. Энциклопедия. Главный редактор В. А. Тишков. М. Большая Российская Энциклопедия. 1994. 480 стр. 50 000 экз.

Майя Плисецкая. Я, Майя Плисецкая... М. «Новости». 1994. 492 стр. 50 000 экз.

А. С. Пушкин. Профили. Музей графики. М. «Зеркало». 1994. 16 отдельных листов иллюстраций (в общей папке). 1000 экз.

Русская идея и евреи. Роковой спор. Христианство. Антисемитизм. Национализм. Сборник статей. Составитель З. А. Крахмальникова. М. «Наука». «Восточная литература». 1994. 246 стр. 15 000 экз.

Д. В. Сарабьянов, Н. Б. Автономова. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М. «Галарт». 1994. 240 стр. 5000 экз.

А. Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России. М. «Гнозис — Прогресс — Комплекс». 1994. 374 стр. 10 000 экз.

●

«Обновление гуманитарного образования в России» — гриф новой серии учебных пособий для школы, издаваемых в рамках одноименной программы¹. Плод совместной работы Министерства образования России, Госкомитета РФ по высшему образованию, международного фонда «Культурная инициатива» и Международной ассоциации развития и интеграции образовательных систем. Цель программы — гуманизация образования, создание нового поколения вариативных учебников и учебных пособий, ориентированных на ценности отечественной и мировой культуры современного демократического общества.

Книги этой серии разнятся по задачам и, соответственно, по тематике, уровню и способу подачи материала. Вышло уже около 50 пособий, и можно выделить три основных группы изданий. Во-первых, книги, адресованные непосредственно ученику и учителю (учебники, хрестоматии, задачки и т. д.). Во-вторых, пособия для учителей, предлагающие информацию по неизвестным доселе школьной программе темам. И наконец — монографии, не ориентированные специально для работы в школе, но представляющие для учителя несомненный интерес: литературоведческие, музыковедческие, культурологические и т. д.

С. В. Ломтев. Проза русских символистов. Пособие для учителей. М. «Интерпракс». 1994. 112 стр. 10 000 экз.

Краткий свод существующих в нашем литературоведении представлений о философии и поэтике русского символизма; об истории его развития, начиная с попытки Николая Минского и Иеронима Ясинского создать в 1884 году общество «Новые романтики». Отдельные главы посвящены творчеству Мережковского, Брюсова, Сологуба, Белого. Это едва ли не первая книга о символизме, адресованная учителю.

Т. В. Чередиенченко. Музыка в истории культуры. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством. М. «Долгопрудный». «Аллегро-Пресс». Выпуск 1 — 1994. 218 стр. 10 000 экз. Выпуск 2 — 1994. 174 стр. 10 000 экз.

По существу, это первый опыт очерка всеобщей (не европейской только) истории музыки в нашем искусствоведении. Тема дана в культурологическом повороте: музыка в контексте развития мировой культуры. Просветительский характер книги сочетается с активным исследовательским. Классификация типов музыки — фольклорное творчество, профессиональная развлекательная музыка (менестрельство), каноническая импровизация, профессиональная европейская композиция — принадлежит автору, профессору Московской консерватории, одному из наиболее ярких музыковедов нового поколения. В первой части книги рассматриваются основные понятия музыкального искусства. Прилагается аудиокассета с музыкальными иллюстрациями.

С. А. Шульц. Гоголь. Личность и художественный мир. Пособие для учителей. М. «Интерпракс». 1994. 160 стр. 10 000 экз.

Несмотря на широту темы — анализ принципов построения художественного мира у Гоголя, — исследование воспринимается как узкоспециальное, «диссертационное». Дело не только в терминологической плотности языка — внимание автор сосредоточивает прежде всего на некоторых особенностях мифотворчества Гоголя, определяемых «трагическим, эсхатологическим пафосом» классика, на исследовании христианских элементов его творчества. Автор опирается в работе на методологии Бахтина и Лосева, активно привлекается русская религиозно-философская и эстетическая мысль начала века (Мережковский, Белый, Розанов).

Составитель С. Костырко.

¹ Краткий обзор книг этой серии начат в № 10 за 1994 г. (Прим. составителя.)

SUMMARY



The poetry section of this issue is presented by poems by Alexander Kushner, Vladimir Shchadrin, Nikolai Kononov, Ivan Burkin.

We are beginning to publish a fiction novel by Anatoly Kim, «Onlyria» (to be ended in No. 3), as well as autobiographic prose by Iosif Brodsky titled «A Room and a Half» (translated by Dmitry Chekalov), is being published.

The publicistics section includes essays «Nuclear Mythology of the End of the 20th Century» by A. Yablokov and «After the Catastrophe (From the Collections «From the Deep» and «From Under the Blocks»)» by Dora Shturman.

The section «Foreign Topics» is presented by travel notes titled «Letters From Under the Skies' Empire» by poet Alexei Alekhin.

«Symbols», an essay by Marina Novikova, is being published in the section «Philosophy. History. Culture».

The section «Literary Criticism» is presented by Lev Anninsky's essay «What Was the End in the End? (Notes About the Booker's Finalists)».

In the section «Meanwhile» a polemic article by Alla Marchenko, titled «Our Wise Man Stumbled», on a book by prosaist Sergei Yesin, Rector of the Literary Institute, is being published.

In the section «Book Review» Alena Zlobina reviews the Russian edition of a book by Japan writer Yukio Mishima; Dmitry Stakhov reviews the Russian editions of books by French prosaist Jean Genet; Dmitry Bak reviews a book by Swedish writer C. Johansson about Nikolai Gogol.

There are following reviews of new collections of poetry in the section «Briefly About Books»: by V. Kulakov about Leonid Aronson, by Michail Butov about Vladimir Gubailovsky, by Yuri Kublanovsky about Sergei Stratanovsky, by Vladimir Slavetsky about Dmitry Vedeniapin, by Andrei Vasilevsky about Dmitry Bykov, by Olga Filatova about Portugal poet Jose Maria Heredia' sonnets.

In the section «Foreign Books About Russia» Irina Rodnianskaya annotates a new French essay on Marina Tsvetaeva.

There is also our traditional section «Bookshelf» in this issue.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор В. Д. Васковский

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.10.94 г. Подписано к печати 9.12.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 25 800 экз. Зак. 4136. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
Л. АЙЗЕРМАН. «Из таких крупинок складывается история...»
(заметки учителя-словесника на полях школьных сочинений);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Роман воспитания;

БОРИС ЕКИМОВ. Конец дороги (очерк);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Два провозвестника (заметки о Ленине и Достоевском);

ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Три дома Петра Капицы (воспоминания);

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);

МАРК КОСТРОВ. «Я хочу, чтобы вы знали мое мнение...»
(«выбранные места» из писем читателей);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Кавказский пленный (рассказ);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. У нас в богадельне (повесть);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Мост Ватерлоо (рассказы);

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Тихая комната (рассказ);

АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ. Натренированный на победу боец
(роман);

АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ. И слово в музыку вернись... (о певице М. А. Олениной-д'Альгейм);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская опера и геополитика;

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в
России;

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. Воскресшее слово (главы из
книги);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Радости жизни (рассказ);

ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ. Неизвестные тексты и ма-
териалы;

а также новые произведения АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, МИХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МИХАИЛА КУРАЕВА, ОЛЕГА ЛАРИНА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ИРИНЫ СУРАТ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ!**